



ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

российские
мыслители
о путях
развития
российской
цивилизации





ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

российские
мыслители
о путях
развития
российской
цивилизации



*Политическая
антология*



Москва
«ГРИФОН»
2012

УДК 329.11(47)+94(47)

ББК 66.1(2)+63.3(2)-7

П 82

Оформление художника

В.С. Голубева

П 82 Просвещённый консерватизм: Российские мыслители о путях развития Российской цивилизации: Политическая антология / Авт.-сост. Д.Н. Бакун. – М.: Грифон, 2012. – 608 с. – (В поисках национальной идеи).

ISBN 978-5-98862-079-2

Новую серию издательства «Грифон» открывает антологию трудов отечественных мыслителей – историков, писателей, философов, политологов, государственных деятелей. Все они, так или иначе, рассматривали исторические, гео(политические), правовые аспекты развития нашей страны с консервативных позиций. Но консерваторы не были врагами прогресса, скорее они выступали против бездумного движения вперёд в неизвестном направлении. В то же время спектр русской консервативной мысли необычайно широк: от крайних охранителей до либеральных консерваторов и «революционеров справа». Сегодня нам интересны в первую очередь сторонники консерватизма творческого, просвещённого, которые стремились провести необходимые реформы по-умному: прогресс – не обязательно слом «станового хребта государства». Авторы сборника объединяет главное – они любили Россию, душой болели за русский народ и старались, в меру своих сил, помочь своей стране.

Как никогда актуальны мысли Н.М. Карамзина и В.О. Ключевского, М.М. Сперанского и П.А. Столыпина, П.Б. Струве и И.А. Ильина, К.П. Победоносцева и Г.В. Флоровского, И.С. и К.С. Аксаковых, И.В. Киреевского и А.С. Хомякова, Б.Н. Чичерина и М.Н. Каткова, Ю.Ф. Самарина и К.Н. Леонтьева, С.Л. Франка и Н.А. Бердяева, Н.Я. Данилевского... В книге представлен широкий спектр историко-философских и политических взглядов: прилашаем читателей самим поразмышлять, какой именно консерватизм сегодня нужен России.

В начале XXI в. произошла очень важная переоценка ценностей – переоценка, для которой понадобилась ни много ни мало около столетия (начиная с выхода в 1909 г. пророческого сборника «Вехи»). Теперь русскому консерватизму предстоит стать более жизнеспособным для ответа на вызовы модернизаций XXI в.

Для всех, кому небезразлично прошлое, настоящее и будущее России.

УДК 329.11(47)+94(47)

ББК 66.1(2)+63.3(2)-7

© Грифон, 2012

© Бакун Д.Н., составление, вступительная статья, справочный аппарат, 2012

ISBN 978-5-98862-079-2

К ЧИТАТЕЛЮ

Предисловие

Владевший несметными сокровищами царь Соломон, прозванный Екклесиастом, выше всякого богатства ставил мудрость, ибо только она может ответить на вопрос, что есть наша жизнь. И к чему же пришёл на склоне лет убелённый сединами, всё видевший и всё осмысливший патриарх? Вот его собственные слова: «Идёт ветер к югу, и переходит в северу, кружится, кружится на ходу своём, и возвращается ветер на круги свои».

Подлинно мудрое высказывание обладает тем уникальным свойством, что заключённая в нём истина является универсальной по своей применимости. О чём бы мы ни задумались, находясь в данной конкретной ситуации, прислушавшись к мудрецу, жившему за тысячелетия до нас, мы обнаружим, что он подсказывает нам, в чём состоит её специфика и как нам следует преодолевать связанные с ней проблемы. И вопросы, казавшиеся невероятно сложными, получают простые и естественные ответы.

Самый важный для нас вопрос, по поводу которого мы ломаем копыя уже несколько веков, состоит в следующем: в каком направлении должна двигаться Россия в своём историческом развитии? Приведенное выше размышление Екклесиаста даёт исчерпывающее объяснение и тому, почему мы так долго об этом спорим, и указывает на то, чем нужно завершать этот затянувшийся спор и впредь действовать уже согласно.

Разброд у нас так долго потому, что ветры, подхватывающие и несущие на себе наши убеждения, дули на Русь то с севера, то с юга, а больше всего с запада, и кто-то из нас доверялся одним, а кто-то другим ветрам. Так и кружились по нашей отчизне эти разнонаправленные идейные веяния, и вместе с ними кружились и наши идеалы, неизбежно сталкиваясь между собой, чтобы сделать вчерашних друзей врагами. И всё это было суетой сует, а она, по слову премудрого Соломона, должна обязательно когда-нибудь закончиться, и ветер должен возвратиться на свои

ПРЕДИСЛОВИЕ

первоначальные круги. Этот момент уже близок. Измотанные хаотическими метаниями нашего государственного корабля, мы чувствуем наконец, что шквалы и смерчи стихают, и мы можем наполнить свои паруса надёжным древним пассатом, который понесет нас по единственному правильному курсу творческого консерватизма и традиционализма, направляя Россию к её назначенному судьбою месту – утверждению в устоях собственной цивилизации, православно-славной по своим глубинным корням и многонациональной по внешнему культурному выражению. Этот курс не надо открывать заново – знакомясь с предлагаемой книгой, читатель обнаружит, что он, фактически, был, основным для России в XIX веке и все самые блестящие её достижения были обязаны именно духовным установкам творческого консерватизма. Возвращение к нему и будет истинным возвращением России на «круги свои».

В.Н. Тростников

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ

От составителя

Изображённый на обложке этой книги Константин Петрович Победоносцев (1827—1907) сейчас мало кому известен. Но было время — его знала вся Россия. Этот государственный деятель, обер-прокурор Святейшего Синода (1880—1905), участник Комитета министров Российской империи на протяжении почти двух десятилетий оказывал сильнейшее (по мнению многих современников — решающее) влияние на внутреннюю политику страны. Он стал своего рода символом отечественного консерватизма, пришедшего на смену «эпохе великих реформ» второй половины XIX столетия. В своё время решительность Победоносцева спасла страну от хаоса и возможного распада. После трагической гибели от рук террористов-народовольцев императора Александра II (1881) Победоносцев настоял на сохранении и укреплении самодержавия.

России тогда нужна была передышка: следовало осмыслить опыт реформ, понять, куда двигаться дальше. Главное — действовать решительно и быстро, принимая во внимание вызовы грядущего века. К сожалению, время было упущено. Наследие русских консерваторов (и Победоносцева в том числе) было отвергнуто как «реакционное» и надолго утратило актуальность. Казалось, это течение отечественной политической мысли безнадежно устарело. Но вот парадокс: столетие спустя Россия вновь оказалась на распутье — куда идти и что делать?

Труды русских консерваторов сейчас вновь издаются и обсуждаются. Однако в полной мере их интеллектуальное наследие ещё не освоено даже политической элитой. За последние 25 лет не раз выходили книги об итогах и перспективах развития страны, о сути русской цивилизации, национальной идее, русских идеалах... Это не только наследие мыслителей прошлого (в том числе труднодоступное), но и публицистика, научные и псевдонаучные труды,

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

историософская и историко-богословская литература. На этом фоне всё более привлекательным (и исторически оправданным) для будущего России представляется *просвещённый консерватизм*. Читатель нашей антологии сможет сам в этом убедиться.

Консерваторы, как известно, ориентируются на традиционные общественные устои — в противовес либерализму. Однако они допускают и критику властных структур — если обличают неспособность контролировать начавшиеся перемены и разработать систему мер для предотвращения радикальной ломки общества. Русский *политический консерватизм* зародился в царствование Александра I («Записка о древней и новой России» Н.М. Карамзина). О необходимости *просвещённого консерватизма*, пожалуй, впервые писал князь П.А. Вяземский (как ни покажется читателю странным, он приводил в пример А.С. Пушкина!). Надежды на преобразование России Вяземский связывал с реформами под руководством просвещённых государственных деятелей (благодаря ему в широкий оборот вошли, например, такие понятия, как «народность» и «либеральный консерватизм»). Затем настала эпоха славянофилов 1840-х гг. (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин, И.С. и К.С. Аксаковы). Тогда же оформилась «теория официальной народности» С.С. Уварова.

Эпоха реформ 1860—1870-х годов сильно повлияла на формирование взглядов консерваторов-государственников, теоретиков и практиков. Огромную ценность для нас представляет течение русской мысли, получившее название *охранительный либерализм* или *либеральный консерватизм*. Его виднейшие представители — П.А. Вяземский, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский, впоследствии — П.Б. Струве. Следующий этап — появление исторических и геополитических концепций Н.Я. Данилевского (теория культурно-исторических типов) и К.Н. Леонтьева (византизм). Дать традиционному консерватизму юридически-правовое обоснование старались К.П. Победоносцев и Л.А. Тихомиров. О необходимости *просвещённого патриотизма* для России писал выдающийся публицист М.Н. Катков.

После убийства Александра II стало ясно, что старый лозунг «Православие. Самодержавие. Народность» уже во многом исчерпал свой потенциал. Чтобы достойно противостоять всё более популярным в обществе ультралиберальным и социалистическим взглядам, нужна была новая, более соответствующая вызовам времени идеология. Главными в ней стали идея сильной государственности, защита не только традиционного строя России, но и её религиозно-нравственных принципов.

Консерваторы обращались и к правительству, и к общественному мнению, предлагая свои альтернативы развития страны. Они надеялись, что ограничить злоупотребления власти лучше поможет соблюдение религиозно-нравственных норм, чем парламент. Власть освящалась высшей — религиозной — идеей, и реальная политика получала связь с мистическим смыслом истории России. Но общество, к сожалению, к ним не прислушалось. Когда страна переходила к новым социально-экономическим отношениям, был сделан выбор в пользу радикализма, а не консерватизма.

Несмотря на деятельность многих видных писателей, историков и философов, комплексная консервативная идеология в России так и не сложилась. Спектр русского политического консерватизма был необычайно широк — крайние охранители, «просвещённые бюрократы», либералы-консерваторы, «революционеры справа»... Под воздействием модернизации, происходившей в России на рубеже XIX—XX вв., русский консерватизм становился более жизнеспособным и реалистичным. Вершина его, безусловно, — деятельность П.А. Столыпина, знаковой фигуры выдающегося государственного деятеля и консервативного мыслителя, — к его наследию мы обращаемся всё чаще и чаще. В эмиграции идеи просвещённого консерватизма отстаивали П.Б. Струве и И.А. Ильин.

Основополагающие программные пункты российских консерваторов:

1) Россия должна развиваться по собственному национальному пути, не оглядываясь на Запад (в первую очередь —

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

в духовно-нравственном отношении); проводить реформы следует в рамках существующей системы;

2) ведущая роль государства и незыблемость самодержавной власти;

3) уважение к Православию — нравственной основе общества;

4) необходимость сохранения общественной иерархии;

5) критическое отношение к развивающемуся капитализму; требование учитывать специфику развития российской экономики.

В советский период, как уже говорилось выше, о просвещённом консерватизме как наследии российского прошлого упоминали лишь изредка историки и литературоведы. Неожиданно, однако, это явление вернулось из сферы истории в сферу политики.

Термин «просвещённый консерватизм», начиная с 1970-х гг., активно употреблялся философами и политологами ФРГ*. В частности, Э. Топич видел в нём реакцию на вызов, брошенный левыми революционными силами (в целях защиты от сознательного или бессознательного использования европейских традиций свободы, рациональности и гуманизма для разрушения «основополагающих ценностей Европы»). Эти идеи затем подхватил и творчески развил (применительно к историческому опыту России) А.И. Солженицын, высланный за рубеж в 1974 г.

В 1992 г. культуролог Михаил Эпштейн в работе «Просвещённый консерватизм: общество и нравственность» отмечал:

«Среди многих течений российской мысли всё сильнее напор и размах одного, которое по праву ставит себя посредине всех прочих и которое можно обозначить как *просвещённый консерватизм*. Исповедуя христианские ценности, оно старается избежать крайностей воинствующего национализма и вместе с тем резко критикует позицию демократов-западников — сторонников свободного рынка. Чтобы обозначить границы этого течения, достаточно

* Григорьян Б. Т. «Просвещённый» консерватизм // Вопросы философии. 1979. № 12. С. 126 — 133.

назвать журнал “Новый мир”, который ищет “третьего” пути между националистическими и демократическими изданиями. Все коренные идеи этого направления были высказаны Александром Солженицыным, сначала в “Письме вождям” [Советского Союза, 1973. — *Сост.*] и в статьях сборника “Из-под глыб” (1974), а затем в размышлении “Как нам обустроить Россию?” (1990)».

Однако в хаосе 1990-х гг. ни властные структуры, ни интеллектуальная элита, несмотря на неоднократные упоминания в СМИ, например, имён П.А. Столыпина и И.А. Ильина, к сожалению, не смогли в должной мере осознать и использовать их наследие. Прошло время — и в начале XXI в. многие достижения отечественного консерватизма, его идеологии и практики, оказались, наконец, востребованы. Не случайно 21.11.2009 г. съезд «Единой России» принял решение о выработке государственной идеологии именно на основе *консерватизма*. Консервативной терминологией пользуются даже партии, относимые в России к правому крылу (которые на самом деле являются представителями крайнего либерализма!).

В этой связи одна из важнейших задач, стоящих сейчас перед политической элитой страны, — не только освоить и проводить в жизнь основные положения консервативной идеологии, но и активно, целенаправленно и доходчиво разъяснять их *народу* — не избирателям, а именно народу! — чтобы политика руководства страны разделялась её гражданами. Необходимо на всех уровнях воспитывать *государственное мышление*: только тогда восстановится связь между властью и народом.

Мы не призываем абсолютизировать каждое слово консервативных деятелей разных периодов истории страны (в чём-то, конечно, устарел и Ильин!), но осмысливать их в контексте нашей эпохи... «надобно искать средств, пригоднейших к настоящему» (Н.М. Карамзин).

Следует помнить: «Нравственность народа — источник могущества и богатства государства». А для элиты и правительства страны сохраняют свою актуальность слова выдающегося русского государственника М.М. Сперан-

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

ского: «Мудрость правительства состоит не в том, чтобы ожидать событий или подчиняться им, но в том, чтобы управлять ими, уметь отнять у случая то, что этот случай может принести вредного».

*

Идея этой книги также в какой-то мере подсказана изучением наследия К.П. Победоносцева. Сам он неоднократно обращался к жанру антологии, стремясь донести до современного ему читателя толковые и интересные мысли, выявленные у разных авторов. В данном случае составитель отобрал тексты по четырём важнейшим темам: взаимоотношения либерализма и консерватизма; восприятие истории России с консервативной точки зрения; геополитические проблемы; народ и общество, власть и право. В начале каждого раздела даётся небольшой подбор самых значимых цитат — своего рода квинтэссенция главной темы.

В извлечениях и отрывках публикуются труды И.А. Ильина и П.А. Столыпина, К.П. Победоносцева и В.О. Ключевского, И.С. и К.С. Аксаковых, М.Н. Каткова, Ю.Ф. Самарина, К.Н. Леонтьева, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, Н.Я. Данилевского, Г.П. Федотова и др. Представлен достаточно широкий спектр историко-философских и политических взглядов видных отечественных мыслителей и государственных деятелей. Среди них есть и «классические» консерваторы, и либеральные; можно проследить и полемику между ними. Особенно интересно её читать с учётом богатого исторического опыта XX века. Пользование книгой облегчает алфавитно-предметный указатель: с его помощью можно найти наиболее значимые высказывания и формулировки мыслителей-консерваторов по вопросам, решение которых актуально для нашей страны и сейчас.

*Д.Н. Бакун,
кандидат исторических наук*

«О РУСЬ, КУДА ЖЕ МЧИШЬСЯ ТЫ...»

Поэтическое вступление

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (1814—1841)

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сёл,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нём,
Как плащ его с возвышенным челом.

Н.М. ЯЗЫКОВ (1803—1846)

К НЕНАШИМ

О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Её торжественный изменник,
Её надменный клеветник;

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник тёмных книг и слов,
Восприниматель достослёзный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!

Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живёт
Любовь не к истине, не к благу!
Народный глас — он Божий глас, —
Не он рождает в вас отвагу:
Он чужд, он странен, дик для вас.
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестью своею
Не вам её преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Загрёт неверный ваш язык:
Крепка, надёжна Русь святая,
И русский Бог ещё велик!

6 декабря 1844 г.

А.С. ХОМЯКОВ (1804—1860)

* * *

Не говорите: «То бывшее,
То старина, то грех отцов;
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».
Нет, этот грех — он вечно с вами,
Он в ваших жилах и в крови,
Он сросся с вашими сердцами,
Сердцами, мёртвыми к любви.
Молитесь, кайтесь, к небу длани!
За все грехи былых времён,
За ваши Каинские брани
Ещё с младенческих пелён;
За слёзы страшной той години,
Когда, враждой упоены,
Вы звали чуждые дружины
На гибель Русской стороны.
За рабство вековому плену,
За робость пред мечом Литвы,
За Новгород, его измену,
За двоедушие Москвы;
За стыд и скорбь святой царицы,
За узаконенный разврат,
За грех царя-святоубийцы,
За разорённый Новоград;
За клевету на Годунова,
За смерть и стыд его детей,
За Тушино, за Ляпунова,
За пьянство бешеных страстей;
За слепоту, за злодеянья,
За сон умов, за хлад сердец,
За гордость тёмного незнанья,

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

За плен народа; наконец,
За то, что, полные томленья,
В слепой сомнения тоске,
Пошли просить вы исцеленья
Не у Того, в Его ж руке
И блеск побед, и счастье мира,
И огонь любви, и свет умов, —
Но у бездушного кумира,
У мёртвых и слепых богов!
И, обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной!
За всё, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За тёмные отцов деянья,
За тёмный грех своих времён,
За все беды родного края, —
Пред Богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!

1845

С.Т. АКСАКОВ (1791—1859)

ПРИ ВЕСТИ О ГРЯДУЩЕМ
ОСВОБОЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН

(*Январь 1858 г.*)

Жребий брошен... Роковое
Слово выслушал народ...
Слово страшное, святое
Произнёс минувший год.

И смутилась Русь святая,
И задумалась она...
Чем же ты, страна родная,
Глубоко потрясена?

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Иль, не веруя в свободу,
Ты не смеешь говорить?
Иль боишься, что народу
Тяжелее будет жить?

С плеч твоих спадает бремя,
Докажи, что не рабой
Прожила ты рабства время,
А смирялась пред судьбой.

Перед Божиим посланьем,
В духе кротости, любви,
Жизнь считая испытаньем:
Бунта нет в твоей крови.

Покажи нам, как оковы
Скинешь ты с могучих ног,
Как пойдёшь ты в путь свой новый,
Как шагнёшь через порог,

О который спотыкались
Люди тысячу веков,
Где мечты изобличались
Человеческих умов.

Как проснётся жизнь народа,
Как прервётся тяжкий сон?
Тихая ль взойдёт свобода
И незыблемый закон?

В церковь ли пойдёшь с смиреньем,
Иль, начавши кабаком,
Все свои недоуменья
Порешешь ты топором?

Как узнать? Судеб народных
Не проникнуть в мрак и даль,
Не постичь путей исходных,
Богом вписанных в скрижаль.

1857

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

П.А. ВЯЗЕМСКИЙ (1792—1878)

* * *

Послушать: век наш — век свободы,
А в сущность глубже загляни —
Свободных мыслей коноводы
Восточным деспотам сродни.

У них два веса, два мерила,
Двойкий взгляд, двойкий суд:
Себе даётся власть и сила,
Своих наверх, других под спуд.

У них на всё есть лозунг строгой
Под либеральным их клеймом:
Не смей идти своей дорогой,
Не смей ты жить своим умом.

Когда кого они прославят,
Пред тем — колена преклони.
Кого они опалой давят,
Того и ты за них лягни.

Свобода, правда, сахар сладкий,
Но от плантаторов беда;
Куда как тяжки их порядки
Рабам свободного труда!

Свобода — превращеньем роли —
На их условном языке
Есть отреченье личной воли,
Чтоб быть винтом в паровике;

Быть попугаем однозвучным,
Который, весь оторопев,
Твердит с усердием докучным
Ему насвистанный напев.

Скажу с сознанием печальным:
Не вижу разницы большой

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Между холопством либеральным
И всякой барщиной другой.

1860

Ф.И. ТЮТЧЕВ (1803—1873)

НАШ ВЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

1851

* * *

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.

13 августа 1855 г.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

* * *

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная статья —
В Россию можно только верить.

1866

* * *

Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещения, а холопы.

Май 1867 г.

А.И. НЕСМЕЛОВ (1889—1945)

В ЭТОТ ДЕНЬ

В этот день встревоженный сановник
К телефону часто подходил,
В этот день испуганно, неровно
Телефон к сановнику звонил.
В этот день, в его мятежном шуме,
Было много гнева и тоски,
В этот день маршировали к Думе
Первые восставшие полки!
В этот день машины броневые
Поползли по улицам пустым,
В этот день... одни городовые
С чердаков вступились за режим!
В этот день страна себя ломала,
Не взглянув на то, что впереди,
В этот день царица прижимала

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Руки к холодеющей груди.
В этот день в посольствах шифровали
Первой сводки беглые кроки,
В этот день отменно ликовали
Явные и тайные враги.
В этот день... Довольно, Бога ради!
Знаем, знаем, — надломилась ось:
В этот день в отпавшем Петрограде
Мощного героя не нашлось.
Этот день возник, кроваво вспенен,
Этим днём начался русский гон, —
В этот день садился где-то Ленин
В свой запломбированный вагон.
Вопрошает совесть, как священник,
Обличает Мученика тень...
Неужели, Боже, нет прощенья
Нам за этот сумасшедший день?!

ЦАРЕУБИЙЦЫ

Мы теперь панихиды правим,
С пышной щедростью ладан жжём,
Рядом с образом лики ставим,
На поминки Царя идём.
Бережём мы к убийцам злобу,
Чтобы собственный грех загас,
Но послали Царя в трущобу
Не при всех ли, увы, при нас?
Сколько было убийц? Двенадцать,
Восемнадцать иль тридцать пять?
Как же это могло так стать —
Государя не отстоять?
Только горсточка этот ворог,
Как пыльцу бы его смело:
Верноподданными — сто сорок
Миллионов себя звало.
Много лжи в нашем плаче позднем,
Лицемернейшей болтовни,
Не за всех ли отраву возлил
Некий яд, отравлявший дни.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

И один ли, одно ли имя —
Жертва страшных нетопырей?
Нет, давно мы ночами злыми
Убивали своих Царей.
И над всеми легло проклятье,
Всем нам давит тревога грудь:
Замыкаешь ли, дом Ипатьев,
Некий давний кровавый путь?!

А.А. АХМАТОВА (1889—1966)

* * *

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так, что сделался каждый день
Поминальным днём, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

1915

* * *

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Польнью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час;
Но в мире нет людей бесслёзней,
Надменнее и проще нас.

1922

М.А. ВОЛОШИН (1877—1932)

МИР

С Россией кончено... На последях
Её мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволоч на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи,
Германцев с запада, Монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

23 ноября 1917 г.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Одни восстали из подполий,
Из ссылок, фабрик, рудников,
Отравленные тёмной волей
И горьким дымом городов.

Другие — из рядов военных,
Дворянских разорённых гнёзд,
Где проводили на погост
Отцов и братьев убиенных.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

В одних доселе не потух
Хмель незапамятных пожаров,
И жив степной, разгульный дух
И Разиных, и Кудяеров.

В других — лишённых всех корней —
Тлетворный дух столицы Невской:
Толстой и Чехов, Достоевский —
Надрыв и смута наших дней.

Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле...

В других весь цвет, вся гниль империй,
Всё золото, весь тлен идей,
Блеск всех великих фетишей
И всех научных суеверий.

Одни идут освобождать
Москву и вновь сковать Россию,
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.

В тех и в других война вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель разгула,
А вслед героям и вождям
Крадётся хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и продать врагам:

Сгноить её пшеницы груды,
Её бесчестить небеса,
Пожрать богатства, сжечь леса
И высосать моря и руды.

И не смолкает грохот битв
По всем просторам южной степи
Средь золотых великолепий
Конями вытоптаных жнитв.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами».

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

21 ноября 1919 г.

Коктебель

Часть I

КОНСЕРВАТИЗМ VS ЛИБЕРАЛИЗМ: МИР *или* ВОЙНА?

ЦИТАТЫ: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

После того, что произошло в России, мы, русские люди, не имеем никакого основания гордиться тем, что мы ни в чём не передумали и ничему не научились, что мы остались верны нашим доктринам и заблуждениям, прикрывавшим просто наше недомыслие и наши слабости. *России не нужны партийные трафареты!* Ей не нужно слепое западничество! Её не спасет славянофильское самодовольство! России нужны свободные умы, зоркие люди и новые, религиозно укоренённые творческие идеи. И в этом порядке нам придётся пересматривать и обновлять все основы нашей культуры.

И. А. Ильин

Разница между консерваторами и либералами: у первых слова хуже мыслей, у вторых мысли хуже слов, т.е. первые не хотят хорошенько сказать, что думают, а вторые не умеют понять, что говорят.

*

Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь её.

*

На что им либерализм? Они из него не могут сделать никакого употребления, кроме злоупотребления.

В. О. Ключевский

Консерваторство... есть постоянное усовершенствование, всегда опирающееся на очищающуюся старину. Совершенная остановка невозможна, а разрыв губелен.

А. С. Хомяков

Быть просто консерватором в наше время было бы трудом напрасным. Можно любить прошлое, но нельзя верить в его даже приблизительное возрождение.

К. Н. Леонтьев

Консерватизм поддерживает связь времён, не допускает окончательного разрыва в этой связи, соединяет будущее с прошлым... Он верит в существование нетленной и неистребимой глубины. У великих гениев и творцов был этот консерватизм глубины. Никогда не могли они держаться на революционной поверхности.

*

Консервативное начало само по себе не противоположно развитию, оно только требует, чтобы развитие было органическим, чтобы будущее не истребляло прошедшего, а продолжало его развивать.

Н. А. Бердяев

Чисто отрицательное отношение к правительству, систематическая оппозиция — признак детства политической мысли.

Б. Н. Чичерин

Этот закон, эти организации могут быть затеяны из побуждений самых либеральных, но, тем не менее, налагаемые извне, они деспотически посягают на быт и искажают самое свойство свободы.

И. С. Аксаков

Исходя из убеждения в годности основных начал своего общественного строя, консерватор соглашается на отмену только таких учреждений, которые сделались абсолютно непригодными для государства, препятство-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

вали бы его дальнейшему развитию, и старается, чтобы новые учреждения, сколько возможно, соответствовали бы началам историческим.

А.Д. Градовский

Ошибочно, господа, точно так же подходить к каждому вопросу, примеряя его к существующим образцам — либеральным, реакционным или консервативным.

Наша оппозиция привыкла прикасаться к каждому правительственному законопроекту особой лакмусовой бумажкой и затем пристально приглядываться — покраснела она или посинела. Напрасно. Меры правительства могут быть только государственными, и меры эти, меры государственные, могут оказаться консервативными, но могут быть и глубоко демократичны.

П.А. Столыпин

Лично я боюсь больше всего преобладания между членами Государственной думы теоретиков, будут ли они из либералов или из консерваторов...

Д.И. Менделеев

Н.М. КАРАМЗИН (1766—1826)

<Мысли об истинной свободе>

Можно ли в нынешних книгах или журналах (книги не достойны своего имени, ибо не переживают дня), можно ли в них без жалости читать пышные слова: настало время истины; истиною всё спасём; истиною всё ниспровергнем... Но когда же было время не истины? когда не было Провидения и вечных его уставов? — Умные безумцы! и вы не новое на земле явление; вы говорили и действовали ещё до изобретения букв и типографий!.. Настало время истины: т.е. настало время спорить об ней!

Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? Вы все Августы, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод.

Аристократы! вы доказываете, что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабых и бедных; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользе голода. Дайте нам чувство, а не теорию. — Речи и книги Аристократов убеждают Аристократов; а другие, смотря на их великолепие, скрежешут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу Аристократии: палица, а не книга! — Итак, сила выше всего? Да, всего, кроме Бога, дающего силу!

Либералисты! Чего вы хотите? Счастья людей? Но есть ли счастье там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти?

Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание.

Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту свободу даёт не Государь, не Парламент, а каждый из

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

нас самому себе, с помощью Божию. Свободу мы должны завоевать в своём сердце миром совести и доверенностью к провидению!

1826

Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка.

СПб., 1862. С. 194—195

Б. Н. ЧИЧЕРИН (1828—1904)

Различные виды либерализма

<...> Идея свободы сосредоточивает в себе всё, что даёт цену жизни, всё, что дорого человеку. Отсюда то обаяние, которое она имеет для возвышенных душ, отсюда та неудержимая сила, с которой она охватывает в особенности молодые сердца, в которых пылает ещё весь идеальный жар, отделяющий человека от земли. Глубоко несчастлив тот, чьё сердце в молодости никогда не билось за свободу, кто не чувствовал в себе готовности с радостью за неё умереть. Несчастлив и тот, в ком житейская пошлость задушила это пламя, кто, становясь мужем, не сохранил уважения к мечтам своей юности. <...>

В зрелом возрасте идея свободы очищается от легкомыслия, от самонадеянного отрицания, от своеволия, не признающего над собой закона, оно сдерживается пониманием жизни, приравнивается к её условиям, но она не исчезает из сердца, а, напротив, глубже и глубже пускает в нём корни, становясь твёрдым началом, которое не подлежит колебаниям и спокойно управляет жизнью человека.

Целые народы чувствуют на себе это могущественное влияние идеи, как показывает история. Свобода внезапно объёмлет своим дыханием народ, как бы пробудившийся ото сна. Перед ним открывается новая жизнь. Стряхнув с себя оковы, он встаёт возрождённый. <...> он с неодолимой силой низвергает все преграды и несёт зажжённое им пламя по всем концам света. Но железная необходимость скоро сдерживает эти порывы и возвращает свободу к той стройной гармонии, к тому разумному порядку, к тому

сознательному подчинению власти и закону, без которого немыслима человеческая жизнь. Волнуясь и ропща, поток мало-помалу вступает в своё русло, но свобода не перестаёт бить ключом и даровать свежесть и силу тем, которые приходят утолять духовную жажду у этого источника.

Мы, давнишние либералы, вскормленные на любви к свободе, радуемся новому либеральному движению в России. Но мы далеки от сочувствия всему, что говорится и делается во имя свободы. Часть её и не узнаешь в лице самых рьяных её обожателей. Слишком часто насилие, нетерпимость и безумие прикрываются именем обязательной идеи, как подземные силы, надевшие на себя доспехи олимпийской богини. **Либерализм является в самых разнообразных видах, и тот, кому дорога истинная свобода, с ужасом и отвращением отступает от тех уродливых явлений, которые выдвигаются под её знаменем.**

Обозначим главные направления либерализма, которые выражаются в общественном мнении.

Низшую ступень занимает либерализм уличный; это скорее извращение, нежели проявление свободы. **Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия. Он прежде всего любит шум; ему нужно волнение для волнения. Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью. Где слышны яростные крики, неразборчивые и неистощимые ругательства, там, наверное, колышется и негодует уличный либерализм. Он жадно сторожит каждое буйство, он хлопает всякому беззаконию, ибо самое слово «закон» ему ненавистно. Он приходит в неистовый восторг, когда узнает, что где-нибудь произошёл либеральный скандал, что случилась уличная схватка в Мадриде или Неаполе: знай наших! Но терпимости к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего, что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни, от него не ожидайте. Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов. Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться плодом свободной мысли, благородного чувства. Отличительные черты уличного либерала те, что он всех**

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

своих противников считает подлецами. Низкие души понимают одни лишь подлые побуждения. Поэтому он и на средства неразборчив. Он ругает во имя свободы, но здесь не мысль, которая выступает против мысли в благородном бою, ломая копья за истину, за идею. Всё вертится на личных выходках, на ругательствах; употребляются в дело бессовестные толкования, ядовитые намёки, ложь и клевета. Тут стараются не доказать, а отделать, уязвить или оплевать. Иногда уличный прикидывается джентльменом, надевает палевые перчатки и как будто готовится рассуждать. Но при первом столкновении он отбрасывает несвойственные ему помыслы, он входит в настоящую свою роль. Опьянённый и бездумный, он хватается за всё, кидает чем попало, забывая всякий стыд, потерявши чувство приличия. <...> он чувствует себя дома только в кабаке, в грязи, которой он старается закидать всякого, кто носит чистое платье. Все должны подойти под один уровень, одинаково низкий и подлый. **Уличный либералист питает непримиримую ненависть ко всему, что возвышается над толпой, ко всякому авторитету. Ему никогда не приходило на ум, что уважение к авторитету есть уважение к мысли, к труду, к таланту, ко всему, что даёт высшее значение человеку, а может быть, он именно потому и не терпит авторитета, что видит в нём те преобразовательные силы, которые составляют гордость народа и украшение человека.** Уличному либералу наука кажется насилием, нанесённым жизни, искусство — плодом аристократической праздности. Чуть кто отделился от толпы, направляя свой полёт в верхние области мысли, познания и деятельности, как уже в либеральных болотах слышится шипение пресмыкающихся.

Презренные гады вздымают свои змеиные головы, вертят языком и в бессильной ярости стараются излить свой яд на всё, что не принадлежит к их завистливой семье. <...>

Второй вид либерализма можно назвать *либерализм оппозиционный*. Но, Боже мой! Какая тут представляется смесь людей! Самые разнородные побуждения, самые разнородные типы — от Собакевича, который уверяет, что один прокурор — порядочный человек, да и тот свинья, до

помещика, негодующего за отнятие крепостного права, до вельможи, впавшего в немилость и потому кинувшегося в оппозицию, пока не воссияет над ним улыбка, которая снова обратит его к власти! **Кому не знакомо это критическое настроение русского общества, этот избыток оппозиционных излияний, которые являются в столь многообразных формах, в виде бранчливого неудовольствия с патриархальным и невинным характером; в виде презрительной иронии и ядовитой усмешки, которая показывает, что критик стоит где-то далеко впереди, бесконечно выше окружающих в мире; в виде глумления и анекдотцев, обличающих тёмные козни бюрократов; в виде неистовых нападков, при которых в одно и то же время с одинаковой яростью требуются совершенно противоположные вещи; в виде поэтической любви к выборному началу, к самоуправлению, к гласности; в виде ораторских эффектов, сопровождаемых величественными позами; в виде лирических жалоб, прикрывающих лень и пустоту; в виде бесконечного стремления говорить и суесться, в котором так и проглядывает огорчённое самолюбие, желание придать себе важность; в виде злорадства при всякой дурной мере властей, при всяком зле, постигающем отечество; в виде вольнолюбия, всегда готового к деспотизму, и подавленности, всегда готовой ползать и поклоняться. Не перече́шь тех бесчисленных оттенков оппозиции, которыми изумляет нас Русская земля. Но мы хотим говорить не об этих жизненных проявлениях разнообразных наклонностей человека; для нас важен оппозиционный либерализм как общее начало, как известное направление, которое коренится в свойствах человеческого духа и выражает одну из сторон или первоначальную степень свободы.**

Самое умеренное и серьёзное либеральное направление не может не стоять в оппозиции к тому, что нелиберально. Всякий мыслящий человек критикует те действия или меры, которые не согласны с его мнением. Иначе он отказывается от свободы суждения и становится присяжным служителем власти. Но не эту законную критику, вызванную тем или другим фактом, разумеем мы под именем

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

оппозиционного либерализма, а то либеральное направление, которое систематически становится в оппозицию, которое не ищет достижения каких-либо политических требований, а наслаждается самим блеском оппозиционного положения. В этом есть своего рода поэзия, есть чувство независимости, есть отвага, есть, наконец, возможность более увлекающей деятельности и более широкого влияния на людей, нежели какие представляются в тесном круге, начертанном обыкновенной практикой, жизнью. Всё это невольно соблазняет человека. Прибавим, что этого рода направление усваивается гораздо легче всякого другого. Критиковать несравненно удобнее и приятнее, нежели понимать. Тут не нужно напряжённой работы мысли, альтернативного и отчётливого изучения существующего, разумного постижения общих жизненных начал и общественного устройства; не нужно даже действовать: достаточно говорить с увлечением и позировать с некоторым эффектом.

Оппозиционный либерализм понимает свободу с чисто отрицательной стороны. Он отрешился от данного порядка и остался при этом отрешении. Отменить, разрешить, уничтожить — вот вся его система. Дальше он не идёт, да и не имеет надобности идти. Ему верхом благополучия представляется освобождение от всяких законов, от всяких стеснений. Этот идеал, неосуществимый в настоящем, он переносит в будущее или в давно прошедшее. В сущности, это одно и то же, ибо история, в этом воззрении, является не действительным фактом, подлежащим изучению, не жизненным процессом, из которого вытек современный порядок, а воображаемым миром, в который можно вместить всё, что угодно. До настоящей же истории оппозиционный либерализм не охотник. Отрицая современность, он по этому самому отрицает и то прошедшее, которое её произвело. Он в истории видит только игру произвола, случайности, а пожалуй, и человеческое безумие. К тому же настроению, мысли принадлежит и поклонение неизведанным силам, лежащим в таинственной глубине народного духа. Чем известное начало дальше от существующего

порядка, чем оно общее, неопределённое, чем глубже скрывается во мгле туманных представлений, чем более поддается произволу фантазии, тем оно дороже для оппозиционного либерализма.

Держась отрицательного направления, оппозиционный либерализм довольствуется весьма немногосложным боевым снаряжением. Он подбирает себе несколько категорий, на основе которых он судит обо всём, он сочиняет себе несколько ярлычков, которые целиком наклеивает на явления, обозначая тем похвалу или порицание. Вся общественная жизнь разбивается на два противоположных полюса, между которыми проводится непроходимая и неизменная черта. Похвалу означают ярлычки: община, мир, народ, выборное начало, самоуправление, гласность, общественное мнение и т.п. Какие положительные факты и учреждения под этим понимаются, ведает один Бог, да и то вряд ли. Известно, что всё идёт как нельзя лучше, когда люди всё делают сами. Только неестественное историческое развитие да аристократические предрассудки, от которых надо бы избавиться, виноваты, что мы не сами шьём себе платье, готовим себе обед, чиним экипажи. Одно возвращение к первобытному хозяйству, к первобытному самоуправлению может водворить благоденствие на земле. Этим светлым началам, царству Ормузда, противопоставляются духи тьмы, царства Аримана. Эти мрачные демоны называются: централизация, регламентация, бюрократия, государство. Ужас объемлет оппозиционного либерала при звуке этих слов, от которых всё горе человеческому роду. Здесь опять не нужно разбирать, что под ними разумеется; к чему такой труд? Достаточно приклеить ярлычок, сказать, что это — централизация или регламентация, — и дело осуждено безвозвратно. У большей части наших оппозиционных либералов весь запас мыслей и умственных сил истощается этой игрой в ярлычки.

В практической жизни оппозиционный либерализм держится тех же отрицательных правил. Первое и необходимое условие — не иметь ни малейшего соприкосновения с властью, держаться как можно дальше от неё. Это не зна-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

чит, однако, что следует отказываться от доходных мест и чинов. Для природы русского человека такое требование было бы слишком тяжело. Многие и многие оппозиционные либералы сидят на тёплых местечках, надевают придворный мундир, делают отличную карьеру и, тем не менее, считают долгом, при всяком удобном случае, бранить то правительство, которому они служат, и тот порядок, которым они наслаждаются. Но чтобы независимый человек дерзнул сказать слово в пользу власти — Боже упаси! Тут поднимется такой гвалт, что и своих не узнаешь.

Это — низкопоклонство, честолюбие, продажность. Известно, что всякий порядочный человек должен непременно стоять в оппозиции и ругаться.

Затем следует план оппозиционных действий. Цель их вовсе не та, чтобы противодействовать положительному злу, чтобы практическим путём, соображаясь с возможностью, добиться исправления. Оппозиция не нуждается в содержании. Всё дело общественных двигателей состоит в том, что[бы] агитировать, вести оппозицию, делать демонстрации и манифестации, выкидывать либеральные фокусы, устроить какую-нибудь шутку кому-нибудь в пику, подобрать статью свода законов, присвоив себе право произвольного толкования, уличить квартального в том, что он прибил извозчика, обойти цензуру статейкою с таинственными намёками и либеральными эффектами или, ещё лучше, напечатать какую-нибудь брань за границей, собирать вокруг себя недовольных всех сортов, из самых противоположных лагерей, и с ними отводить душу в невинном свирепении, в особенности же протестовать при малейшем поводе и даже без всякого повода. Мы до протестов большие охотники. Оно, правда, совершенно бесполезно, но зато и безвредно, а между тем выражает благородное негодование и усладительно действует на огорчённые сердца публики.

Оппозиция более серьёзная, нежели та, которая является у нас, нередко впадает в рутину оппозиционных действий и тем подрывает свои кредиты и заграждает себе возможность влияния на общественные дела. **Правитель-**

ство всегда останется глухо к тем требованиям, которые относятся к нему чисто отрицательно, упуская из виду собственное его положение и окружающие его условия. Такого рода отношение почти всегда бывает в странах, где оппозиционная партия не имеет возможности сама сделаться правительством и приобрести практическое знакомство со значением и условиями власти. Постоянная оппозиция неизбежно делает человека узким и ограниченным. Поэтому, когда наконец открывается поприще для деятельности, предводители оппозиции нередко оказываются неспособными к правлению, а либеральная партия, по старой привычке, начинает противодействовать своим собственным вождям, как скоро они стали министрами.

Когда либеральное направление не хочет ограничиваться пустословием, если оно желает получить действительное влияние на общественные дела, оно должно начать с иных начал, начал зиждущих, положительных, оно должно приноравливаться к жизни, но черпать уроки из истории; оно должно действовать, понимая условия власти, не становясь к ней в систематически враждебное отношение, не предъявляя безрассудных требований, но сохраняя беспристрастную независимость, побуждая и задерживая, где нужно, и стараясь исследовать истину хладнокровным обсуждением вопросов. Это и есть либерализм охранительный.

Свобода не состоит в одном приобретении и расширении прав. Человек потому только имеет права, что он несёт на себе обязанность, и, наоборот, от него можно требовать исполнения обязанностей единственно потому, что он имеет права. Эти два начала неразрывные. Всё значение человеческой личности и вытекающих из неё прав основано на том, что человек есть существо разумно-свободное, которое носит в себе сознание верховного нравственного закона и в силу свободной своей воли способно действовать по представлению долга. Абсолютное значение закона даёт абсолютное значение и человеческой личности, его сознающей. Отнимите у человека это сознание — он становится наряду с животными, которые повинуются влече-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ниям и не имеют прав. К ним можно иметь привязанность, сострадание, а не уважение, потому что в них нет бесконечного элемента, составляющего достоинство человека.

Но верховный нравственный закон, идея добра, это непререкаемое условие свободы, не остаётся отвлечённым началом, которое действует на совесть и которому человек может повиноваться по своему усмотрению. Идея добра осуществляется во внешнем мире; она соединяет людей в общественные союзы, в которых люди связываются постоянной связью, подчиняясь положительному закону и установлениям власти. Каждый человек рождается членом такого союза. Он получает в нём положительные права, которые все обязаны уважать, и положительные обязанности, за нарушение которых он подвергается наказанию. Личная его свобода, будучи неразрывно связана со свободой других, может жить только под сенью гражданского закона, повинаясь власти, его охраняющей. **Власть и свобода точно так же нераздельны, как нераздельны свобода и нравственный закон. А если так, то всякий гражданин, не преклоняясь безусловно перед властью, какова бы она ни была, во имя собственной свободы обязан уважать существование самой власти.**

«Немного философии, — сказал Бэкон, — отвращает от религии, более глубокая философия возвращает к ней». Эти слова можно применить к началу власти. Чисто отрицательное отношение к правительству, систематическая оппозиция — признак детства политической мысли. Это первое её пробуждение. Отрешившись от безотчётного погружения в окружающую среду, впервые почувствовав себя независимым, человек радуется необъятной радостью. Он забывает всё, кроме своей свободы. Он оберегает её жадно, как недавно приобретенное сокровище, боясь потерять из неё малейшую частичку. Внешние условия и ограничения для него не существуют. Историческое развитие, установленный порядок, всё это — отвергнутая старина; это — сон, который предшествовал пробуждению. Человек в себе самом видит центр Вселенной и исполнен безграничного доверия к своим силам. Но когда чувство

свободы возмужало и глубоко укоренилось в сердце, когда оно утвердилось в нём незыблемо, тогда человеку нечего опасаться за свою независимость. Он не сторожит её боязливо, потому что это — не новое, не внешнее приобретение, а сама жизнь его духа, мозг его костей. Тогда лишь раскрывается перед ним отношение этого внутреннего центра к окружающему миру. Он не отрешается от последнего в своевольном порыве, но, сохраняя бесконечную свободу мысли и непоколебимую твёрдость совести, он сознает связь своего внутреннего мира с внешним; он постигает зависимость своей внешней свободы от свободы других, от исторического порядка, от положительного закона, от установленной власти. История и современность не представляются ему произведением бесконечного произвола и случайности, предметом ненависти и отрицания. Уважая свободу других, он уважает и общий порядок, который вытек из свободы народного духа, из развития человеческой жизни. За отрицанием следует примирение, за отрешением от начал, владычествующих в мире, — возвращение к ним, но возвращение не бессознательное, как прежде, а разумное, основанное на постижении истинного их существа и возможности дальнейшего хода. Разумное отношение к окружающему миру составляет положительный плод и высшее проявление человеческой свободы. Оно же и необходимое условие для её водворения в обществе. Свобода не является среди людей, которые делают из неё предлог для шума и орудие интриг. Неистовые крики её прогоняют, оппозиция без содержания не в силах её вызвать. Свобода основывает своё жилище только там, где люди умеют ценить её дары, где в обществе утвердились терпимость, уважение к человеку и поклонение высшим силам, в которых выражается свободное творчество человеческого духа.

Сущность охранительного либерализма состоит в примирении начала свободы с началами власти и закона. В политической жизни лозунг его: либеральные меры и сильная власть — либеральные меры, представляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечивающие

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

права и личность граждан, охраняющие свободу мысли и свободу совести, дающие возможность высказаться всем законным желанием, — сильная власть, блюстительница государственного единства, связующая и сдерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, пресекающая всякое его нарушение, внушая гражданам уверенность, что во главе государства есть твёрдые руки, на которые можно надеяться, и разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы и против напора анархических стихий, и против воплей реакционных партий.

В действительности государство с благоустроенным общежитием всегда держится сильной властью разве что в те моменты, когда оно склоняется к падению или подвергается временному расстройству. Но и временное ослабление власти ведёт к более энергичному её восстановлению. Горький опыт научает народы, что им без сильной власти обойтись невозможно, и тогда они готовы кинуться в руки первого деспота. Они же обличают всю несостоятельность оппозиционного либерализма. Отсюда то обыкновенное явление, что те же самые либералы, которые в оппозиции ратовали против власти, получив правление в свои руки, становятся консерваторами. Это считается признаком двоедушия, низкопоклонства, честолюбия, отрекающегося от своих убеждений. Всё это, без сомнения, слишком часто справедливо, но тут есть и более глубокие причины, которые заставляют самого честного либерала впасть в противоречие с собою. Необходимость управлять на деле раскрывает все те условия власти, которые упускают из виду в оппозиции. Тут недостаточно производить агитацию; надобно делать дело, нужно не разрушать, а устраивать, не противодействовать, а скреплять, и для этого требуются положительные взгляды и положительная сила. Либерал, облечённый властью, поневоле бывает принуждён делать именно то, против чего он восставал, будучи в оппозиции. <...>.

Чичерин Б.Н. Различные виды либерализма. М., 1862

И.С. АКСАКОВ (1823—1886)

Программа наших либералов

Часть I. КОНСЕРВАТИЗМ VS ЛИБЕРАЛИЗМ: МИР ИЛИ ВОЙНА?

Вот уже почти полтора года, с памятной эпохи «либеральных» веяний, как наша печать ведёт если не бурные, то по крайней мере запальчивые споры политического содержания; как выкинуто знамя какого-то «либерализма» и целый сонм газет и журналов с самодовольной осанкой возглашает про себя: «Мы, либеральная печать!» Противники их не величались никаким именованием, не принимали ни одной из кличек, расточаемых им из враждебного лагеря, даже клички серьёзного свойства, в роде «охранительной» или «консервативной печати», — вообще не заключали между собою никакого союза, не обнаружили никакой попытки сложиться в какую-либо «партию». По крайней мере, газета «Русь», имеющая честь подвергаться едва ли не более всех дружному натиску «либеральной прессы», может сказать про себя прямо, что никакой «партии» органом не состоит и что, по её мнению, для того направления, которого она держится, — направления русского, национального или народного, самое понятие о *партии слишком узко...*

Но так как враждующая с «Русью» печать постоянно украшает себя названием «партии либеральной», щеголяет им открыто, причём даже исключительно этой партии присваивает и титул «интеллигенции», то самое это притязание невольно вызывает нас на серьёзные требования и вопросы. Что же такое написано на знамени этой партии? Какие именно начала, политические или социальные (о нравственных говорить неуместно), она проповедует, проводит в сознании и в жизни? Какие, по крайней мере, главные положения, за которые она ратует?... Вопросы, по-видимому самые естественные, простые, законные... Но вообразите, читатель, что отвечать на них не только мудрено, проще сказать — ровно нечего! Как бы вы ни вникали, ни вдумывались в словоизлияния писателей этой партии, вам не удастся уловить, особенно в настоящую

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

пору, никакого определённого содержания. Ничего, кроме разных почтенных слов, в роде: «прогресс», «культура», «цивилизация», «гуманность», — слов, обратившихся от частого, неуместного и неумелого повторения в общее место, — недомолвок, да намёков, тонких намёков на то,

Чего не ведаёт никто,

и ведаёт менее всех сама «партия...». Напрасно старались бы вы разобрать, что написано на знамени. Было что-то написано на знамени. Было что-то написано, да частью выщелово, полиняло, частью стёрто, переправлено, заменено какими-то новыми письменами, но краски не вышли... Однако же, так как знамя всё же стоит и литературный лагерь, именуемый себя «либеральным», всё существует, — напряжём усилия и попытаемся, с своей стороны, возобновляя в памяти всё это недавнее прошлое и сличая его с настоящим, выяснить себе, по возможности, чего он хотел или ещё хочет, чего ради шумит и суетится и чего именно чаёт...

В деятельности наших «либеральных» газет необходимо различать две стороны: *положительную* и *отрицательную*. Займёмся пока последней. По части *отрицания* мы и не думаем умалять их заслуги, но отрицание отрицанию рознь. «Отрицательное» направление не составляет исключительной привилегии этого лагеря. Самыми могучими выразителями отрицательного отношения к русским административным и общественным нравам, казёнщине и пошлости русского внутреннего строя явились в нашей литературе Грибоедов и Гоголь, но никто, однако же, не зачислит их в один стан с «Голосом», «Порядком» или «Русским курьером»! Ибо у обоих писателей рядом с отрицанием слышатся идеалы положительного свойства, не имеющие ничего общего с идеалами современного европействующего «либерализма»: у Грибоедова (осмеявшего между прочим и «либералов» своей эпохи, «либералов Английского клуба»), от которых недалеко ушли «либералы» нашей поры) выступает, как противоположение отрицанию, идеал народности, а у Гоголя — идеал религиозно-нравственный. У наших же «отрицателей», «Голоса» и К°, никакого положительного идеала не слышится и не чувствуется,

никакой *твёрдой* основы для него ни в жизни, ни в сознании не указывается, — оттого и самое отрицание представляется односторонним и в известной степени тенденциозным. Иное дело — *обличение* прискорбных фактов нашей административной практики и общественной жизни, — обличение, бесспорно, нужное и полезное; иное дело — *выводы* из фактов и обобщение их в связи с мнимо-либеральными теориями. Эти выводы большею частью или просто несостоятельны сами по себе, или же переходят в грубое отрицательное отношение ко всем проявлениям *русского* народного духа, — в проповедь об его беспомощности и бессилии — вне «европейской культуры» и всего, что мыслится в связи с нею. Покойный «Порядок» так-таки прямо и называл, даже с некоторым наивным самодовольством, направление «либеральное» — направлением по преимуществу «отрицательным»! «Либеральная» печать раскрыла, например, множество случаев *хищения*, между прочим, земель в Уфимской губернии, очень негодовала по этому поводу и восставала на нашу администрацию за её бездействие: всё это было вполне основательно и полезно; чувства или воззрения, выраженные при этом «либеральною» печатью, весьма, конечно, похвальны и весьма благородны, — в этом мы отдаём им полную справедливость, хотя позволительно думать, что подобные хорошие чувства одушевляют всех русских литераторов и публицистов без различия лагерей и направлений. Но в «либеральной» печати к этому обличению примешивалось и некоторое злорадство, так как все эти факты могли, по видимому, служить на пользу её «либеральной» политической проповеди: вот почему, почти всегда минуя явления добрые или умаляя их значение, эта пресса с особенным тщанием подбирала и при сей верной оказии обобщала всякие случаи отрицательного оттенка. Они были ей на руку; она немедленно обращала их в посылку, на которой и строила силлогизм — именно такого смысла: что всё зло — в отсутствии «европейского правового порядка» — или «европейских либеральных учреждений», в «недовенчании здания по образцу Европы» и всё спасение — в евро-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

пеизме. Повторялось, одним словом, только в форме более современной и учёной то, что давно выражено стихом Грибоедова: «что нам без немцев нет спасенья»; умнее этого ничего не придумала и не высказала наша «либерально-отрицательная пресса»... Заметим уж кстати, что в Северо-Американской республике, где «культура» достигла высшей степени своего развития, а «правовые порядки» представляются идеалом даже и для доктринёров либерализма в самой Западной Европе, «хищение» доросло до таких размеров, пред которыми почти бледнеют хищения российские, возведено на степень такого могущества, пред которым бессильна верховная власть. Но это мимоходом, а мы, рассуждая о нашей «либеральной печати», не можем не обратить внимания на следующую странность: когда наконец хищения земель в России навлекли на себя грозную правительственную кару и власть твёрдою рукою положила им предел, «Голос» заголосил вдруг языком мира и любви, запел о необходимости устранять теперь всякую вражду и рознь, о необходимости снисхождения, забвения, чуть не прощения... Что же из всего этого можно вывести? То, очевидно, что обличение зла вызвано было не одним желанием устранить его и покарать виновных на страх другим, а надеждою послужить этим обличением успеху «либеральной программы»... Кажется, этого примера из сотни других достаточно для определения характера обличений и вообще отрицательной деятельности «либеральной печати»... Наоборот, когда дело касалось таких прискорбных явлений нашей жизни, в которых замешаны были национальности, покровительствуемые «либералами», например евреи или поляки, симпатии «либералов» были на стороне этих национальностей, а гнев обрушивался, как водится, на варварство одичавшего от недостатка «культуры» и «правового порядка» русского народа. <...>

Наконец, множество тёмных явлений чисто общественного характера, неизвестно почему, постоянно пристёгиваются нашими «либеральными» газетами к их политическим либеральным теориям. Кулаки и ростовщики в народе, Разуваевы, Колупаевы, Дракины и т.п., обличая которых

значительная часть этой печати словно поёт какую-то победную песнь, без сомнения, отвратительны, но они суть продукта нашего общества, нашей общественной порчи; поэтому и удары обличителей совершенно неверно направляются по адресу «администрации», а должны падать не на кого другого, как на нас самих (заметим кстати, что типы эксплуататоров — своеобразные, но не менее безобразные, имеются во всех «просвещённых» странах). Странное дело: вздумает власть, ввиду таких обличений, усилить административную опеку, — ей тотчас же начнут проповедовать об оздоровляющем свойстве жизни, предоставленной самой себе, и указывают на вред вмешательства внешней власти в дело быта. Попробуйте, ради помощи народу в его борьбе с кулаками и ростовщиками, предложить возобновление чего-нибудь в роде бывшего института мировых посредников, либеральная печать хором обвинит вас в крепостничестве!.. Чего же, собственно, нужно, в чём целение? Никакого путного ответа от «либералов» добиться нельзя: виновато всё-таки не общество само, а администрация или отсутствие «правового порядка»!.. Но излюбленные ими парламентарные формы уже преподаны и земскому и городскому самоуправлению, однако же не избавили ни земство от Дракиных, ни города от вопиющих злоупотреблений... Кто же тут-то виноват? Казалось бы, мы сами... Нет, по мнению «либералов», виновато... Что? Кто? *Начальство?!..* Добраться толку невозможно: слышатся только опять восхваления европейскому правовому порядку и тонкие речи об увенчании здания...

Много нужно терпения, чтоб разобраться во всём этом заносчивом пустословии нашей «либеральной» печати, чтобы отыскать в нём какое-нибудь определённое положение, способное хоть по-видимому стать объектом обсуждения и спора. Постараемся же теперь сами исследовать — где и в чём её «положительная программа», так как «либеральная» печать всё ещё не соглашается чистосердечно признать, что в настоящую пору таковой, в сущности, и не имеется.

Шибко жило общественное сознание в эти прошлые 18, 16 месяцев, но в особенности в течение последних двенад-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

цати. Для «либерализма» наших газет или их «либеральных» политических теорий была в этот короткий период времени и своя весна, когда публика упивалась либеральными терминами и тешилась туманными призраками в неясной дали, даже не подвергая их пристальному рассмотрению, тем менее строгому исследованию, — и своя осень. Юношеская пора этого «либерализма», даже минув период возмужания, перешла быстро в старость и одряхление. Термины изнасились, опошлись, призраки, при первом прикосновении с действительностью, рассеялись, истаяли на дневном свете жизни. Чувствуя, что почва ускользает у них из-под ног, наши остроумные «либералы» стали менять и термины, и отчасти понятия, но вышло только, что совершенно сбились со своих позиций и теперь болтаются ногами по воздуху, тщетно отыскивая себе твёрдую точку опоры. Всё это совершилось даже без всякой проверки *опыта*, хотя, может быть, и не без вразумления событий и явлений текущей жизни, — и в этом, точно, можно признать действительный и утешительный для нашего общества шаг вперёд, хотя наши «либералы» (которые теперь, по почину «Голоса», начинают менять эту свою кличку на «прогрессистов») и кричат, что наше общество только попятилось...

За что же стоит «либеральная партия»? За «прогресс», говорят нам, за «цивилизацию», за «культуру», за «развитие и процветание науки и знаний в нашем отечестве, на степени, равной с Европой», тогда как противники этой партии стоят-де за возвращение к временам татарщины, за изгнание наук и знаний из России, за невежество. Прекрасно. Вычеркнем слово *прогресс*, как не имеющее само по себе определённого смысла, ибо прогресс бывает и при дифтерите, при всякой болезни, при всяком зле: так прогрессивный ход материализма, например, ведёт к отрицанию всякого идеализма, всякой обязательности нравственного закона, к одичанию; так, герои динамита, анархисты-сокрушители, несомненно, прогрессисты по отношению к нигилистам в роде Базарова. О цивилизации, в смысле смягчения грубости нравов, никто, кажется, никогда и не

спорил; но о цивилизации в смысле замены добрых, чистых нравов — разворотом или благочестивых занятий, скажем, хоть лучших наших сектантов (благо они у нашей либеральной печати внезапно теперь стали в почёте) — слушанием каскадных певиц в кафешантанах, думаем, возможны и законны разные точки зрения. Что же касается «культуры», то если отождествлять понятие о ней с воздействием наук и знаний и домогаться такого же её процветания, как в Европе, то нельзя не поразиться странным недомыслием наших «либералов» <...>.

Кто хочет результата («культуры»), тот, казалось бы, должен логически признать и самое основание. Наши же наивнейшие из людей, «либераль» требуют от России процветания науки наравне с Европой, но без той школы, которую обусловлено это процветание, требуют развития, по выражению Герцена, «науки прикладной — без науки научной!» В результате всей этой якобы либеральной защиты высшей научной культуры выходит лишь то, что благодаря нашим «либералам» уважение к строгой школе в обществе и среди молодёжи постоянно колеблется, нововозникающие на Западе гипотезы пускаются в оборот под видом научных аксиом или «последнего слова науки», ученики мнят себя быть и нашими «либералами», чествуются чуть ли не полноправными учителями, призванными и способными решить и вершить величайшие вопросы нашего отечества!...

Пойдём далее. Либеральные газеты превозносятся, что на их знамени начертано: «свобода печати», «религиозная веротерпимость», твёрдость «личных и имущественных прав». Но едва ли кто в нашей печати ратовал за её свободу сильнее редактора «Руси», защищавшего эту свободу даже пред лицом Правительствующего Сената, как о том свидетельствует напечатанный в «Руси» прошлого года процесс «Москвы». Не «Русь» ли также, по поводу прошлогодней приостановки «Голоса», вновь выступила поборницей широкого простора слова? Разумеется, в её понятиях свобода слова не есть свобода злословия и срамословия; да и вообще эта свобода состоит, очевидно, в зависимости не

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

столько от внешнего закона (трудно поддающегося формуле), сколько от общественных нравов... Опять же не редактор ли «Руси» ещё в «Дне», а потом в «Москве», не говоря уже о самой «Руси», отстаивал свободу верующей совести и терпимость по отношению к расколу? Не он ли и защищал это своё мнение и пред Сенатом? Следовательно, и этот пункт программы вовсе не составляет исключительной собственности или особенности лагеря так называемых «либералов» и гораздо раньше их проповедовался во всеуслышание теми самыми, которых они клеймят названием «ретроградов», за то, что они стремятся согласить разумный прогресс свободы с основными историческими началами политической и религиозной жизни *русского* народа! <...> Что же остаётся затем? «Личные и имущественные права»?

Про имущественные права говорить нечего, ибо они достаточно ограждены и приплетаются к «личным», если не из особых непонятных соображений, то ради украшения слога. <...>

Итак, ничего своеобразного и оригинального не нашли мы пока в либеральной программе, ни в отрицательной, ни в положительной, чего бы не было в программе газет иного и преимущественно русского национального направления. **Своеобразного и оригинального у «либералов» лишь то, что все эти «либеральные» отрицания и требования выражены у них с большею односторонностью, поверхностно, неопределённо и притом взлелеяны и повиты духом отвлечённого европеизма и отрицательного отношения к русским историческим принципам...**

А «правовой порядок»? Вот, возразят нам, основное положение «либерализма», *le fin mot* [разгадка (*фр.*); здесь и далее. — *Сост.*], по необходимости более подразумеваемое, чем вполне ясно высказываемое. Выпуская от времени до времени в свет это словечко, заменяя его иногда словом «европейские политические учреждения» или «венец здания», «либеральная печать» обыкновенно даёт чувствовать, что не договаривает свою мысль по цензурным соображениям. Никто более нас не сожалеет о том, что цензура даёт нашим «либералам» такой выгодный для них по-

вод плакаться на угнетение либеральной мысли, заслоняться цензурой от стрел противников и таким, по-видимому, основательным объяснением уклоняться от полного изложения своих мнений. Не будь этой непрошеной услуги нашему «либерализму» со стороны цензуры, давно нищета и убогость его понятий и вожеланий сама собою вышла бы на свет Божий. В самом деле: предположим, что под словом «правовой порядок» на манер европейских политических учреждений следует понимать конституцию и что толковать о конституции, заявлять ей сочувствие — нет запрета. Тогда тем поборникам «правового порядка», которые разумеют под ним именно конституцию, пришлось бы натолкнуться на вопрос: «Конституция? Но какая? Французская? Английская? Немецкая?» — и стать пред этим вопросом в тупик! Очевидно, что ни одна из поименованных для Русской земли не годится, потому что английская — словно кожа на теле и отъята от самого тела быть не может (к тому же и основа её — земельная аристократия); французская и немецкая — это пока ещё более или менее неудачные и нисколько не завидные эксперименты... «Конечно, ни одна из них!» — ответили бы нам эти господа. Так какая же? — «Какая-нибудь. Надо сочинить!» — Сочинить! Сдвинуть громаднейшее в мире государство с его политической многовековой, исторической основы на путь *сочинительства*! На путь нескончаемый к тому же, ибо нет основания, почему бы сегодняшнее сочинение не заменить завтра же новым, остроумнейшим, по-видимому, сочинением! Не ясно ли, что с такими, можно сказать, детски либеральными рассуждениями невозможно было бы и выступить в печати даже при полной свободе слова? Бумага бы покраснела от стыда! Спешим, однако, оговориться, что увлечение чистым конституционализмом было явно только на заре дней нашего новейшего «либерализма», в так называемую «эпоху веяний». И вовсе не цензурные строгости заставили «либералов» несколько изменить свою позицию, — а отчасти «внушительный язык событий», отчасти же, полагаем, поставленный им в упор вопрос (между прочим, «Русью»): «На чьей стороне будет на-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

род, или 80% населения?»... В самом деле, если б охотники до конституционализма не только были безопасны от цензурных преследований, но питали уверенность, что им за публичное предложение конституции повесят Владимира на шею, — и тогда едва ли бы у них достало решимости явиться *пред лицом народа* с предложением заменить исторический принцип русской власти результатами парламентского голосования и самодержавием парламентского большинства!.. Мы должны, однако, сказать правду, что до сих пор не встретили ни одного «либерала» (из лиц, удостоивавших нас личной беседы), который бы ни старался нас разуверить, что он никогда и не помышлял о конституции в роде западноевропейской, а подразумевал лишь «совещательное начало»... Если так, то зачем же пускать туману в глаза, зачем морочить людей выражением вроде «правового порядка», кивать на Европу, тонко намекать на что-то, чего никто, в сущности, не ведаёт, и в то же время, отчураясь с неистовством от своей истории и даже народности, сбивать ещё пуше понятия и общества, и молодёжи?..

Итак, что же остаётся от этого пресловутого «правового порядка»? В сущности, ничего. Исторического грубого факта, ставшего поперёк платоническому влечению к государственному строю культурной Европы и с младых ногтей вкоренившемся в нашу «интеллигенцию» обаянию иностранных авторитетов, отрицать или не признавать нельзя. Этот грубый факт — 80% населения... И вот — опять *volte-face* [крутой поворот (*фр.*)] в «либеральном лагере»: во имя «культуры», во имя прав «интеллигенции», во имя этих именно остальных 20%, раздаётся вдруг «либеральная» проповедь: «Взнуздайте зверя!»... Да, если б его держать хорошенько взнузданным, как советует «Голос», «интеллигенция» могла бы, пожалуй, точно сдвинуть Россию с её исторического пути и вести путём Западной Европы, отбросив в сторону всякое презренное притязание на «русскую национальную самобытность в сфере политических и нравственных идей»!..

<...> Итак, повторяем, что же остаётся от всех положений «либеральной программы»? При малейшем прикосно-

вении действительности и критического анализа она разлетелась в пух. Как ни меняли «либералы» позиций, но сбились со всех. Что же знаменует собою «либеральное знамя», которое всё-таки ещё стоит? Не мысль, не определённую формулу, а какое-то смутное, неясное, «либеральное» вожделение, в сущности, вожделение следующего властолюбивого свойства: так или иначе, по праву «интеллигенции» (за которую признаёт себя только «либеральный» лагерь), мудрить над 80% населения (по исчислению «Голоса»), — именно *мудрить*, доктринёрствовать, без точной программы и цели, если не просто ораторствовать и восседать «во имя народа» на манер европейский... А рядом с этим вожделением — отвращение не только к существующей «казёнщине» (в чём не уступит им «Русь!»), а отвращение к самой русской народности, к русской народной самобытности, к русскому *народному* направлению во внешней и внутренней политике, вместе с душевным подобострастием, каким-то служебным чувством к авторитету, хотя и враждебной, зато «культурной» Европы! Сюда же, к бессмыслию «либеральной» программы и к «либеральному» лагерю примыкает и неудовольствие последних могикан бюрократизма, предчувствующих скорый конец своего владычества, и неудовольствие тех русских иностранцев по духу и воспитанию, которыми кишат общественные петербургские светские сферы, которые чуют наступление нового времени и страшатся, как огня, возобладания в русской жизни национальной стихии... И при всём том нельзя, однако, не видеть, что этот бессодержательный «либерализм» представляет некоторую силу в нашем обществе — силу, которой нельзя отрицать... Какую же?

Силу банальности, иначе, по-русски, пошлости. Это ведь целая общественная стихия — «бессмертная», по выражению поэта; с нею приходится подчас и считаться. <...> заметим, что серьёзная сторона газеты «Голос», с его подголосками, именно в том и заключается, что он стал органом той общественной банальности или пошлости, которая, скрасив себя ореолом «либерализма», является

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

существенным выродком быстро клонящегося к концу петербургского периода нашей истории...

Русь. 1882. № 8, 20 февраля. С. 1—5

Ю.Ф. САМАРИН (1819—1876)

Революционный консерватизм

*Письмо Р. Фадееву по поводу его книги
«Русское общество в настоящем и будущем
(чем нам быть)»*

<...> Действительно, мы расходимся радикально почти во всём: в понимании нашего прошедшего, в оценке настоящего и, более всего, в представлениях о желательной будущности. То, в чём Вы видите наше спасение и ничем не заменимое условие нормального развития нашей общественности, пугает меня как программа исподволь подготавливаемой *революции*, притом революции худшего свойства, вызванной каким-то, на мой взгляд, незаслуженным недоверием к обществу и к учреждениям, которыми оно наиболее дорожит.

<...> конечно, ни Вы, ни я не считаем испорченной мостовой, оборванных блузников, растрёпанных женщин и красных знамён существенными принадлежностями всякой революции и не отождествляем её не только с уличным бунтом, но даже с более широким понятием о незаконном и насильственном посягательстве на существующий порядок вещей. <...> [революция] может исходить как сверху, так и снизу и, в первом случае, оставаться в пределах формальной законности. По моим понятиям, революция есть <...> *рационализм в действии*, иначе: формально правильный силлогизм, обращённый в стенобитное орудие против свободы живого быта. Первой посылкой служит всегда абсолютная догма, выведенная априорным путём из общих начал или полученная обратным путём — обобщением исторических явлений *известного рода*.

Вторая посылка заключает в себе подведение под эту догму данной действительности и приговор над последней, изрекаемый исключительно с точки зрения первой — действительность не сходится с догматом и потому осуждается на смерть.

Заключение облекается в форму повеления, Высочайшего или низжайшего, исходящего из бельэтажных покоев или из подземелий общества, и в случае сопротивления приводится в исполнение посредством винтовок и пушек или вил и топоров — это не изменяет сущности операции, предпринимаемой над обществом.

[О книге Р. Фадеева.] Первая посылка: степень живучести и устойчивости всякого общества зависит безусловно от толщины и цельности верхнего, культурного слоя, иначе: от силы сознательного консерватизма, сдерживающего бродящие под ним стихийные силы, всегда готовые прорваться сквозь всякую расселину и затопить поверхность.

Вторая посылка: у нас, в России, культурный охранительный слой не иное что, как дворянство, — «другого нет». Но преобразованиями последнего тринадцатилетия (предоставлением крестьянам полного самоуправления, введением начала всеобщности в земские и судебные учреждения и т.д.) дворянство как сословие было расшатано, искрошено и распущено в массу».

Заключение: для спасения русского общества от угрожающей ему анархии нужно прежде всего сплотить разбитое дворянство, поставив его во главе общества как сословие властное, и наделить его новыми правами, соответствующими потребностям времени. <...> Можно было для составления потребного капитала дворянских привилегий урезать кое-что от полноты правительственных прав; но Вы убедились, что это было бы несогласно с национальным характером и историческим призванием нашего единодержавия, как понимает его Россия.

Можно было также сколотить этот капитал насчет других низших сословий, или попросту обобрать их, например: отняв у крестьян и передав дворянам выбор волостных начальников, лишив учащуюся молодежь недворянского про-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

исхождения права на казённые стипендии, устранив земские собрания в выборе мировых судей и т.д.

Этот путь был глаже, и Вы, естественно, предпочли его. Таким образом, из двух посылок и заключения сложилось нечто вполне законченное, пленяющее своею гармонической стройностью. <...>

Откуда взялся и как сложился начертанный Вами образ общества вообще, стало быть, всякого общества, с твёрдым культурным слоем наверху, застроенным, засаженным и цветущим, и с растопленною, кипучею лавою внизу? <...> Вы всматриваетесь в общества французское, английское, немецкое (в Швецию Вы, конечно, не заглядывали: тамошний общественный склад не только не дал бы материала для догмы, которую Вы вырабатывали, а, напротив, заставил бы усомниться в её всеобщности); Вы изучали с особенным вниманием их прошедшее в минуты пережитых ими кризисов <...>. Вы просто вывели из западноевропейского исторического музея готовую картину, и перед тем, как повесить её в Петербурге, Вы наклеили на неё два ярлыка. Под верхним, консервативным слоем Вы написали «дворянство», под нижним, стихийным — «простонародье» и для окончательного вразумления публики не упустили прибавить: «Если на Западе прочность государственного общественного устоя зависит вполне от крепкой связи культурного слоя, как, несомненно, доказывает новая история, то это неперенное условие существует ещё в большей мере для нас».

Здесь, прежде чем задавать себе вопрос о том, похожа ли выставленная Вами картина на нашу действительность, читатель, сколько-нибудь внимательный, непременно вспомнит <...> страницы, в которых Вы так ясно раскрыли главный источник «всех промахов нашего воспитательного периода сверху и снизу, вплоть до новейшего нигилизма». — «Наше образованное общество (говорите Вы) воспитывалось на иностранной жизни, то есть на иностранных литературах, и огулом почерпало из них не столько мысли как названия с подведёнными под них заключениями, а потом, не задумываясь, применяло эти на-

звания и заключения к своему домашнему быту, к явлениям русской жизни, имеющим совсем иное содержание. Эта переноска названий и готовых выводов на неподходящие к ним предметы спутала наши понятия до хаоса» и т.д.

Нельзя было охарактеризовать вернее употребленного Вами приёма и произнести над Вашею книгою более строго приговора.

<...> Приведённое выше место, в котором Вы предостерегаете нас от опасности, угрожающей западноевропейским обществам снизу, т.е. от стихийных сил, оканчивается словами: «Мы не можем считать себя исключениями из рода человеческого».

Через несколько страниц мы, однако, узнаем, что «Россия представляет *единственный в истории* пример государства, в котором весь народ без изъятия, все сословия, не признают никакой самостоятельной общественной силы вне верховной власти; что, с другой стороны, *в одной лишь России* осуществилась верховная власть *всесословная*, не связанная особыми личными отношениями ни с какою гражданскою группою, почему она внушает одинаковое доверие людям всех общественных подразделений; что в этом последнем отношении *мы составляем единственное исключение*; что у нас одних только мнение, раз вызревшее, никогда не оставалось без удовлетворения: что такого учреждения (как наша земская *всесословная монархия*) не существовало ещё нигде, кроме России; что в одной России осуществилась *впервые* истинная народная монархия, народная в смысле *всесословности* верховной власти, одинаково беспристрастной и доброжелательной ко всем разрядам подданных, народная по отсутствию каких-либо насильственных форм, навязанных извне завоеванием», и т.д. Многократное повторение этой мысли в Вашей книге доказывает, что Вы особенно ею дорожите, и, конечно, не без основания. Практический вывод Вами указан: будучи сама небывалым в истории, единственным в своём роде явлением, верховная власть, сложившаяся у нас, имеет полное основание и от всех своих подданных ожидает исключительного к себе доверия. К такой власти не было бы при-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

чин относиться подозрительно и применять к ней общепринятые в Западной Европе меры предосторожности, на которые тамошнее общество наведено было своим местным историческим опытом. Стало быть, в этом отношении мы не только можем, а непременно должны считать себя исключением. Далее мы узнаем, что «такого учреждения, как наш культурный наследственный слой (то есть наше дворянство), также *не существовало ещё нигде, кроме России*. Европе оно неизвестно, в своём роде единственно, дело в истории новое» и т.д. Особенность его заключается в том, что дворянство наше, во-первых, никогда не было общественной силой по себе, независимо от правительства — «а было всегда его орудием, принадлежащим ему в собственность, в буквальном смысле совокупность его людей»; во-вторых, будучи всегда открыто снизу и обновляясь постоянным притоком оттуда, оно тем самым застраховалось от всяких односторонних, исключительно сословных поползновений. Таковы исторические его права на полное доверие сверху и снизу — «против такого дворянства (заключаете Вы) трибуны не нужны». Итак, вот уже второе исключение из рода человеческого, которым нас благословила судьба.

Не оказалось ничего, исключительно нам свойственного, только в стихийной нашей силе, в русском простонародье. Вы так уверены в этом, что даже не сочли нужным всмотреться в его физиономию с тем вниманием, с каким Вы изучали наше единодержавие и наше дворянство. В применении к народу слово «стихия» употребляется Вами не как метафора, а как самое точное определение. <...> она везде одинакова и всегда тождественна себе самой. Никаких идеалов в ней нет и быть не может, и поэтому, рассуждая строго последовательно, Вы не допускаете даже возможности такого явления в народной жизни, которое имело бы свой корень *в сознании* общих начал, составляющих внутреннее её содержание. Это равносильно отрицанию в ней того, что называется духом. Привожу подлинные Ваши слова: «Эти слои, представляющие собою почти допотопный человеческий быт, даже в случай-

ных произведениях своей силы движутся не собственными замыслами, а руководятся вожаками из исторически созревших верхушек — всё равно: на парижских ли баррикадах, на французском ли или немецком всенародном голосовании или в решениях русских гласных от крестьян на земских собраниях», а так как стихийная сила во Франции, Германии и Англии уличена в поползновениях прорваться через культурные слои и вообще всегда вела себя дурно, то — практические выводы угадать не трудно, и мы с ними встретимся ниже.

Каким же, однако, чудом могла русская стихийная сила, ничем в существе своём не отличающаяся от такой же силы, французской и немецкой, ознаменовать себя в истории рядом явлений совершенно новых и в своём роде небывалых, каковы указанные Вами выше? — Положим даже (по- Вашему), что не она их создала; кто-нибудь помимо её придумал и осуществил их; но всё же она себе их усвоила, по крайней мере, она, и она одна, ужилась с ними или подчинилась им? На этом вопросе стоило бы приостановиться, но Вы благополучно пронесли мимо.

Итак, мы имеем дело с тремя общественными факторами: верховною властью, дворянством и стихийною силою — вся книга Ваша посвящена исканию формулы исторически нормальной их комбинации. К последнему из этих факторов Вы, не задумываясь ни минуты, применяете готовые определения, и суждения, и приговоры, взятые из западноевропейского, преимущественно французского опыта, и строго воздерживаетесь от применения совершенно однородных результатов того же опыта к двум первым факторам по совершенной их исключительности. Это естественно приводит Вас к результатам, не особенно благоприятным для стихийной силы. От неё требуется, чтобы она, не смущаясь никакими долетающими до неё из другой среды общими наговорами на верховную власть и на дворянство, относилась к *своей* местной верховной власти и к своему местному дворянству с тем неограниченным доверием, на которое даёт им право их исключительная, доселе невиданная в истории безукоризненность <...>. Вы пишете

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

целую книгу для возбуждения недоверия к нашей стихийной силе и возводите его на степень политической догмы. <...>

Попробуйте опрокинуть Вашу картину так, чтоб расплавленная лава очутилась наверху, а твёрдый материк внизу. Тогда символическое её значение, может быть, раскрылось бы перед зрителем без всяких комментариев. Публика увидела бы на поверхности общества образ силы, движущей во всех её видах от разумного прогресса до революционного зуда, и узнала бы в ней дворянство или, пожалуй, культурную среду, а под нею — простонародье в образе силы, умеряющей движение, охраняющей равновесие и в крайних своих проявлениях переходящей в коснение. Само собой разумеется, что и в таком виде картина эта, как всякий символ, грешила односторонностью и, в известном смысле, была бы натяжкой. Она не могла бы служить полною характеристикой ни дворянства, ни народа, но это потому, что содержание общественной жизни нигде и никогда не исчерпывается комбинацией двух сил; по крайней мере, она дала бы, мне кажется, более верное понятие о взаимном их отношении в нашем обществе.

Призвание дворянства и его историческая роль, как Вы сами говорите, заключались в государственной службе.

Свойство её, естественно, должно было определяться характером правительственной деятельности, а деятельность эта, со времён Петра направленная к достижению разными перекрестными влияниями преобразовательных, или, как Вы их называете, воспитательных, целей, никогда, как известно, не грешила чрезмерным уважением к историческим преданиям и не задумывалась слишком долго перед сложившимися фактами. Как покорное орудие, безоговорочно приспособлявшееся именно к такого рода деятельности, дворянство «обезличилось» — я повторяю Ваше слово: оно омывалось в купели западноевропейской культуры от всего национального закала. В этом, коли хотите, была своего рода заслуга, которой я нисколько не думаю умалять; но едва ли последовательно, выставляя её ребром, в то же время выдавать наше дворянство за сословие по преимуществу «охранительное и проникнутое, не

только государственными, но и общественными преданиями исторической России».

Никто бы, конечно, не затруднился ответить на вопрос: что создало и что приобрело культурное дворянство для России, но что же оно уберегло?

Вы признаёте в русской жизни только два начала, «стоящие охранения», — Православие и всесословное державство, сосредоточенное в одном полновластном лице.

Обратимся же к ним. Вспомните, устаивало ли когда-нибудь наше догматическое и обрядовое предание, хотя бы в границах семейного, частного быта, при встрече его с латинством в тех общественных слоях и местностях, где к обереганию чистоты Православия призывалась силою вещей не стихийная сила, а дворянская культурность?

Вспомните ещё: не из высших ли наикультурнейших сфер исходили покушения, которым всегда без участия и ведома народа подвергалась именно всесословная цельность верховной власти, начиная от первого царя из дома Романовых <...>, потом при Анне Иоанновне, до катастрофы 14 декабря; и не оттого ли все попытки ограничить её в пользу одного чина, одной группы или одного сословия были так редки, так несостоятельны и, наконец, навсегда прекратились, что культурная наша среда как в XVII, так и в XVIII веках более или менее ясно сознавала, а в наше время уразумела вполне, что стихийная сила никогда бы не допустила осуществления её политических идеалов? В конце концов, не она ли, не эта ли заподозренная сила уберегла для России и то историческое понятие о земском (не сословном) державстве, в котором мы, культурные люди, так недавно начали опознавать существенное условие нормального прогресса без внутреннего раздвоения? Вспомните, наконец, сколько раз под влиянием понятий, возвращённых культурным же слоем, в умах самих носителей верховной власти мутилось сознание её национального призвания и образ земского царя вытеснялся наносным идеалом монарха-дворянина <...>? Даже в книге Вашей не мелькают ли следы этого последнего представления там, где Вы заявляете право дворян на какое-то осо-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

бенное к себе доверие, как к людям по отношению к власти *своим*, как будто забывая, что у нас для верховной власти нет и не должно быть людей не *своих*!

Проходя историю нашего дворянства для отыскания в ней какого-нибудь подвига свойства консервативного, я нахожу один — в прошлое царствование дворянская оппозиция три раза сдерживала преобразовательный почин покойного Императора в деле упразднения или ограничения крепостного права. Уж не в этом ли усмотрели Вы проявление того сосредоточенного мнения, которое, по Вашим наблюдениям, недавно ещё у нас существовало, а теперь исчезло?

О крепостном праве Вы говорите вообще очень неохотно и слегка, умаляя его значение и уверяя даже, что оно было «*насилъно* навязано помещикам», чего я, признаюсь Вам, даже не понимаю. Во всяком случае, дворянство, как видно, усвоило его себе глубже и оценило его выше многих других своих прав, как, например, сословного выбора из своей среды начальников уездной полиции и председателей Судебных палат. За первое оно в своё время всё-таки постояло, насколько это было возможно, а утраты последнего оно как будто и не заметило. Мне кажется, что государственное сословие, проникнутое духом политического консерватизма (которого Вы, конечно, не смешиваете с умением оберегать свои карманные интересы), поступило бы обратным порядком.

От общей темы или от первой Вашей посылки перехожу ко второй, и именно к диагностике нашей современной общечеловеческой ответственности. Так как Вы подводите её под норму, заимствованную из чужой исторической среды, то нетрудно предусмотреть, что Вы осудите в ней не только слабость и неполноту практического осуществления начал, положенных в её основание, но самые эти начала, самую сущность учреждений шестидесятых годов, в особенности самостоятельность крестьянского общественного управления и всесословный характер мирового суда и земских учреждений. <...>

Я позволю себе, однако, усомниться не только в справедливости, но даже, и прежде всего, в своевременности

Вашего приговора. Всякое из опыта выведенное суждение о каком бы то ни было учреждении предполагает предварительное испытание его в продолжении достаточного срока и при нормальных условиях. <...> Вы сами, проектируя перестройку всей системы волостной, уездной и отчасти губернской организации, предупреждаете читателей, что ожидаемые от неё результаты обнаружатся не ранее как лет через тридцать, когда народится другое поколение дворян, сложившееся при новых условиях в политическое сословие. Кажется, простая справедливость требовала бы по крайней мере на такой же срок воздержаться от окончательного приговора над «мужичьим самоуправлением», как Вы выражаетесь. Нельзя же не знать, что в настоящее время должности старост, старшин, судей и гласных от крестьян занимают люди сорока- и пятидесятилетние, сложившиеся умственно и нравственно под прессом крепостного права. <...> Между волостным сходом, молча ставящим кресты под приговором, который подсовывается ему «шлотоватым писарем» и тем высокопоставленным сановником, который по выслушивании бумаги спрашивал у своего докладчика: «Мы ли это пишем или к нам пишут?» — вся разница в том, что мужики чистосердечно называют себя людьми тёмными, до поры до времени нуждающимися в наёмной помощи для узнания своих прав и своих обязанностей, тогда как чиновный барин считает себя как будто кем-то обиженным и ропщет на деспотизм своего секретаря, не будучи даже в состоянии понять, что вся сила последнего заключается в собственной его умственной немощи. Крестьяне со временем, и притом скорее, чем мы думаем, станут на ноги; но очень сомнительно, чтобы чиновный барин, о котором идёт речь, и легион ему подобных когда-нибудь вышли бы из-под опеки. <...>

Вы затронули также вскользь и другую тему <...>: сами-де крестьяне донельзя тяготеют своим общественным управлением, жалуются на своих судей и предпочли бы помещичью расправу. <...> В подобных делах крайняя осторожность была бы уместна. Вы сами спрашиваете: «Кто возьмётся говорить от имени всего народа, даже одной

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

губернии, даже одного уезда, а если возьмётся, не будет ли такая речь явною ложью?» <...> все мы знаем, что по многим причинам и прежде всего благодаря давлению крепостного права, этого (по Вашим понятиям) «незначительного нароста, случайно вскочившего на поверхности русского общества» или (по моим понятиям) этой отравы, испортившей надолго все его соки, — стихийный слой стал к культурному слою в отношения, до крайности затрудняющие откровенные между ними объяснения. Отвечая на вопрос, предлагаемый ему человеком из другой среды, крестьянин прежде всего старается угадать ту затаённую цель <...>, с которою его опрашивают, и уяснить себе заранее, какие последствия может иметь для него тот или другой ответ. В результате перебора разных догадок оказывается обыкновенно, что во всяком случае безопаснее пожаловаться на своё положение, чем признать себя довольным, по тем же соображениям, по которым лучше прикинуться бедняком, чем обнаружить свою состоятельность. Это тем удобнее, что в причинах быть недовольным действительностью нет недостатка. <...> Вы выдаёте за несомненный факт, «что мужичье управление становится для самого народа нестерпимым, что крестьяне в своего брата, то есть в выборных из своей среды, не верят и полагаются больше на правду *господ*, считая господином не какого-либо забредшего на их сторону студента или либерального чиновника, а своего местного, коренного помещика». Это повторяется более шести раз. Стало быть, думает читатель, Ваша программа (установление вотчинного попечительства и передача всего земского управления в руки дворянства) совпала бы черта в черту со стремлениями и желаниями народа. Между тем, несколькими страницами далее Вы оканчиваете проект перекройки нашего земства словами: «С сохранением земских собраний, хотя бы в несколько изменённом составе, переход к новому виду самоуправления совершился бы легко *и был бы мало-заметен для народа, что также важно*» — и, наконец, общему перечню всех предлагаемых Вами мер Вы предпосылаете такую же рекомендацию: «Перевод из нынешней

русской бесформенности в благонадёжный общественный организм может быть осуществлен несколькими *малозаметными для нашего народа и Европы дополнениями к действующим постановлениям*». Я не спрашиваю, в какой мере это действительно возможно; не спрашиваю также, сообразно ли с достоинством правительства путём заметных дополнений и пояснений выскабливать из свода законов торжественно оглашенные права <...>.

Двукратно выраженный Вами совет, которому, как видно, приписывается особенная важность, останавливает на себе внимание ещё по другой причине. Дожив до одной из тех счастливейших и редких минут, когда верховной власти давалась бы в руки возможность поднять высоко одно сословие, не только не оскорбляя других и не требуя от них никаких жертв, а, напротив, исполняя тем самым заветные желания всего народа, с чего бы стало правительство прятаться от взоров России и Европы, стыдливо прикрывать свои намерения и как будто уклоняться от всеобщей признательности? В подобных случаях обыкновенно палят из пушек и бьют во все колокола. Наоборот, если действительно считается нужным и особенно важным осуществить замышляемое преобразование без огласки и незаметно, то не высказывается ли тем самым невольное признание неправды приписываемых народу желаний и решительного противоречия между задуманными мерами и его действительными стремлениями?

Ваше осуждение мужицкого самоуправления содержит в себе ещё один намёк, которого я не могу пропустить. Вы говорите: «Одновременно с освобождением крепостных руками их же помещиков *были приняты меры для ограждения освобождённого народа от прямого влияния последних*, вследствие чего и руководство безграмотного народа во всех отношениях с отстранением *официального культурного класса* стало переходить в руки одной бюрократии» <...>.

Стало быть, разъединение сословий, социальный антагонизм и т.д. — всё это было даже не непредусмотренным последствием невольного законодательного промаха, а *целью*, сознательно поставленною теми полунигилистами

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

(как Вы их называете), в руки которых попала подготовка крестьянского положения. Здесь критика дела переходит уже в критику намерений. Как бы то ни было, свойство обвинения, пущенного Вами в людей, теперь уже частью умерших, частью стоящих в стороне от всякой официальной деятельности, требовало бы, кажется, предъявления каких-нибудь доказательств, улик или, по крайней мере, справок. <...>

Теперь же ввиду всеобщей забывчивости я ограничусь короткою справкою. <...> Первый [период], начавшийся с обнародования Высочайших рескриптов и с открытия губернских комитетов, продолжался до тех пор, пока большинство помещиков, где раньше, а где позднее, окончательно убедилось в бесповоротности сделанного правительством и ими самими шага, то есть в совершенной невозможности, как в былые времена, затормозить дело, не доведя его до конца.

Программа большинства в этом периоде <...>: пожертвовать с первого слова правом на личность (о котором не было почти и споров, так как это была *самая лёгкая* сторона вопроса), продлить обязательные отношения крестьян к помещикам; отвести надел, возможно, скудный и на возможно ограниченный срок; растянуть елико возможно срок обязательной барщины, по крайней мере, вспомогательной <...>; наконец, сохранить в возможно широких пределах помещичью расправу и вотчинную юрисдикцию над крестьянами. Последнее требование обуславливалось первыми; оно имело значение и цену не само по себе, не в смысле политического права, а как средство, как гарантия помещичьих имущественных интересов <...>; оттого им дорожили гораздо менее в местностях, издревле оброчных. В этом духе составлена была большая часть проектов, представленных большинством губернских комитетов <...>. Но как только для всех стало ясно, что дело на сей раз не окончится на словах, а непременно перейдёт в жизнь, дворянская программа изменилась. Не было, конечно, формальных отречений от прежних условий; но они отошли далеко на задний план, отчасти даже были брошены

сознательно, и вместо них сказалось новое, громкое требование, обращённое к правительству: дайте нам скорее возможность развязаться с крестьянами начистоту.

Быстрота, с которою произошла эта перемена фронта в рядах помещиков, составляет самую характерную черту крестьянской реформы у нас в России, в отличие от параллельных реформ в разных частях Германии и на нашей Балтийской окраине. Объяснение этой особенности лежит глубоко в народном русском темпераменте, отчасти в прирождённой нам смелости духа и сравнительно большей готовности на жертвы всякого рода для достижения высоких целей; отчасти же (этого также отрицать нельзя) в нерасположении нашем к законному сутяжничеству и к той кропотливой, настойчивой и ежечасной борьбе с препятствиями, в которой наши остзейские сограждане не имеют себе равных. Как бы то ни было, поворот оказался так неожидан и крут, что правительство стало в тупик. Незадолго перед тем оно приходило в раздражение при малейшем намёке на возможность выкупа, а тут ему пришлось почти со дня на день отложить своё предубеждение и уступить давлению общественного мнения. Можно сказать, что положение о выкупе было исторгнуто у него дворянством. <...> естественно должно было измениться и прежнее воззрение на вопрос о сельской администрации. В книге Вашей раз десять повторяется, что дворянство *«пользовалось доверием народа, вело его за собою»* и что это водительство было у него отнято заговором бюрократов, столкнувшихся со славянофилами и с нигилистами. <...> Вы ошибаетесь. В то время, когда разрешался крестьянский вопрос, все стояли к правде лицом к лицу и тешить себя подобного рода фикциями положительно было некогда: всем, как сторонникам, так и противникам реформы, было хорошо известно, что ожидания крестьян шли очень далеко, что новое положение ни в каком случае не могло удовлетворить их; что в минуту его обнародования наступит критический момент; что если народ увидит в новом законе произведение «своей же собственной организованной нравственной и умственной силы», как Вы называете дворянство, то разо-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

чарование его должно было принять опасную форму и что, наоборот, можно было надеяться на мирный исход дела в том лишь случае, если этот закон будет принят массою как непосредственное выражение личной мысли и воли Царя, помимо всяких дворянских внушений. Повторяю: никому не могло прийти на ум уверять себя и других, будто бы дворянство, не только в то время, но и прежде когда-нибудь, располагало доверием народа и вело его за собою — минута была слишком серьёзна. После долгих совещаний и по зрелом обсуждении выработался следующий план: поставить крестьян перед лицом правительства и людей, от него назначенных, действующих его именем, по уполномочию от него, хотя и взятых из местной дворянской среды, разграничить сельское и волостное общественное управление с вотчинным и тем предупредить всякие между ними столкновения в области администрации и суда; в то же время в области хозяйственных интересов открыть широкий простор всякого рода соглашениям, возможным лишь при обоюдной независимости договаривающихся сторон, а вне круга этих интересов не только *не ограждать* крестьян от влияния помещиков, а, напротив, вызвать, облегчить и узаконить его, представив последним право третейского суда, право ходатайства и заступничества за крестьян, право попечительства и т. д.

Я утверждаю, во-первых, что эти главные основания были выдержаны в положении в той мере, в какой это было возможно; во-вторых, что они вызвали со стороны настоящих помещиков, то есть людей, лично управляющих своими имениями и по опыту знакомых с практикою сельского быта, гораздо менее возражений, чем все остальные части положения; в-третьих, что систематически враждебно отнеслась к ним только небольшая группа петербургских квазиконсерваторов в Государственном совете и вне его, группа, в ту страдную пору осторожно державшаяся в стороне, не принимавшая на свою ответственность никаких точно формулированных и практически осуществимых предположений и всплывшая на поверхность для спасения России гораздо позднее, когда все трудности ис-

полнения были благополучно побеждены без её участия. Ту же самую роль разыграла она и перед лицом Польского мятежа.

<...> перехожу к земским учреждениям. Вы к ним относитесь ещё беспощаднее, чем к «*мужицкому управлению*». С голоса какого-то большинства, каких-то опытных и знающих людей, Вы признаёте их без дальних справок мертворождёнными. С самого начала дело не пошло. Всем и всё стало даже хуже и дороже прежнего: дороги, мосты, больницы и т.д. Эта позорная для нашего общества неудача объясняется, конечно, всесловным характером земских учреждений, то есть в сущности допущением в их состав гласных от крестьян или «*из батраков*», как Вы для большего эффекта их называете, хотя Вам небезызвестно, что батраки в гласные не выбирают и не выбираются. Чужим опытом дознано, что на парижских баррикадах и на немецких избирательных митингах стихийная сила служила чужой мысли и творила чужую волю; стало быть, рассуждаете Вы, и наши гласные от крестьян делают то же на земских собраниях, то есть «голосуют бессознательно». Попав в такую компанию, дворянство обиделось и устранилось от дела.

Вся беда произошла оттого, что правительство не устояло против общественного поветрия, господствовавшего у нас после Крымской войны, «и подчинилось сборному голосу всех оттенков, от славянофилов до нигилистов, требовавшему в то время всесловности» этой — как Вы её называете: «*вопиющей, сочинённой и опасной лжи против русской действительности*».

Здесь я должен начать с исторической справки. Мне кажется, что выделенная Вами генеалогия всесловности от общественного настроения пятидесятых и шестидесятых годов и от нигилизма в особенности не совсем верна. Ещё в московском периоде в XVI и XVII веках у нас выработалась, и, уж, конечно, не по какому-либо готовому образцу, не путём подражания, а от собственного корня, самородная форма государственного представительства всей Русской земли, так называемые земские думы или зем-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ские соборы, иногда созывавшиеся царями на совет, а иногда, в эпохи междоусобиц, собиравшиеся для восстановления верховной власти. <...> Это был чистейший тип собрания всеобщего в полном смысле слова. <...> Вглядываясь без предвзятой мысли в это знаменательное явление, нетрудно высмотреть тесную органическую связь его с историческим характером русской верховной власти, которая (повторяю Ваши слова) «сама выросла на всеобщей почве и не видела противников, а потому и не нуждалась никогда в союзниках внутри государства». Такая в своём роде, действительно, единственная в мире власть, призывая всю землю на совет, не могла никого обходить: она изменила бы своей собственной природе и отреклась бы от своего исторического призвания, если бы она признала за одним сословием право загородить собою простонародье, подавать за него голос и, так сказать, перервать его непосредственное прямое тяготение к Самодержцу. «Всякий народ, — говорите Вы, — отражается в своей верховной власти». — Принимая безусловно этот верный и удачно выраженный афоризм, я прибавляю: и наоборот — власть отражается в народе, вследствие чего верховная власть, всеобщая естественно, могла признать за представительство народа только собрание всеобщее. Так было на Руси до тех пор, пока наши предки жили своим умом и руководились собственным опытом. Позднее, в конце XVIII века, когда правительство в первый раз приступило серьёзно к приведению в порядок внутреннего хаоса, произведенного Петровскою революцией, начало всеобщности выступило опять довольно ярко. <...>

Вы утверждаете, что выборное начало, введённое Екатериною II, было «лишь либеральной формальностью и не пошло впрок: выборные от мещан топили печи в присутствии, а выборные от крестьян мели двор». <...> но ведь Императрица Екатерина II строила свои учреждения не на один день: она имела привычку заглядывать довольно далеко вперёд и на своих заседателей от крестьян и мещан смотрела, вероятно, такими же глазами, какими Вы смотрите теперь на отношения культурного слоя к народу и на

окончательное их сочетание, то есть: «не в настоящем, не через туман переходного состояния, а в ожидании» лучшего в будущем. Во всяком случае, важен сам по себе поставленный ею принцип всесословности в общественном представительстве, важен особенно потому, что в этом отношении Западная Европа (за исключением Швеции, с которой мы в то время перестали уже справляться), кажется, не давала готовых образцов. <...> Из этого следует, во-первых, что всесословность ведёт своё начало не от нигилизма и «призрачных идеалов шестидесятых годов», а родилась гораздо раньше и от другого корня, ибо, сколько известно, ни Императрицы Екатерины II, ни Императора Николая I никто до сих пор не заподозривал в нигилизме; следует, во-вторых, что в шестидесятых годах не было повода «сочинять», а оставалось только признать всесословность как одну из немногих твёрдо и издавна установившихся у нас законодательных традиций. Тип для земских учреждений по отношению к их составу из собрания гласных от всех сословий, заинтересованных в земском деле, и из распорядительной инстанции, избираемой этим собранием, дан был Николаевским учреждением городской общей и распорядительной Думы 1846 года; при проектировании и обсуждении положения о земских учреждениях вопрос о допущении или недопущении в них выборных из крестьян, кажется, даже и не возникал. Он считался в существе давно разрешённым, а если бы кто-нибудь в то время вздумал возбудить его, то вот в каком виде пришлось бы его формулировать: не следует теперь, то есть после и по поводу упразднения крепостного права со всеми его последствиями, лишить крестьян того самостоятельного голоса в делах общего интереса, который в принципе был за ними признан ещё в то время, когда крепостное право давало тон всему управлению и когда даже крестьяне казённого ведомства считались крепостными правительства? Вся вина деятелей шестидесятых годов сводится окончательно к тому, что на этот вопрос, если б он был в то время представлен, они без всякого сомнения ответили бы отрицательно. Смею думать, что в этой вине своей ни один из них

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

не покаялся бы и в настоящее время, несмотря на изменившееся настроение в высших кругах.

Посмотрим теперь на практику. <...> По Вашему представлению, дворянству в шестидесятых годах нанесена была незаслуженная обида, которую оно глубоко почувствовало. По призыву правительства оно совершило великий подвиг гражданского самопожертвования: отреклось от крепостного права на личность и этим само разрешило часть вопроса, притом самую трудную — такую Вы её признаёте неизвестно почему, вопреки общему мнению. За такое бескорыстие оно вправе было ожидать вознаграждения, и правительству вслед за крестьянской реформой ничего бы не стоило предоставить ему замещение в волостях и уездах судебных, полицейских и вообще всех «властных» должностей, сосредоточив исключительно в его руках земское самоуправление. Вместо этого под влиянием того же нигилистического поветрия, о котором было говорено выше, дворянство было «глубоко потрясено даже в общественном отношении, как будто в чём-то заподозрено, оттёрто и принесено в жертву всесловности». Тогда, почувствовав себя оскорблённым, само дворянство устранилось от дел, в которых ему предоставлялось участие слишком ограниченное и, по его и Вашим понятиям, несообразное с его достоинством. Вследствие этого «земству пришлось довольствоваться одним *оборышем* людей». Уезды опустели; в них уже не встречается тех образованных и, что важнее — уважающих себя людей, которых Вы знавали во всех захолустьях до призыва их к самоуправлению.

Отсюда общие жалобы на безлюдье; но люди не перевелись, они только стали не видны, потому что разбрелись, махнув на все рукою, и эмигрировали за границу или же неизвестно куда; отсюда же какое-то оскудение общественного духа и отсутствие всякого связного мнения, по Вашим наблюдениям, характеризующее настоящую минуту, в отличие от недавнего времени, лет десять тому назад.

Жалея о таком добровольном самоустранении дворянства, Вы, однако, находите его естественным и оправдыва-

ете его. «Нельзя, — говорите Вы, — винить прямо разбегавшихся за границу помещиков в бесплодии русского слова или прямо ставить в укор остающимся безжизненность земских учреждений, в которых они представляют только свой класс. Не добиваться же им в местном обществе преобладания, которым они хотят пользоваться как своим законным правом?» Правительство перед ними провинилось, а потому ему же предстоит сделать первый шаг к примирению.

С другой стороны, от Вас не могло укрыться, и действительно не укрылось, что, несмотря на всесловный характер новейших учреждений, фактическое первенство в них осталось всё-таки за дворянами. Не только должности председателей и членов земских управ, но и должности мировых судей, попечителей школ, выборных от земства в училищные советы, председателей приходских попечительств, председателей и членов множества народившихся недавно комитетов и комиссий заместились людьми, которых общественный выбор выдвинул вперёд преимущественно из дворянской среды. То же самое видим мы и в значительных городах. Всем известно, что это сделалось естественно, само собою, без особенных настояний со стороны избирателей, без притворного ломания со стороны избираемых, не в силу закона, нисколько не стеснявшего свободы выборов, не под влиянием административного давления сверху и не благодаря какой-либо искусственной агитации, о которой никто и не помышлял. Мудрено ли, что при таком никогда и нигде не бывалом запросе на людей в них оказывается недостаток? Мне кажется, что если принять ещё в соображение опасную конкуренцию, встречаемую как правительством, так и земством со стороны железнодорожных кампаний, банков и разного рода промышленных предприятий, то в этом чрезвычайном требовании на личный интеллигентный труд мы найдём самое простое объяснение двух однородных и параллельных явлений, из которых одно обратило на себя внимание: значительного числа офицерских вакансий в армии и недостатка священников для замещения праздных приходов.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

По-вашему выходит, что дворянство надуло губы, скрестило руки и стало к общественному делу спиною; в то же время дворянство добровольно усвоило себе новое призвание, указанное ему доверием общества, взяло в свои руки земское дело и стало во главе местного самоуправления — Вы и это заявляете. Чему же верить?

Дело в том, что преобразования шестидесятых годов действительно поразили что-то насмерть, только *не дворянство*, а *барство*. При новой нашей общественной обстановке стало, конечно, не так легко, как прежде, в домашнем быту, жить без бюджета и расточать, не собирая, даже не считая; ещё труднее стало первенствовать в губернии, в городе или в уезде, не имея ни способностей, ни навыка, ни охоты к умственному труду, а в случае надобности пробиваясь чужим умом и заказною работою; наконец, стало почти невозможно прослыть деловым человеком, никогда не прилагая руки ни к какому серьёзному делу.

Такого рода притязания теперь очень скоро осаживаются. С этой точки зрения, нельзя действительно не признать, что общественные условия, сложившиеся на наших глазах, были для всего дворянства своего рода испытанием, которому пришлось подвергнуться не перед экзаменационной комиссией, а в самой жизни, на практике, у себя в имении, в земских собраниях, на мировых съездах, на выборах и т. д. Уклонившиеся сами над собою изрекли приговор. Рассудите, в самом деле: во что ценить консервативную силу тех помещиков, которые, не выдержав неприятностей двухлетнего переходного состояния, обратились в бегство из своих имений перед грозными фигурами местного мирового посредника и волостного старшины? Чему могли служить охраною такого рода охранители и что охраняли они в действительности, кроме своего личного комфорта? <...>

В известном смысле Вы совершенно правы, утверждая, что наше дворянство утратило свою прежнюю цельность; действительно, в среде его произошла своего рода естественная браковка <...>. Часть дворянства, к нашему счастью, значительнейшую, можно бы назвать деловою. Люди этого разбора свыклись уже с новою обстановкою,

в которой и мест и занятий оказалось для них вдоволь; они давно перестали жаловаться на отсутствие твёрдой почвы под ногами, потому что они на ней стоят и не увлекаются гоньбою за сборным мнением, потому что они сами, каждый в своём скромном кругу и все вместе за общим делом, сознательно или бессознательно творят его. Эти люди окончательно приросли к земству; они действительно с каждым днём более и более привлекают к себе народ и приучают его к своему руководству, но это удалось им именно потому, что они отнеслись к нему не как члены «властного» сословия, а как *выборные* от земства, выдвинутые вперёд его доверием. Признаюсь, я не вижу, чтоб это была потеря для них, и не убеждаюсь, чтоб об этом следовало скорбеть с консервативной точки зрения. Другую, к счастью, очень немногочисленную, но, к несчастью, влиятельную и беспокойную, группу я не решаюсь назвать бездельною только потому, что это слово утратило своё первоначальное этимологическое значение. <...> В Вашей книге её довольно нескладный ропот в первый раз нашел себе отчётливое выражение.

<...> Болезнь современного русского общества, говорит Вы, выражается одним словом — разброд, разумея под этим отсутствие связного мнения и общих идеалов, возможных только при связности людей, то есть при прочной сословной организации культурного слоя. К несчастью, как Вам кажется, мы в последнее время разбросали собственными руками начатки, готовые сложиться в организованное целое; общественные группы, которые и прежде у нас были слабы, были совсем выполоты при новой перепашке русской почвы — стало быть, чтобы получить опять сборное мнение, надобно сложить орган для его проявления, собрать людей в коллективную личность, иначе: организовать сословие из культурных слоёв нашего общества. Такова главная насущная задача настоящей минуты.

Пусть так — я готов признать, что диагностика Ваша верна, хотя она и не исчерпывает всех признаков болезни и не указывает на первую её причину. Нельзя также отрицать, что во всяком здоровом обществе, на известной степе-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ни развития, существуют всегда как сборное мнение, так и форма для его проявления; но вопрос в том: по каким законам и каким порядком совершается это развитие? Внутреннее ли единство частных убеждений, взаимно спознавшихся и сплотившихся органически в нечто цельное, вырабатывает себе соответственную форму и облекается в образ собирательной личности или наоборот? Вы склоняетесь ко второму мнению и ожидаете несомненного образования внутреннего единства в понятиях, взглядах и убеждениях от внешнего совокупления личностей в одно сословие, прежде даже, чем они ощутят потребность сблизиться. Эта мысль пропущена как красная нитка через всю Вашу книгу. <...>

Итак, Вы верите в чудодейственную силу формы, в способность её творить из себя дух. Глубине и искренности этой веры могли бы позавидовать даже покойные славянофилы, так насмешившие Вас своею «верою в сокровенную мощь русского народа». По Вашим словам, они мечтали о таком свободном обществе, какого ещё не существовало на свете, прибавлю, подобно тому, как Вы мечтаете о беспримерном в истории дворянстве и о небывалой в мире монархии. В этом отношении вы и они стоите на одной почве; есть, однако, между их верою и Вашею существенная разница. Они, по Вашим словам, уповали на сокровенную мощь народа; Вы же возлагаете свои надежды на проявленную и Вами самими засвидетельствованную немощь дворянства. <...>

В книге Вашей несколько раз повторяется сравнение нашего народа с неподвижным телом без головы — я привожу подлинные слова. Вы советуете приставить отвалившуюся голову к осиротевшему туловищу, и тогда организм заживёт полною жизнью. При этом, однако, упущено из виду одно довольно серьёзное обстоятельство. <...> К несчастью, рекомендуемый Вами соблазнительно лёгкий прием испытывается нашим законодательством более полтора ста лет. Достигаемые результаты доселе не оправдывали ожиданий. <...>

Теперь задумывается однородный опыт учреждения чина или сословия русских «полувропейцев», и небывалость в истории подобнаго явления Вас на сей раз не сму-

щает. Подобно тому, как прежде объединяющим началом ставилось для дворянства «благородство — как следствие служебных заслуг», а для людей «среднего чина» — «трудолюбие и добронравие», так теперь предполагается собрать разбежавшиеся личности под знамя *культурности*. Прежнее деление на три чина «людей благородных, средних и низких» упрощается и заменяется делением всего русского общества на полосы: культурную и стихийную, из коих только первая получит сословную организацию. По Вашему мнению, <...> [это] сообразнее с нашими бытовыми условиями; оно же находит своё оправдание «в народном понятии о *господах* и простонародье». Мне кажется, однако, что это последнее сопоставление несколько произвольно. Исторический корень понятия о *господах* лежит в идее ветхозаветного рабства и в нашем крепостном праве, но не имеет ничего общего с культурностью. Оттого деление на *господ* и *простых* людей, или (по официальной терминологии XVIII века) на *людей благородных* и *подлых*, никогда не обнимало всего русского общества; оно не захватывало ни духовенства, ни купечества, ни служилых людей низших чинов и выражало только понятие *полноправия* в противоположность понятию *полного личного бесправия*. Потом так как понятия и приёмы, выросшие на почве крепостных отношений, раскидывали свои ветви далеко во все стороны и переплетались со всеми видами служебных отношений начальства к подчинённым, то и понятие о *господстве* естественно расширилось и утратило свою первоначальную определённость. Корень его теперь иссох, оно отошло в область исторически пережитого и не годится для прививки к нему чего-либо нового. Я очень сомневаюсь, чтоб легче было поделить всю Россию на культурную и некультурную, и убеждаюсь в этом тою бесцеремонностью, с которою Вы, например, отделались от церковного чина. Можно ли, в самом деле, признать исчерпывающим нашу русскую культурность такое общество, в котором для всего духовенства не оказалось места? На первом же слове Вы изменили своему началу. В сущности, Вас занимает не культурность, а дво-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ряństwo; что же касается до высшего купечества и до людей умственного труда (по западной терминологии — литераторов), то они захватываются Вами в дворянскую среду главнейшим образом с тою целью, чтобы вне её не оставалось ни единой группы, которая могла бы послужить стихийной силе признанным органом.

От Вас самих, конечно, не могла утаиться крайняя искусственность предлагаемой Вами организации, и, ожидая возражений именно с этой стороны, Вы прикрывались указанием на исключительность нашего теперешнего положения. В естественном росте русского общества последовал полуторавековой перерыв, тем временем государство ушло далеко вперёд и развилось до громадных размеров, общество отстало и замерло. Теперь ощущается настоятельная потребность в земской организации, приспособленной к условиям настоящего времени и к тяжести лежащего на ней государства; но действительность не представляет готовых форм, которыми правительство могло бы воспользоваться: былые формы давно разбиты, новых не выработалось. Между тем ввиду государственных нужд и внешних отношений России к соседним державам нам некогда выжидать естественного пробуждения общественной производительности и медленного зарождения нового земского организма. Необходимо заставлять изобрести и создать его. Я передаю Вашу мысль хотя и в сокращённом виде, но, кажется, верно. В ней есть, несомненно, значительная доля правды; но в подобных случаях, когда сложившиеся издавна роковые условия вынуждают правительство забегать вперёд и предрешать вопросы жизни, политическое благоразумие требует строгого воздержания от всякого ненужного стеснения её творческой силы. В этих видах законодательная власть естественно должна, во-первых, предпочесть формы простые сложным, широкие тесным, упругие слишком твёрдым; во-вторых, и это главное, по установке тех или других форм не расшатывать их и не подкапываться под них, а дать им время осесть как следует и сплотиться. Ваши предложения, на мой взгляд, грешат против обоих этих правил. <...>

Вы говорите в одном месте, что наше общество в настоящее время не было бы в состоянии ответить на вопрос: чем ему быть и чего бы ему пожелать для себя; в другом Вы допускаете, что оно, может быть, заявило бы потребность в *сосредоточении*. Мне кажется, что оно могло бы извлечь из своего самосознания требования несколько более определённые.

Если б в настоящую минуту правительство вздумало опросить не говоря уже всю Россию, но хоть бы одно культурное общество, даже одно дворянство, то оно, вероятно, услышало бы от громадного большинства людей, думающих и делающих, два пожелания.

Во-первых, чтоб <...> введена была система всеобщего обложения, по возможности пропорционального ценности облагаемых имуществ и доходам плательщиков. <...>

Во-вторых, люди, мыслящие и трудящиеся на разных поприщах общественной деятельности, вероятно, выразили бы желание, чтобы правительство дало России вздохнуть. Они постарались бы убедить его, что нужно позволить ей осмотреться в обновлённой обстановке, и заняться на свободе её устройством, не отвлекаясь от начатого дела тревожными слухами о замышляемых перестройках, слухами, периодически возобновляющимися и отнимающими всякую уверенность в завтрашнем дне. Без твёрдой веры в прочность учреждений, требующих со стороны общества свободной инициативы, настойчивый, правильный и большею частью малозаметный труд в уездных захолустьях положительно невозможен.

Правда, со времён Петра I наше правительство никогда не отличалось строгою последовательностью в своих начинаниях, по крайней мере по внутреннему, гражданскому управлению. В этом отношении мы не избалованы. Начало всякого нового царствования почти всегда знаменовалось законодательным кризисом; иногда даже кризис наступал в середине царствования. В таком случае оно распадалось на две половины, из которых вторая посвящалась ломке всего построенного в первой. Поколение, ныне стареющее, испытало это в 1849 году. Но нельзя не со-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

знать, что в последнее время реакции стали наступать гораздо неожиданнее, чем в былые времена и непосредственно за каждым шагом вперёд. Опросите ещё свежие у всех воспоминания.

В одно прекрасное утро Россия принимает праздничный вид — правительство открывает новое сооружение, только что возведённое им по зрело обдуманному плану, и вводит в него общество, выражая последнему свои надежды и полное своё доверие. Общество кланяется, благодарит и выражает свою безграничную веру в правительство. Правительство, в свою очередь, благодарит общество за доверие, и обе стороны расходятся в умилении. На другой день из высших правительственных сфер падает на новое здание первый кривой взгляд. За ночь люди, стоявшие в стороне, куда кипела работа, открыли в нём какие-то капитальные пороки, возбуждающие сомнение в его прочности. Обыкновенно как особенно опасное выставляется то обстоятельство, что фундамент слишком широк и заложен чересчур прочно, а верхние надстройки слишком легки; гораздо бы лучше наоборот: на жидком фундаменте поставить грузное здание. На третий день правительство выходит на площадь, кается всенародно в своих ошибках и пугает общество грозящим крушением. Общество, только что разместившееся на своём новоселье, оглядывается в недоумении и уходит, покачивая головою; работа, начавшаяся внутри довольно живо, естественно утихает. На четвёртый день отряжёнными мастерами этого дела замазываются некоторые окна и заколачиваются некоторые двери. На пятый правительственное сооружение отдаётся под стражу, наряжается следственная комиссия и объявляется конкурс на тему: «Как бы разнести здание, но так, чтоб не было ни стука ни пыли и чтоб этого не заметили ни русской народ, ни Европа?» Этой только минуты и выжидали «охранительные люди», как Вы их называете; почуяв ломку, они оживают, скликаются, напрягают своё воображение, и проекты сыплются со всех сторон. <...> рассудите: разумно ли ожидать полного успеха от учреждений, ежедневно колеблемых, и можно ли при таких ненормальных

условиях требовать от общества единства во мнениях и выдержки в действиях? К несчастью, эти условия, как видно, не скоро минуют. <...>

Итак, наступает, по-видимому, новый законодательный и вместе общественный кризис; надвигается новая историческая напраслина сверху, и нам остаётся привести себя в такое же настроение духа, с каким покорный пациент, привязанный к постели, готовится встретить не по разуму усердного фельдшера, охотника до трудных операций и собирающего учинить опыт над *anima vili* [подопытным животным (*лат.*)].

Неисправимый славянофил, я всё-таки верю, что Россия, уйдя внутрь себя, оттерпит и на сей раз и не умрёт под ножом; но когда она очнётся, ощупает себя и станет на ноги, найдёт ли она при себе прежнюю свою веру в правительство, в крепость его слова, в твёрдость его намерений, в прочность и надёжность его творений? — вот, мне кажется, о чём следовало бы подумать прежде, чем браться за лом. <...>

Первая публикация в книге: Самарин Ю.Ф., Дмитриев Ф.М. Революционный консерватизм. Книга Р. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)». Берлин, 1875. С. 9—73. Фадеев Р.А. (1824—1883) — военный историк, публицист, генерал-майор, герой Кавказской войны. В 1872 г. в «Русском мире» опубликовал цикл статей «Чем нам быть?», выпущенные затем отдельной книгой в 1874 г. («Русское общество в настоящем и будущем»). Считал, что общественное мнение нужно организовывать при помощи особого культурного сословия.

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ (1831—1891)

Чем и как либерализм наш вреден?

I

В одном из последних номеров «Голоса» напечатана статья г-на Александра Градовского под заглавием «Смута».

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Статья эта посвящена защите «либералов» против людей, обвиняющих их в потворстве «революционным злодеяниям».

Г. Градовский спрашивает: «Есть ли, однако, основание к такому обвинению? Исследован ли не только вопрос о «соучастии» этого загадочного «либерала» со злоумышленниками, но даже более простой вопрос: *что такое русский либерал?*»

Посмотрим, в чём дело; разыщем этого загадочного либерала, вносящего такую беду в наше поистине бедное общество.

Происхождение наших «партий» относится ко времени преобразовательной деятельности ныне царствующего Государя. После того как были произведены реформы крестьянская, судебная и земская, как дарованы были льготы печати и университетам, общество наше распалось на два лагеря. Спорными пунктами между ними явились:

- 1) вопрос о принципиальной годности реформ в применении к нашему быту;
- 2) вопрос о дальнейшем развитии совершённых преобразований.

Люди, преданные делу реформы, *получили* кличку либералов; люди противоположного направления нарекли его *охранительным*. Насколько оба эти названия оправдывались существом дела, разбирать не будем.

По счастливому стечению обстоятельств русскому либерализму не представлялось никакой нужды быть началом *оппозиционным*. Напротив, при освобождении крестьян, равно как и при последующих реформах, так называемые «либералы» являлись вполне *правительственной* партией. Это все помнят и знают. Конечно, не они подставляли ногу новым учреждениям. Принципиальное неудовольствие совершившимися преобразованиями принадлежало совершенно иной «партии».

Прекрасно.

Автор приводит далее тот параграф законоположений, в котором говорится: «Не вменяется в преступление и не подвергается наказаниям обсуждение как отдельных зако-

нов и целого законодательства, так и распубликованных правительственных распоряжений, если в напечатанной статье не заключается возбуждения к неповиновению законам, не оспаривается обязательная их сила и нет выражений, оскорбительных для установленных властей».

Действию этого правила, очевидно, подлежат и те законы, которые так дороги «либералам». Но едва ли согласно с пользою государства и общества приводить эти законы в связь с планами революционной партии и отождествлять сторонников этих законов с «служителями крамоль».

Так говорит г-н Градовский.

Это свидетельство закона здесь очень кстати. Руководясь им, мы оба останемся на так называемой *легальной* почве.

Начнём прежде всего с того уверения, что никто не позволит себе обвинять *всех* без исключения русских либералов в *сознательном и преднамеренном* потворстве заговорам и нигилизму.

Либерализм, как идея по преимуществу отрицательная, очень растяжима и широка. В России либералов теперь такое множество и личные оттенки их до того мелки и многозначительны, что их и невозможно подвести под одну категорию, как можно, например, подвести под такую *нигилистов* или *коммунаров*.

У последних всё просто, всё ясно, всё исполнено особого рода преступной логики и свирепой последовательности. У либералов всё смутно, всё спутано, всё бледно, всего понемногу. Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она есть лишь отрицание *всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего выразительного*.

Эта-то неопределённость, эта растяжимость либеральных понятий и была главной причиной их успеха в нашем поверхностном и впечатлительном обществе.

Множество людей либеральны только потому, что они жалостливы и добры; другие потому, что это выгодно, потому, что это в моде: «*Никто смеяться не будет!*» К тому же и *думать* много не надо для этого теперь. В 60-х и 70-х годах

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

быть умеренным либералом стало так же легко и выгодно, как было выгодно и легко быть строжайшим охранителем в 30-х и 40-х годах.

В 30-х и 40-х годах только консерваторы пользовались уважением; только они делали карьеру и составляли себе состояние. Либералы в то время казались или слишком опасными, или смешными. *В то время*, чтобы быть либералом, действительно нужно было *мыслить* (правильно или нет — это другой вопрос), ибо среда не благоприятствовала либерализму. Тогда либерализм не был ни дешёвым фрондерством земского деятеля против губернатора, ни жестокостью мирового судьи к старой помещице, выведенной из терпения слугами, ни фразами адвоката в защиту бунтующей молодёжи, ни завистливой оппозицией «белого» священника монаху-епископу и т. д. *Тогда* либерализм был *чувством* личным и живым; он был тогда *великодушным*, во многих случаях — отвагой. Теперь же либералами у нас (по выражению Щедрина) *заборы подпирают...* Так их много и так мало нужно ума, познаний, таланта и энергии, чтобы стать в наше время либералом! Либерализм в России есть система весьма лёгкая и незатейливая ещё и потому, что охранение у всякой нации *своё*: у турка — турецкое, у англичанина — английское, у русского — русское; а либерализм у всех один (т. е. либерализм не британский *исключительный*, особый, а *общий* — демократический либерализм).

Всё можно было без долгой исторической работы заимствовать, и всё слишком легко принялось. *Хорошо ли нам так близко подходить к Европе и прививать себе поспешно и простодушно все её чудосочные начала?..* Что-нибудь одно — или космополитизм, т. е. падение отдельных государств и слияние их воедино, есть благая цель, или этот исход — есть зло и опасность?..

Тому, кто находит это благом, здесь прямо возражать на это я не буду, такое возражение вышло бы слишком длинно. Если же государственный космополитизм есть зло и опасность, то, значит, и общеевропейский либерализм, как упорно проводимая система, облегчающая хотя бы и

в далёком (?) будущем подобное государственное слияние, есть также если не зло, то по крайней мере ошибка и неосторожность.

Я говорю «зло», заметьте; я не говорю *злонамеренность*. В жизни и любовь, и великодушие, и даже ложно понятая справедливость — могут порождать зло. Надо это понимать.

Я начал с того, что сказал: никто не позволит себе обвинять всех либералов в злонамеренности. Они, повторяю, очень различны. Приведу ещё несколько примеров; один — либерал потому, что был либералом ещё в 40-х годах и ему больно расстаться с любимым идеалом, которому он так долго и так искренно служил; другой остаётся на всю жизнь либералом потому, что думает, будто бы честный человек непременно должен быть всю жизнь свою верен прежним убеждениям, даже и вопреки целому ряду разочарований. Этот род честного либерализма весьма вреден, потому что им особенно расположены страдать люди известные, влиятельные и на виду стоящие; раз связавши своё имя с известного рода громкой деятельностью, с известным родом службы обществу, с определённым литературным и политическим оттенком, им стыдно покаяться и сознаться, что они ошибались так долго. <...>.

Этот род либерализма, говорю я, искренний сначала, а впоследствии *только твёрдый, но уже не искренний*, есть самый вредный род, ибо он серьёзен и влиятелен. Вот как даже и честность своего рода может родить нередко великое зло в этой «юдоли плача» земного!

Самые безвредные либералы в наше время — это либералы *из выгод*. Один, например, либерал оттого, что пишет для пропитания в газете, защищающей «свободу и равенство». Этот легко исправим; какая-нибудь ссора с редактором или хорошая построчная плата в разумной газете делает его охранителем в одну неделю, лишь бы успеть примениться... Другой любит свободу потому, что, состоя на службе, не угодил начальству; третий — потому, напротив, что угодил либеральному сановнику; четвёртый — пламенный боец за всевозможные «права» человека потому,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

что он составил себе имя и состояние при новых, либеральных судах и т.д.

Этого рода люди не так вредны и опасны, как люди благородные и честные!.. Таких людей, неисправимых морально, но политически очень легко исправимых, посредством какой-нибудь мзды, — к счастью, у нас есть ещё много. *Политика не этика...* Что делать! Она имеет свои законы, независимые от нравственных.

Есть у нас также помещики, либеральные только снизу вверх; дела их расстроены эмансипацией и они, не сочувствуя эгалитарным реформам, либеральны только в оппозиционном смысле, с досады.

Женщины, которые и у нас очень влиятельны, либеральны большей частью по мягкости, по состраданию, по ложному пониманию христианства или, наконец, потому, что никакой *raison d'état* [государственный разум (*фр.*)] для них непонятен... и т.д.

Какая же во всём этом систематическая злонамеренность?.. Есть, конечно, если хотите, в нашем обществе лёгкий оттенок фрондерства; есть какая-то иногда невинная и пустая, иногда зловредная дурь мелкой оппозиции. Но упорного и сознательного потворства злодеяниям мы у большинства либералов вовсе не видим.

У «большинства», я говорю; но нельзя сказать, что вовсе нет *подобного потворства*.

Всякий может указать на факты такого рода, на факты всем известные, но как-то *кстати* нынче *вдруг забываемые*.

Теперь я скажу два слова о либерализме учреждений, а потом распространюсь побольше о либерализме лиц, действующих на почве этих учреждений, или под влиянием льгот, новыми учреждениями дарованных.

Я не стану много трактовать о самих реформах. Г-н Градовский говорит основательно, что новые учреждения закон, воля правительства и потому им надо подчиняться.

Это правда, и я не позволю себе здесь критиковать реформы. Но замечу только одно: раз допустивши, что «равенство и свобода» — гражданские идеалы, надо сочувствовать реформам искренно и сознаться, что на этой по-

чве (на почве равенства и свободы) реформы наши проведены хорошо. Но для меня ещё вопрос: может ли долго, более *каких-нибудь ста лет* простоять какое бы то ни было общество при равенстве и свободе?.. Но об этом принципиальном сомнении после...* А теперь о либерализме русских людей на почве новых учреждений и под влиянием современных льгот.

Вот тут-то и начинается нечто *подозрительное*, и если не всегда прямо злодейское, то или очень глупое и легкомысленное, или весьма коварное и нечистое.

Посмотрим, что делалось и делается до сих пор *либеральными* людьми на почве либеральных учреждений. Посмотрим, как *служили* эти «единомышленники» правительства... «*России и Государю*», — говорит г-н Градовский. Моему монархическому педанству такой порядок слов не нравится: я предполагаю говорить — *Государю и России*; ибо я не понимаю французов, которые умеют любить *всякую Францию и всякой Франции* служить... Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения, и *Россию всякую* <...> я могу разве по *принуждению* выносить... Г-н Градовский судит, видимо, иначе.

Итак, посмотрим, как люди русские либерального духа *служили Государю и России* на основании этих реформ.

Г-н Градовский упомянул о земстве, о судах, об университетах, о печати, об эмансипации крестьян с землею.

Начнём хоть с земства. По нашему мнению, земская реформа лучше новых судов. В ней есть всё-таки что-то «почвенное», солидное, а главное, то хорошо, что в устройстве земства есть что-то своё, чего нет в судах, эклектически списанных с западных образцов. Зато в судах европейское зло и сказалось гораздо грубее и резче, чем сказывается в земстве.

Однако и в земстве заметен нередко такой дух, который нельзя назвать правительственным или охранительно-либеральным, т.е. *не переходящим за черту дарованных льгот*.

* См.: «Византизм и славянство», главы о «Прогрессе и развитии». — *Примеч. Леонтьева 1885 г.*

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Приведу несколько примеров. В одной губернии баллотировался некто в гласные — местный помещик, человек образованный *как все*, и никаких провинностей особых за ним не числится. *Почти все шары чёрные*. Отчего? За что это?..

Он близок губернатору; он ему, кажется, друг; мы не желаем, чтобы администрация знала всё, что мы делаем, и влияла бы тут...

Что такое администрация? Это не что иное, как само правительство en detail [по частям (*фр.*)]. Что такое губернатор? Это не становой, это лицо по порядку власти третье после Государя, так как в обыкновенное время (т. е. при отсутствии военных генерал-губернаторов) губернатор зависит только от министра, а министр есть ближайший выразитель Верховной Воли.

Положим, это ещё не велика беда. И земство тоже правительственный орган особого рода. Можно позволить ему в некоторых случаях быть в маленьком виде тем, чем бывает в Англии оппозиция, т. е., с одной стороны, министерство её Величества, а с другой — оппозиция тоже её Величества. Я знаю, что на это мне могут возразить весьма основательно ещё следующее: «Оппозиция может быть охранительного и даже глубоко реакционного характера»... Да, теоретически это верно; но на практике, в России, мы этого почти вовсе не видим...

<...> И что случается обыкновенно, когда администрация и земство в чём-нибудь несогласны?..

Когда эти два органа — администрация и земство (положим, оба правительственные по источнику) — вступают в свою глухую борьбу, то обнаруживается вот что: правительство, выделив из себя, так сказать, земство и даровав ему известные льготы, находит в данную минуту, что этих льгот довольно и больших оно не находит полезным дать... Поэтому администрации поручается наблюдать за тем, чтобы в земской деятельности либерализм духа не переходил за черту либерального закона. Земство, по чувству естественному и присущему всякому человеческому учреждению, постоянно стремится перейти эту черту не по

форме, а именно по духу, т.е. *ослабить местное действие той самой власти, которая даровала ему права...* И так как в России большинство до сих пор ещё наивно верит, что все наши бедствия происходят от отсталости, а не от прогресса, от недостатка европеизма и современности, а не от излишней подражательности, то все эти стремления перейти черту льгот, вся эта *мелкая оппозиция* принимает большей частью не реакционный и консервативный характер, а эгалитарно-либеральный, усиливающий сперва общее расслабление, а потом и разнузданность.

Из оппозиции Его Величества этот мелкий, но постоянный отпор легко, сам того не замечая, перерождается в оппозицию Его Величеству.

Всё это очень сложно, конечно, но надо постараться, насколько есть сил, разобрать эту сложность. Дворянство наше, например, что оно: «консервативно» или нет? Вот важный вопрос, ибо хотя дворянство как *сословие* уже почти не существует *de facto* [фактически (*лат.*)] с 1861 года, но оно в провинции продолжает играть первенствующую роль: во-первых, как «интеллигенция», а во-вторых, как крупный землевладельческий класс. Что такое это нынешнее дворянство?

Дворяне — это прежде всего *русские европейцы*, выросшие на общеевропейских понятиях XIX века, т.е. на понятиях смутных, на основах расшатанных, на чтении таких книг и газет, в которых всё критикуется и многое отвергается, а непреложными аксиомами считаются только принципы либерально-эгалитарного прогресса, т.е. *les droits de l'homme...* [права человека (*фр.*)]. Эти русские европейцы в большинстве случаев очень *лояльны*, они готовы идти за Государя на войну или посылать на смерть за родину сыновей своих; они готовы жертвовать и деньги... В среде дворянской несравненно больше, чем во всяком другом классе, найдём мы людей благородных, великодушных и честных. Но *личная мораль* (я уже говорил это) и даже личная доблесть, сами по себе взятые, не имеют в себе ещё ничего организующего и государственного. Организует не личная добродетель, не субъективное чувство чести, а идеи

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

объективные, вне нас стоящие, прежде всего религия. Религиозно ли наше дворянство? Набожно ли оно или нет? Нет сомнения, крестьяне наши нравственно несравненно ниже дворян, они часто жестоки, до глупости недоверчивы, много пьют, недобросовестны в сделках, между ними очень много воров; но у них есть определённые объективные идеи; есть страх греха и любовь к самому принципу власти. Начальство смелое, твёрдое, блестящее и даже крутое им нравится... Архиереев, генералов, командиров военных мужик наш не только уважает, они нравятся его византийским чувствам... Кресты царские он любит и глядит на них с уважением, почти мистическим. Таково ли нынешнее дворянство?.. <...>

Понятно, что из этого выходит? Возьмём один пример ещё из одной губернии... Возникает вопрос о том, допускать ли представителей белого духовенства на выборы в гласные или нет. В Петербурге решают: «Допускать, ибо они могут иметь нравственное влияние». Дворянство отвечает сдержанной улыбкой на это замечание о нравственном влиянии духовенства. Священники баллотировались в гласные. *Все не избраны.* Что ж это такое? Легальность соблюдена, свобода выбора... Хорошо! Свобода выбора, но зачем же этот дух свободы и прогресса? На подобный вопрос мне отвечают: земство — дело прежде всего хозяйственное, экономическое; на что священники?

Мне кажется, что крестьяне и старые купцы взглянули бы на участие священников серьёзнее.

Пусть будет так; пока это ещё вовсе не *злонамеренность*, не крамола, это просто тот же самый *дух времени*. Это скорее европейское легкомыслие, современная потребность переходить за черту хотя бы обходом и непременно *не направо, а налево*. Это всё ещё довольно безобидная и с виду вполне законная *оппозиция*, и больше ничего.

Но вот... близится важный, почти страшный вопрос о *школах*... Земству дано право открывать школы, содержать их и руководить ими, при соблюдении определённых формальностей. Школы эти поставлены под надзор особых директоров и инспекторов, от земства не завися-

щих; кроме того, существуют высшие училищные советы, в которых заседают разные члены-наблюдатели, директор гимназии, например, губернский предводитель и т.д. И что же? Несмотря на весь этот надзор, на все легальные препоны, положенные, по-видимому, как *неосторожностям наивного прогресса*, так и *злонамеренности*... в школы проникало до самого последнего времени столько нежелательного... что понадобилось удвоенное к ним внимание <...>.

Бывали, говорят, в педагогической деятельности земств и такие примеры. Священников просят *не беспокоиться*, а приходить только на экзамены, и если успехи в *Законе Божьем* окажутся хорошими, то священникам земство даёт *денежную награду*. Священники бедны, к тому же многие из них сами полулибералы, уже из-за того одного, что подчинены чёрному духовенству («этим *тунеядцам-монахам*, достигающим епископского сана»). Священники молчат, а к детям приближаются большей частью люди, по крайней мере, сомнительные.

Случались ещё и вещи иного рода; я знаю, что в доме одного предводителя учитель народного училища публично проповедовал следующие вещи: «Роскошь! Кто говорит против комфорта и роскоши? Вот здесь (в доме помещика) хорошо, красиво. Но надо более ровное распространение всего этого. Посмотрите, как живут крестьяне, посмотрите и на церковь. В церкви роскошь: золото, серебро; всё это накопление богатства можно обратить на другое, более полезное. Если крестьяне в силах поддерживать церковь, то они были и в силах *вместо этой церкви поддерживать и клуб*, в котором они привыкали бы постепенно к опрятности, к удобствам жизни, читали бы газеты» и т.д.

Все слушают и никто не находит даже эти речи злонамеренными. Всё это — приятная беседа и больше ничего. В этом данном случае мы слышим всю гамму либерального концерта, мы видим все оттенки либеральной окраски от явного нигилизма (злонамеренности) в лице учителя до простодушного и невнимательного потворства со сторо-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ны земских деятелей и даже до снисходительности полицейских властей. Как именно? А вот как: земские деятели слушают и молчат, может быть, не находя это серьёзным, а может быть, и соглашаясь с учителем в том, что *рано* или *поздно это и должно быть так*, «нельзя только вдруг сдирать с народа старую кору суеверий». Это я и не называю явной злонамеренностью, а просто — прогрессивной пустотой, просветительным простодушием, европейской глупостью...

Но дело, положим, дошло до губернатора; учителя схватили; схватили, отправили куда-то, подержали где-то и *выпустили опять... И он опять в той же губернии*. Немного погодя, вероятно, будет учить. Вы спросите, что же делать со всем этим? Не скажу — *не знаю*, а скажу — *подождём ещё об этом говорить...*

А пока вот что «Голос» в другой статье («Невесёлые наброски») говорит следующее: «Единственное у общества средство обсудить положение и изыскать меры к противодействию злу — печать. Что же сказала она нам? Ничего, кроме фраз. Иностранные газеты несравненно обстоятельнее наших, русских, разберут положение дела, укажут исход из него, предложат меры. А мы? Почему же мы не могли бы так же всесторонне, глубоко исследовать вопрос, нам столь близкий? Какая в этом опасность, если б при этом и были высказаны мысли неверные, предложены меры невозможные. Польза же была бы великая: и правительство, и общество знали бы все те элементы, среди которых оно живёт и с которыми должно считаться; наконец, и печать стала бы серьёзнее относиться к своим задачам и к важным вопросам, волнующим отчизну».

Послушайте! Да разве с людьми либеральными можно рассуждать *глубоко и всесторонне*?.. Вы покроете безмолвным презрением того, кто позволит себе выйти из круга общепринятых понятий... Прежние славянофилы пробовали это сделать. И что же вышло? Где следы их учения?.. Они стали влиятельны только тогда, когда, оставив в стороне свои заветные мечты о *славянском своеобразии*, стали заботиться лишь о самой *несвоеобразной сто-*

роне дела, т.е. о *славянской свободе*. Пока дело шло о *своеобразии*, все смеялись над «шапкой мурмошкой», *несмотря на то, что изменение внешних форм быта есть самый верный и могучий признак глубокого изменения в духе*. А когда вся Россия встрепенулась на зов их? Тогда, когда речь зашла об освобождении славян *от всего того именно, что мешало им до сих пор стать самыми обыкновенными европейскими меццанами!* До национального своеобразия и творчества, до национальной самобытности нам дела нет; мы просто утратили способность понимать, что это такое — своеобразие творчества и т.п. и каким это образом выходит, что даже рабство и всякие стеснения, во многих случаях, *развивают личность* — и *народную, и единичную* больше (т.е. выразительнее), чем общеевропейская нынешняя свобода?.. Другими словами, как же это так выходит, что право и возможность жить самобытно есть не что иное, как право и возможность — *стать такими, как все?* <...>

Государство держится не *одной свободой* и не *одними стеснениями и строгостью*, а неуловимой пока ещё для социальной науки *гармонией* между дисциплиной веры, власти, законов, преданий и обычаев, с одной стороны, а с другой — той *реальной свободой лица*, которая возможна даже и в Китае при существовании *пытки*... «Не делай того, что запрещено, если боишься пытки... А если не боишься — как знаешь». Этот выбор возможен был во все времена, и *люди действительно выбирали*... Если можно жить и действовать при подобных условиях, то как же было бы не жить и не действовать спокойно при *учреждениях новых* и столь мягких?.. Однако мы видим, что *нигде* люди на этих мягких учреждениях *остановиться* не могут, и всё *цивилизованное* человечество теперь несметной толпой стремится в какую-то тёмную бездну будущего... бездну незримую ещё, но близость которой уже на всех мало-помалу начинает наводить отчаяние и ужас!.. <...>

1880

Леонтьев К.Н. Собр. соч. М.; СПб., 1913. Т. 7;
Избранное. М., 1993. С.169—186

А.Д. ГРАДОВСКИЙ (1841—1889)

Что такое консерватизм?

I

Вопрос, поставленный в начале этой статьи, имеет большое значение не только для теории, но и для практики, и для последней, может быть, больше, чем для первой. Словами — консерватор, консерватизм — определяется не столько склад теоретических понятий общественного деятеля, сколько практическое направление его деятельности, не столько склад его ума, сколько направление его воли. Эпитет «консервативный» совершенно не идёт к философии, к поэзии, к науке. <...> На почве идеализма могут одинаково развиваться направления, в общественном отношении и консервативные, и прогрессивные. <...> Если центр тяжести консерватизма, либерализма, абсолютизма и т.д. определяется характером *отношений* каждого из этих направлений к явлениям общественной жизни, то спрашивается, чем характеризуются эти отношения, чем определяется их существо?

Вопрос этот любопытен в наше время, и, особенно в России, значение всех этих иностранных слов мало выяснилось, и они прилагаются вкривь и вкось. Например, у нас очень принято противопоставлять термины *консервативный* и *либеральный*, не подозревая, что противоположение этих понятий представляет порядочный абсурд. Либерализм есть известная теория устройства государства, форм и пределов его деятельности. Либерализм в отношении государственного устройства исходит из требования обеспечения известных прав личности (личная свобода, неприкосновенность имущества, свобода печати, вероисповедания и т.д.) от государственного всемогущества; в отношении форм и пределов деятельности государства, он исходит из предположения, что личная предприимчивость и самодеятельность есть нормальный источник всякого прогресса и что поэтому деятельность государства должна

ограничиваться охранением свободно проявляющихся личных сил и восполнением этих личных усилий там, где они оказываются недостаточными. В этом смысле либерализм противопоставляется *абсолютизму* и *гувернаментализму* (правительственной опеке).

Если на практике понятие либерала и сопрягается с понятием прогрессиста, а абсолютиста с идеей консерватора, то это зависит или, лучше сказать, *зависело* от чисто *исторических* причин.

Именно либеральные государственные учреждения Западной Европы создались под влиянием требований нового времени, в виде противоположности учреждениям старого порядка, построенного на началах абсолютизма. Но эта связь прогрессивного направления с либерализмом в настоящее время уже порывается на западе Европы. Либеральная партия уже выступает там, в качестве консервативного элемента, в противоположность требованиям *социалистов*, возвращающихся к началам государственного *вмешательства*.

Если либерализм противопоставляется абсолютизму и системе государственной опеки, то *консерватизм* обыкновенно противопоставляется направлению прогрессивному. Как ни странно покажется это на первый взгляд, но последние два направления (консервативное и прогрессивное) не только не могут быть *противоположены* первым двум, но даже могут быть с ними *соединены*. Либерал может быть консерватором; сторонник государственной опеки может быть прогрессистом. <...>

Всякие рассуждения и действия человека о государственных и общественных делах могут относиться, в общем своём объёме, к двум различным вопросам. Во-первых, они могут относиться к *форме государственного устройства и управления*, т.е. к вопросу о пригодности для данного общества тех или иных учреждений, того или иного объёма личной свободы, той или иной степени государственного вмешательства и т.д. Эти рассуждения относятся, так сказать, к *догматической* стороне государственного устройства; под их влиянием вырабатываются определённые

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

идеалы политических форм. На этой почве вырабатывается различие между либералами и абсолютистами, монархистами и республиканцами, демократами и аристократами и т.д. Во-вторых, они могут относиться к самому *процессу перехода* государства от одного типа к другому в то время, когда этот переход уже совершается силою вещей.

Либералы и абсолютисты, монархисты и республиканцы, демократы и аристократы, сторонники самоуправления и защитники правительственной опеки ведут между собою спор относительно принципов государственного устройства и управления. Спор же между консерваторами и прогрессистами бывает спором не столько о принципах, сколько о *приложении* этих принципов к условиям данного общества. Вопрос времени и места играет в этом споре гораздо большую роль, нежели вопросы принципиальной годности того или иного начала.

Не должно, однако, думать, что распри между консерваторами и прогрессистами не имеют никакого *принципиального различия* и сводятся исключительно к вопросам целесообразности и удобств. Не должно думать, что консерватор отличается от прогрессиста тем, что последний хочет произвести государственную реформу вдруг и разом, а первый постепенно и по частям. В основании каждого направления лежит определённое мирозерцание, известная совокупность мыслей, чувствований и стремлений, какими определяется отношение консерваторов и прогрессистов к движению общественной жизни.

Консерватор исходит из убеждения в годности основных начал данного общественного устройства. Он их хранит не подобно лукавому рабу, закопавшему данный ему талант в землю, а подобно верному слуге, пускающему таланты в оборот, ради пользы своего господина. Он знает очень хорошо, что государство XIX века не может жить в учреждениях XV. Он желает, чтобы установления его родины всегда соответствовали их историческим началам; но он знает также, что сохранение этих начал зависит от правильного видоизменения их форм, соответственно условиям времени; что общественный организм, так же как организм индиви-

дуальный, не может развиваться без обновления тканей и изменения в своих формах. Весь вопрос только в том, какие ткани сделались непригодными, какие формы отжили свой век. Исходя из убеждения в годности основных начал своего общественного строя, консерватор соглашается на отмену только таких учреждений, которые сделались абсолютно непригодными для государства, препятствовали бы его дальнейшему развитию, и старается, чтобы новые учреждения, сколько возможно, соответствовали бы началам историческим. Он не изменяет своим богам, но ищет для них нового храма. Он не допустит ни изгнания богов, ни упразднения их храмов. Но он не допустит также, чтобы его бог помещался в полуразвалившемся от времени храме и принимал поклонение верных в месте мерзости и запустения. Его бог есть бог исторический, который растёт и возвеличивается вместе со временем, переходя из скромной средневековой обстановки в пышные палаты новых времён. И когда храм выстроен, консерватор делается его верным стражем. Он не даст заменить его ни средневековою постройкою, ни зданием во вкусе XXII века. Он будет ждать, чтобы его осудило время, которому он остаётся верен.

Если консерватор старается связать прошедшее с настоящим, то *прогрессист* думает о связи настоящего с будущим; консерватор направляет свои усилия к тому, чтобы учреждения прошедшего видоизменились согласно требованиям настоящего и через это приобрели новую свежесть и прочность; прогрессист старается внести в настоящее иные требования *будущего*, которое он предвидит и работу которого он старается облегчить. Его требования всегда шире, приёмы резче, критика глубже, чем у консерватора. Как консерваторы, так и прогрессисты понимают, что люди меняются со временами и что новым временам нужны и новые учреждения. Но консерватор видит главным образом людей *своей* эпохи, понимает и старается осуществить их требования, насколько они подготовлены прошлым страны. Прогрессист в чертах современного ему человека умеет уловить неясные ещё для других черты человека будущего; в общем хоре современных требований

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ему слышится и «музыка будущего», пришествие которой он подготавливает по мере своих сил.

Но и консерваторы, и прогрессисты сходны в том, что они одинаково стоят на почве исторического развития народа. Если прогрессисты и думают о требованиях *будущего* больше, чем консерваторы, то и они действуют для него в пределах настоящего. Они выражают те требования, которые, не осуществляясь немедленно, желательны, однако для ближайшего будущего и удовлетворяются в первую удобную минуту. Например, требования прогрессивной партии в Англии относительно избирательной реформы не осуществились вполне в 1832 году; но эти требования оказались удобоисполнимыми в 1867—1872 годах, когда было расширено избирательное право и введена система тайной подачи голосов.

При сравнении этих двух партий трудно сказать, которая из них приносит больше пользы государству и обществу. Благодаря действию обеих, те государства, в которых этому действию дан был простор, развивались действительно исторически, в органической связи прошедшего, настоящего и будущего. <...>

В действии своём оба направления идут рука об руку, поддерживая и двигая учреждения своей родины. Жестокая борьба, происходящая иногда между ними, не свидетельствует против того, что они делают одно и то же дело и делают его вместе. Каждая реформа является результатом их соглашения. Она показывает меру уступок, сделанных партией консервативной, под влиянием *общего* сознания о необходимости перемены. *Неосуществимые* требования партии прогрессивной не заключают в себе никаких разрушительных начал. Обыкновенно в них содержатся *desiderata* [пожелания (*лат.*)], осуществимые и осуществляющиеся в близком будущем, следовательно, *согласные* с историческими условиями страны.

Отсюда понятно, что консервативную и прогрессивную партии не следует смешивать с такими партиями и направлениями, с которыми их часто смешивают, особенно у нас. **Консерватор проникнут уважением к историчес-**

ким началам национальных учреждений; но он признаёт необходимость их развития, следовательно, и видоизменения тех учреждений, в которых воплощаются эти начала. Когда эти начала видоизменены, вследствие общепризнанной необходимости, он не станет под них подкапываться, не будет содействовать их разрушению во имя «предания», т.е. он не явится *реакционером*. Консерватор хранит старину, но в пределах требований настоящего, и обновлённые, согласно этим требованиям, учреждения становятся в его глазах частью учреждений исторических, следовательно, достойных всяческого охранения. *Реакционер*, напротив, живёт *старинною*, не признавая никаких требований настоящего. То, что совершается сегодня, кажется ему самым злым оскорблением для почтенной старины. За это оскорбление он мстит, мстит зло и с бешенством, стараясь разбить в прах ненавистную ему «новизну». Не должно, впрочем, думать, что этот далеко не любезный тип не имеет своего бытового и исторического основания. Он вырабатывается и выступает на историческую сцену обыкновенно после глубоких общественных потрясений, после насильственных переворотов, переступивших меру нужного и полезного, оскорбивших много святого и почтенного и породивших на первое время, по крайней мере, бездну зол. В эту годину народного бедствия спасение видится в старине; глаз не видит ещё осадков доброго, как не видит глаз путника тучного ила, оставляемого разлитием Нила. Он видит только наводнение и разрушение; боязливо ищет он убежища на высоте вековых пирамид и тоскливо ждёт спасительной лодки. Но бессильны вздохи о старом <...>. Всё стало новым, начиная с приверженцев старины. <...>

У *прогрессиста* есть также собрат, которого с ним часто смешивают, которого голос как будто сливается с его голосом и произносит одни с ним слова. В прогрессисте часто думают открыть черты *революционера*. Но эти кажущиеся братья — дети разных родителей. Прогрессист рождается в стране, спокойно совершающей своё историческое развитие, и порождается временем, когда равновесие поступательных и охранительных сил в обществе достиг-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ло возможной полноты. Он смело идёт навстречу будущему, с определённым багажом из прошедшего и настоящего; он представляет поступательное движение своей родины в его исторической полноте. Он признаёт и чувствует живую связь свою со своими отцами, дедами и прадедами, считает себя их наследником и продолжателем, не стыдится этой кровной связи. Но это потому, что отцы, деды и прадеды делали своё дело, доходили до известного «предела», от которого и отправлялись их преемники. Прогрессист есть дитя *исторически* развивающейся страны, порождение непрерывно видоизменяющегося общественного порядка.

Революционер — порождение иных обществ и времён. Предположите общество, почему-либо застывшее в своих формах, сделавшихся мало-помалу обременительными, утративших нравственную власть над умами и душами миллионов людей, которые не черпают уже в них сил для исполнения своего долга, относятся к ним скептически и равнодушно и переносят их или по необходимости, или ради приличия. Словом, предположите общество, резюме которого представлено Карлейлем в его «Истории французской революции».

<...> Общество задолго до революции лишилось живого правоправящего начала, воплощённого в кругу людей, с плотью и кровью, умом и сердцем. Три капитальнейшие основы старого порядка — монархия, церковь и знать — были уже покойниками, лежавшими в дорогих гробницах. Действительная власть упала на улицу, где её подняла бущущая и разъярённая голодом толпа, руководимая «евангелием от Жан-Жака Руссо» и семнадцатью заповедями декларации прав. Гробницы были сброшены, и стихийная сила вырыла ту страшную пропасть, куда слетели десятки, титулы, гербы, алтари и троны.

Если вы взглянете в черты революционера, разложите его природу на существенные элементы, вы откроете в нём только две вещи: во-первых, отвлечённый принцип, во имя которого он порвал все связи с прошедшим; во-вторых, совокупность страстей, инстинктов, похотей — всего

того, что принято называть стихийною силою, ставшею на службу отвлечённой формуле. Здесь всё не тронуту историей: «принципы» свежи, гладки, вылощены, как новенький экипаж, не знающий ни исторической пыли, ни опыта от трения, ухабов и толчков: они выработались в обществе, давным-давно оттеснённом от всяких общественных дел, привыкшем решать судьбы мира в салонах и кабинетах и упрощавшем все «формулы» до пределов возможного. В этот воздушно-лёгкий экипаж впряжены страшные кони, неукротимые и девственные, как те, что гуляли в американских пампасах. Куда занесут они колесницу? Все пробитые пути брошены, весь мир обратился в один беспредельный путь, «принципы» безграничны и необъятны — и кони бодро несутся в тот волшебный край, где все люди равны, где они «рождаются и остаются свободными», где они, бросив всё то, чему предки их верили в течение тысячелетий, поклоняются богине разума, ставшей таковою по приказу «всеобщей воли». Горе тому, кто попадётся на дороге! — а сколько народу попадётся колеснице, выскочившей из общепринятых путей и несущейся «по пространству вообще»? Знатные и незнатные, мужчины и женщины, взрослые и дети одинаково попадут под колеса и под копыта коней, и текущая кровь будет первым историческим следом на эфирно-лёгком «принципе». Много прольётся этой крови, и груды тел помешают торжественному ходу колесницы человечества. Лёгкие принципы сделаются страшным грузом, который еле-еле будут влачить усталые кони, тоскливо понуря голову и помышляя о покойном стойле и сене. Великое «возвращение к природе и к её священным правам» окажется порядочною фальшью и поступком противоестественным, т.е. противным *природе*. Нет, природа так не поступает; она не строит искусственных принципов и не совершает жертвоприношений во имя последних. Она *живёт* и других призывает к жизни.

<...> Общество, работая из поколения в поколение, постоянно хочет нового и, конечно, не в силу «разврата человеческой природы». Нет и не может быть такого состояния общества, когда наличные его учреждения, поли-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

тические, церковные и гражданские, удовлетворяли бы всем потребностям человеческого ума и материальной его природы. Предположить противное значило бы — признать, что люди всегда и во всём остаются равными себе; что все изобретения человеческого ума не имеют ровно никакого влияния на развитие самого человека; <...> что потребность в чтении и образовании не возросла после изобретения книгопечатания; что современник Вольтера и энциклопедистов смотрел на мир теми же глазами, как толпы крестоносцев, внимавших проповеди Петра Пустынника.

Поэтому ни один общественный строй, если под последними разуместь не только *формы* народного быта, но и склад убеждений, привычек, верований и надежд, никогда не представляет, безусловно, цельного и законченного типа. Рядом с ярко обрисованными чертами «существующего порядка» опытный глаз всегда может различить постепенно обрисовывающийся силуэт порядка нового, и, по мере накопления новых привычек, взглядов и стремлений, черты эти выступают всё ярче и ярче. Задача мудрой политики заключается именно в том, чтобы в своё время признать эти черты и перевести их в действительность. Иначе новые стремления, не получившие законного признания и не введённые в пределы нормальных общественных сил, останутся силами *стихийными*, способными произвести взрыв и разрушить порядок, долго не обновлявшийся, а потому сделавшийся анахронизмом.

Но общество, при нормальном своём развитии, не только обновляется, но и *капитализирует*, без чего нет и не может быть развития, эволюции. Без этой драгоценной способности нравственные, умственные и материальные богатства, накопленные предками, не сделались бы достоянием их потомства, и каждому поколению приходилось бы начинать *сызнова*, т.е. в действительности оставаться на одном пункте с предками. Страна, периодически выгорающая, не может идти *вперёд* в экономическом отношении, ибо идти *вперёд* — значит прибавлять что-либо новое к существующему. Если человек сожжёт свой дом для того,

чтобы идти «вперёд», он совершит великую глупость. Вместо того чтобы вносить новые богатства в существующий дом, он должен будет строить вновь самый дом, не думая уже о новых приобретениях, — и дай Бог, если ему удастся выстроить этот дом.

Обновление и капитализация — над этими двумя условиями нормального и исторического роста трудятся две нормальные общественные партии: *прогрессивная* и *консервативная*. И вот почему обе они одинаково отличаются от партий, принадлежащих к временам застоя или *революционных* переворотов, ибо тогда не может быть речи ни об обновлении, ни о капитализации, в их тесной связи и правильном соотношении.

II

Никакие теоретические рассуждения о консерватизме не выяснят, однако, его существа так, как изучение типов государственных людей этого порядка. Их практическая деятельность может послужить лучшим освещением начал так называемой «консервативной политики». Для этой цели мы остановимся здесь на деятельности одного из величайших людей этого типа, именно Р. Пиля (1788—1850 г.).

<...> Консерватор и реформатор — эти два названия не вяжутся друг с другом. Между тем в личности Пиля они «вязались», и удачное сочетание этих двух качеств заслужило ему, после смерти, название «мудрого и славного советника свободного народа», данное ему вовсе не в виде комплимента.

<...> семейные предания, дух эпохи, партии и первые уроки практической политики — всё должно было развить в Пиле строгого и бесповоротного «охранителя». Но мы увидим, как он, оставаясь верным консервативным началам, умел удовлетворять и требованиям жизни, которая развивалась вовсе не по программам партии.

Борьба с Французской революцией и колоссальные войны времён Консульства и Империи надолго остановили в Англии процесс её внутреннего развития, подготов-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

лавший существенные перемены в отношениях государства к вере, в системе народного представительства и в организации разных частей местного управления. Период борьбы (1793—1815) и время последующего утомления не только задержали этот процесс, но отразились и на характере господствовавшей партии. Если она проявляла необыкновенную энергию во внешней борьбе, то в отношениях её к внутренним вопросам эта «энергия» обнаруживалась главным образом в отрицательных и репрессивных мерах, направленных к охранению существующего, во что бы то ни стало. Консервативная программа, прежде представляемая такими лицами, как Питт-младший, совмещавшая в себе и твёрдое охранение главных начал английского государственного устройства, и требование пересмотра законов церковных, выборного права и т.д., выродилась в «программу» Лондондерри, т.е. программу решительного застоя. Но партия, усвоившая такую программу, не могла сохранить положение партии руководящей и действующей; при первом пробуждении общественной жизни она оказалась бы вполне бессильной и неспособной к политической роли. Пиллю и его ближайшим друзьям, Веллингтону и другим, принадлежит двойная честь. Во-первых, они видоизменили положение своей собственной партии, вывели её из заколдованного круга, в который она попала под руководством ультра-ториев, и доставили ей новый почёт, основанный прежде всего на уважении к их великим именам. Во-вторых, они открыли эру реформ, хлынувших в Англию после того, как Пиль пробил первую брешь актом об эмансипации католиков. Виги не могли бы пробить этой бреши: они ещё не пользовались достаточным авторитетом ни у короля, ни в обществе, видевшем в них тайных друзей революционных начал. Первый удар должен был выйти от партии, обладавшей авторитетом и властью; она сама должна была дать сигнал к преобразованиям и тем восстановить в Англии нормальный ход общественной жизни, завершить эпоху реакции. Для нормального хода жизни было бы весьма вредно, если бы правительственная система была изменена усилиями оппозиции, если

бы реформа была плодом победы оппозиционных элементов: единство правительства и страны было бы нарушено, и неизвестно, какой ход получила бы новейшая история Англии без сильной руки Пия. Он наложил свою печать на всё дальнейшее развитие своей родины и дал толчок всем последующим реформам. Он не участвовал во всех преобразованиях; к иным, как, например, к парламентской реформе 1832 года, он относился недружелюбно. Но если преобразовательное движение пошло в этой стране правильно, то этим она обязана тому, что первый толчок дан был ему Пилем.

Вопрос, на котором прежде всего показал свои силы этот «консервативный реформатор», был вопрос великой государственной важности: дело шло об уравнивании католиков с членами англиканской церкви в их *политических правах*. Для понимания существа и важности этого вопроса необходимо припомнить историческую постановку его в Англии.

С тех пор как Генрих VIII разорвал церковные отношения с Римом, а Елизавета окончательно организовала английскую епископальную церковь, отношение государства к вероисповеданиям «неустановленным», особенно к «папистам», было поставлено на почву вражды и недоверия, вызывавших страшные репрессивные миры. Конечно, они вытекали прежде всего из чувства *религиозной* нетерпимости, свойственной «протестантам» так же, как и католикам. Английский епископ Кранмер говорил королю Эдуарду VI: «Так как король есть представитель Бога — он должен карать нечестие». Но этот совет епископа не имел бы значения без особенных отношений государства к церкви, установившихся в Англии. Во-первых, после реформы, светский и духовный суверенитет слились здесь одинаково в лице короля. Король сделался главою церкви так же, как и главою государства. Поэтому приверженность к иной религии, особенно к римско-католической, рассматривалась не только как «нечестие», но и как «измена» законному государю. Во-вторых, религиозная нетерпимость сделалась оружием в руках самих *политических партий*, в

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

эпоху борьбы английского парламента и нации с домом Стюартов, представлявших начало абсолютизма и явно искавших точки опоры в католических элементах нации. В царствование Карла II парламент <...> устранил диссидентов вообще и католиков в особенности от занятий общественных должностей, куда их призывала королевская милость в обход законов. Иаков II, явный католик, пал в борьбе с привилегиями «установленной церкви». Билль о правах 1688 г. и акт об утверждении 1701 года навсегда устранили католиков от права занимать английский престол. Интересы нации и парламента тесно связаны с правами протестантских государей <...>. Католики обратились, в глазах закона, господствующих партий и царствующего дома, не только во врагов «установленной церкви», но и в приверженцев павшей династии, в «якобитов». Попытки претендентов в 1715 и в 1745 годах, поддержанные католическими симпатиями, подкрепляли этот взгляд.

Таким образом, основания английского государственного права слились с началами церковного устройства страны, и права короны покоились на этих протестантских принципах, поколебать которые значило <...> поколебать авторитет протестантского короля и протестантского парламента. <...>

Если эти принципы имели такую силу для Англии, где огромное большинство принадлежало к государственной церкви, то значение их возрастало в применении к Ирландии, где, среди $\frac{3}{4}$ католического населения, «установленная церковь» представляла не только интересы государства, но и интересы владычествующего племени относительно поработённой массы туземцев. Здесь католицизм был не только религиозным мнением, но и символом политической независимости; здесь он побуждал угнетённых ирландцев становиться на сторону Стюартов и врагов протестантской династии.

Под влиянием всех этих условий создались те исключительные законы, воспоминание о которых ложится пятном на истории «свободной» Англии. Эти законы могут быть подведены под три главные категории: 1) законов, воспре-

щавших, под страхом тяжкого уголовного наказания, *отправление богослужения* по обрядам римско-католической церкви; 2) законов, ограничивавших *гражданскую правоспособность* католиков, и 3) законов, исключавших католиков от пользования *политическими* правами.

Конечно, эти три разряда законов не сохранились неизменными до той минуты, когда Пиль провел свой закон об эмансипации. Первые два разряда потерпели существенное изменение; некоторые из этих законов были прямо отменены, другие не применялись. Даже третья категория их потерпела существенные изменения. Новые законы открывали католикам возможность занимать разные общественные должности, при соблюдении известных условий. В Ирландии, ещё в конце XVIII столетия, они были допущены к *участию* в выборах. Этим они обязаны были как успехам начала веротерпимости, так и тому, что «протестантское государство» с его протестантской династией окрепло настолько, что уже не боялось «католических заговоров».

Оставался, однако, важный вопрос: могут ли католики быть *избраны* в члены парламента и затем занимать места в кабинете, в Тайном совете, в палате лордов? Трудно было дать утвердительный ответ, пока Ирландия сохраняла свой отдельный парламент, в котором преобладание протестантского элемента считалось безусловно необходимым. Но с 1801 года положение дел изменилось. Последовало соединение Англии с Ирландией; последняя должна была посылать своих депутатов в *английский* парламент, где протестантское большинство было заранее обеспечено. Следовательно, те мотивы, которые вызывали исключение католиков из ирландского парламента, теряли свою силу относительно английского. На этой почве думал действовать Питт, если бы решительный отказ короля Георга III не побудил его отказаться от своего намерения. С тех пор инициатива по этому великому делу перешла в руки оппозиции; вопрос сделался предметом агитации, вызывал парламентские бури, народные сборища, схватки, подавлявшиеся вооружённой силой, процессы и держал в напряжении всю страну <...>.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Мнение Пиля, в тот момент, когда он начал свою политическую карьеру, достаточно определялось мнениями его партии и указанными выше условиями, под влиянием которых создались исключительные законы против католиков. Он твёрдо держался этих мнений и откровенно высказывался против всякой попытки изменить положение дел. Но разница между ним и ультра-ториями состояла в том, что он способен был принимать в расчёт новые факты политической жизни, наблюдать их со вниманием и свободой государственного человека и приходить на помощь государству с советами, соответствующими истинному положению дел <...>.

Настроение нижней палаты способно было навести на размышление. «С 1807 года, — писал он в своём превосходном мемуаре, представленном королю 12 января 1829 г., — было пять парламентов. Общие выборы происходили в 1807, 1812, 1818, 1820 и 1826 годах. В каждом из этих парламентов, за исключением одного, палата общин высказалась за рассмотрение вопроса о католиках. Палата, избранная в 1818 году, составляет исключение; но и в ней этот вопрос был отвергнут большинством двух голосов (243 против 241). Палата общин, избранная в 1820 г., два раза посылала в палату лордов билли, отменявшие неправоспособность католиков. Нынешняя палата высказалась в 1827 году против этой меры большинством *четырёх* голосов (276 против 272), но в последнюю сессию она высказалась за неё большинством 272 против 266». Это показывало ясно, что народное представительство вступает в решительный разлад с правительством и с системой, в которой оно упорствовало.

Агитация в ирландских массах принимала угрожающие размеры, требовавшее великого напряжения военных сил. <...> В 1829 году [Пиль] представил королю свой знаменитый мемуар, в котором он просил его величество разрешить кабинету заняться рассмотрением католического вопроса. Мемуар был представлен 12 января, незадолго до собрания парламента, с созывом которого можно было ожидать серьёзного кризиса. Мы остановимся на

А.Д. ГРАДОВСКИЙ

этом мемуаре, ибо редко какое произведение официально пера заслуживает такого внимания и уважения.

«Я убеждён, — писал он, — что католический вопрос не может более оставаться в положении вопроса “открытого” и что слуги его величества должны сообща принять определённую политику по этому предмету.

Страна не может быть предоставлена самой себе относительно католического вопроса; министры его величества не могут долее сохранять нейтралитет среди подобных прений и воздерживаться от выражения их общего мнения о таком предмете, без того, чтобы честь правительства, отправление его власти в Ирландии и постоянные интересы протестантской колонии не были сильно поколеблены.

Опыт должен был нам показать, что в Ирландии ни разъединённое правительство, ни правительство, согласное во мнении, но направляемое в Англии разделённым правительством, не может предписывать исполнения законов с твёрдостью и авторитетом, необходимыми при настоящем положении дел в Ирландии.

По отношению к прениям в парламенте положение администрации несостоятельно.

Предполагая, что она сохранит положение, принятое ею по этому делу, ей, при открытии парламента, по необходимости будет предстоять следующая альтернатива.

Она должна будет или остаться в бездействии по ирландским делам, или предложить репрессивные меры, не подавая никакой надежды на уступки.

Оставаться в совершенном бездействии, ничего не предлагать, не выражать никакого мнения об Ирландии — безусловно невозможно.

Возможен ли второй образ действий? Возможно ли налагать новые стеснения, требовать, от имени правительства, расширения власти, признаваясь, что ничего другого она не имеет в виду?»

Действительно, многолетний застой по ирландским делам в правительственных сферах привёл последние к выбору между дальнейшим молчанием, при котором

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

движение шло мимо правительства и во вред ему, и новыми репрессивными мерами, которые Пиль считал невозможными, при данном настроении английского общества и палаты общин. Установив полную несостоятельность политики «сопротивления во что бы то ни стало», он резюмировал свои доводы в пользу рассмотрения католического вопроса, во всём его объёме, в следующих пунктах:

«Во-первых, продолжительное (в течение шестнадцати лет) разногласие и разделение между двумя палатами парламента по важному конституционному вопросу есть великое зло.

Во-вторых, влияние католиков возросло чрезмерно, вследствие непрерывно повторявшихся решений палаты общин в их пользу. Мнение протестантской части общества относительно католицизма и поведения католиков в Ирландии было бы согласно, если б не прения, возникающие по поводу их политической неправоеспособности.

В-третьих, в течение последней осени, из 30 000 регулярной пехоты, которой располагает Соединённое Королевство, для поддержания спокойствия в Ирландии нужно было собрать 25 000, как в Ирландии, так и на берегах Англии, а последняя была в мире с целым светом.

В-четвёртых, хотя исход восстания не внушает мне ни малейшего опасения, хотя я убеждён, что последнее может быть немедленно подавлено, я думаю, однако, что состояние разделения по католическому вопросу, в коем находятся правительство и обе палаты, и необходимость быть постоянно готовым к вооружённой борьбе есть большее зло, чем сама борьба.

В-пятых, политическое возбуждение, в коем находится Ирландия, скоро сделает невозможным отправление здесь правосудия в тех случаях, когда будут затронуты вопросы политические или религиозные. Жюри перестанет быть обеспечением справедливости и безопасности, особенно в делах, где стороной является правительство.

Таковы практические и возрастающие недуги, для коих я не вижу лекарства, если нынешнее положение продол-

жится, а давление теперь настолько велико, что оно вполне оправдывает, по моему мнению, обращение к иным мерам».

Отметим ещё одну черту в этом замечательном мемуаре. Легко видеть, что Пиль, рассуждая о недугах, порождённых католическим вопросом и о средствах их врачевания, ни разу не упомянул о таких мерах, которые стоят вне законных и конституционных полномочий правительства. Как истинный консерватор и высокий практический ум, он рассуждал о мерах, дозволяемых данными основными законами, которых невозможно было менять по частному случаю, и приличных данному положению вещей, независимо от абсолютной годности тех или иных «принципов». Для него важно было, чтобы правительство, нация и парламент вышли из затруднения обновлёнными и укреплёнными и чтобы лихорадка, в которой страна жила в последние шестнадцать лет, уступила, наконец, место здоровым отправлениям общественного тела.

На эту почву он поставил вопрос и в палате, куда он был перенесён после долгих переговоров с королём, в течение которых Пиль и Веллингтон подавали в отставку, возвращённую им, впрочем, в тот же вечер.

Открывая, 5 марта 1829 года, прения в палате общин, Пиль дал следующую постановку этому вопросу:

«Я знаю, — говорил он, — что говорю пред палатой, большинство которой расположено подать голос в пользу этой меры, по мотивам более возвышенным, чем те, на которые я намерен опираться... Я воздержусь от всякого рассуждения об естественных или общественных правах человека; я не пущусь в исследование теории правительства. Озабоченный не тем, что можно *сказать*, но тем, что следует *делать* в таких затруднениях, я ограничусь практическим рассмотрением нынешнего положения. В течение многих лет я силился поддержать исключительные законы, устранявшие католиков от парламента и высших государственных должностей. Я не думаю, чтобы это было несправедливое или неразумное усилие. Я отказываюсь от него, придя к убеждению, что на нём нельзя настаивать с

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

пользой. По моему мнению, в настоящее время нет средств, действительных для этой борьбы. Я уступаю *нравственной необходимости*, которую я не в силах превозмочь. Существует ли такая необходимость? Что опаснее для протестантских установлений, которые я хочу защищать: упорное ли сопротивление или уступки, обставленные известными предосторожностями? Это всё, что я намерен доказать».

Когда вопрос был поставлен на такую почву, все споры о принципах были устранены. Дано известное положение дел; какой из него выход, согласный с практическими выгодами правительства и нации? На этот вопрос нельзя уже было отвечать «трансцендентальной» аргументацией. Можно было отвергнуть *практическую* меру, предложенную Пилем, но не иначе как предложив другую, тоже *практическую* меру, взамен предложенной. Оставаться же при чистом отрицании нельзя было потому, что правительство спрашивало палаты не об их мнении о принципиальном достоинстве католицизма и свобод совести, а делового совета об исходе из явно затруднительного положения.

Для противников меры оставался один главный ресурс — ресурс *личных* нареканий на её автора, и из этого драгоценного источника было извлечено два аргумента против Пилы: 1) он обвинялся в *отступничестве* от своих прежних мнений, в *измене* великому делу протестантской церкви и протестантского государства; 2) его уступка объяснялась страхом пред силою католической агитации.

На то и другое обвинение он дал полновесные ответы.

Обращаясь к ториям, обвинявшим его в *отступничестве*, он говорил: «Я не решусь покупать поддержки моих достопочтенных друзей обещанием упорствовать, в качестве советника короны, во всякое время и на всякий риск, в мнениях и аргументах, которые я когда-либо поддерживал пред этою палатою. Я положительно удерживаю за собою право определять мое поведение по требованиям момента и интересов страны. Это делали все государственные люди всех времён и стран, и я выражу мою мысль словами лучшими, чем бы я мог найти их сам, — словами

Цицерона: «Я научился, я видел, я читал; писания свидетельствуют нам о мудрейших и славнейших мужах, как этой республики, так и других, что те же люди не должны постоянно защищать тех же самых мнений, но должны отстаивать то, что требуется состоянием государства, направлением времени и духом согласия».

Оставалось обвинение в «страхе». Ему противопоставил Пиль следующее бессмертное возражение: «Я не знаю более низкого мотива для поведения, как страх. Но есть расположение духа, может быть, более опасное, хотя и менее низкое, — это страх быть заподозренным в трусости. Как ни презрен трус, но человек, боящийся, что с ним обойдутся как с трусом, выказывает не большее мужество. Министры его величества не боятся и не боялись «католической ассоциации»; они без труда подавили бы всякую попытку запугивания... Но есть опасения, вовсе не противные характеру человека самого твёрдого, *constantis viri*; есть вещи, которых он не может видеть без страха. Не должно смотреть без страха на расстройство в Ирландии, и тот, кто делал бы вид, что не боится этого, доказал бы равнодушие к счастью или несчастью страны».

Вся эта внутренняя драма, разыгравшаяся в душе великого предводителя консервативной партии, всё его поведение служат довольно ясным доказательством того, что консерватизм не есть «охранение» во что бы то ни стало и какими бы то ни было средствами. Напротив, они свидетельствуют о том, что консерватизм есть важный регулятор в процессе общественного *обновления* и является могущественным средством сохранить за правящими классами и правительством руководящую роль в преобразованиях. Поэтому такие консерваторы, как Пиль, не могут подвергнуться упреку в «непостоянстве» и вполне могут применить к себе слова Цицерона, из той же речи, цитированной некогда Пилем: «*Neque enim inconstantis puto, sententiam tanquam aliquod navigium atque ciirsum ex rei publicae tempestate moderari*»*.

* Я никогда не сочту признаком непостоянства сообразовать свои мнения и поступки, подобно какому-нибудь кораблю, с попутным ветром в государстве.

III

Государственный человек, проводя какую-нибудь реформу, говорит обыкновенно иначе, чем тогда, когда ему приходится иметь дело с реформой, совершённой его политическими противниками. Поэтому личность Пилля необходимо подвергнуть некоторому практическому испытанию. Как он поведёт себя не во власти, а в оппозиции? Случай к испытанию представится скоро. В 1829 году кабинет Веллингтона — Пилля был на вершине могущества; 16 ноября 1830 года он подал в отставку и уступил своё место вигам. Толчок, данный кабинету, пришел отчасти извне: 27 июля 1830 года совершилась французская революция, свергшая Бурбонов и пробившая огромную брешь в здании, созданном трактатами 1815 года. Но этот толчок для Англии важен был потому, что многие чувствования и стремления, присущие как вигам, так и демократической партии, пробудились теперь с новой силой. Георг IV умер, и ультра-тories лишились важной опоры; направление нового короля ещё не выяснилось. Наконец, само консервативное министерство сделало первый шаг на пути реформ. Преобразовательное движение должно было обратиться с новой силой на одно поистине большое место английского государственного устройства — на условия *парламентского представительства*.

Существо старого представительства состояло в том, что оно вполне находилось в руках поземельной аристократии. Несмотря на то что нижняя палата носила имя палаты *общин*, собственно «общин» в этом парламенте было менее всего. Благодаря тому, что избирательное право было истари прикреплено к «местечкам», постепенно утратившим значение городов, а в последних оно принадлежало привилегированным корпорациям, — что эти «местечки» и города* находились под решительным влиянием

* Например, знаменитое местечко Old Sarum в 1832 году имело 5 — 6 плохих домиков и 12 «избирателей». Между тем оно посылало в палату 2 представителей, коих фактически назначал владелец местечка, лорд Камельфорд. В 1790 году было 30 местечек с 375 избирателями, посылавших в палату 60 депутатов. Между тем Лондон, с 495 550 жителями, имел четырёх депутатов. У 500 городов вовсе не было представителей.

аристократии, которой они даже продавали свои услуги, можно сказать, что аристократия господствовала как в графствах, так и в городах одинаково. <...>

Всё это было совершенно понятно в ту эпоху, когда английская поземельная аристократия была главным и даже единственным фундаментом государства, когда она, кроме того, несла на своих плечах всю тягость местного управления и когда все отношения были проникнуты до известной степени феодальным характером. Наконец, аристократия в Англии долго держалась на высоте своего призвания. Она располагала депутатскими местами не для того, чтобы замещать их услужливыми бездарностями. <...> Но английское общество не избегло перерождения. Сильное развитие промышленности и торговли, колониальная политика Питта создали такой торгово-промышленный класс, какого не знает ни одна страна в мире, и он менее всего расположен был отказаться от представительства своих «интересов», вполне законных. Одно богатство не хотело видеть себя бесправным пред другим богатством. Но не одно новое «богатство» возвышало свой голос. Возвышала его бедность, в виде рабочих в разных промышленных заведениях, в виде рабочих ирландских, для которых экономическое горе обострялось политическими и религиозными условиями. <...> Пиль — дитя старой торийской Англии, вдруг увидел силуэт Англии новой, промышленной, да ещё с социальным вопросом. Он остановился в недоумении. Мы видели, что он решительно шел навстречу мерам, вызываемым условиями времени. Но теперь речь шла не о мерах к исправлению разных общественных и политических отношений, а об *изменении состава и качества сил*, на которые он привык опираться и с которыми, несмотря на различие мнений, он мог идти рука об руку. Все расчёты его политики, все его шансы были рассчитаны на определённые, исторически сложившиеся силы, которые он видел пред собою в палате общин. Теперь все расчёты должны были измениться; почва теряла прежнюю твёрдость. Он знал, что скажет и как будет действовать каждая партия в палате, избранной такими-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

то, искони установившимися избирательными собраниями. Но что скажет и какое направление примет палата, составленная иначе и из других элементов? Куда поведёт она Англию? Приступив раз к изменению состава избирателей, можно ли будет оставаться на скользкой почве? Начав перемещение власти, переместив её сегодня из одних рук в другие, можно ли ручаться, что завтра её не придётся перемещать в третьи? Не дойдёт ли Англия до полного осуществления требований *чартистов*, т.е. до демократии, столь несогласной с её историческим прошлым?

Конечно, все опасения Пилы и его сторонников были неуместны: билль о реформе 1832 года не был биллем «демократическим»; его пришлось восполнять и расширять в 1867 и 1872 годах. Но о состоянии государственного деятеля нельзя судить по фактам последующим. В момент возбуждения вопроса об избирательной реформе, когда планы самих реформаторов были ещё неясны, когда агитация предьявляла требования довольно неумеренные, консервативная партия имела основание отнестись к этому вопросу скептически.

<...> [Пиль] осуждал реформу потому, что она принята в дурную минуту, когда общество находится под свежим впечатлением французской революции, повлиявшей на возбуждение демократических страстей и в Англии; он находил, что она идёт против существенных оснований английского государственного устройства. «Я буду против этого билля, — говорил он, — потому что я считаю его роковым для нашей счастливой смешанной формы правления, для авторитета палаты лордов, для того духа преемственности и осторожности, доставившего Англии всеобщее доверие; роковым — для действия правительства, которое, доставляя полную защиту собственности и свобод частных лиц, дало исполнительной власти этого государства мощь, неведомую в другие времена и в других странах... Если билль, предложенный министрами, будет принят — он введёт у нас худший и низший из всех видов деспотизма, деспотизм демагогов, деспотизм жур-

нализма, тот деспотизм, который привёл соседние страны (т.е. Францию), некогда счастливые и цветущие, на край пропасти». <...>

Для *прогрессистов* вопрос ставился следующим образом: должны ли новые классы быть приобщены к нормальной государственной жизни путём представительства их интересов или остаться вне её, в качестве элементов, враждебных установленному порядку, а потому опасных? Победа новых стремлений в ближайшем будущем казалась им несомненной; но они не хотели, чтобы эта победа была победой над основными началами английской конституции. Они желали, напротив, чтобы торжество новых классов послужило на пользу государству, обновив его и обогатив новыми элементами, в нём действующими. И в порядке применения своей реформы они выказали тот «дух преемственности и осторожности», который, по словам Пиля, «заслужил Англии всеобщее доверие».

Любопытно сопоставить приведённую выше речь Пиля с речью Маколея, сказанной в защиту билля о реформе. «Посмотрите, — говорил он, — вдаль от вас, вокруг вас, всюду: всё предсказывает верное поражение тем, кто упорствует в тщетной борьбе против духа времени. Падение самого пышного из континентальных тронов ещё раздаётся в ушах наших; кровля английского дворца даёт печальное убежище наследнику сорока королей (Карлу X); повсюду мы видим старые учреждения ниспровергнутыми, великие общества разрушенными. Теперь, пока сердце Англии ещё здорово, пока старые чувства, старые учреждения ещё сохраняют у нас власть и обаяние, которые скоро могут исчезнуть, в эту минуту, ещё благоприятную, в этот спасительный час, спросите совета не у предрассудков, не у духа партии, не у постыдной гордости рокового упрямства, но у истории, у разума, у прошедших веков, у грозных признаков будущего. Обновите государство; спасите разъединённую против себя самую собственность; спасите толпу, преданную буйным страстям; спасите аристократию, скомпрометированную её непопулярной властью; спасите величайшее,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

прекраснейшее и наилучше образованное, из когда-либо живших, общество от бедствий, которые в несколько дней могут поглотить это богатое наследие стольких веков мудрости и славы. Опасность велика, а время кратко. Если этот билль будет отвергнут, я прошу Бога, чтобы никто из тех, кто будет этому содействовать, не пожалел горько и тщетно о своём голосовании среди крушения законов, смещения классов, грабежа имуществ и падения общественного порядка».

Министерство одолело. Билль о реформе, после разных вводных затруднений, прошёл, и последний парламент, избранный по старому порядку, был распущен. Новые выборы обеспечили Грею и Росселю огромное большинство в нижней палате. Парламент собрался 5 февраля 1833 года, и, вступая в него, Пиль увидел себя во главе слабого меньшинства побеждённых ториев. Эта минута, для определения его личности как *консерватора*, ещё важнее той, когда он выступал в качестве противника не принятого ещё законопроекта. Теперь парламентская реформа стала совершившимся фактом. Как отнесётся к ней вождь консервативной партии? Употребит ли он все свои усилия на то, чтобы доказать её несостоятельность и несвоевременность? Будет ли он подставлять ногу министерству, совершившему эту реформу? Нужно заметить, что такая политика могла бы иметь порядочный успех в новом парламенте. Правда, консерваторы были в меньшинстве; огромное большинство состояло из прогрессивных и даже радикальных депутатов. Но это нисколько не означало, что министерство располагает надёжным большинством и имеет твёрдую почву под ногами. Напротив, виги, получившие теперь власть, находились в обновлённой палате в таком же новом и непривычном положении, как и побеждённые ими тории. Обе партии одинаково создались на почве старых отношений и старинной избирательной системы. Границы их борьбы и споров были заранее определены кругом известных вопросов; поэтому каждая из двух партий могла иметь строго очерченную программу, и борьба между ними, хотя бы весьма жестокая по своим формам, не

могла вызвать серьёзного замешательства в стране. Теперь министерство вигов имело пред собою новую палату; оно должно было обеспечить своё положение, найти себе точку опоры. Его положение было затруднительнее положения побеждённых консерваторов. Последние могли оставаться самими собою; напротив, на вигов возлагалось теперь множество надежд, из которых они могли осуществить только определённую часть. Будь на месте Пиля ловкий честолюбец, он превосходно воспользовался бы этим затруднительным положением своих противников, ловко вызвал бы всякие парламентские и непарламентские бури, пожалуй даже и народные волнения, и затем с торжеством воскликнул бы: вот к чему привела парламентская реформа!

Но человек, находившийся во главе побеждённого меньшинства, иначе понимал свои отношения к стране и к короне. В одном из первых заседаний обновлённой палаты он ясно определил свою программу. «Мой долг, — говорил он, — поддерживать корону, и поддержка, которую я даю, предписывается мне соображениями вполне известными и бескорыстными. Я не имею другого намерения, как защищать законы, порядок, собственность и общественную нравственность... Пусть не говорят, что я действую так из желания возвратиться к власти; я чувствую, что между мною и властью существует большая пропасть, чем для всякого другого члена этой палаты... Я был бы счастлив давать мою поддержку почтенным главам нынешнего правительства в силу моего доверия к ним как политическим деятелям; с сожалением говорю, что я делаю это не по означенному мотиву. Я даю им мою поддержку потому, что они министры короля и в ней нуждаются». Указав затем, что состав палаты общин изменился и что поэтому и тактика партий должна измениться, он продолжал: «Когда палата общин была разделена на две большие партии, из коих одна обладала властью, другая была в оппозиции, но обе были твёрды и уверены в известных принципах, тогда было естественно и справедливо, что оппозиция принимала образ действий, наиболее способ-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ный низвергнуть противника. Обстоятельства изменились, и я не признаю за собою права на то, что было прежде законной и необходимой тактикой партии». Он объявил, что будет поддерживать правительство и в его стремлениях поддерживать существующий порядок, и в его желаниях произвести всякие полезные реформы. Такое согласное действие необходимо теперь именно потому, что большинство новых депутатов явилось в палату с преувеличенными надеждами, которых правительство осуществить не может. Что касается реформы, то Пиль относился к ней как к установленному факту.

Но речь, произнесённая под свежим впечатлением реформы и в первую сессию обновлённого парламента, не могла выражать истинных взглядов Пилля во всей их полноте. Скоро ему представился случай высказаться определённое. Министерство вигов оказалось в затруднительном положении. Его средства не соответствовали требованиям, ему предъявляемым; правда, ему удалось совершить несколько преобразований, но главные силы его уходили на внутреннюю борьбу в парламенте, длившуюся около двух лет. <...> Король обратился к Веллингтону для составления нового кабинета; герцог объявил, что это место может занять только Пиль, под руководством которого он готов служить его величеству. Пиль, вызванный из Италии, где он тогда находился, 9 декабря 1834 года принял возложенное на него поручение. Он воспользовался этим случаем, чтобы объяснить со своими избирателями и с парламентом. Обращение его к избирателям г. Тамворта особенно замечательно.

«Я никогда не принял бы власти, — говорил он, — под условием отречения от начал, до сих пор управлявших моими действиями. В то же время я не допускаю, чтобы я был, прежде или после билля о реформе, защитником злоупотреблений или врагом справедливых реформ. Со спокойною совестью указываю я на участие, принятое мною в вопросе о монетной системе, в улучшении наших уголовных законов и отправления суда присяжных, и на мнения, которые высказывал и-коим следовал во всём, что касается

до управления страной... Что касается самого билля о реформе, я повторю сказанное мною при вступлении моём в преобразованный парламент: я смотрю на этот билль *как на окончательное и бесповоротное решение великого конституционного вопроса, решение, которому ни один друг мира и счастья нашей страны не должен причинять ущерба ни прямо, ни обходными путями*».

Коротко говоря, он смотрел на изменение основ народного представительства, состоявшееся с согласия страны и под авторитетом короны, как на общую почву действия для консерваторов и прогрессистов одинаково, на почву, на которой ни той, ни другой партии не следует рыть ям.

Пиллю, впрочем, не пришлось на этот раз выяснить свою программу на практике. Сила его партии была ещё незначительна, а сила оппозиции слишком велика, чтобы министерство могло спокойно управлять страной, опираясь на парламент. Потерпев поражение по частному вопросу, оно 8 апреля 1835 года подало в отставку. Власть снова перешла к вигам, образовавшим министерство под главенством Мельбурна. В течение шести лет (1835—1841) Пилль находился в оппозиции, в которой он рос сам и возвышал вместе с тем и влияние своей партии. Он служил своей стране, предостерегая её от преобразований радикальных и в то же время поддерживая правительство на пути всех разумных и необходимых реформ. Это привело к тому результату, что в тот момент, когда страна сознала необходимость глубокой реформы, когда общественное недовольство снова приняло те размеры, какие оно имело в конце царствования Георга IV, все взоры обратились снова к Пиллю, которого сильная и осторожная рука одна могла вывести страну из затруднения. В 1841 году королева призвала его встать во главе управления, и он остался на этом посту до 1846 года, памятного для промышленной и торговой истории Англии.

Вопросы, с которыми Пиллю пришлось теперь стать лицом к лицу, были уже не церковно-политические, но социальные. В обновлённом промышленно-торговом классе

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Англии громче, чем когда-нибудь, выражалось требование свободы торговли и высказывалось отвращение от прежней покровительственной системы; последняя близко затрагивала и участь рабочих классов, ибо одной из самых тяжких пошлин являлась пошлина на привозной хлеб, «поощрявшая» местное земледелие, т. е. обеспечивавшая интересы землевладельческой аристократии. Далее, отношения между предпринимателями и рабочими, положение последних, бесконтрольное пользование трудом женским и детским, агитация в среде рабочих классов — озабочивали правящие классы. Виги успели сделать в этом отношении довольно много, но главная тяжесть работы выпала на долю Пилля.

По свидетельству Гизо, видевшегося в 1840 году с Пиллем, последний был чрезвычайно озабочен участью рабочих классов. «Там, — говорил он Гизо, — слишком много страданий и смущения; это стыд и опасность для нашей цивилизации. Необходимо сделать участь этого рабочего люда менее тяжкой и более обеспеченной. Конечно, всего сделать нельзя; но должно сделать то, что можно».

Такова была господствующая мысль, с которой он вступил в должность первого министра Великобритании. Мы не последуем за ним на это поприще. Нам пришлось бы перечислить слишком много принятых им мер, рассказать всю великую драму борьбы против хлебных законов, историю кобденовской лиги, парламентских и уличных волнений, описать картины голода и страданий, воспоминания себялюбивых и упорных «интересов», против которых пришлось идти Пиллю, когда он осознал необходимость отмены хлебных законов и провозглашения начал свободы торговли. Такая задача была бы слишком обширна и потребовала бы нескольких томов.

Мы остановимся на воззрениях Пилля в тот момент, когда великая борьба приходила к концу; когда палата общин приступила к окончательному обсуждению правительственного проекта; когда Пиль увидел, что великий вопрос, волновавший нацию, не может быть решён путём частных уступок и законодательство должно усвоить совершенно новые начала.

Прежде всего он встретился с знакомым уже нам обвинением в измене началам и интересам своей партии, которая возвела его на высший пост в государстве. Действительно, её интересы были теперь затронуты ближе, чем даже во времена парламентской реформы: новые законы шли против кажущихся оснований её материального могущества. Пилю нужно было объяснить начистоту, что он и сделал. «Объяснимся, — сказал он своим обвинителям, — и я говорю не только за себя, но и за всех моих почтенных предшественников на этом высоком посту — объяснимся относительно природы обязательств, которые мы принимаем на себя, занимая этот пост! Я служил четырём государям — Георгу III и трём его преемникам; я служил им в трудные времена. Я служил им с неизменной верностью; я говорил каждому из них, что есть только одна милость, одно отличие, одна награда, которых я желал бы для себя и которые они могли бы мне дать, — это простое признание, что я всегда был для них честным и верным министром. В этом, говорю я вам, состоят обязанности, возлагаемые на людей, облечённых властью... Поверьте мне, управление этой страной — задача трудная; я могу сказать это, не оскорбляя никого. Старые учреждения наши, подобно нашему организму, суть вещь чудная и нежная, заставляющие трепетать за них. Нелегко поддержать активное единство между старой монархией, гордой аристократией и преобразованным представительством. Я сделал всё, что мог, всё, что я считал согласным с *истинной консервативной политикой*, для того, чтобы эти три элемента государства шли согласно. Я полагал, что с истинной консервативной политикой согласуется распространение в народе чувства довольства и счастья, достаточные для того, чтобы голос недовольства не слышался и чтобы изгнать мысль о нападках на наши учреждения. Принимая власть, я имел в виду эту цель — бремя слишком великое для моих физических и умственных сил; вынести его с честью будет для меня величайшим благом. Пока честь и долг повелевают мне, я буду готов нести его. Но я не вынесу его с властью изу-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

веченною и связанною; я не останусь у руля в бурные ночи, какие я видел, если кораблю не дадут следовать по направлению, какое я счёл нужным ему дать... Я не прошу быть английским министром; но пока имею честь занимать эту благородную должность, я не буду занимать её на основаниях рабских; я сохраню её, пока на меня не будет возложено никакого обязательства, кроме обязательства сообразоваться с пользою общеою и содействовать безопасности государства).

<...> Это было 16 февраля 1846 года; Пиль развернул перед палатой весь свой план, объяснил все его подробности, финансовые и экономические. В заключение он поднял вопрос на высоту исторической минуты, которую переживала Англия; консерватор наносил сильный удар отжившей системе, стеснявшей свободное и правильное развитие его отечества; он вышел уже за пределы условий настоящего: в его речи послышались торжественные, прощальные ноты.

«Эта ночь, — говорил он, — решит между шагом к свободе и возвращением к запретительной системе; в эту ночь вы выберете девиз, в котором выразится торговая политика Англии. Будет ли это “вперёд” или “назад”? Которое из двух слов соответствует этому великому государству? Рассмотрите наше положение, выгоды, данные нам Богом и природою, судьбу, нас ожидающую. Мы поставлены на краю Западной Европы, как главное звено, соединяющее Старый свет с Новым. Научные открытия и улучшения в мореплавании поставили нас в 10 днях от Петербурга и скоро поставят нас в 10 днях от Нью-Йорка. Береговая линия, большая относительно числа народонаселения и поверхности страны, чем какую располагает другой народ, обеспечивает нам превосходство наших морских сил. Железо и уголь, эти нервы промышленности, дают нашим мануфактурам великое преимущество над соседями. Наши капиталы превосходят те, которыми могут располагать наши соперники. В изобретении, искусстве и энергии мы не уступаем никому. Наш нацио-

нальный характер, свободные учреждения, под которыми мы живём, наша свобода мысли и действия, нестеснённая печать, быстро распространяющая все открытия и усовершенствования, — все эти обстоятельства ставят нас во главе наций, взаимно развивающихся через свободный обмен произведений. Это ли страна, долженствующая бояться конкуренции, страна, могущая процветать только в искусственной атмосфере запретительных тарифов. Избирайте ваш девиз: “вперёд” или “назад”... Я же советую вам показать другим странам пример свободы. Действуйте так, и вы дадите великой массе нашего народа новые обеспечения довольства и благосостояния. Действуйте так, и вы сделаете всё, что может сделать человеческая прозорливость на пользу торгового благосостояния. Вы можете потерпеть неудачу. Ваши меры могут оказаться недействительны. Они не могут дать вам уверенности, что развитие промышленности и торговли пойдёт без перерывов. Дурные времена, мрачные зимы, эпохи бедствий могут возвратиться; может быть, вам придётся опять предлагать английскому народу тщетные выражения ваших симпатий и настоятельные советы терпения. Но спросите ваши сердца и отвечайте мне на следующий вопрос: будут ли ваши заявления, ваши сочувствия и ваши увещания к терпению менее действительны, если *теперь*, в силу вашего свободного согласия, хлебные законы перестанут существовать? Не будет ли для вас великим удовлетворением думать, что вы сняли с себя тяжкую ответственность регулировать количество и цену предметов потребления? Разве вы не скажете себе *тогда*, с глубокою радостью, что *теперь*, в минуту относительного благосостояния, не уступая никакому ропоту, никакому страху — если не страху предусмотрительности, который есть отец безопасности, — вы предупредили тяжкие дни и что, задолго до их наступления, вы устранили все препятствия к свободному обращению благ Творца?»

*

Неужели этот государственный человек был консерватором? Да, он был консерватор.

Н.А. БЕРДЯЕВ (1874—1948)

Философия неравенства

Письмо пятое. О консерватизме

Я хочу говорить сейчас о консерватизме не как о политическом направлении и политической партии, а как об одном из вечных религиозных и онтологических начал человеческого общества. Вам неведома проблема консерватизма в её духовной глубине. Для вас консерватизм есть исключительно лозунг в политической борьбе. И этот смысл консерватизма существует, он создан и сторонниками его, и противниками. Консервативные политические партии могут быть очень низменны и могут исказить консервативное начало. Но это не должно затмевать той истины, что невозможно нормальное и здоровое существование и развитие общества без консервативных сил. Консерватизм поддерживает связь времён, не допускает окончательного разрыва в этой связи, соединяет будущее с прошлым. Революционизм поверхностен, оторван от онтологических основ, от ядра жизни. Эта печать поверхностности лежит на всех революционных идеологиях. Консерватизм же имеет духовную глубину, он обращён к древним истокам жизни, он связывает себя с корнями. Он верит в существование нетленной и неистребимой глубины. У великих гениев и творцов был этот консерватизм глубины. Никогда не могли они держаться на революционной поверхности.

Без консервативной среды невозможно появление великих творческих индивидуальностей. Много ли вы насчитываете творческих гениев среди идеологов крайнего революционизма? Лучшие люди не были с вами. Все они черпали творческую энергию в глубине жизни. И если чужд им был консерватизм внешний и политический, то начало консерватизма глубинного и духовного всегда можно найти у них. Эта консервативная глубина есть у самых больших людей XIX века, она есть у Гёте, у Шеллинга и Геге-

ля, у Шопенгауэра и Р. Вагнера, Карлейля и Рёскина, у Ж. де Мэстра, у Вилье де Лиль Адана и Гюисманса, у Пушкина и Достоевского, у К. Леонтьева и Вл. Соловьёва. Она есть у тех, которые жаждут новой, высшей жизни и не верят в революционные пути её достижения.

Исключительное господство революционных начал истребляет прошлое, уничтожает не только тленное в нём, но и вечно ценное. Революционный дух хочет создать грядущую жизнь на кладбищах, забыв о могильных плитах, хочет устроиться на костях умерших отцов и дедов, не хочет и отрицает воскресение мертвых и умершей жизни. Революционный дух хочет отдать жизнь человеческую истребляющей власти времени. Он бросает всё прошедшее в пожирающую пучину будущего. Этот дух обоготворяет будущее, т.е. поток времени, и не имеет опоры в вечности. Но поистине, прошедшее имеет не меньшие права, чем будущее. <...> В том, что было, не меньше от вечности, чем в том, что будет. И чувство вечности острее чувствуем мы в нашем обращении к прошлому. В чём притягивающая нас тайна красоты развалин? В победе вечности над временем. Ничто не даёт так чувства нетленности, как развалины. Развалившиеся, поросшие мхом стены старых замков, дворцов и храмов представляются нам явлением иного мира, просвечивающим из вечности. В этом ином мире подлинно онтологическое сопротивляется разрушающему потоку времени. Разрушающим потоком времени сносится всё слишком временное, всё, устроенное для земного благополучия, и сохраняется нетленная красота вечности. В этом тайна красоты и обаяния памятников прошлого и памяти о прошлом, магия прошлого. Не только развалины дают нам это чувство победы вечности над временем, но и сохранившиеся старые храмы, старые дома, старые одежды, старые портреты, старые книги, старые мемуары. На всём этом лежит печать великой и прекрасной борьбы вечности с временем. Никакой современный, недавно построенный храм, хотя бы он представлял совершенную копию стиля древних храмов, не может дать того трепетного и томительного чувства, которое даёт древний

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

храм, ибо чувство это рождается в нас оттого, что время пробовало положить свою роковую печать и отступило. И воспринимается нами как нетленная красота, не истребление и разрушение времени, а борьба вечности против этого истребления и разрушения, сопротивление иного мира в процессе этого мира. Всё новое, сегодняшнее, недавно созданное и построенное не знает ещё этой великой борьбы нетленного с тленным, вечности мира иного с потоком времени этого мира, на нём нет ещё этой печати приобщения к высшему бытию, и потому нет в нём ещё такого образа красоты. Необходимо глубже вдуматься в эту магию прошлого, в это таинственное его очарование. Эта притягивающая и странная магия есть и в старых усадьбах, и в старых парках, и в семейных воспоминаниях, и во всех материальных предметах, говорящих о старых человеческих отношениях, и в старых книгах, и в самых посредственных портретах предков, и во всех вещественных остатках древних культур. Ничто новое, сегодняшнее и завтрашнее, не может дать такого острого чувства, ибо не произошло ещё в нём великой борьбы мира вечности с миром времени. Притягивающая красота прошлого не есть красота того, что было, что было когда-то сегодняшним и новым, это — красота того, что есть, что вечно пребывает после героической борьбы с истребляющей властью времени. Я хорошо знаю, что в прошлом не всё было столь прекрасным, что много в нём было уродства и безобразия. Но тайна красоты прошлого объясняется совсем не тем, что мы идеализируем прошлое и представляем себе его не таким, каково оно было на самом деле. Красота прошлого совсем не есть красота того настоящего, которое было в действительности триста или пятьсот лет тому назад. Красота эта есть красота того настоящего, которое есть сейчас, после преобразования этого прошлого борьбой вечности со временем. Красота старого храма, как и красота семейных преданий, есть красота преображённого храма и преображённой семейной жизни. Образ красоты не есть уже образ того храма, который строился тысячу лет тому назад, и не есть образ той семейной жизни, которая двести лет тому

назад протекала на земле со всеми грехами, пороками и уродством человеческим. Мы знаем большую красоту, чем наши предки. Вот на какой глубине нужно искать основ консерватизма. Истинный консерватизм есть борьба вечности со временем, сопротивление нетленности тлению. В нём есть энергия не сохраняющая только, но и преобразующая. Об этом не думаете вы, когда судите о консерватизме по вашим критериям.

*

Ваше революционное отношение к прошлому есть полярная противоположность религии воскресения. Революционный дух несовместим с религией Христа, потому что он хочет не воскресения, а смерти всего отошедшего и прошедшего, потому что он исключительно обращён к будущим поколениям и не думает об умерших предках, не хочет сохранить связи с их заветами. Религия революции есть религия смерти именно потому, что она исключительно поглощена современной и будущей земной жизнью. Религия Христа есть религия жизни именно потому, что она обращена не только к живым, но и к умершим, не только к жизни, но и к смерти. Кто отвращается от лика смерти и бежит от него ко вновь возникающей жизни, тот находится в истребляющей власти смерти, тот знает лишь ключья жизни. <...> Религия революции покорно принимает тот злой закон природного порядка, в силу которого будущее пожирает прошедшее, миг последующий вытесняет миг предшествовавший; она поклоняется этой бедности и косности природной жизни, этой розни и смертоносной ненависти. Эта религия смерти не только охотно мирится со смертью прошедших поколений, отцов и дедов, но и хотела бы истребить самую память о них, не допускает продолжения их жизни в нашем воспоминании и почитании, в сохранении связи с их традициями и заветами. Вы, люди революционного сознания, отвергнувшие всякую правду консерватизма, не хотите прислушиваться к той глубине своей, в которой вы услышали бы не только свой голос и голос своего поколения, но и голос отошедших поколений, голос всего народа во всей его истории. Вы не хотите знать

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

воли всего народа в истории его, вы хотите знать лишь свою волю. Вы неблагородно и низко пользуетесь тем, что наши отцы, деды и прадеды лежат в земле, в могилах и не могут подать своего голоса. Вы <...> пользуетесь их отсутствием, чтобы устроить свои дела, чтобы использовать их наследство, не считаясь с их волей. В основе вашего революционного чувства жизни лежит глубокое неверие в бессмертие и нежелание бессмертия. На торжестве смерти жидется царство ваше. Консерватизм, как вечное начало, требует, чтобы в решении судеб обществ, государств и культур был выслушан не только голос живых, но голос умерших, чтобы было признано реальное бытие не только за настоящим, но и за прошедшим, чтобы не порывалась связь с нашими покойниками. Учение Н.Ф. Фёдорова о воскрешении умерших предков есть прямая противоположность революционизма, есть религиозное обоснование правды консерватизма. Правда консерватизма не есть начало, задерживающее творчество будущего, она есть начало, воскрешающее прошлое в его нетленном. В учении Фёдорова о воскрешении есть много утопической фантастики. Но основной мотив его необычайно глубок. <...>

Революционное отрицание связи будущего с прошлым, связи поколений, по религиозному своему смыслу есть отрицание тайны предвечной связи Сына и Отца, тайны Христа как Сына Божьего. В революции утверждается сыновство без отчества, Сын Человеческий не имеет отца. Сыны революции — *parvenus* [высочки (*фр.*)]. Революция по духовной своей природе есть разрыв отчей и сыновней ипостаси. Она разрушает тайны единства Св. Троицы в мире, в истории, в обществе. А поистине, Божественная Троичность действует не только на небе, но и на земле. И человечество может быть в единстве Троичности или выходить из него и восставать против него. В христианстве утверждается предвечная связь Отца и Сына, Сын рождается от Отца. Но нарушение этой связи может идти с двух сторон, может иметь два противоположных источника. Когда консерватизм отрицает творчество новой жизни, когда он задерживает движение жизни и представляет

лишь силу инерции и косности, он также разрывает отчужденную и сыновнюю ипостась, он утверждает отца без сына, отца нерождающего. Отцы, восставшие на творческую, а не разрушительную жизнь сыновей, воздвигающие гонение на всякую динамику сыновней жизни, также разрушают единство Божественной Троичности, как и сыновья, революционно порывающие всякую связь с отцами, истребляющие прошлое. Они становятся гасителями Духа. И потому начало консервативное не может быть единственным, отвлечённым началом, оно должно быть соединено с началом творческим, с динамическим движением. Правда консерватизма не в задержании творческого движения, а в сохранении и воскрешении вечного и нетленного в прошлом. Но в прошлом было и много тленного, грешного, злого, тёмного, и оно обречено огню. Охранение всей шелухи прошлого, всей его соломы, всего неонтологического в нём есть дурной, злой, отрицательный консерватизм. Он готовит революции и бывает виновником их. Гнилостные, разлагающие процессы прошлого не имеют права на охранение.

Природа консервативного начала плохо понимается не только врагами его, но и иными сторонниками его. Существует тип консерватора, который более всего сделал для скомпрометирования всякого консерватизма. В истинном сохранении и охранении должна быть преображающая энергия. Если в нём есть лишь инерция и косность, то это зло, а не добро. Велико значение исторической традиции и предания. Но в традиции и предании есть не только консервативное, но и творческое начало, есть положительная энергия. Традиция и предание вечно творятся, сохраняя преемственность. Так, в жизни церковной всё основано на Священном Предании. Но предание не означает косного консерватизма. Есть предание о религиозном творчестве, есть творческое предание, творческий консерватизм. И верность преданию означает продолжение творческого дела отцов и дедов, а не остановку. В прошлом в жизни церкви было творческое движение, был почин, была начинающая человеческая активность. И верность преданиям

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

этого прошлого означает продолжение творческого движения, почина, зачинающей человеческой активности. Зачинателями и творцами были апостолы, мученики, учителя церкви, святые. И мы неверны преданию о них, если мы в себе не чувствуем зачинающей творческой религиозной энергии. То же можно распространить и на всю культурную и государственную жизнь. Ложный, косный консерватизм не понимает творческой тайны прошлого и её связи с творческой тайной грядущего. Поэтому обратной стороной его является истребляющий прошлое революционизм. Революционизм есть кара, подстерегающая ложный консерватизм, изменивший творческому преданию. В революционизме торжествует хамизм, дух *parvenu*. В истинном же консерватизме есть благородство древнего происхождения. Историческая давность имеет религиозную, нравственную и эстетическую ценность. Благородство освящённой старины все принуждены признать в лучшие минуты жизни, когда освобождаются от угара сегодняшнего дня. Но эта ценность и это благородство давнего, древнего старинного, векового и тысячелетнего есть ценность и благородство преображения духом вечности, а не инерции, косности и окостенения. Мы религиозно, нравственно и эстетически почитаем во всём давнем и старинном жизнь, а не смерть, жизнь большую, чем быстротечные мгновения сегодняшнего дня, в которых бытие не отделено ещё от небытия, крупницы нетленного смешаны с огромным количеством тленного.

Правда консерватизма есть правда историзма, правда чувства исторической реальности, которое совершенно атрофировано в революционизме и радикализме. Отрицание исторической преемственности есть отрицание и разрушение исторической реальности, нежелание знать живой исторический организм. Отрицание и разрушение исторической преемственности есть такое же посягательство на реальное бытие, как и отрицание и разрушение преемственности личности, индивидуального человеческого «я». Историческая реальность есть индивидуум особого рода. В жизни этой реальности есть органическая длительность. В историчес-

кой действительности есть иерархические ступени. И разрушение иерархического строения исторического космоса есть разрушение, а не свершение истории. В историческом космосе образуются и устанавливаются качества, неразложимые и неистребимые в своей онтологической основе. Эта иерархия кристаллизованных в истории качеств не должна препятствовать образованию новых качеств, не должна задерживать творческое движение. Но и никакое творческое движение, никакое образование новых качеств не может разрушать и сметать уже кристаллизовавшиеся исторические ценности и качества. Возрастание жизни и умножение ценностей совершается через начало консервативное, преображающее старую жизнь для вечности, и через начало творческое, создающее новую жизнь для той же вечности. Разрыв отечества и сыновства, который совершается ложным консерватизмом и ложным революционизмом, есть ослабление жизни, есть дух смерти для прошедшего или для грядущего.

*

Неправедна, лжива и безобразна ваша исключительная вера в будущее. Этот футуризм — ваш коренной грех. Он разрывает и расплывает целостное историческое и космическое бытие. То футуристическое мироощущение, которое появилось в связи с новыми течениями в искусстве, имеет качество радикализма, оно доводит до конца революционное отрицание прошлого и обоготворение будущего и делает отсюда последние смелые выводы. Вы же, социальные революционеры разных оттенков, вы половинчаты и так безнадежно поверхностны, что не можете углубить футуристического ощущения жизни. Крайним и радикальным оказывается ваш футуризм лишь в плоскости социальной. Но всё мышление ваше, всё ваше чувственное восприятие жизни так старо, так инертно, сознание ваше так сдавлено категориями мира прошедшего. Ваше идолопоклонство перед будущим принадлежит дурному прошлому и взято из него. Поистине, новая душа не будет грешить этим идолопоклонством, она будет свободна от времени. Какая жалкая иллюзия — представлять себе

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

будущее окрашенным в светлый радужный цвет, прошлое же — в цвет мрачный и чёрный! Какое жалкое заблуждение видеть в будущем больше реальности, чем в прошлом! Как будто бы от быстротечного времени зависит реальность бытия и качества бытия! Какое рабство чувствуется в таком отношении к жизни! Поистине, в большей глубине нужно искать подлинных реальностей и качеств бытия. Истинное и цельное отношение к жизни должно утверждать вечное, вечное в прошлом и вечное в будущем, как единую длящуюся жизнь <...>. Консервативное начало имеет религиозное значение, как утверждение отчей ипостаси, вечно ценного и бытийственного в прошлом, как воля к воскрешению прошлого в жизни вечной. И оно нисколько не противоречит началу творческому, тоже обращённому к вечности в будущем, утверждающему сыновнюю ипостась. Выявление радикального футуризма было неизбежно, и его нужно даже приветствовать. В нём окончательно изобличается ложь революционного отношения к прошлому и будущему, раскрывается бездна небытия, которую не видят половинчатые и поверхностные революционеры.

*

Существует не только Священное Предание церкви, но и священное предание культуры. Без предания, без традиции, без преемственности культура невозможна. Культура произошла из культа. В культе же всегда есть священная связь живых и умерших, настоящего и прошедшего, всегда есть почитание предков и энергия, направленная на их воскрешение. И культура получила в наследие от культа это почитание могильных плит и памятников, это поддержание священной связи времен. Культура по-своему стремится утвердить вечность. В культуре всегда есть начало консервативное, сохраняющее и продолжающее былое, и без него культура немислима. Революционное сознание враждебно культуре. Оно пошло от вражды к культу, в самом зарождении своём оно было выпадением из культа, из установленной культом связи. Оно изначально было иконоборческой ересью, восстанием против культовой

эстетики. Все вы, люди революционного духа, все вы культуроборцы. Вам нельзя верить, когда вы говорите, что вы за культуру, когда вы основываете свои «пролеткульты» и прочие безобразия. Вам многое нужно из орудий культуры для ваших утилитарных целей. Но вам ненавистна душа культуры, культовая её душа, поддерживающая огонь в неугасимой лампаде, сохраняющая связь времён в вечности, обращённая к покойникам, как и к живым. Вы хотели бы вынуть душу из культуры и оставить от неё лишь внешнюю оболочку, лишь кожуру. Вы хотите цивилизации, а не культуры. В истинном консерватизме почитаются творческие деяния предков, зачинавших и создававших культуру. Вы отказываетесь от этого почитания, вас давит величие предков. Вы хотели бы устроиться и погулять на свободе, без прошлого, без предков, без связи. Ваш революционный бунт обнаруживает ваше творческое бессилие, вашу слабость и ничтожество. Ибо почему бы сильным, ощутившим в себе творческую мощь, восставать против умерших творцов, совершать надругательство над могилами? Культура предполагает консервативное начало, начало, сохраняющее прошлое и воскрешающее умерших, и это консервативное начало не может быть страшно и стеснительно для самого дерзновенного творчества. Начало творческое и начало консервативное не могут быть противоположаемы. Новые храмы не должны непременно разрушать старые храмы. Будущее совместимо с прошлым, когда побеждает дух вечности. Революционное же или реакционное противоположение начала консервативного и творческого есть победа духа тления. Культура так же предполагает начало консервативное, как и начало творческое, сохранение и зачинание. И культура погибает, когда одно из этих начал исключительно торжествует и вытесняет другое. Цветение культуры требует и благоговейного отношения к могилам отцов, и творческого дерзновения, зачинающего небывалое.

<...> Революционное отрицание всякого консерватизма есть варварство. И революционная стихия — варварская стихия. Революционный дух есть реакция варварской

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

стихии против культуры, против культового предания. Но в культуре может наступить застой, иссякание творчества, которое делает эту реакцию неизбежной. Вся европейская культура, которая есть прежде всего культура латинская, основана на предании Античности, на органической с ней связи и потому уже заключает в себе начало консервативное. Вы не чувствуете этого потому, что вы равнодушны к культуре, что ваш идеал общественности не есть культурный идеал. Совершенно отрицают консервативное начало те, которые отрицают самобытность исторической действительности. Признание самого факта бытия этой действительности уже предполагает признание консервативного начала, т.е. сохранения единства и преемства её. Вы же хотите подменить конкретную историческую действительность отвлечённой социологической действительностью, и потому консервативное начало представляется вам помехой на путях вашего отвлечения.

*

Начало консервативное не допускает в общественной жизни ниспровержения общественного космоса, образованного творческой и организующей работой истории. Это начало сдерживает напор хаотической тьмы снизу. И потому смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперёд и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к состоянию, предшествующему образованию государств и культур. Смысл консерватизма — в препятствиях, которые он ставит проявлениям зверино-хаотической стихии в человеческих обществах. Эта стихия всегда шевелится в человеке, и связана она с грехом. И вы, идеологи революционизма, отрицающие всякие права за консерватизмом, сами находитесь во власти заблуждений и других вводите в заблуждение, когда повторяете общие места о том, что революционизм есть всегда движение вперёд, а консерватизм — движение назад. Слишком часто в истории революционное движение вперёд было призрачным движением. Реально оно было движением назад, т.е. вторжением в образовавшийся творческим процессом истории

общественный космос хаотической тьмы, которая тянет вниз. И потому борьба консервативных и революционных начал может оказаться борьбой начал космических и хаотических. Но консерватизм делается началом, задерживающим движение вперёд и вверх, и отрицательным, в том случае, если он сознаёт себя единственным космическим началом человеческой жизни и становится во враждебное отношение к началу творческому. Сдержка хаотической тьмы снизу для охранения образовавшегося многими поколениями общественного космоса сама по себе недостаточна. Хаотическая тьма, имеющая бездонный источник, должна не только сдерживаться и не допускаться внутрь общественного космоса, она должна также просветляться и творчески преображаться. Консервативное и творческое начала должны служить одному и тому же космическому делу, великому делу борьбы с мировым хаосом и с грехом, отдающим человеческие общества во власть этого хаоса. И если хаотическая бесформенная тьма сама по себе не есть ещё зло, а лишь бездонный источник жизни, то она становится злом, когда её пробуют санкционировать и освящать, когда её делают руководящим началом человеческой жизни. В революционных же идеологиях хаос получает рационалистические санкции.

Жизнь отдельных людей, человеческих обществ и всего исторического человечества вечно получает новые источники обновления от непчатых ещё темных, хаотических, варварских сил. Силы эти обновляют дряхлеющую и леденеющую кровь человечества. К историческому космосу приобщаются новые человеческие расы и новые человеческие классы. Это — неизбежный и благостный процесс. Тьма должна вступать в царство света, но для того, чтобы просветиться и поддержать источники света новыми силами, а не для того, чтобы низвергнуть все светильники и расширить царство тьмы. Вступление новых сил в исторический космос и исторический свет есть процесс органический, а не механический. Как и всякий органический процесс, процесс этот предполагает иерархические начала, иерархический жизненный строй. Полное низвержение

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

иерархического начала опрокидывает все светильники и гасит с таким трудом и мукой добытый свет. Светильники должны охраняться, чтобы тьма приобщилась к царству света, а не низвергла царство света. В космосе есть бездонная хаотическая основа, и из неё бьёт источник новых сил. Но космос должен сохранить свой иерархический строй, свой центральный источник света, чтобы не быть окончательно опрокинутым хаотическими силами, чтобы исполнить своё божественное предназначение, чтобы тьма просветлялась, чтобы хаос приобщился к космосу. Революционное сознание не понимает этих глубоких отношений между хаосом и космосом, скрытых под всеми общественными переворотами и изменениями. Чистое, отвлечённое революционное сознание противоестественно и чудовищно соединяет хаотическое и рационалистическое, оно поклоняется разом и хаосу, и рационализму. Оно противоположно космическому и мистико-органическому. Революционное сознание не хочет считаться с органической природой человека и человеческого общества, с их физиологией и психологией, обладающими большой устойчивостью. Оно не хочет знать, что эти физиология и психология имеют глубокую «мистическую» основу. Это есть черта крайнего рационализма, это ведёт к рационалистическому изнасилованию природы, которая мстит за себя. Общественное развитие и общественные изменения должны считаться с органической природой и её непреложными законами. Но это рационалистическое изнасилование органической природы человека и общества совершается через силы хаотические, выходящие из космического ритма или не вошедшие ещё в него. Это соединение хаоса с рационализмом есть один из парадоксов общественной философии, который говорит о противоречиях человеческого бытия. В росте и цвете дерева нет ни хаотизма, ни рационализма. Такова же и природа человеческого общества, погружённого в недра жизни космической. Но хаотизм и рационализм в жизни человеческих обществ является результатом злой человеческой свободы, той произвольной свободы, которая есть знак человеческого рабства. Зако-

ны природы, сдерживающие хаос в космосе, обрушиваются на человеческое общество, вступившее на путь хаотического и рационалистического насилия, и возвращают человека в темницу его ветхой физиологии и психологии, революцией не побеждённой и не преодолённой. Хаос не может освободить человека, ибо он и есть источник рабства человека. Революция бессильна изменить человеческую природу; она оставляет её органически ветхой, подчинённой старой и непреодолённой физиологии и психологии, но притязает механически создать из этой старой человеческой природы совершенно новое общество и жизнь. Это и делает революции в значительной степени призрачными, не имеющими корней. Это бессилие революционного хаоса изменить человеческую природу, преодолеть законы её физиологии и психологии, эта оторванность его от мистической глубины органической жизни и обосновывает правду и права консерватизма. Если бы революционизм имел силу реально и существенно изменить и преобразить человеческую природу и сотворить новую лучшую жизнь, то он был бы оправдан. Но так как революционизм лжёт, что он может это сделать, так как его достижения призрачны, то реакция консерватизма против него есть необходимая реакция изнасилованной, но не преобразённой природы.

*

Консервативное начало не есть начало насилующее и не должно быть им. Это — свободно-органическое начало. В нём есть здоровая реакция против насилия над органической природой, против покушения на убиение жизни, которая хочет быть длящейся. Консервативное начало само по себе не противоположно развитию, оно только требует, чтобы развитие было органическим, чтобы будущее не истребляло прошедшего, а продолжало его развивать. Несчастлива судьба той страны, в которой нет здорового консерватизма, заложенного в самом народе, нет верности, нет связи с предками. Несчастлив удел народа, который не любит своей истории и хочет начать её сначала. Так несчастлива судьба нашей страны и нашего народа. Если консерватизм су-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ществуется лишь у власти, оторванной от народа и противоположной народу, в самом же народе его нет, то всё развитие народа делается болезненным. В консерватизме, как связи с вечностью, должна быть не только сила, но и правда, привлекающая сердце народное, обоснованная в его духовной жизни. Постылый и отталкивающий консерватизм бессилён, он может насилловать, но не может привлекать к себе и вести за собой. И несчастна страна, в которой всякий консерватизм сделался постылым и насилующим. Когда консерватизм ассоциируется в народном сознании с препятствием для развития и с враждой к творчеству, то в стране готовится революция. Виновными в этом бывают и те консервативные силы, которые допустили в себе омертвление и окостенение, и те революционные силы, которые восстали на вечные начала, на непреходящие ценности и святыни. Энергия консервативная должна быть также имманентна народу, как и энергия творческая, она не может быть исключительно внешней для него. Революция означает крайнюю трансцендентность всего божественного и духовно ценного. В конце концов всякое здоровое консервативное течение, без которого не может быть сохранения общественного космоса, имеет опору в тысячелетних чувствах народных, которые нельзя разрушить в один день, минуту или год. Духовные же перевороты в жизни народа совершаются не теми путями, которыми совершаются революции. Величайший духовный переворот в истории человечества — явление христианства в мире — не был революцией в вашем смысле слова. Наибольшую свободу для человека даёт сочетание начала консервативного с началом творческим, т.е. гармоническое развитие общественного космоса. Новые же откровения мира духовного возникают в ином плане, ускользающем от ваших взоров. И вы хотите сохранить о себе память в грядущих поколениях, и вы хотите долголетия в исторической жизни. И этим вы утверждаете какую-то правду консервативного начала. И если вы хотите, чтобы сохранилась о вас память и чтобы вы продолжали жить, то вы должны сохранить память

о своих умерших предках и должны воскрешать их для жизни вечной. «Чти отца твоего и мать твою, и благо тебе будет, и долговечен ты будешь на земле». В религиозной глубине заложено начало консервативное. Там же заложено и начало творческое.

С.Л. ФРАНК (1877—1950)

По ту сторону «правого» и «левого»

<...> Мы привыкли употреблять слова «правый» и «левый» как понятия, которые, во-первых, имеют всем известный, точно определённый смысл и, во-вторых, в своей совокупности исчерпывают всю полноту возможных политических направлений и потому имеют всеобъемлющее значение каких-то вечных «категорий» политической мысли. Мы забываем, что эти понятия имеют лишь исторически обусловленный смысл, определённый своеобразием эпохи, в которой они возникли и действовали (или действуют), и что им рано или поздно суждено, как всем историческим течениям, исчезнуть, потерять актуальный смысл, смениться новыми группировками. И мы, отдаваясь рутине мысли, не замечаем, что в современной политической действительности есть очень существенные тенденции, которые уже не укладываются в эти старые, привычные рубрики.

Что разумеется, в конце концов, под этими понятиями «правого» и «левого»? Конечно, можно брать их в совершенно формальном и общем смысле, в котором они действительно становятся некоторыми вечными, имманентными категориями общественно-исторической жизни. А именно, можно разуметь под ними «консерватизм» и «реформаторство» в общесоциологическом смысле — с одной стороны, склонность охранять, беречь уже существующее, старое, привычное и, с другой стороны, противоположное стремление к новизне, к общественным преобразованиям, к преодолению старого новым. Но прежде всего при этом понимании логично было бы не двучлен-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ное, а трёхчленное деление. Наряду со «староверами» и «реформаторами» должны найти себе место и те, кто сочетает обе тенденции, кто стремится к обновлению именно через его реформу, через приспособление его к новым условиям и потребностям жизни. Такое не «правое» и не «левое», а как бы «центральное» направление совсем не есть, как часто у нас склонны думать, какое-то эклектическое сочетание обоих первых направлений; оно качественно отличается от них тем, что, в противоположность им, его пафос есть идея полноты, примирения.

Практически крайне важно, что различие в этом смысле между «правым» и «левым» менее существенно, чем различие между умеренностью и радикализмом (всё равно — «правым» или «левым»). Сохранение наперекор жизни, во что бы то ни стало старого и стремление во что бы то ни стало переделать всё заново сходны в том, что оба не считаются с органической непрерывностью развития, присущей всякой жизни, и потому вынуждены и хотят действовать принуждением, насильственно — всё равно, насильственной ли ломкой или насильственным «замораживанием». И всяческому такому, «правому» или «левому», радикализму противостоит политическое умонастроение, которое знает, что насилие и принуждение может быть в политике только подсобным средством, но не может заменить собою естественного, органического, почвенного бытия.

Но главное в нашей связи — то, что понятия «правого» и «левого», употребляемые в этом чисто формально-общем, универсально-социологическом смысле, очевидно, не имеют ничего общего с политическим содержанием, которое обычно вкладывается в эти понятия, и лишь в силу случайной исторической обстановки могли психологически ассоциироваться с ними. Мы привыкли, в силу ещё недавно господствовавших политических порядков, что «правые» находятся у власти и охраняют существующий порядок, а «левые» стремятся к перевороту, к установлению нового, ещё не существующего порядка. Но когда этот переворот уже совершился, когда господство принадлежит «левым», то роли, очевидно, меняются: «левые» ста-

новятся охранителями существующего — а при длительности установившегося порядка даже приверженцами — «строго» и «традиционного», тогда как «правые» при этих условиях вынуждены взять на себя роль реформаторов и даже революционеров. Если мы будем спутывать общесоциологические понятия «охранителей» и «реформаторов» (или ещё общее: «довольных» и «недовольных») с политическими понятиями «правых» и «левых», то мы должны будем в республиканско-демократическом строе назвать республиканцев и демократов «правыми», а монархистов — «левыми» или всех противников советского строя назвать «левыми», а самих коммунистов — «правыми», т.е. дойти до совершенной нелепицы и полной путаницы понятий.

Итак, каково же, собственно, конкретно-политическое содержание понятий «правого» и «левого»? Но прежде чем ответить на этот вопрос, ещё одно замечание общесоциологического порядка. Если мы отвлечёмся на мгновение от этих понятий или этикеток и непредвзятым взором попытаемся обозреть всё возможное многообразие политических мировоззрений, то чисто логически заранее очевидно, что оно не может быть исчерпано делением его на два противоположных типа. Политическое мировоззрение есть комплекс или система, слагающаяся из совокупности ответов на ряд существенных вопросов общественной жизни. Каждый вопрос допускает разные решения; ясно, как неисчерпаемо велико возможное многообразие политических мировоззрений. Конечно, всякое многообразие допускает классификацию по основным высшим родам, в том числе иногда и дихотомическое деление. Но для этого деление должно быть произведено по единому и притом существенному признаку, т.е. такому, видоизменение которого определит различие хотя бы основных и важнейших из остальных признаков. Удовлетворяет ли деление на «правое» и «левое» указанному требованию единства и существенности признака деления? Бесспорно, что долгое время оно практически ему удовлетворяло — иначе оно не могло бы достигнуть такого широкого распространения и всеобщего признания.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Однако для судьбы этих понятий в наше время существенно, что интуитивно-психологическое единство обоих мировоззрений не определялось логически-необходимой связью идей в них. Дело в том, что оба этих соотносительных понятия лишены внутреннего единства и не могут быть определены на основе какой-либо одной, центральной для каждого из них и объединяющей его идеи. Наоборот, вдумываясь в них, мы заключаем, что в них по историческим, с точки зрения существа дела случайным, условиям скрестились три ряда духовных и политических мотивов, по существу совершенно разнородных. Прежде всего — чисто философское различие между традиционализмом и рационализмом, между стремлением жить по историческим и религиозным преданиям, по логически не проверяемой традиционной вере (по вере и обычаям отцов) и стремлением построить общественный порядок чисто рационально, умышленно планомерно; во-вторых, чисто политическое различие между требованием государственной опеки над общественной жизнью и утверждением начала личной свободы и общественного самоопределения (в этом смысле «правый» — значит государственник, этатист, сторонник сильной власти, в противоположность «левому» — либералу); и, наконец, чисто социальный признак — позиция, занимаемая в борьбе между высшими, привилегированными, богатыми классами, стремящимися сохранить или утвердить своё господство в государстве и обществе и низшими классами, стремящимися освободиться от подчиненности и занять равное или даже господствующее положение в обществе и государстве. В этом смысле «правый» значит сторонник аристократии или буржуазии, «левый» — демократ или социалист.

Некоторая связь, по существу, между этими тремя парами тенденций, соединяющая первые члены их в понятие «правого», а последние — в понятие «левого», бесспорно есть. Так, рационализм, выступая против традиционной веры, требует свободы «критической» мысли, и в этом смысле первый признак связан со вторым, и точно так же свобода, в качестве общественного самоопре-

деления, требует всеобщности и в этом смысле равенства в свободе (формального равноправия всех людей, в том числе и членов низших классов) и этим соединяется с третьим признаком. Этими двумя связями определено единство либерально-демократического или радикально-демократического мирозерцания, а тем самым, отрицательно, и единство его антипода — консервативно-аристократического умонастроения. Однако связи эти очень относительны и столь же легко — чисто логически и потому и практически — могут уступать место и отталкиваниям, и взаимной борьбе. Так, чистый рационализм, требуя свободы отвлечённой, «критической» мысли и основанного на ней общественного действия, с другой стороны, в своей враждебности к вере и традиции, может и должен стремиться к стеснению свободы религиозной веры и к подавлению свободного пользования традиционным порядком, обычаями, нравами (якобинство, «комбизм», коммунистическое преследование веры и традиций). Более того — и это здесь самое существенное: рационализм, требуя свободы для себя, в своей идее устройства жизни на основании рационального порядка имеет сильнейшую имманентную тенденцию к началу государственного регулирования, к подавлению той иррациональности и сверхрациональности, которая образует самое существо свободы личности (просвещённый абсолютизм, якобинство, коммунизм в его теории и практике; ср. программу Шигалёва в «Бесах»: «Начав с провозглашения свободы, утвердим всеобщее рабство»). Ещё более очевидна слабость связи между вторым и третьим признаком. Лишь в процессе борьбы низшие классы требуют для себя свободы, и идея свободы легко связывается с идеей равенства. По существу, притязание низших классов на улучшение их правового и, в особенности, материального положения не имеет, очевидно, ничего общего с требованием свободы. По существу, начала свободы и равенства, как известно, скорее антагонистичны, что не раз и обнаруживалось в историческом опыте; начало свободы личности предполагает, правда, всеобщность самодеятельности и в этом смыс-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ле формальное равноправие всех, но, с другой стороны, стоит в резком антагонизме к началу реального равенства: в силу фактического неравенства способностей, условий жизни, удачи между людьми свобода должна вести к неравенству социальных положений, и, наоборот, реальное равенство осуществимо только через принуждение, через государственное регулирование и ограничение свободной самодеятельности личностей, свободного выбора жизненных возможностей. К этому присоединяется и то, что народные массы, представляя собой низший духовный уровень человека, вообще более склонны к деспотизму, легче мирятся с ним и охотнее им пользуются, чем высшие слои общества. Наконец, уже совершенно очевидно, что первая пара признаков (традиционализм и радикализм) только случайно исторически в нашу эпоху сплелась с третьей парой (господство высших классов и восстание низших) и не имеет с последней никакой связи по существу. Рационализм и просветительство, стремление переделать жизнь по отвлечённо-намеченным планам, по требованиям «разума», естественно составляет особенность слоёв образованных, привыкших к работе мысли, тогда как народные массы, по общему правилу, более склонны к традиционализму, к вере и жизни по примеру отцов. До совсем недавнего времени консервативная власть всегда опиралась на народные массы против образованных классов, и, напротив, власть, вступая на путь радикального и планомерного переустройства общества, наталкивалась на оппозицию народных масс (реформы Петра Великого и стрелецкие бунты). В настоящее время, начиная с середины XIX в. и вплоть до современности, это соотношение, правда, радикально изменилось: рационализм, потеряв в значительной мере свой кредит у образованных, стал достоянием народных масс. И всё же и теперь примитивность инстинктов низших классов, несмотря на весь их рационализм, часто приводит к утверждению или даже воскрешению старых форм быта, по крайней мере, поскольку для них существенна грубость и упрощённость нравов. Этим в значительной

мере определены реакционные результаты господства коммунистически настроенных масс в Советской России.

Так, эти столь разнородные, по существу, между собой не связанные или лишь весьма слабо связанные три пары соотносительно противоположных тенденций в силу своеобразных исторических условий с конца XVIII в. и в течение XIX в. почвенно связались между собой и совместно образовали ту характерную для этой эпохи противоположность, которую мы называем борьбой между «правыми» и «левыми». Однако в настоящее время историческая ситуация уже настолько изменилась, что цельность этих понятий в значительной мере расшатана и сами они поэтому по существу устарели, непригодны для ориентировки в содержании наиболее острых и существенных проблем современности и продолжают господствовать лишь по исторической инерции мысли, проще говоря — по недомыслию.

Начать с того, что в большинстве европейских стран цель «левых» стремлений уже осуществлена. «Левые партии» — демократы и социалисты либо являются, по общему правилу, господствующими, как во Франции, Германии и Англии, либо уже успели сдать своё господство политическим новообразованиям, которые никак нельзя подвести под традиционное понятие «правых» (фашизм, коммунизм). Можно было подумать, что господство «левых» приводит только к перемене мест между этими двумя направлениями, не меняя их содержания и смысла, — т.е. что «правые» партии из господствующих превращаются в оппозиционные (что мы фактически и видим в большинстве европейских государств). Однако эта простая видимость политической эмпирии скрывает под собой гораздо более существенное изменение духовной реальности, не замечаемое обычным недомыслием. Известно, что «левые», достигнув власти, обычно, по крайней мере отчасти, перестают быть «левыми» — «правеют». Этот общеизвестный факт имеет не только житейски-практическое, но и принципиальное значение; политический фронт меняет своё направление: «левые», стоя у власти, получают на

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

опыте государственное воспитание, научаются понимать и ценить то, что раньше яростно отвергали; «правые», отеснённые в оппозицию, напротив, часто по крайней мере до некоторой степени приобщаются к прежней психологии «левых» и пользуются их лозунгами. Так, один из признаков, образующий понятия «правого» и «левого», меняет своё место: принцип свободы обычно мало прельщает властвующих и есть естественно достояние оппозиции. Поэтому в новой обстановке требование свободы в значительной мере характеризует политические устремления, в иных отношениях именуемые «правыми». Господствующий рационализм склонен отныне вступать в сочетание с принципом государственной опеки, традиционализм, напротив, требует свободы. И если опыт «левого» деспотизма или увлечения государственным централизмом научает «правых» ценить свободу, так что консерваторы становятся либералами, не переставая быть консерваторами, то, с другой стороны, опыт анархии и смут, определённых нежеланием «крайних левых» подчиняться даже «левой» государственной власти, научает «левых», что единственная прочная основа свободы есть государственный порядок, поддерживаемый сильной властью; на этом пути либералы и демократы, не переставая быть таковыми, становятся консерваторами; оба обстоятельства уже совершенно спутывают обычные понятия.

Если эта перемена касается перераспределения первой и второй пары изложенных выше признаков «правого» и «левого» (а отчасти и изменения самого смысла первой пары признаков), то столь же существенное изменение совершается и с местом третьего из вышеупомянутых признаков. С исчезновением прежних высших классов или с потерей ими политического и общественного влияния «правые» не только тактически-демагогически должны искать себе опоры в низших классах, но часто и принципиально становятся выразителями вождельней и интересов той части низших классов, которая ещё живёт в идее традиционализма. «Правые» (или, по крайней мере, известная их группа) становятся отныне вождями части народных

масс, мечтают о народном восстании и в этом смысле занимают позицию «крайних левых». Несмотря на свою острую ненависть к «левым» в других отношениях, они иногда солидаризируются с теми «крайними левыми», которые сами находятся в оппозиции и не удовлетворены господствующей в государстве левой властью, и эту связь выражают даже в своём имени <...>. Отсюда возникает многозначительный, весьма знаменательный для будущего, раскол в прежде единой «правой» партии — раскол настолько существенный, что перед его лицом старое общее обозначение обеих групп как «правых» почти теряет реальный политический смысл. А именно, прежние «правые» раскалываются на консерваторов-либералов, отстаивающих интересы свободы и культуры, права образованного слоя на руководящую роль в государстве, и на реакционеров, опирающихся на вождения черни и во всяком развитии свободы и культуры усматривающих зло либеральной демократии. Если обе эти группы борются с господствующей демократией и в этом смысле являются союзниками, то нельзя за этим тактическим и полемическим единством упускать из виду их радикальную противоположность: они нападают на демократию, находящуюся в промежутке между ними, с двух противоположных сторон — хотелось бы сказать: слева и справа, если бы эти термины не имели уже своего особого, не подходящего сюда, исторически определённого смысла. <...>

Франк С.Л. По ту сторону «правого» и «левого» // Новый мир. 1990. № 4. С. 226—233

Духовные основы общества

Глава VI. Консерватизм и творчество в общественной жизни (отрывок)

<...> охранение и свобода творческой инициативы суть, собственно, не две разные задачи общественной политики, а лишь две стороны одной органической целост-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ной задачи. Охранение должно быть направлено не на *старое*, как таковое, не на готовые, уже воплощённые формы и отношения, а на непрерывность и устойчивость самого творческого развития, самой жизненной активности; охранение самих форм общественных отношений, быта, нравов имеет всегда лишь относительное значение, поскольку оно оправданно, как охранение адекватного, удобного своей привычностью и именно потому нестеснительного традиционного русла духовного потока. С другой стороны, начало героической активности, созидания нового должно быть пропитано заботой о сохранении жизненности и прочности самой духовной *непрерывности* общественного бытия, должно быть раскрытием, развитием, усовершенствованием старого. Истинная, онтологически обоснованная политика по самому существу своему всегда есть политика *духовно свободного*, не скованного предубеждениями и омертвевшими привычками, *консерватизма* или — что то же самое — политика новаторства, черпающего свои творческие силы из благоговеющего уважения к живому содержанию прошлой, уже воплощённой духовной жизни. То, что в политическом словаре последнего столетия называется «левым» и «правым», — политика бунтарского восстания, разрывания оков прошлого, утверждения безудержного своеволия рвущихся на простор сил свободной инициативы и политика насильственного, принудительного обуздания этой анархической стихии и охранения старых общественных форм, направленных именно на такое внешнее стеснение своеволия личности и народа, — есть одинаково выражение болезненного кризиса, расстройства органической целостности и потому подлинной жизненности общественного бытия. Политический опыт последнего столетия таков, что наступает уже время, когда комплексы идей, традиционно выражаемые обоими этими терминами, начинают терять живое и осмысленное реальное содержание; «правый» и «левый» путь исхожены, по-видимому, до конца, и обнаружена трагическая социальная диалектика, в силу которой последние их этапы сходятся в одном месте: боязливая опека над

общественной жизнью — попытка раз и навсегда наложить на свободную инициативу оковы обуздывающих её традиционных форм — оказалась равносильной внутреннему разложению жизни, а безграничный простор необузданного разрушительного самочиния привёл к неслыханно деспотическому подавлению всякой личной свободы. Обе тенденции обнаружили своё сродство, своё внутреннее тождество, как соотносительные, постоянно готовые поменяться своими местами и заимствующие друг у друга оружие проявления *цинизма*, потери уважения и чутья к онтологической первооснове общественного бытия — *духовной жизни*, с присущим ей неразделённым двуединством сверхвременной целостности и временного развития, смирения и свободы, охранения и творчества.

Часть II

ВЗГЛЯД КОНСЕРВАТОРОВ НА РУССКУЮ ИСТОРИЮ

ЦИТАТЫ: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Святая заповедь «чти отца и мать, и будешь долголетен на земле» может применяема быть и к народам, и к представителям их на разных поприщах гражданственности и просвещения. Горе народу, не почитающему старины своей! <...> Горе писателям, которые самонадеянно предают забвению и поруганию дела доблестных отцов!

*

Изыявление презрения к минувшему мало обещает плодов для будущего <...>. Позорить старину не то же ли, что кусать грудь кормилицы, которая вспоила нас молоком своим.

П.А. Вяземский

Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пройдёт урочный час, он соберёт свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу.

В.О. Ключевский

Страна, периодически выгорающая, не может идти вперёд в экономическом отношении, ибо идти вперёд —

значит прибавлять что-либо новое к существующему.

Если человек сожжёт свой дом для того, чтобы идти «вперёд», он совершит великую глупость. Вместо того чтобы вносить новые богатства в существующий дом, он должен будет строить вновь самый дом, не думая уже о новых приобретениях, — и дай Бог, если ему удастся выстроить этот дом.

А.Д. Градовский

Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия.

*

...Нельзя исторический спор ставить в зависимость от адвокатской ловкости ораторов и ловить на слове исторических деятелей, давно уже сошедших в могилу.

П.А. Столыпин

Если масса русских интеллигентов, если масса русского народа ещё не знает и не понимает своей истории, их нужно <...> учить этой науке <...>, чтобы учащихся охватывал национальный трепет и в них зажигалось неугасимое пламя патриотизма. Для этого необходимо, называя вещи их именами, бесстрашно подсчитывая исторический баланс, верить в русскую историю, как подлинное творение и выражение русского духа в его великих и добрых деяниях, а не в его падениях и низостях, как мы судим и об отдельных людях, когда пытаемся творить над ними суд. <...> Нам нужно *возрождение духа*. А остальное приложится.

П.Б. Струве

Наши дети, наши внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не понимали — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...

И.А. Бунин

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Но осуществление мировых задач России не может быть предоставлено произволу стихийных сил истории. Необходимы творческие усилия национального разума и национальной воли. И если народы Запада принуждены будут, наконец, увидеть единственный лик России и признать её призвание, то остаётся всё ещё неясным, сознаём ли мы сами, что есть Россия и к чему она призвана? Для нас самих Россия остаётся неразгаданной тайной. Россия — противоречива... Душа России не покрывается никакими доктринами... И поистине можно сказать, что Россия непостижима для ума и неизмерима никакими аршинами доктрин и учений...

Н.А. Бердяев

Весь смысл русской истории и вся государственная мудрость в том состоят, чтобы Верховная власть нашего народа была неразрывно связана с ним и чтобы управление им было живым и ясным выражением этого единства. Сохрани нас Боже от всего, что может разделить их и поставить как бы в два лагеря, один против другого, каждый со своими особыми интересами! Никакие формулы, выработанные жизнью других стран, не могут быть приложимы к отношениям Верховной власти к народу в России. <...>

Да предохранит нас Бог от всяких обманов и искушений, а всё более от собственного нашего легкомыслия и неразумия! Да соблюдет Верховная власть на Руси своё священное значение и всю полноту, всю свободу свою в живом единении с народными силами!

М.Н. Катков

Н.М. КАРАМЗИН (1766—1826)

Записка о древней и новой России в её
политическом и гражданском отношениях

«Записка...» составлена по просьбе великой княгини Екатерины Павловны, младшей сестры Александра I, и представлена императору в марте 1811 г. как реакция самой дальновидной части консервативной оппозиции, недовольной ходом либеральных реформ Александра I и М.М. Сперанского. Анализ истории и современного состояния страны должен был показать, что только самодержавие является прочной основой государственного порядка России. «Записку...» можно считать первым опытом отечественного «просвещённого консерватизма» — не просто программой, а документом, всё-таки оказавшим влияние на политику императора. Именно Карамзин впервые сформулировал политические идеи, вокруг которых затем развернулись жаркие общественные споры XIX века. Текст «Записки...», находившейся в XIX в. под цензурным запретом, впервые был полностью опубликован лишь в 1988 г.

Несть лести в языке моем. (Пс. 138)

Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее; одно другим, так сказать, дополняется и в связи представляется мыслям яснее.

<...> В XI в. Государство Российское могло, как бодрый, пылкий юноша, обещать себе долголетие и славную деятельность. Монархи его в твёрдой руке своей держали судьбы миллионов, озарённые блеском побед, окружённые воинственною, благородною дружиною, казались народу полубогами, судили и рядили землю, мановением воздвигали рать и движением перста указывали ей путь к Боспору Фракийскому или к горам Карпатским. <...> Пустыни украсились городами, города — избранными жителями; свирепость диких нравов смягчилась верою христианскою; на берегах Днепра и Волхова явились искусства византийские. Ярослав дал народу свиток законов гражданских, простых и мудрых, согласных с древними

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

немецкими. Одним словом, Россия не только была обширным, но, в сравнении с другими, и самым образованным государством.

К несчастью, она в сей бодрой юности не предоохранила себя от государственной общей язвы тогдашнего времени, которую народы германские сообщили Европе: говоря о системе удельной. Счастье и характер Владимира, счастье и характер Ярослава могли только отсрочить падение державы, основанной единовластием на завоеваниях. Россия разделилась.

Вместе с причиною её могущества, столь необходимого для благоденствия, исчезло и могущество, и благоденствие народа. Открылось жалкое междоусобие малодушных князей, которые, забыв славу, пользу отечества, резали друг друга и губили народ, чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городок к своему уделу. Греция, Венгрия, Польша отдохнули: зрелище нашего внутреннего бедствия служило им поручительством в их безопасности. Дотоле боялись россиян, — начали презирать их. Тщетно некоторые князья великодушные — Мономах, Василько — говорили именем отечества на торжественных съездах, тщетно другие — [Андрей] Боголюбский, Всеволод III — старались присвоить себе единовластие: покушения были слабы, недружны, и Россия в течение двух веков терзала собственные недра, пила слёзы и кровь собственную.

Открылось и другое зло, не менее гибельное. Народ утратил почтение к князьям: владетель Торопца, или Гомеля, мог ли казаться ему столь важным смертным, как монарх всей России? Народ охладел в усердии к князьям, видя, что они, для ничтожных, личных выгод, жертвуют его кровью, и равнодушно смотрел на падение их тронов, готовый всё ещё взять сторону счастливейшего или изменить ему вместе с счастьем; а князья, уже не имея ни доверенности, ни любви к народу, старались только умножать свою дружину воинскую: позволили ей теснить мирных жителей сельских и купцов; сами обирали их, чтоб иметь более денег в казне на всякий случай, и сею политикою, утратив нравственное достоинство государей, сделались подобны судьям-лихоим-

цам или тиранам, а не законным властителям. И так, с ослаблением государственного могущества, ослабела и внутренняя связь подданства с властью.

В таких обстоятельствах удивительно ли, что варвары покорили наше отечество? Удивительнее, что оно ещё столь долго могло умирать по частям и в сердце, сохраняя вид и действия жизни государственной, или независимость, изъясняемую одною слабостью наших соседей. <...> Но когда воинственный народ, образованный победами хана монгольского, овладев Китаем, частью Сибири и Тибетом, устремился на Россию, она могла иметь только славу великодушной гибели. Смелые, но безрассудные князья наши с гордостью людей выходили в поле умирать героями. Батый, предводительствуя полумиллионом, топтал их трупы и в несколько месяцев сокрушил государство. <...> слабые разделением сил, несогласные даже и в общем бедствии, удовольствовались венцами мучеников, приняв оные в неравных битвах и в защите городов бранных.

Земля Русская, упоённая кровью, усыпанная пеплом, сделалась жилищем рабов ханских, а государи её трепетали баскаков. Сего не довольно. В окружностях Двины и Немана, среди густых лесов, жил народ бедный, дикий и более 200 лет платил скудную дань россиянам. <...> он выучился искусству воинскому и <...> в стройном ополчении выступил из лесов на театр мира; <...> приняв образ народа гражданского, основав державу сильную, захватил и лучшую половину России, т.е. северная осталась данницей монголов, а южная вся отошла к *Литве* по самую Калугу и реку Угру. Владимир, Суздаль, Тверь назывались *улусами ханскими*; Киев, Чернигов, Мценск, Смоленск — городами литовскими. Первые хранили, по крайней мере, свои нравы, — вторые заимствовали и самые обычаи чуждые. Казалось, что Россия погибла навеки.

Сделалось чудо. Городок, едва известный до XIV века, от презрения к его маловажности именуемый селом Кучковым, возвысил главу и спас отечество. Да будет честь и слава Москве! В её стенах родилась, созрела мысль восстановить единовластие в истерзанной России, и хитрый

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Иоанн Калита, заслужив имя *Собирателя земли Русской*, есть первоначальник её славного воскресения, беспримерного в летописях мира. Надлежало, чтобы его преемники в течение века следовали одной системе с удивительным постоянством и твёрдостью, — системе наилучшей по всем обстоятельствам, и которая состояла в том, чтобы употребить самих ханов в орудие нашей свободы. Снискав особенную милость Узбека и, вместе с нею, достоинство великого князя, Калита первый убедил хана не посылать собственных чиновников за данью в города наши, а принимать её в Орде от бояр княжеских, ибо татарские вельможи, окружённые воинами, ездили в Россию более для наглых грабительств, нежели для собрания ханской дани. Никто не смел встретиться с ними: как скоро они являлись, земледельцы бежали от плуга, купцы — от товаров, граждане — от домов своих. Всё ожило, когда хищники перестали ужасать народ своим присутствием: сёла, города успокоились, торговля пробудилась, не только внутренняя, но и внешняя; народ и казна обогатились — дань ханская уже не тяготила их. Вторым важным замыслом Калиты было присоединение частных уделов к Великому княжеству. Усыпляемые ласками властителей московских, ханы с детскою невинностью дарили им целые области и подчиняли других князей российских, до самого того времени, как сила, воспитанная хитростью, довершила мечом дело нашего освобождения.

Глубокомысленная политика князей московских не удовольствовалась собранием частей в целое: надлежало ещё связать их твёрдо, и единовластие усилить самодержавием. Славяне российские, признав князей варяжских своими государями, хотя отказались от правления общенародного, но удерживали многие его обыкновения. Во всех древних городах наших бывало так называемое *вече*, или совет народный, при случаях важных; во всех городах избирались тысяцкие, или полководцы, не князем, а народом. Сии республиканские учреждения не мешали Олегу, Владимиру, Ярославу самодержавно повелевать Россию: слава дел, великодушие и многочисленность дружин воин-

ских, им преданных, обуздывали народную буйность; когда же государство разделилось на многие области независимые, тогда граждане, не уважая князей слабых, захотели пользоваться своим древним правом веча и верховного законодательства; иногда судили князей и торжественно изгоняли в Новгороде и других местах. Сей дух вольности господствовал в России до нашествия Батыева и в самых её бедствиях не мог вдруг исчезнуть, но ослабел приметно. Таким образом, история наша представляет новое доказательство двух истин: 1) для твёрдого самодержавия необходимо государственное могущество; 2) рабство политическое не совместно с гражданской вольностью. Князья пресмыкались в Орде, но, возвращаясь оттуда с милостивым ярлыком ханским, повелевали смелее, нежели в дни нашей государственной независимости. Народ, смиренный игом варваров, думал только о спасении жизни и собственности, мало заботясь о своих правах гражданских. Сим расположением умов, сими обстоятельствами воспользовались князья московские и, мало-помалу, истребив все остатки древней республиканской системы, основали истинное самодержавие. Умолк вечевой колокол во всех городах России. Дмитрий Донской отнял власть у народа избирать тысяцких, и, вопреки своему редкому человеколюбию, первый уставил торжественную смертную казнь для государственных преступников, чтобы вселить ужас в дерзких мятежников. Наконец, что началось при Иоанне I, или Калите, то совершилось при Иоанне III: столица ханская на берегу Ахтубы, где столько лет потомки Рюриковы преклоняли колена, исчезла навеки, сокрушённая местью россиян. Новгород, Псков, Рязань, Тверь присоединились к Москве, вместе с некоторыми областями, прежде захваченными Литвою. Древние юго-западные княжения потомков Владимировых ещё оставались в руках Польши, зато Россия, новая, возрождённая, во время Иоанна IV приобрела три царства: Казанское, Астраханское и неизмеримое Сибирское, дотоле неизвестное Европе.

Сие великое творение князей московских было произведено не личным их геройством, ибо, кроме Донского,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

никто из них не славился оным, но единственно умной политической системой, согласно с обстоятельствами времени. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластья, а спаслась мудрым самодержавием.

Во глубине Севера, возвысив главу свою между азиатскими и европейскими царствами, она представляла в своём гражданском образе черты сих обеих частей мира: смесь древних восточных нравов, принесённых славянами в Европу и подновлённых, так сказать, нашу долговременную связь с монголами, — византийских, заимствованных россиянами вместе с христианскою верою, и некоторых германских, сообщённых им варягами. Сии последние черты, свойственные народу мужественному, вольному, ещё были заметны в обыкновении судебных поединков, в утехах рыцарских и в духе местничества, основанного на родовом славолубии. <...> Такая смесь в нравах, произведённая случаями, обстоятельствами, казалась нам природною, и россияне любили оную, как свою народную собственность.

<...> Европа устремила глаза на Россию: государи, папы, республики вступили с нею в дружелюбные сношения, одни для выгод купечества, иные — в надежде обратить её силы к обузданию ужасной Турецкой империи, Польши, Швеции. <...> Политическая система государей московских заслуживала удивление своею мудростью: имея целью одно благоденствие народа, они воевали только по необходимости, всегда готовые к миру, уклоняясь от всякого участия в делах Европы, более приятного для суетности монархов, нежели полезного для государства, и, восстановив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний неверных, или опасных, желая сохранять, а не приобретать.

Внутри самодержавие укоренилось. Никто, кроме государя, не мог ни судить, ни жаловать: всякая власть была изливанием монаршей. Жизнь, имение зависели от произвола царей, и знаменитейшее в России титуло уже было не княжеское, не боярское, но титуло *слуги царева*. Народ, избавленный князьями московскими от бедствий внутренне-

го междоусобия и внешнего ига, не жалел о своих древних вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву; довольный действием, не спорил о правах. Одни бояре, столь некогда величавые в удельных господствах, роптали на строгость самодержавия; но бегство, или казнь их, свидетельствовали твёрдость оною. Наконец, царь сделался для всех россиян земным Богом.

Тщетно Иоанн IV, быв до 35 лет государем добрым и, по какому-то адскому вдохновению, возлюбив кровь, лил оную без вины и сёк головы людей, славнейших добродетелями. Бояре и народ во глубине души своей, не дерзая что-либо замыслить против венценосца, только смиренно молили Господа, да смягчит ярость цареву — сию казнь за грехи их!

Кроме злодеев, ознаменованных в истории названием *опричнины*, все люди, знаменитые богатством или саном, ежедневно готовились к смерти и не предпринимали ничего для спасения жизни своей! Время и расположение умов достопамятное! Нигде и никогда грозное самовластие не предлагало столь жестоких искушений для народной добродетели, для верности или повиновения; но сия добродетель даже не усомнилась в выборе между гибелью и сопротивлением.

Злодеяние, в тайне умышленное, не открытое историей, пресекло род Иоаннов: Годунов, татарин происхождением, Кромвель умом, воцарился со всеми правами монарха законного и с тою же системою единовластия неприкосновенного. Сей несчастный, сражённный тенью убитого им царевича среди великих усилий человеческой мудрости и в сиянии добродетелей наружных, погиб, как жертва властолюбия неумеренного, беззаконного, в пример векам и народам. Годунов, тревожимый совестью, хотел заглушить её священные укоризны действиями кротости и смягчал самодержавие в руках своих: кровь не лилась на лобном месте — ссылка, заточение, невольное пострижение в монахи были единственным наказанием бояр, виновных или подозреваемых в злых умыслах. Но Годунов не имел выгоды быть любимым, ни уважаемым, как прежние мо-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

нархи наследственные. Бояре, некогда стояв с ним на одной ступени, ему завидовали; народ помнил его слугою придворным. Нравственное могущество царское ослабело в сём избранном венценосце.

Немногие из государей бывали столь усердно приветствуемы народом, как Лжедмитрий в день своего торжественного въезда в Москву: рассказы о его мнимом, чудесном спасении, память ужасных естественных бед Годунова времени и надежда, что Небо, возвратив престол Владимирову потомству, возвратит благоденствие России, влекли сердца в сретение юному монарху, любимцу счастья.

Но Лжедмитрий был тайный католик, и нескромность его обнаружила сию тайну. Он имел некоторые достоинства и добродушие, но голову романтическую и на самом троне характер бродяги; любил иноземцев до пристрастия и, не зная истории своих мнимых предков, ведал малейшие обстоятельства жизни Генриха IV, короля французского, им обожаемого. Наши монархические учреждения XV и XVI века приняли иной образ: малочисленная Дума Боярская, служив прежде единственно Царским советом, обратилась в шумный сонм ста правителей, мирских и духовных, коим беспечный и ленивый Димитрий вверил внутренние дела государственные, оставляя для себя внешнюю политику; иногда являлся там и спорил с боярами к общему удивлению: ибо россияне дотоле не знали, как подданный мог торжественно противоречить монарху. Весёлая обходительность его вообще преступила границы благоразумия и той величественной скромности, которая для самодержавцев гораздо нужнее, нежели для монахов картезианских. Сего мало. Димитрий явно презирал русские обычаи и веру: пировал, когда народ постился; забавлял свою невесту пляскою скоморохов в монастыре Вознесенском; хотел угощать бояр яствами, гнусными для их суеверия; окружил себя не только иноземною стражею, но шайкою иезуитов, говорил о соединении церквей и хвалил латинскую. Россияне перестали уважать его, наконец возненавидели и, согласясь, что истинный сын Иоаннов не

мог бы попирать ногами святыню своих предков, возложили руку на самозванца.

Сие происшествие имело ужасные следствия для России; могло бы иметь ещё и гибельнейшие. Самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного исступления разрушает основу её, которая есть уважение нравственное к сану властителей. Москвитяне истерзали того, кому недавно присягали в верности: горе его преемнику и народу!

Отрасль древних князей суздальских и племени Мономахова, Василий Шуйский, угодник царя Бориса, осуждённый на казнь и помилованный Лжедмитрием, свергнув неосторожного самозванца, в награду за то приял окровавленный его скипетр от Думы Боярской и торжественно изменил самодержавию, присягнув без её согласия не казнить никого, не отнимать имений и не объявлять войны. Ещё имея в свежей памяти ужасные исступления Иоанновы, сыновья отцов, невинно убиенных сим царем лютым, предпочли свою безопасность государственной и легкомысленно стеснили дотоле неограниченную власть монаршую, коей Россия была обязана спасением и величием. Уступчивость Шуйского и самолюбие бояр кажутся равным преступлением в глазах потомства, ибо первый также думал более о себе, нежели о государстве, и, пленяясь мыслию быть царём, хотя и с ограниченными правами, дерзнул на явную для царства опасность.

Случилось, чему необходимо надлежало случиться: бояре видели в полумонархе дело рук своих и хотели, так сказать, продолжать оное, более и более стесняя власть его. Поздно очнулся Шуйский и тщетно хотел порывами великодушия утвердить колеблемость трона. Воскресли древние смуты боярские, и народ, волнуемый на площади наёмниками некоторых коварных вельмож, толпами стремился к дворцу кремлевскому предписывать законы государю. Шуйский изъяснял твёрдость: «Возьмите венец Мономахов, возложенный вами на главу мою, или пови-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

нуйтесь мне!» — говорил он москвитянам. Народ смирялся и вновь мятежничал в самое то время, когда самозванцы, прельщённые успехом первого, один за другим на Москву восставали. Шуйский пал, сверженный не сими бродягами, а вельможами недостойными, и пал с величием, воссев на трон с малодушием. В мантии инока, преданный злодеями в руки чужеземцам, он жалел более о России, нежели о короне, с истинною царскою гордостью отвечив на коварные требования Сигизмундовы и вне отечества, заключённый в темницу, умер государственным мучеником.

Недолго многоглавая гидра аристократии владычествовала в России. Никто из бояр не имел решительного перевеса; спорили и мешали друг другу в действиях власти. Увидели необходимость иметь царя и, боясь избрать единоземца, чтобы род его не занял всех степеней трона, предложили венец сыну нашего врага, Сигизмунда, который, пользуясь мятежами России, силился овладеть её западными странами. Но, вместе с царством, предложили ему условия: хотели обеспечить веру и власть боярскую. Ещё договор не совершился, когда поляки, благоприятствуемые внутренними изменниками, вступили в Москву и прежде времени начали тиранствовать именем Владислава. Шведы взяли Новгород. Самозванцы, козаки свирепствовали в других областях наших. Правительство рушилось, государство погибало.

История назвала Минина и Пожарского «спасителями Отечества»: отдадим справедливость их усердию, не менее и гражданам, которые в сие решительное время действовали с удивительным единодушием. Вера, любовь к своим обычаям и ненависть к чужеземной власти произвели общее славное восстание народа под знамёнами некоторых верных отечеству бояр. Москва освободилась.

Но Россия не имела царя и ещё бедствовала от хищных иноплеменников; из всех городов съехались в Москву избранные знаменитейшие люди и в храме Успения, вместе с пастырями церкви и боярами, решили судьбу отечества. Никогда народ не действовал торжественнее и свободнее, никогда не имел побуждений святейших... Все хотели од-

ного — целости, блага России. Не блистало вокруг оружие; не было ни угроз, ни подкупа, ни противоречий, ни сомнений. Избрали юношу, почти отрока, удалённого от света; почти силою извлекли его из объятий утращённой матери-инокини и возвели на престол, орошённый кровью Лжедмитрия и слезами Шуйского. <...> Не имея подле себя ни единого сильного родственника, чуждый боярам верховным, гордым, властолюбивым, он видел в них не подданных, а будущих своих тиранов, — и, к счастью России, ошибся. Бедствия мятежной аристократии просветили граждан и самих аристократов; те и другие единогласно, единодушно наименовали Михаила самодержцем, монархом неограниченным; те и другие, воспламенённые любовью к отечеству, зывали только: *Бог и Государь!*.. Написали хартию и положили оную на престол. Сия грамота, внушённая мудростью опытов, утверждённая волею и бояр, и народа, есть священнейшая из всех государственных хартий. Князья московские учредили самодержавие — отечество даровало оное Романовым.

Самое личное избрание Михаила доказывало искреннее намерение утвердить единовластие. Древние княжеские роды, без сомнения, имели гораздо более права на корону, нежели сын племянника Иоанновой супруги, коего неизвестные предки выехали из Пруссии, но царь, избранный из сих потомков Мономаховых или Олеговых, имея множество знатных родственников, легко мог бы дать им власть аристократическую и тем ослабить самодержавие. Предпочли юношу, почти безродного; но сей юноша, свойственник царский, имел отца, мудрого, крепкого духом, непреклонного в советах, который долженствовал служить ему пестуном на троне и внушать правила твёрдой власти. Так строгий характер Филарета, не смятённый принуждённою монашескою жизнью, более родства его с Федором Иоанновичем способствовал к избранию Михаила.

Исполнилось намерение сих незабвенных мужей, которые в чистой руке держали тогда урну судьбы нашей, обуздывая собственные и чуждые страсти. Дуга небесного мира воссияла над тронном Российским. Отечество под се-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ню самодержавия успокоилось, извергнув чужеземных хищников из недр своих, возвеличилось приобретениями и вновь образовалось в гражданском порядке, творя, обновляя и делая только необходимое, согласное с понятиями народными и ближайшее к существующему. Дума Боярская осталась на древнем основании, т.е. советом царей во всех делах важных, политических, гражданских, казённых. Прежде монарх рядил государство через своих наместников, или воевод; недовольные ими прибегали к нему: он судил дело с боярами.

Сия *восточная простота* уже не ответствовала государственному возрасту России, и множество дел требовало более посредников между царем и народом. Учредились в Москве приказы, которые ведали дела всех городов и судили наместников. Но ещё суд не имел устава полного, ибо Иоаннов оставлял много на совесть, или произвол судящего. Уверенный в важности такого дела, царь Алексей Михайлович назначил для оно́го мужей думных и повелел им, вместе с выборными всех городов, всех состояний, исправить Судебник, дополнить его <...>. Россия получила *Уложение*, скреплённое патриархом, всеми значительными духовными, мирскими чиновниками и выборными городскими. Оно, после хартии Михайлова избрания, есть доныне важнейший Государственный завет нашего Отечества.

Вообще царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с её дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Ещё предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских Уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении: ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное

возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы *нехотя*, применяя всё к нашему и новое соединяя со старым.

Явился Пётр. В его детские лета самовольство вельмож, наглость стрельцов и властолюбие Софьи напоминали России несчастные времена смут боярских. Но великий муж созрел уже в юноше и мощною рукою схватил кормило государства. Он сквозь бурю и волны устремился к своей цели: достиг — и всё переменилось!

Сею целью было не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских... Потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славным подвигам. Он имел великодушие, прощание, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую: исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагом искусным и мужественным; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал многие законы мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопни, завёл мануфактуры, училища, академию, наконец поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы. Говоря о превосходных его дарованиях, забудем ли почти важнейшее для самодержцев дарование: употреблять людей по их способностям? Полководцы, министры, законодатели не рождаются в такое или такое царствование, но единственно избираются... Чтобы избрать, надобно угадать; угадывают же людей только великие люди — и слуги Петровы удивительным образом помогли ему на ратном поле, в Сенате, в Кабинете. Но мы, россияне, имея перед глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что Пётр есть творец нашего величия государственного?.. Забудем ли князей московских: Иоанна I, Иоанна III, которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную, и, — что не менее важно, — учредили твёрдое в ней правление единовластное?.. Пётр нашёл средства делать великое — князья московские приготовляли оное. И, славя славное в сём монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нём границы благоразумия. Пётр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твёрдости. Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев; он есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству. Искореня древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чём состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им Уставы есть насилие, незаконное и для монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с венценосцами сказал им: «Блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого», — но не сказал: «Противоборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни». В сём отношении государь, по справедливости, может действовать только примером, а не указом.

Жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев требуется долговременность. Пётр ограничил своё преобразование дворянством. Дотоле, от сохи до престола, россияне сходились между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях, — со времён Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в

русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний.

В течение веков народ обвык чтить бояр, как мужей, ознаменованных величием <...>. Пётр уничтожил достоинство бояр: ему надобны были министры, канцлеры, президенты! Вместо древней славной Думы явился Сенат, вместо приказов — коллегии, вместо дьяков — секретари и проч. Та же бессмысленная для россиян перемена в воинском чиновначалии: генералы, капитаны, лейтенанты изгнали из нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и проч. Честью и достоинством россиян сделалось подражание. <...>

Не говорю и не думаю, чтобы древние россияне под великокняжеским, или царским правлением были вообще лучше нас. Не только в сведениях, но и в некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, т.е. иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что действительно порочно; однако ж должно согласиться, что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские. Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Михаила и сына его присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, всё ещё оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а *Святая Русь* — первое государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к Отечеству и нравственной силе оно! Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных европейцев *неверными*, теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию — *неверным* или *братьям*? Т.е. кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При царе Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с весёлым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? **Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России.** Виною Пётр.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Он велик без сомнения; но ещё мог бы возвеличиться гораздо более, когда бы нашёл способ просветить ум россиян без вреда для их гражданских добродетелей. К несчастью, сей государь, худо воспитанный, окружённый людьми молодыми, узнал и поллюбил женевца Лефорта, который от бедности заехал в Москву и, весьма естественно, находя русские обычаи для него странными, говорил ему об них с презрением, а всё европейское возвышал до небес. Вольные общества Немецкой слободы, приятные для необузданной молодости, довершили Лефортово дело, и пылкий монарх с разгорячённым воображением, увидев Европу, захотел делать Россию — Голландией.

Ещё народные склонности, привычки, мысли имели столь великую силу, что Пётр, любя в воображении некоторую свободу ума человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем ужасам самовластия для обуздания своих, впрочем, столь верных подданных. Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного. Многие гибли за одну честь русских кафтанов и бороды: ибо не хотели оставить их и дерзали порицать монарха. Сим бедным людям казалось, что он, вместе с древними привычками, отнимает у них самое Отечество.

В необыкновенных усилиях Петровых видим всю твёрдость его характера и власти самодержавной. Ничто не казалось ему страшным. Церковь российская искони имела главу сперва в митрополите, наконец в патриархе. Пётр объявил себя главою церкви, уничтожив патриаршество, как опасное для самодержавия неограниченного. Но заметим, что наше духовенство никогда не противоборствовало мирской власти, ни княжеской, ни царской: служило ей полезным оружием в делах государственных и совестью в её случайных уклонениях от добродетели. Первосвященители имели у нас одно право — вещать истину государям, не действовать, не мятежничать, — право благословенное не только для народа, но и для монарха, коего счастье состоит в справедливости. Со времён Петровых упало духовен-

ство в России. Первосвятители наши уже только были угодниками царей и на кафедрах языком библейским произносили им слова похвальные. Для похвал мы имеем стихотворцев и придворных — главная обязанность духовенства есть учить народ добродетели, а чтобы сии наставления были тем действительнее, надобно уважать оное. Если государь председательствует там, где заседают главные сановники церкви, если он судит их или награждает мирскими почестями и выгодами, то церковь подчиняется мирской власти и теряет свой характер священный; усердие к ней слабеет, а с ним и вера, а с ослаблением веры государь лишается способа владеть сердцами народа в случаях чрезвычайных, где нужно всё забыть, всё оставить для отечества, и где Пастырь душ может обещать в награду один венец мученический. Власть духовная должна иметь особенный круг действия вне гражданской власти, но действовать в тесном союзе с нею. Говорю о законе, о праве. Умный монарх в делах государственной пользы всегда найдёт способ согласить волю митрополита или патриарха с волею верховною; но лучше, если сие согласие имеет вид свободы и внутреннего убеждения, а не всеподданнической покорности. Явная, совершенная зависимость духовной власти от гражданской предполагает мнение, что первая бесполезна или, по крайней мере, не есть необходима для государственной твёрдости, — пример древней России и нынешней Испании доказывает совсем иное. <...>

Но великий муж самыми ошибками доказывает своё величие: их трудно или невозможно изгладить — как хорошее, так и худое делает он навеки. Сильною рукою дано новое движение России; мы уже не возвратимся к старине!.. Второй Пётр Великий мог бы только в 20 или 30 лет утвердить новый порядок вещей гораздо основательнее, нежели все наследники Первого до самой Екатерины II. Несмотря на его чудесную деятельность, он многое оставил исполнить преемникам <...>. Пигмеи спорили о наследии великана. Аристократия, олигархия губила отечество... И в то время, когда оно изменило нравы, утверждённые веками, потрясённые внутри новыми, важными переменами,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

которые, удалив в обычаях дворянство от народа, ослабили власть духовную, могла ли Россия обойтись без государя? Самодержавие сделалось необходимее прежнего для охранения порядка — и дочь Иоаннова, быв несколько дней в зависимости осьми аристократов, восприняла от народа, дворян и духовенства власть неограниченную. <...> Преобразованная Россия казалась тогда величественным недостроенным зданием, уже ознаменованным некоторыми приметами близкого разрушения: часть судебная, воинская, внешняя политика находились в упадке. Остерман и Миних, одушевлённые честолюбием заслужить имя великих мужей в их втором Отечестве, действовали неутомимо и с успехом блестящим: первый возвратил России её знаменитость в государственной системе европейской — цель усилий Петровых; Миних исправил, оживил воинские учреждения и давал нам победы. К совершенной славе Аннина царствования недоставало третьего мудрого действителя для законодательства и внутреннего гражданского образования россиян. Но злосчастная привязанность Анны к любимцу бездушному, низкому омрачила и жизнь, и память её в истории. Воскресла Тайная канцелярия Преображенская с пытками; в её вертепах и на площадях градских лились реки крови. И кого терзали? Врагов ли государыни? Никто из них и мысленно не хотел ей зла: самые Долгорукие виновны были только перед Отечеством, которое примирилось с ними их несчастьем. Бирон, недостойный власти, думал утвердить её в руках своих ужасами: самое лёгкое подозрение, двусмысленное слово, даже молчание казалось ему иногда достаточною виною для казни или ссылки. Он, без сомнения, имел неприятелей: добрые россияне могли ли видеть равнодушно курляндского шляхтича почти на троне? Но сии Бироновы неприятели были истинными друзьями престола и Анны. <...>

Вследствие двух заговоров злобный Бирон и добродушная правительница утратили власть и свободу. Лекарь француз и несколько пьяных гренадеров возвели дочь Петрову на престол величайшей империи в мире с восклицанием

паниями: «Гибель иноземцам! честь россиянам!» Первые времена сего царствования ознаменовались нахальством славной лейб-кампании, возложением голубой ленты на малороссийского певчего и бедствием наших государственных благодетелей — Остермана и Миниха, которые никогда не были так велики, как стоя под эшафотом и желая счастья России и Елизавете. Вина их состояла в усердии к императрице Анне и во мнении, что Елизавета, праздная, сластолюбивая, не могла хорошо управлять государством. Несмотря на то, россияне хвалили её царствование: она изъявляла к ним более доверенности, нежели к немцам; восстановила власть Сената, отменила смертную казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и нежным стихам. Вопреки своему человеколюбию, Елизавета вмешалась в войну кровопролитную и для нас бесполезную. Первым государственным человеком сего времени был канцлер Бестужев, умный и деятельный, но корыстолюбивый и пристрастный. Усыплённая негою, монархиня давала ему волю торговать политикою и силами государства; наконец, свергнула его и сделала новую ошибку, торжественно объявив народу, что сей министр, душа почти всего её царствования, есть гнуснейший из смертных! <...> Многие из заведений Петра Великого пришли в упадок от небрежения, и вообще царствование Елизаветы не прославилось никакими блестящими деяниями ума государственного. Несколько побед, одержанных более стойкостью воинов, нежели дарованием военачальников, Московский университет и оды Ломоносова остаются красивейшими памятниками сего времени. Как при Анне, так и при Елизавете Россия текла путём, предписанным ей рукою Петра, более и более удаляясь от своих древних нравов и сообразуясь с европейскими. Замечались успехи светского вкуса. Уже двор наш блистал великолепием и, несколько лет говорив по-немецки, начал употреблять язык французский. В одежде, в экипажах, в услуге вельможи наши мерялись с Парижем, Лондоном, Веною. Но грозы самодержавия ещё пугали воображение людей: осматривались, произнося имя самой кроткой

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Елизаветы или министра сильного; ещё пытки и Тайная канцелярия существовали.

Новый заговор — и несчастный Пётр III в могиле со своими жалкими пороками... Екатерина II была истинною преемницею величия Петрова и второю образовательницею новой России. Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось самодержавие, не утратив силы своей. Она ласкала так называемых философов XVIII века и пленялась характером древних республиканцев, но хотела повелевать, как земной Бог, — и повелевала. Пётр, насильствуя обычаи народные, имел нужду в средствах жестоких — Екатерина могла обойтись без оных, к удовольствию своего нежного сердца: ибо не требовала от россиян ничего противного их совести и гражданским навыкам, стараясь единственно возвеличить данное ей Небом Отечество или славу свою — победами, законодательством, просвещением. Её душа, гордая, благородная, боялась унизиться робким подозрением, — и страхи Тайной канцелярии исчезли, с ними вместе исчез у нас и дух рабства, по крайней мере в высших гражданских состояниях. Мы приучились судить, хвалить в делах государя только похвальное, осуждать противное. Екатерина слышала, иногда сражалась с собою, но побеждала желание мести — добродетель превосходная в монархе! Уверенная в своём величии, твёрдая, непреклонная в намерениях, объявленных ею, будучи единственною душою всех государственных движений в России, не выпуская власти из собственных рук — без казни, без пыток влияя в сердца министров, полководцев, всех государственных чиновников живейший страх сделаться ей неугодным и пламенное усердие заслуживать её милость, Екатерина могла презирать легкомысленное злословие, а где искренность говорила правду, там монархиня думала: «Я властна требовать молчания от россиян — современников, но что скажет потомство? И мысль, страхом заключённая в сердце, менее ли слова будет для меня оскорбительна?» Сей образ мыслей, доказанный делами 34-летнего владычества, отличает её царствование от всех прежних в новой российской

истории, т.е. Екатерина очистила самодержавие от примесей тиранства. Следствием были спокойствие сердец, успехи приятностей светских, знаний, разума.

Возвысив нравственную цену человека в своей державе, она пересмотрела все внутренние части нашего здания государственного и не оставила ни единой без поправления: Уставы Сената, губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые усовершенствовались ею. Внешняя политика сего царствования достойна особенной хвалы: Россия с честью и славою занимала одно из первых мест в государственной европейской системе. Воинствуя, мы разили. Пётр удивил Европу своими победами — Екатерина приучила её к нашим победам. Россияне уже думали, что ничто в мире не может одолеть их, — заблуждение славное для сей великой монархини! Она была женщина, но умела избирать вождей так же, как министров или правителей государственных. Румянцев, Суворов стали на ряду с знаменитейшими полководцами в мире. Князь Вяземский заслужил имя достойного министра благоразумною государственною экономией, хранением порядка и целости. Упрекнём ли Екатерину излишним воинским славолубием? Её победы утвердили внешнюю безопасность государства. Пусть иноземцы осуждают раздел Польши: мы взяли своё. Правилom монархини было не мешаться в войны, чуждые и бесполезные для России, но питать дух ратный в империи, рождённой победами.

Слабый Пётр III, желая угодить дворянству, дал ему свободу служить или не служить. Умная Екатерина, не отменив сего закона, отвратила его вредные для государства следствия: любовь к Святой Руси, охлаждённую в нас переменами Великого Петра, монархиня хотела заменить гражданским честолюбием; для того соединила с чинами новые прелести или выгоды, вымышляя знаки отличий, и старалась поддерживать их цену достоинством людей, украшаемых оными. Крест Св. Георгия не рождал, однако ж усиливал храбрость. Многие служили, чтобы не лишиться места и голоса в Дворянских собраниях; многие, несмотря на успехи роскоши, любили чины и ленты гораз-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

до более корысти. Сим утвердилась нужная зависимость дворянства от трона.

Но согласимся, что блестящее царствование Екатерины представляет взору наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более развратились в палатах и хижинах — там от примеров Двора любострастного, здесь от выгодного для казны умножения питейных домов. Пример Анны и Елизаветы извиняет ли Екатерину? Богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственно лицо красивое? Слабость тайная есть только слабость; явная — порою, ибо соблазняет других. Самое достоинство государя не терпит, когда он нарушает устав благонравия: как люди ни развратны, но внутренне не могут уважать развратных. Требуется ли доказательств, что искреннее почтение к добродетелям монарха утверждает власть его? Горестно, но должно признаться, что, хваля усердно Екатерину за превосходные качества души, невольно воспоминаем её слабости и краснеем за человечество. Заметим ещё, что правосудие не цвело в сие время; вельможа, чувствуя несправедливость свою в тяжбе с дворянином, переносил дело в Кабинет; там засыпало оно и не пробуждалось. В самых государственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности: избиралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по формам. Таково было новое учреждение губерний, изящное на бумаге, но худо применённое к обстоятельствам России. Солон говорил: «Мои законы несовершенные, но лучшие для афинян». Екатерина хотела умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем, полезнейшем действии оных: дала нам суды, не образовав судей; дала правила без средств исполнения. Многие вредные следствия Петровой системы также яснее открылись при сей государыне: чужеземцы овладели у нас воспитанием, двор забыл язык русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство одолжало; дела бесчестные, внушаемые корыстолюбием для удовлетворения прихотям, стали обыкновеннее; сыновья бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения французской или

английской наружности. У нас были академии, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархиня, — не было хорошего воспитания, твёрдых правил и нравственности в гражданской жизни. Любимец вельможи, рождённый бедным, не стыдился жить пышно; вельможа не стыдился быть развратным. Торговали правдою и чинами. Екатерина — Великий Муж в главных собраниях государственных — являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности: дремала на розах, была обманываема или себя обманывала; не выдавала, или не хотела видеть многих злоупотреблений, считая их, может быть, неизбежными и довольствуясь общим, успешным, славным течением её царствования.

По крайней мере, сравнивая все известные нам времена России, едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было счастливейшее для гражданина российского; едва ли не всякий из нас пожелал жить тогда, а не в иное время.

Следствия кончины её заградили уста строгим судьям сей великой монархини: ибо особенно в последние годы её жизни, действительно, слабейшие в правилах и исполнении, мы более осуждали, нежели хвалили Екатерину, от привычки к добру уже не чувствуя всей цены оногo и тем сильнее чувствуя противное: доброе казалось нам естественным, необходимым следствием порядка вещей, а не личной Екатериной мудрости, худое же — её собственною виною.

Павел восшёл на престол в то благоприятное для самодержавия время, когда ужасы Французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства... Но что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оногo. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных претерпленных им неудовольствий, он хотел быть Иоанном IV; но россияне уже имели Екатерину II, знали, что государь не менее подданных должен исполнять свои святые обязанно-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

сти, коих нарушение уничтожает древний завет власти с повиновением и низвергает народ со степени гражданственности в хаос частного естественного права. Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность отечества; к неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким Уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг; отнял стыд у казни, у награды — прелесть; унижил чины и ленты расточительностью в оных; легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный Екатериною, и заменил его духом капральства. Героев, приученных к победам, учил маршировать; отвратил дворян от воинской службы; презирая душу, уважал шляпы и воротники, имея, как человек, природную склонность к благотворению, питался желчью зла; ежедневно вымышлял способ устрашать людей — и сам всех более страшился; думал соорудить себе неприступный дворец — и соорудил гробницу!.. Заметим черту, любопытную для наблюдателя: в сие царствование ужаса, по мнению иноземцев, россияне боялись даже и мыслить — нет! говорили, и смело!.. Умолкали единственно от скуки частого повторения, верили друг другу — и не обманывались! Какой-то дух искреннего братства господствовал в столицах: общее бедствие сближало сердца, и великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности. Вот действия Екатеринына человеколюбивого царствования: оно не могло быть истреблено в 4 года Павлова и доказывало, что мы были достойны иметь правительство мудрое, законное, основанное на справедливости.

Россияне смотрели на сего монарха как на грозный метеор, считая минуты и с нетерпением ожидая последних... <...> Сведая дело, они жалели, что зло вредного царствования пресечено способом вредным. Заговоры суть бедствия, колеблют основу государств и служат опасным примером для будущности. Если некоторые вельмо-

жи, генералы, телохранители присвоят себе власть тайно губить монархов или сменять их, что будет самодержавие? Игралищем олигархии, и должно скоро обратиться в безначалие, которое ужаснее самого злейшего властителя, подвергая опасности всех граждан, а тиран казнит только некоторых. Мудрость веков и благо народное утвердили сие правило для монархий, что закон должен располагать тронем, а Бог, один Бог, — жизнью царей!.. Кто верит Провидению, да видит в злом самодержце бич гнева небесного! Снесём его, как бурю, землетрясение, язву, — феномены страшные, но редкие: ибо мы в течение 9 веков имели только двух тиранов: ибо тиранство предполагает необыкновенное ослепление ума в государе, коего действительно счастье неразлучно с народным, с правосудием и с любовью к добру. Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей! Да устрашают и государей для спокойствия народов!.. Две причины способствуют заговорам: общая ненависть или общее неуважение к властителю. Бирон и Павел были жертвою ненависти, правительница Анна и Пётр III — жертвою неуважения. Миних, Лесток и другие не дерзнули бы на дело, противное совести, чести и всем Уставам государственным, если бы сверженные ими властители пользовались уважением и любовью россиян.

Не сомневаясь в добродетели Александра, судили единственно заговорщиков, подвигнутых мстью и страхом личных опасностей; винули особенно тех, которые сами были орудием Павловых жестокостей и предметом его благодеяний. <...> Россияне одобрили юного монарха, который не хотел быть окружён ими и с величайшею надеждою устремили взор на внука Екатерины, давшего обет властвовать *по её сердцу!*

Доселе говорил я о царствованиях минувших — буду говорить о настоящем, с моею совестью и с государем, по лучшему своему уразумению. Какое имею право? Любовь к Отечеству и монарху, некоторые, может быть, данные мне Богом способности, некоторые знания, приобретённые мною в летописях мира и в беседах с мужами великими, т. е. в их творениях. Чего хочу? С добрым намерением — испы-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

емая республика обратилась в монархию, движимую гением властолюбия и побед. Умная Англия, испытав невыгоду мира, старалась снова поднять всю Европу на Францию и делала своё дело. Вена тосковала о Нидерландах и Ломбардии: война представляла ей великие опасности и великие надежды. Берлин хитрил, довольствуясь учтивостями: мир был для него законом благоразумия. Россия ничего не утратила и могла ничего не бояться, т.е. находилась в самом счастливейшем положении. Австрия, всё ещё сильная, как величественная твердыня, стояла между ею и Францией, а Пруссия служила нам уздою для Австрии. Основанием российской политики должно было быть желание всеобщего мира, ибо война могла изменить состояние Европы; успехи Франции и Австрии могли иметь для нас равно опасные следствия, усилив ту или другую. Властолюбие Наполеона теснило Италию и Германию; первая, как отдалённая, менее касалась до особенных польз России; вторая должно было сохранять свою независимость, чтобы удалить от нас влияние Франции. Император Александр более всех имел право на уважение Наполеона; слава героя италийского ещё гремела в Европе и не затмилась стыдом Германа и Корсакова; Англия, Австрия были в глазах консула естественными врагами Франции; Россия казалась только великодушною посредницею Европы и, неотступно ходатайствуя за Германию, могла напомнить ему Треббию и Нови в случае, если бы он не изъявил надлежащего внимания к нашим требованиям. Министр, знаменитый в хитростях дипломатической науки, представлял Россию в Париже; избрание такого человека свидетельствовало, сколь Александр чувствовал важность сего места, и даже могло быть приятно для самолюбия консула. К общему изумлению, мы увидели, что граф Марков пишет своё имя под новым разделом германских южных областей в угодность, в честь Франции и к её сильнейшему влиянию на землю немецкую; но ещё с большим изумлением мы сведения, что сей министр, в важном случае оказав излишнюю снисходительность к видам Наполеона, вручает грозные записки Талейрану о каком-то женевском бро-

дяде, взятом под стражу во Франции, делает разные неувольствия консулу в безделицах и, принуждённый выехать из Парижа, получает голубую ленту. Можно было угадать следствия... Но отчего такая перемена в системе? Узнали опасное властолюбие Наполеона? А дотоле не знали его?.. Здесь приходит мне на мысль тогдашний разговор одного молодого любимца государева и старого министра. Первый, имея более самолюбия, нежели остроумия, и весьма несильный в государственной науке, решительно объявил при мне, что Россия должна воевать для занятия умов праздных и для сохранения ратного духа в наших армиях; второй с тонкою улыбкою давал чувствовать, что он способствовал графу Маркову получать голубую ленту в досаду консулу. Молодой любимец веселился мыслию схватить её в поле с славным Бонапарте, а старый министр торжествовал, представляя себе бессильную ярость Наполеона. Несчастные! Одним словом, история Маркова посольства, столь несогласного в правилах, была первою нашею политическою ошибкою.

Никогда не забуду своих горестных предчувствий, когда я, страдая в тяжкой болезни, услышал о походе нашего войска... Россия привела в движение все силы свои, чтобы помогать Англии и Вене, т.е. служить им орудием в их злобе на Францию без всякой особенной для себя выгоды. Ещё Наполеон в тогдашних обстоятельствах не вредил прямо нашей безопасности, ограждённой Австриею, Пруссиею, числом и славою нашего воинства. Какие замыслы имели мы в случае успеха? Возвратить Австрии великие утраты её? Освободить Голландию, Швейцарию? Признаем возможность, но только вследствие десяти решительных побед и совершенного изнурения французских сил... Что оказалось бы в новом порядке вещей? Величие, первенство Австрии, которая из благодарности указала бы России вторую степень, и то до времени, пока не смирила бы Пруссию, а там объявила бы нас державою азиатскою, как Бонапарте. Вот счастливая сторона; несчастная уже известна!.. Политика нашего Кабинета удивляла своею смелостью: одну руку подняв на Францию, другою грози-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ли мы Пруссии, требуя от неё содействия! Не хотели терять времени в предварительных сношениях, — хотели одним махом всё решить. Спрашиваю, что сделала бы Россия, если бы берлинское министерство ответствовало князю Долгорукову: «Молодой человек! Вы желаете свергнуть деспота Бонапарте, а сами, ещё не свергнув его, предписывали законы политике держав независимых!.. Иди своим путём, — мы готовы утвердить мечом свою независимость». Беннигсен, граф Толстой ударили бы тогда на Пруссию? Прекрасное начало — оно стоило бы конца! Но князь Долгоруков летел с приятнейшим ответом: правда, нас обманули, или мы сами обманули себя.

Всё сделалось наилучшим образом для нашей истинной пользы. Мак в несколько дней лишился армии; Кутузов, вместо австрийских знамён, увидел перед собою Наполеоны, но с честью, славою, победою отступил к Ольмюцу. Два сильные воинства стояли, готовые к бою. Осторожный, благоразумный Наполеон сказал своему: «Теперь Европа узнает, кому принадлежит имя храбрейших, — вам или россиянам», — и предложил нам средства мира. Никогда политика российская не бывала в счастливейших обстоятельствах, никогда не имела столь мало причин сомневаться в выборе. Наполеон завоевал Вену, но Карл приближался, и 80 000 россиян ждали повеления обнажить меч. Пруссия готовилась соединиться с нами. Одно слово могло прекратить войну славнейшим для нас образом: изгнанник Франц по милости Александра возвратился бы в Вену, уступив Наполеону, может быть, только Венецию; независимая Германия оградилась бы Рейном; наш монарх приобрёл бы имя благодетеля, почти восстановителя Австрии и спасителя немецкой империи. Победа долженствовала быть, по крайней мере, сомнительною; что мы выигрывали с нею? Едва ли не одну славу, которую имели бы и в мире. Что могло быть следствием неудачи? Стыд, бегство, голод, совершенное истребление нашего войска, падение Австрии, порабощение Германии и т.д. ... Судьбы Божии неисповедимы: мы захотели битвы! Вот вторая политическая ошибка! (Молчу о воинских.)

Третья, и самая важная следствиями, есть мир Тильзитский, ибо она имела непосредственное влияние на внутреннее состояние государства. <...> Не осуждаю и последней войны с французами — тут мы должны были вступить за безопасность собственных владений, к коим стремился Наполеон, волнуя Польшу. Знаю только, что мы, в течение зимы, должны были или прислать новых 100 т[ысяч] к Беннигсену, или вступать в мирные переговоры, коих успех был вероятен. Пултуск и Прейсиш-Эйлау ободрили россиян, изумив французов... Мы дождалась Фридланда. Но здесь-то следовало показать отважность, которая, в некоторых случаях, бывает глубокомысленным благоразумием <...>. Надлежало забыть Европу, проигранную нами в Аустерлице и Фридланде, надлежало думать единственно о России, чтобы сохранить её внутреннее благосостояние, т.е. не принимать мира, кроме честного, без всякого обязательства расторгнуть выгодные для нас торговые связи с Англией и воевать со Швецией <...>. Без стыда могли бы мы отказаться от Европы, но без стыда не могли служить в ней орудием Наполеоновым, обещав избавить Европу от его насилий. Умолчим ли о втором, необходимом для нашей безопасности, условии, от коего мы должны были бы отступить, разве претерпев новое бедствие на правом берегу Немана, — условии, чтобы не быть Польше ни под каким видом, ни под каким именем? Безопасность собственная есть высший закон в политике: лучше было согласиться, чтоб Наполеон взял Шлезию, самый Берлин, нежели признать Варшавское герцогство.

Таким образом, великие наши усилия, имев следствием Аустерлиц и мир Тильзитский, утвердили господство Франции над Европою и сделали нас чрез Варшаву соседями Наполеона. Сего мало: убыточная война Шведская и разрыв с Англией произвели неумеренное умножение ассигнаций, дороговизну и всеобщие жалобы внутри государства. Мы завоевали Финляндию; пусть «Монитёр» славит сие приобретение! Знаем, чего оно нам стоило, кроме людей и денег. Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество; жерт-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

вудя честью, справедливостью, вредим последнему. Мы взяли Финляндию, заслужив ненависть шведов, укоризну всех народов, — и я не знаю, что было горестнее для великодушия Александра — быть побеждённым от французов или принуждённым следовать их хищной системе.

Пожертвовав союзу Наполеона нравственным достоинством великой империи, можем ли надеяться на искренность его дружбы? Обманем ли Наполеона? Сила вещей неодолима. Он знает, что мы внутренне ненавидим его, ибо его боимся; он видел усердие в последней войне австрийской, более нежели сомнительное. Сия двоякость была необходимым следствием того положения, в которое мы поставили себя Тильзитским миром, и не есть новая ошибка. Легко ли исполняется обещание услуживать врагу естественному и придавать ему силы! Думаю, что мы, взяв Финляндию, не посовестились бы завоевать Галицию, если бы предвидели верный успех Наполеонов. Но Карл мог ещё победить; к тому же и самым усердным исполнением обязанности союзников мы не заслужили бы искреннего доброжелательства Наполеонова: он дал бы нам поболее, но не дал бы средств утвердить нашу независимость. Скажем ли, что Александру надлежало бы пристать к австрийцам? Австрийцы не пристали к нам, когда Бонапарте в изнурении удалялся от Прейсиш-Эйлау и когда их сто тысячная армия могла бы доконать его. Политика не злопамятна, без сомнения, но 30 или 40 тысяч россиян могли бы также не подоспеть к решительной битве, как эрцгерцог Иоанн к Ваграмской; Ульм, Аустерлиц находились в свежей памяти. Что бы вышло? ещё хуже: Бонапарте, увидев нашу отважность, взял бы скорейшие, действительнейшие меры для обуздания оной. На сей раз лучше, что он считает нас только робкими, тайными врагами, только не допускает мириться с турками, только из-под руки страшает Швециею и Польшею. Что будет далее — известно Богу, но людям известны сделанные нами политические ошибки; но люди говорят: для чего граф Марков сердил Бонапарте в Париже? Для чего мы легкомысленно войною навели отдалённые тучи на Россию? Для чего не заключи-

ли мира прежде Аустерлица? Глас народа — глас Божий. Никто не уверит россиян, чтобы советники Трона в делах внешней политики следовали правилам истинной, мудрой любви к отечеству и к доброму государю. Сии несчастные, видя беду, думали единственно о пользе своего личного самолюбия: всякий из них оправдывался, чтобы винить монарха.

Посмотрим, как они действовали и действуют внутри государства. Вместо того чтобы немедленно обращаться к порядку вещей Екатеринина царствования, утверждённому опытом 34 лет и, так сказать, оправданному беспорядками Павлова времени; вместо того чтобы отменить единственно излишнее, прибавить нужное, одним словом *исправлять* по основательному рассмотрению, советники Александровы захотели новостей в главных способах монаршего действия, оставив без внимания правило мудрых, что всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости: ибо одно время даёт надлежащую твёрдость уставам; ибо более уважаем то, что давно уважаем, и всё делаем лучше от привычки. Пётр Великий заменил Боярскую думу Сенатом, приказы — коллегиями и не без важного усилия сообщил оным стройную деятельность. Время открыло некоторые лучшие способы управления, и Екатерина II издала *Учреждение губерний*, приводя его в исполнение по частям с великой осторожностью. Коллегии дел судных и казённых уступили место палатам: другие остались, и если правосудие и государственное хозяйство при Екатерине не удовлетворяло всем желаниям доброго гражданина, то никто не мыслил жаловаться на формы или на образование: жаловались только на людей. <...>

Сия система правительства не уступала в благоустройстве никакой иной европейской, заключая в себе, кроме общего со всеми, некоторые особенности, сообразные с местными обстоятельствами империи. Павел, не любя дел своей матери, восстановил разные уничтоженные ею коллегии, сделал перемены и в учреждении губерний, но благоразумные <...>. Движимый любовью к общему благу,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Александр хотел лучшего, советовался и учредил министерства, согласно с мыслями фельдмаршала Миниха и с системою правительств иностранных. Прежде всего, заметим излишнюю поспешность в сём учреждении: министерства уставлены и приведены в действие, а не было ещё наказа министрам, т.е. верного, ясного руководства в исполнении важных их обязанностей! Теперь спросим о пользе. Министерские бюро заняли место коллегий. Где трудились знаменитые чиновники, президент и несколько заседателей, имея долговременный навык и строгую ответственность правительствующего места, — там увидели мы мало важных чиновников, директоров, экспедиторов, столоначальников, которые, под щитом министра, действуют без всякого опасения. Скажут, что министр всё делает и за всё отвечает; но одно честолюбие бывает неограниченно. Силы и способности смертного заключены в пределах весьма тесных. Например, министр внутренних дел, захватив почти всю Россию, мог ли основательно вникать в смысл бесчисленных входящих к нему и выходящих от него бумаг? <...> Выходило, что Россией управляли министры, т.е. каждый из них по своей части мог творить и разрушать. Спрашиваем: кто более заслуживает доверенность — один ли министр или собрание знатнейших государственных сановников, которое мы обвыкли считать высшим правительством, главным орудием монаршей власти? Правда, министры составляли между собою Комитет; ему надлежало одобрить всякое новое установление прежде, нежели оно утверждалось монархом; но сей Комитет не походит ли на Совет 6 или 7 разнородцев, из коих всякий говорит особенным языком, не понимая других. <...>

«Просим терпения», — отвечают советники монарха, — «мы изобретаем ещё новый способ ограничить власть министров». Выходит учреждение Совета.

И Екатерина II имела Совет, следуя правилу: «ум хорошо, а два лучше». Кто из смертных не советуется с другими в важных случаях? Государи более всех имеют в том нужды. Екатерина в делах войны и мира, где ей надлежало произнести решительное *да* или *нет*, слушала мнение

некоторых избранных вельмож; вот — Совет её, по существу своему, *Тайный*, т.е. особенный, лично императорский. Она не сделала его государственным, торжественным, ибо не хотела уничтожить Петрова Сената, коего бытие, как мы сказали, несовместно с другим высшим правительствующим местом. Какая польза унижать Сенат, чтоб возвысить другое правительство? <...> Правда, и у нас писали: «Государь указал, бояре приговорили», но сия законная пословица была на Руси несколько лет панихидою на усопшую аристократию боярскую. Воскресим ли форму, когда и вещь, и форма давно истребились?

Совет, говорят, будет уздою для министров. Император отдаёт ему рассматривать важнейшие их представления; но, между тем, они все будут править государством именем государя. Совет не вступает в обыкновенное течение дел, вопрошаемый единственно в случаях чрезвычайных или в новых постановлениях, а сей обыкновенный порядок государственной деятельности составляет благо или зло нашего времени.

Спасительными уставами бывают единственно те, коих давно желают лучшие умы в государстве и которые, так сказать, предчувствуются народом, будучи ближайшим целебным средством на известное зло: учреждение министерств и Совета имело для всех действие внезапности. По крайней мере, авторы должны были изъяснять пользу своих новых образований: читаю и вижу одни сухие формы. Мне чертят линии для глаз, оставляя мой ум в покое. Говорят россиянам: «Было так, отныне будет иначе». Для чего? — не сказывают. Пётр Великий в важных переменах государственных давал отчёт народу: взгляните на Регламент духовный, где император открывает вам всю душу свою, все побуждения, причины и цель сего Устава. Вообще новые законодатели России славятся наукою писмоводства более, нежели наукою государственною: издают проект Наказа министерского, — что важнее и любопытнее?.. Тут, без сомнения, определена сфера деятельности, цель, способы, должности каждого министра?.. Нет! Брошено несколько слов о главном деле, а всё другое относит-

ся к мелочам канцелярским: сказывают, как переписываются министерским департаментам между собою, как входят и выходят бумаги, как государь начинает и кончит свои рескрипты! Монтескье означает признаки возвышения или падения империи. Автор сего проекта с такою же важною даёт правила судить о цветущем и худом состоянии канцелярий. Искренне хвалю его знания в сей части, но осуждаю постановление: «Если государь издает указ, несогласный с мыслями министра, то министр не скрепляет оного своей подписью». Следственно, в государстве самодержавном министр имеет законное право объявить публике, что выходящий указ, по его мнению, вреден? Министр есть рука венценосца, — не более! Рука не судит головы. Министр подписывает Именные указы не для публики, а для императора, во уверение, что они написаны, слово в слово, так, как государь приказал. Подобные ошибки в коренных государственных понятиях едва ли извинительны. Чтобы определить важную ответственность министра, автор пишет: «Министр судится в двух случаях: когда преступит меру власти своей или когда не воспользуется данными ему способами для отвращения зла». Где же означена сия мера власти и сии способы? Прежде надобно дать закон, а после говорить о наказании преступника. Сия громогласная ответственность министров в самом деле может ли быть предметом торжественного суда в России? Кто их избирает? Государь. Пусть он награждает достойных своею милостью, а в противном случае удаляет недостойных, без шума, тихо и скромно. Худой министр есть ошибка государева: должно исправлять подобные ошибки, но скрытно, чтобы народ имел доверенность к личным выборам царским.

Рассматривая таким образом сии новые государственные творения и видя их незрелость, добрые россияне жалеют о бывшем порядке вещей. С Сенатом, с коллегиями, с генерал-прокурором у нас шли дела и прошло блестящее царствование Екатерины II. Все мудрые законодатели, принуждаемые изменять уставы политические, старались как можно менее отходить от старых. «Если число и власть

сановников необходимо должны быть переменены, — говорит умный Макиавелли, — то удержите хотя имя их для народа». Мы поступаем совсем иначе: оставляем вещь, гоним имена, для произведения того же действия вымышляем другие способы! Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются за пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно. **Россия же существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам всё твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из тёмных лесов американских!** Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли ещё страшнее? Где, в какой земле европейской блаженствует народ, цветёт правосудие, сияет благоустройство, сердца довольны, умы спокойны?.. Во Франции?.. <...> Но где видим гражданское общество, согласное с истинною целью оно, — в России ли при Екатерине II или во Франции при Наполеоне? Где более произвола и прихотей самовластия? Где более законного, единообразного течения в делах правительства? Мы читаем в прекрасной душе Александра сильное желание утвердить в России действие закона... Оставив прежние формы, но двигая, так сказать, оные постоянным духом ревности к общему добру, он скорее мог бы достигнуть сей цели и затруднил бы для наследников отступление от законного порядка. Гораздо легче отменить новое, нежели старое; гораздо легче придать важности Сенату, нежели дать важность нынешнему Совету в глазах будущего преемника Александрова; новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданностям произвола.

Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ям, которые потрясают основу империи и коих благотворность остаётся доселе сомнительной.

Теперь пройдем в мыслях некоторые временные и частные постановления Александра царствования; посмотрим, какие меры брались в обстоятельствах важных и что было их следствием.

Наполеон, одним махом разрушив дотоле знаменитую державу прусскую, стремился к нашим границам. Никто из добрых россиян не был покоен: все чувствовали необходимость усилий чрезвычайных и ждали, что сделает правительство. Выходит Манифест о милиции... Верю, что советники государевы имели доброе намерение, но худо знали состояние России. Вооружить 600 000 человек, не имея оружия в запасе! Прокормить их без средства везти хлеб за ними или изготовить его в тех местах, куда им идти (не?) надлежало! Где взять столько дворян для предводительства? Во многих губерниях недоставало и половины чиновников. Изумили дворян, испугали земледельцев; подвозы, работы остановились; с горя началось пьянство между крестьянами; ожидали и дальнейших неистовств. Бог защитил нас. Нет сомнения, что благородные сыны Отечества готовы были тогда на великодушные жертвы, но скоро общее усердие простыло; увидели, что правительство хотело невозможного; доверенность к нему ослабела, и люди, в первый раз читавшие Манифест со слезами, чрез несколько дней начали смеяться над жалкой милицией! Наконец, уменьшили число ратников... Имели 7 месяцев времени — и не дали армии никакой сильной подмоги! За то — мир Тильзитский... Если бы правительство, вместо необыкновенной для нас милиции, потребовало от государства 150 т[ысяч] рекрутов с хлебом, с подводами, с деньгами, то сие бы не произвело ни малейшего волнения в России и могло бы усилить нашу армию прежде Фридландской битвы. Надлежало бы только не дремать в исполнении. В случае государственных чрезвычайных опасностей и жертв главное правило есть действовать стремительно, не давать людям образумиться, не отступать в мерах, не раздумывать. Я читаю переписку русских воевод при Лже-

димитрии, когда мы не имели ни царя, ни Совета Боярского, ни столицы: сии воеводы худо знали грамоту, но знали Россию и спасли её самыми простейшими средствами, требуя друг от друга, что каждый из них мог сделать лучшего по местным обстоятельствам своего начальства. Сию статью заключу особенным примечанием. Во время милиции все жаловались на недостаток оружия и винили беспечность начальства: не знаю, воспользовались ли мы опытом для нашей будущей безопасности? Арсеналы наполняются ли пушками и ружьями на всякий случай? Слышу только, что славный Тульский завод приходит в упадок, что новые паровые машины действуют не весьма удачно и что новые образцовые ружья причиною разорения мастеров... Так ли?

Все намерения Александровы клонятся к общему благу. Гнушаясь бессмысленным правилом удерживать умы в невежестве, чтобы властвовать тем спокойнее, он употребил миллионы для основания университетов, гимназий, школ... К сожалению, видим более убытка для казны, нежели выгод для Отечества. <...> Вообще Министерство так называемого просвещения в России донныне дремало, не чувствуя своей важности и как бы не ведая, что ему делать, а пробуждалось, от времени и до времени, единственно для того, чтобы требовать денег, чинов и крестов от государя.

Сделав многое для успеха наук в России и с неудовольствием видя слабую ревность дворян в снискании учёных сведений в университетах, правительство желало принудить нас к тому и выдало несчастный Указ об экзаменах. Отныне никто не должен быть произведим ни в статские советники, ни в ассессоры без свидетельства о своей учёности. Доселе в самых просвещённых государствах требовалось от чиновников только необходимого для их службы знания: науки инженерной — от инженера, законоведения — от судьи и проч. У нас председатель Гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский — свойство кислорода и всех газов, вице-губернатор — пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших — римское пра-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

во <...>. Ни 40-летняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга знать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь к наукам не производила действия, столь несогласного с их целью! Забавно, что сочинитель сего Указа, предписывающего всем знать риторiku, сам делает в нём ошибки грамматические!.. Не будем говорить о смешном; заметим только вредное. Доныне дворяне и не дворяне в гражданской службе искали у нас чинов или денег; первое побуждение невинно, второе опасно: ибо умеренность жалованья производит в корыстолюбивых охоту мздоимства. Теперь, не зная ни физики, ни статистики, ни других наук, для чего будут служить титулярные и коллежские советники? Лучшие, т.е. честолюбивые, возьмут отставку, худшие, т.е. корыстолюбивые, останутся драть кожу с живого и мертвого. Уже видим и примеры. Вместо сего нового постановления надлежало бы только исполнить сказанное в Уставе университетском, что впредь молодые люди, вступая в службу, обязаны предъявлять свидетельство о своих знаниях. От начинающих можно всего требовать, но кто уже давно служит, с тем нельзя, по справедливости, делать новых условий для службы; он поседел в трудах, в правилах чести и в надежде иметь некогда чин статского советника, ему обещанного законом; а вы нарушаете сей контракт государственный. И, вместо всеобщих знаний, должно от каждого человека требовать единственно нужных для той службы, коей он желает посвятить себя: юнкеров Иностранной коллегии испытывайте в статистике, истории, географии, дипломатике, языках; других — только в знаниях отечественного языка и права русского, а не римского, для нас бесполезного; третьих — в геометрии, буде они желают быть землемерами и т.д. Хотеть лишнего или не хотеть должного равно предосудительно.

<...> Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной; иначе, пресекая зло, может сделать ещё более зла. <...> в государственном общежитии право естественное уступает гражданскому, и что благоразумный самодержец отменяет единственно те Уставы, которые

делаются вредными или недостаточными и могут быть заменены лучшими.

<...> **Первая обязанность государя есть блюсти внутреннюю и внешнюю целостность государства; благотворить состояниям и лицам есть уже вторая.** Он желает сделать земледельцев счастливее свободою; но ежели сия свобода вредна для государства? И будут ли земледельцы счастливы, освобождённые от власти господской, но преданные в жертву их собственным порокам, откупщикам и судьям бессовестным? Нет сомнения, что крестьяне благоразумного помещика, который довольствуется умеренным уроком или десятиною пашни на тягло, счастливее казённых, имея в нём бдительного попечителя и заступника. Не лучше ли под рукою взять меры для обуздания господ жестоких? Они известны начальникам губерний. Ежели последние верно исполняют свою должность, то первых скоро не увидим; а ежели не будет в России умных и честных губернаторов, то не будет благоденствия и для поселян вольных. Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных — ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твёрдости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным, а система наших винных откупов и страшные успехи пьянства служат ли к тому спасительным приготовлением? В заключение скажем доброму монарху: «Государь! История не упрекнёт тебя злом, которое прежде тебя существовало (положим, что неволя крестьян и есть решительное зло), — но ты будешь ответственать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных Уставов». <...>

К важнейшим действиям нынешнего царствования относятся меры, взятые для уравнивания доходов с расходами, для приведения в лучшее состояние торговли и вообще государственного хозяйства. Две несчастные войны французские, Турецкая и, в особенности, Шведская заставили

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

казну умножить количество ассигнаций; случилось необходимое: цены на вещи возвысились и курс упал; а разрыв с Англией довершил сие бедствие. Грузные товары наши могут быть единственно отпускаемы морем; число иностранных кораблей в российских гаванях уменьшилось, а произведения фабрик европейских, лёгкие, драгоценные, входили к нам и морем и сухим путем. Исчезло всякое равновесие между ввозом и вывозом. Таково было состояние вещей, когда показался Манифест о налогах; вместо того чтобы сказать просто: «Необходимое умножение казённых расходов требует умножения доходов, а новых ассигнаций не хотим выпускать», — правительство торжественно объявило нам, что ассигнации не деньги, но составляют необъятную сумму долгов государственных, требующих платежа металлом, коего нет в казне!.. Следствием было новое возвышение цен на все вещи и падение курса. Первое — от новых налогов, второе — от уменьшения доверенности иноземцев к нашим ассигнованиям, торжественно оглашенным сомнительными векселями. Скажем о том и другом несколько слов.

Умножать государственные доходы новыми налогами есть способ весьма ненадёжный и только временный. Земледелец, заводчик, фабрикант, обложенные новыми податями, всегда возвышают цены на свои произведения, необходимые для казны, и чрез несколько месяцев открываются в ней новые недостатки. Напр[имер].., за что Комиссариат платил в начале года 10 т[ысяч] руб., за то, вследствие прибавленных налогов, подрядчики требуют 15 т[ысяч] руб.! Опять надобно умножать налоги, и так до бесконечности! Государственное хозяйство не есть частное: я могу сделаться богаче от прибавки оброка на крестьян моих, а правительство не может, ибо налоги его суть общие и всегда производят дороговизну. Казна богатеет только двумя способами: размножением вещей или уменьшением расходов, промышленностью или бережливостью. Если год от года будет у нас более хлеба, сукон, кож, холста, то содержание армий должно стоить менее, а тщательная экономия богаче золотых рудников. Миллион, сохранённый

в казне за расходами, обращается в два; миллион, налогом приобретённый, уменьшается ныне вполовину, завтра будет нулём. Искренно хваля правительство за желание способствовать в России успехам земледелия и скотоводства, похвалим ли за бережливость? Где она? В уменьшении дворцовых расходов? Но бережливость государя не есть государственная! Александра называют даже скупым; но сколько изобретено новых мест, сколько чиновников ненужных! Здесь три генерала стерегут туфли Петра Велико-го; там один человек берёт из 5 мест жалованье; всякому — столовые деньги; множество пенсий излишних; дают взаимы без отдачи и кому? — богатейшим людям! Обманывают государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы грабить казну... Непрестанно на государственное иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами; все требуют от императора домов — и покупают оные двойною ценою из сумм государственных, будто бы для общей, а в самом деле для частной выгоды, и проч., и проч. Одним словом, от начала России не бывало государя, столь умеренного в своих особенных расходах, как Александр, — и царствования, столь расточительного, как его! В числе таких несообразностей заметим, что мы, предписывая дворянству бережливость в указах, видим гусарских армейских офицеров в мундирах, облитых серебром и золотом! Сколько жалованья сим людям? И чего стоит мундир? Полки красятся не одеждою, а делами. Мало остановить некоторые казённые строения и работы, мало сберечь тем 20 м[иллионов], — не надобно тешить бесстыдного корыстолюбия многих знатных людей, надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на жалованье, отказывать невеждам, требующим денег для мнимого успеха наук, и, где можно, ограничить роскошь самых частных людей, которая в нынешнем состоянии Европы и России вреднее прежнего для государства.

Обратимся к ассигнациям. <...>. Справедливо жаловались на правительство, когда оно в последние годы Екатеринына царствования не могло удовлетворять народному

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

требованию в выдаче мелкой разменной монеты. Время Павлово не произвело никакой важной перемены в государственном хозяйстве, ибо казна не умножала ассигнаций. Но в нынешнее царствование излились оные рекою, и вещи удвоились, утроились в цене. Не осуждаем правительства за выпуск, может быть, 500 м[иллионов] бумажных рублей. Находились ли иные, лучшие способы для удовлетворения государственным потребностям? Не знаю, даже сомневаюсь!.. Но когда сделалось неминуемое зло, то надобно размыслить и взять меры в тишине, не ахать, не бить в набат, от чего зло увеличивается. Пусть министры будут искренни пред лицом одного монарха, а не пред народом! Сохрани Боже, если они будут следовать иному правилу — обманывать государя и сказывать всякую истину народу! <...>

Мысль ограничить ввоз товаров, по малому выходу наших, весьма благоразумная. <...> Жалею только, что в Манифесте не назначен срок для продажи запрещённых товаров: под видом старых увидим в лавках и вновь привозимые — разумеется, тайно. Не будет клейма — и фальшивые? А кто из покупателей смотрит на клеймо? Вообще надобно взять строжайшие меры против тайной торговли: она уносит миллионы. Все говорят об ней, но у знатных таможенных чиновников уши завешены золотом! Другое зло то, что лавочники, не ограниченные сроком для продажи, день ото дня возвышают цену запрещённых сукон и тканей, а мы все покупаем, пока есть товар. Не надобно давать пищи столь алчному и бессовестному корыстолюбию!

Впрочем, строгость начальства и верность таможи сделали бы нечто в пользу нашего курса, но немногое: он бывает полезен единственно для такой земли, которая более продает, нежели покупает, сверх того, имеет безопасное существование государственное, не боится ничего извне и внутри, управляется духом твёрдого порядка, не знает опасных перемен, не ждёт ежеминутно указов о новых мерах государственного хозяйства, не ждёт новых толкований на ассигнации, новых доказательств, что они не суть деньги. Надобно не только отворить наши гавани для всех

кораблей на свете — надобно ещё, чтобы иностранцы захотели переводить к нам капиталы, менять свои гинеи и червонцы на русские ассигнации и не считали бы оных подозрительными векселями.

<...> Прошло и царствование Елизаветы, миновал и блестящий век Екатерины II, а мы ещё не имели Уложения, несмотря на добрую волю правительства, <...> на план Уложения, представленный ею Сенату, несмотря на шумное собрание депутатов в Москве, на красноречивый Наказ Екатерины II <...>. Чего не доставало? Способных людей!.. Были ли они в России? По крайней мере, их не находили, может быть, худо искали!

Александр <...> образовал новую Комиссию: набрали многих секретарей, редакторов, помощников, не сыскали только одного и самого необходимейшего человека, способного быть её душою, избрести лучший план, лучшие средства и привести оные в исполнение наилучшим образом. Более года мы ничего не слыхали о трудах сей Комиссии. Наконец, государь спросил у председателя и получил в ответ, что медленность необходима, — что Россия имела дотоле одни указы, а не законы, что велено переводить Кодекс Фридриха Великого. Сей ответ не давал большой надежды. Успех вещи зависит от ясного, истинного о ней понятия. Как? У нас нет законов, но только указы? Разве указы (edicta) не законы?.. И Россия не Пруссия: к чему послужит нам перевод Фридрихова Кодекса? <...> Мы ждали года два. Начальник переменялся, выходит целый том работы предварительной, — смотрим и протираем себе глаза, ослеплённые школьною пылью. Множество учёных слов и фраз, почерпнутых в книгах, ни одной мысли, почерпнутой в созерцании особенного гражданского характера России... Добрые соотечественники наши не могли ничего понять, кроме того, что голова авторов в Луне, а не в Земле Русской, — и желали, чтобы сии умозрители или спустились к нам, или не писали для нас законов. Опять новая декорация: видим законодательство в другой руке! Обещают скорый конец плаванью и верную пристань. Уже в Манифесте объявлено, что первая часть зако-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

нов готова, что немедленно готовы будут и следующие. В самом деле, издаются две книжки под именем *проекта Уложения*. Что ж находим?.. Перевод Наполеонова Кодекса!

Какое изумление для россиян! Какая пища для злословия! <...> Оставляя всё другое, спросим: время ли теперь предлагать россиянам законы французские, хотя бы оные и могли быть удобно применены к нашему гражданственному состоянию? Мы все, все любящие Россию, государя, её славу, благоденствие, <...> в то время, когда имя Наполеона приводит сердца в содрогание, мы положим его Кодекс на святой алтарь Отечества?

<...> Русское право также имеет свои начала, как и римское, — определите их, и вы дадите нам систему законов. <...> Осадите святынею закона неприкосновенность церкви, государя, чиновников и личную безопасность всех россиян; утвердите связи гражданские между нами, потом займитесь целостью собственности <...>; наконец, дайте устав для производства дел.

Сей труд велик, но он такого свойства, что его нельзя поручить многим. Один человек должен быть главным, истинным творцом Уложения Российского; другие могут служить ему только советниками, помощниками, работниками... Здесь единство мысли необходимо для совершенства частей и целого; единство воли необходимо для успеха. Или мы найдём такого человека, или долго будем ждать Кодекса! <...>

Мы означили главные действия нынешнего правительства и неудачу их. Если прибавим к сему частные ошибки министров в мерах государственного блага <...>, имевшие столь много вредных следствий — всеобщее бесстрашие, основанное на мнении о кротости государя, равнодушие местных начальников ко всяким злоупотреблениям, грабёж в судах, наглое взяточничество капитан-исправников, председателей палатских, вице-губернаторов, а всего более самих губернаторов, наконец, беспокойные виды будущего, внешние опасности, — то удивительно ли, что общее мнение столь не благоприятствует правительству?

Не будем скрывать зла, не будем обманывать себя и государя, не будем твердить, что люди, обыкновенно, любят жаловаться и всегда недовольны настоящим, — сии жалобы разительны их согласием и действием на расположение умов в целом государстве.

Я совсем не меланхолик и не думаю подобно тем, которые, видя слабость правительства, ждут скорого разрушения, — нет! Государства живучи, и в особенности Россия, движимая самодержавною властью! Если не придут к нам беды извне, то ещё смело можем и долгое время заблуждаться в нашей внутренней государственной системе! Вижу ещё обширное поле для всяких новых творений самолюбивого, неопытного ума, но не печальна ли сия возможность? Надобно ли изнурять силы для того, что их ещё довольно в запасе? Самым худым медикам нелегко уморить человека крепкого сложения, только всякое лекарство, данное некстати, делает вред существенный и сокращает жизнь.

Мы говорили о вреде, говорить ли о средствах целебных? И какие можем предложить? — самые простейшие!

Минувшего не возвратить. Было время (о чём мы сказали в начале), когда Александр мог бы легко возобновить систему Екатеринына царствования, ещё живого в памяти и в сердцах, по ней образованных: бурное царствование Павлово изгладилось бы, как сновидение в мыслях. Теперь поздно — люди и вещи, большею частью, переменились; сделано столько нового, что и старое показалось бы нам теперь опасною новостью: мы уже от него отвыкли, и, для славы государя, вредно с торжественностью признаваться в десятилетних заблуждениях, произведённых самолюбием его весьма неглубокомысленных советников, которые хотели своею творческою мудростью затмить жену Екатерину и превзойти мужа Петра. Дело сделано: надобно искать средств, пригоднейших к настоящему.

Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности: оттого — изобретение различных министерств, учреждение Совета и проч. Дела не лучше производятся —

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

только в местах и чиновниками другого названия. Последуем иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны. Пусть министерства и Совет существуют: они будут полезны, если в министерстве и в Совете увидим только мужей, знаменитых разумом и честью. Итак, первое наше доброе желание есть, да способствует Бог Александру в счастливом избрании людей! Такое избрание, а не учреждение Сената с коллегиями ознаменовало величием царствование Петра во внутренних делах империи. Сей монарх имел страсть к способным людям, искал их в кельях монастырских и в тёмных каютах: там нашёл Феофана и Остермана, славных в нашей государственной истории. Обстоятельства иные и скромные, тихие свойства души отличают Александра от Петра, который везде был сам, со всеми говорил, всех слушал и брал на себя по одному слову, по одному взору решить достоинство человека; но да будет то же правило: искать людей! Кто имеет доверенность Государя, да замечает их вдали для самых первых мест. Не только в республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно по способностям. Всемогущая рука единовластителя одного ведёт, другого мчит на высоту; медленная постепенность есть закон для множества, а не для всех. Кто имеет ум министра, не должен поседеть в столоначальниках или секретарях. Чины унижаются не скорым их приобретением, но глупостью или бесчестьем сановников; возбуждается зависть, но скоро умолкает пред лицом достойного. Вы не образуете полезного министерства сочинением Наказа, — тогда образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их предложение, но уверены ли вы в мудрости его членов? Общая мудрость рождается только от частной. Одним словом, теперь всего нужнее люди!

Но люди не только для министерства, или Сената, но и в особенности для мест губернаторских. **Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, а из 50 или более частей, называемых губерниями; если там пойдут дела как должно, то министры и Совет могут отдыхать на лаврах; а дела пойдут как должно, если вы найдёте в России 50 мужей**

умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян, обуздают хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа. Если губернаторы не умеют или не хотят делать того, — виною худое избрание лиц; если не имеют способа, — виною худое образование губернских властей. 1) Каковы ныне, большею частью, губернаторы? Люди без способностей и дают всякою неправдою наживаться секретарям своим — или без совести и саминаживаются. Не выезжая из Москвы, мы знаем, что такой-то губернии начальник — глупец и весьма давно! в такой-то — грабитель, и весьма давно!.. Слухом земля полнится, а министры не знают того или знать не хотят! К чему же служат ваши новые министерские образования? К чему писать законы, разве для потомства? Не бумаги, а люди правят. 2) Прежде начальник губернии знал над собою один Сенат; теперь, кроме Сената, должен относиться к разным министерствам! Сколько хлопот и письма!.. А всего хуже то, что многие части в составе губерний не принадлежат к его ведомству: школы, удельные имения, казённые леса, дороги, воды, почта — сколько пестроты и многочисленности!.. Выходит, что губерния имеет не начальника, а начальников, из коих один в Петербурге, другие в Москве... Система правления весьма не согласная с нашею старинною, истинно монархическою, которая соединяла власти в наместнике для единства и силы в их действиях. Всякая губерния есть Россия в малом виде; мы хотим, чтобы государство управлялось единою, а каждая из частей оною — разными властями; страшимся злоупотреблений в общей власти, но частная разве не имеет их? Как в большом доме не может быть исправности без домоправителя, дающего во всём отчёт господину, так не будет совершенно порядка и в губерниях, пока столь многие чиновники действуют независимо от губернаторов, ответствующих государю за спокойствие государства и, гораздо более, всех живущих в Петербурге министров, членов Совета,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

сенаторов. Одна сия мысль не убеждает ли в необходимости возвысить сан губернаторский всеобщим уважением? Да будет губернатор, что были наместники при Екатерине! Дайте им достоинство сенаторов, согласите оное со отношениями их к министрам, которые в самом деле должны быть единственно секретарями государя по разным частям, и тогда умеете только избирать людей!

Вот главное правило. Второе, не менее существенное, есть: *умеете обходиться с людьми!* Мало ангелов на свете, не так много и злодеев, гораздо более смеси, т.е. добрых и худых вместе. Мудрое правление находит способ усиливать в чиновниках побуждение добра или обуздывает стремление ко злу. Для первого есть награды, отличия, для второго — боязнь наказаний. Кто знает человеческое сердце, состав и движение гражданских обществ, тот не усомнится в истине сказанного Макиавелли, что страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных. Если вы, путешествуя, увидите землю, где все тихо и стройно, народ доволен, слабый не утеснён, невинный безопасен, — то скажете смело, что в ней преступления не остаются без наказания. Сколько агнцев обратилось бы в тигров, если бы не было страха! Любить добро для его собственных прелестей есть действие высшей нравственности — явления, редкого в мире: иначе не посвящали бы алтарей добродетели. Обыкновенные же люди соблюдают правила честности, не столько в надежде приобрести тем особенные некоторые выгоды, сколько опасаясь вреда, сопряжённого с явным нарушением сих правил. Одно из важнейших государственных зол нашего времени есть бесстрашие. Везде грабят, и кто наказан? Ждут доносов, улики, посылают сенаторов для исследования, и ничего не выходит! Доносят плуты — честные терпят и молчат, ибо любят покой. Не так легко уличить искусного вора-судью, особенно с нашим законом, по коему взяткобратель и взяткодатель равно наказываются. Указывают пальцем на грабителей — и дают им чины, ленты, в ожидании, чтобы кто на них подал жалобу. А сии недостойные чиновники, в надежде на своих, подобных им,

защитников в Петербурге, беззаконствуют, смело презирая стыд и доброе имя, коего они условно лишились. В два или три года наживают по несколько сот тысяч и, не имея прежде ничего, покупают деревни! Иногда видим, что государь, вопреки своей кротости, бывает расположен и к строгим мерам: он выгнал из службы двух или трёх сенаторов и несколько других чиновников, оглашённых мздоимцами; но сии малочисленные примеры отвечают ли бесчисленности нынешних мздоимцев? Негодяй так рассуждает: «Брат мой N.N. наказан отставкою; но собратья мои, такие-то, процветают в благоденствии: один многим не указ, а если меня и выгонят из службы, то с богатым запасом на чёрный день, — ещё найду немало утешений в жизни!» Строгость, без сомнения, неприятна для сердца чувствительного, но где она необходима для порядка, там кротость не у места. Как живописцы изображают монарха? Воином и с мечом в руке — не пастушком и не с цветами!.. В России не будет правосудия, если государь, поручив оное судилищам, не будет смотреть за судьями. У нас не Англия; мы столько веков видели судью в монархе и добрую волю его признавали вышним уставом. Сирены могут петь в круге трона: «Александр, воцари закон в России... и проч.»... Я возьмусь быть толкователем сего хора: «Александр! Дай нам, именем закона, господствовать над Россией, а сам покойся на троне, изливай единственно милости, давай нам чины, ленты, деньги!»... В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается страхом последних. Не бояться государя — не бояться и закона! В монархе российском соединяются все власти: наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает без протокола, — так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести. Чего Александр не сведает, если захочет ведать? И да накажет преступника! Да накажет и тех, которые возводят его на степень знаменитую! Да отвечает министр, по крайней мере, за избрание главных чиновников! Спасительный страх должен иметь ветви; где десять за одного боятся, там десять смотрят за одним...

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Начинайте всегда с головы: если худы капитан-исправники — виновны губернаторы, виновны министры!.. Не сему правилу следовали те, которые дали государю совет обеспечить снятием мундира всех комиссариатских и провиантских чиновников, кроме начальников. Равные не могут ответственность друг за друга; если они все причиною бедствий армии, то мало лишить их мундира; если ещё не доказаны виноватые, то надобно подождать, а казнь виновного вместе с правым отнимает стыд у казни. Малейшее наказание, но бесполезное, ближе к тиранству, нежели самое жестокое, коего основанием есть справедливость, а целью — общее добро. Ненавидят тирана, но мягкосердие тогда есть добродетель в венценосце, когда он умеет превозмогать оное долгом благоразумной строгости. Единственно в своих личных, тайных оскорблениях государь может прощать достохвально, а не в общественных; когда же вредно часто прощать, то ещё вреднее терпеть, — в первом случае винят слабость, во втором — беспечность или непроницание. Мы упомянули о личных оскорблениях для монарха. Они редко бывают без связи со вредом государственным. Так, например, не должно позволять, чтоб кто-нибудь в России смел торжественно представлять лицо недовольного или не уважать монарха, коего священная особа есть образ отечества. Дайте волю людям — они засыплют Вас пылью! Скажите им слово на ухо — они лежат у ног Ваших!

Говорив о необходимости страха для удержания нас от зла, скажем нечто о наградах: они благодетельны своею умеренностью, — в противном же случае делаются или бесполезны, или вредны. Я вижу всех генералов, осыпанных звёздами, и спрашиваю: «Сколько побед мы одержали? Сколько царств завоевали?..» <...> Если в царствование Павла чины и ленты упали в достоинстве, то в Александрово, по крайней мере, не возвысились, чего следствием было и есть — требовать иных наград от государя, денежных, ко вреду казны и народа, ко вреду самых государственных добродетелей. О бережливости говорили мы в другом месте. Здесь напомним две аксиомы: 1) за

деньги не делается ничего великого; 2) изобилие располагает человека к праздной неге, противной всему великому. Россия никогда не славилась богатством — у нас служили по должности, из чести, из куска хлеба, не более! Ныне не только воинские, но и гражданские чиновники хотят жить большим домом на счёт государства. И какая пестрота: люди в одном чине имеют столь различные жалованья, что одному нечего есть, а другой может давать лакомые обеды; ибо первый служит по старым, а второй по новым штатам, — первый в Сенате, в губернии, а второй — у министра в канцелярии или где-нибудь в новом месте. Не думают о бедных офицерах, удовлетворяя корыстолюбие генералов арендами и пенсиями. Ставят в пример французов — для чего же не русских времени Петрова или Екатеринина?.. Но и французские генералы всего более недовольны Наполеоном за то, что он, дав им богатство, отнимает у них досуг и способ наслаждаться оным. Честь, честь должна быть главною наградою! Римляне с дубовыми венками завоевали мир. Люди в главных свойствах не изменились; соедините с каким-нибудь знаком понятие о превосходной добродетели, т.е. награждайте им людей единственно превосходных, — и вы увидите, что все будут желать оногo, несмотря на его ничтожную денежную цену!.. Слава Богу, мы ещё имеем честолюбие, ещё слёзы катятся из глаз наших при мысли о бедствиях России; в самом множестве недовольных, в самых нескромных жалобах на правительство вы слышите нередко голос благодарной любви к отечеству. Есть люди, умеите только обуздать их в зле и поощрять к добру благоразумною системою наказаний и наград! Но, повторим, первое ещё важнее.

Сие искусство избирать людей и обходиться с ними есть первое для государя российскийского; без сего искусства тщетно будете искать народного блага в новых органических уставах!.. Не спрашивайте: как писаны законы в государстве? сколько министров? есть ли Верховный Совет? Но спрашивайте: каковы судьи? каковы властители?.. фразы — для газет, только правила — для государства.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

В дополнение сказанного нами прибавим некоторые особенные замечания.

Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для её счастья; из сего не следует, чтобы государь, единственный источник власти, имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия. Оно было всегда не что иное, как братство знаменитых слуг великокняжеских или царских. Худо, ежели слуги овладеют слабым господином, но благоразумный господин уважает отборных слуг своих и красится их честью. <...> Добродетель редка. Ищите в свете более обыкновенных, нежели превосходных душ. Мнение не моё, но всех глубокомысленных политиков есть, что твёрдо основанные права благородства в монархии служат ей опорой. <...>

Как дворянство, так и духовенство бывает полезно государству по мере общего к ним народного уважения. <...> По характеру сих <...> можете всегда судить о нравственном состоянии народа. **Не довольно дать России хороших губернаторов — надобно дать и хороших священников; без прочего обойдёмся и не будем никому завидовать в Европе.**

Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми — государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии, которое может быть утверждено или ослаблено правилами царствующих.

Державы, подобно людям, имеют определённый век свой: так мыслит философия, так вещает история. Благоразумная система в жизни продолжает век человека, — благоразумная система государственная продолжает век государств; кто исчислит грядущие лета России? Слышу пророков близкочечного бедствия, но, благодаря Всевышнего, сердце мое им не верит, — вижу опасность, но ещё не вижу гибели!

<...> Если Александр вообще будет осторожнее в новых государственных творениях, стараясь всего более утвердить существующие и думая более о людях, нежели о формах, ежели благоразумною строгостью обратит вельмож, чиновни-

ков к ревностному исполнению должностей; если заключит мир с Турцией и спасёт Россию от третьей, весьма опасной, войны с Наполеоном, хотя бы и с утратою многих выгод так называемой чести, которая есть только роскошь сильных государств и не равняется с первым их благом, или с целостью бытия; если он, не умножая денег бумажных, мудрою бережливостью уменьшит расходы казны и найдёт способ прибавить жалованья бедным чиновникам воинским и гражданским; если таможенные Уставы, верно наблюдаемые, приведут в соразмерность ввоз и вывоз товаров; если — что в сём предположении будет необходимо — дороговизна малопомалу уменьшится, то Россия благословит Александра, колебания утихнут, неудовольствия исчезнут, родятся нужные для государства привычки, ход вещей сделается правильным, постоянным; новое и старое сольются в одно, реже и реже будут вспоминать прошедшее, злословие не умолкнет, но лишится жала!.. Судьба Европы теперь не от нас зависит. Переменит ли Франция свою ужасную систему, или Бог переменит Францию, — неизвестно, но бури не вечны! Когда же увидим ясное небо над Европой и Александра, сидящего на троне *целой* России, тогда восхвалим Александрове счастье, коего он достоин своею редкою добротою!

Любя Отечество, любя монарха, я говорил искренно. Возвращаюсь к безмолвию верноподданного с сердцем чистым, моля Всевышнего, да блюдёт царя и Царство Российское!

Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях. М., 1991

А.С. ПУШКИН (1799—1837)

Письмо П.Я. Чаадаеву 19 октября 1836 года
(Перевод с французского)

Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечёл её, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нём со-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

хранена энергия и непринуждённость подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всём согласен с вами. Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые её потрясли, но у нас было своё особое предназначение. Это Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т.п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли Евангелие и Предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и всё. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие её могущества, её движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и

закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели всё это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Пётр Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привёл вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительно в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблён, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал. Вышло предлинное письмо. Пospорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили... Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление. Надеюсь, что её не будут раздувать. <...>

А.С. ХОМЯКОВ (1804—1860)

О старом и новом

Говорят, в старые годы лучше было всё в земле Русской. Была грамотность в сёлах, порядок в городах, в судах правда, в жизни довольство. Земля русская шла вперёд, развивала все силы свои, нравственные, умственные и ве-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

шественные. Её хранили и укрепляли два начала, чуждые остальному миру: власть правительства, дружного с народом, и свобода церкви, чистой и просвещённой.

Грамотность! Но на копии (которая находится у меня) с присяги русских дворян первому из Романовых, вместо подписки князя Троекурова, двух дворян Ртищевых и многих других, менее известных, находится крест с отметкою: по неумению грамоте. — Порядок! Но ещё в памяти многих, мне известных, стариков сохранились бесконечные рассказы о криках ясачных; а ясачный крик был то же, что на Западе *cri de guerre* [клич к войне (*фр.*)], и беспрестанно в первопрестольном граде этот крик сзывал приверженцев, родственников и клиентов дворянских, которые при малейшей ссоре высыпали на улицу, готовые на драку и на сражение до смерти или до синяков. — Правда! Но князь Пожарский был отдан под суд за взятки; старые пословицы полны свидетельств против судей прежнего времени; указы Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича повторяют ту же песнь о взятках и о новых мерах для ограждения подсудимых от начальства; пытка была в употреблении всеобщем, и слабый никогда не мог побороть сильного. — Довольство! При малейшем неурожае люди умирали с голода тысячами, бежали в Польшу, кабелили себя татарам, продавали всю жизнь свою и будущих потомков крымцам или своим братьям русским, которые едва ли были лучше крымцев и татар. — Власть, дружная с народом! Не только в отдалённых краях, но в Рязани, в Калуге и в самой Москве бунты народные и стрелецкие были происшествием довольно обыкновенным, и власть царская частёхонько сокрушалась о препоны, противопоставленные ей какой-нибудь жалкою толпою стрельцов, или делала уступки какой-нибудь подлой дворянской криволе. Несколько олигархов вертели делами и судьбою России и растягивали или обрезывали права сословий для своих личных выгод. — Церковь просвещённая и свободная! Но назначение патриарха всегда зависело от власти светской, как скоро только власть светская хотела вмешаться в дело избрания; архиерей псковский, уличённый в

душегубстве и в утоплении нескольких десятков псковитян, заключается в монастырь; а епископ смоленский метёт двор патриарха и чистит его лошадей в наказание за то, что жил роскошно; Собор Стоглавый остаётся бессмертным памятником невежества, грубости и язычества, а указы против разбоя архиерейских слуг показывают нам нравственность духовенства в виде самом низком и отвратительном. Что же было в золотое старое время? Взгрустнётся поневоле. Искать ли нам добра и счастья прежде Романовых? Тут встречают нас волчья голова Иоанна Грозного, нелепые смуты его молодости, безнравственное царствование Василия, ослепление внука Донского, потом иго монгольское, уделы, междоусобия, унижение, продажа России варварам и хаос грязи и крови. Ничего доброго, ничего благородного, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности, угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте жизни народной, ни на одной эпохе утешительной и, обращаясь к настоящему времени, радуется пышной картине, представляемой нашим отечеством.

Хорошо! Да что же нам делать с сельскими протоколами, отысканными Языковым, с документами, открытыми Строевым? Это не подделка, не выдумка, это не догадка систематиков; это факты ясные, неоспариваемые. Была же грамотность и организация в сёлах: от неё остатки в сходках и мирских приговорах, которых не могли уничтожить ни власть помещика, ни власть казённых начальств. Что делать нам с явными свидетельствами об городском порядке, о распределении должностей между гражданами, о заведениях, которых цель была облегчать, сколько возможно, низшим доступ к высшим судилищам? Что делать с судом присяжных, который существовал бесспорно в Северной и Средней России, или с судом словесным, публичным, который и существовал везде и сохранился в названии <совестного> суда, по форме прекрасного, но неполного учреждения? Что делать с песнями, в которых

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

воспеваются быт крестьянский? Этих песен теперь не выдумали русские крестьяне. Что делать с отсутствием крепостного права, если только можно назвать правом такое наглое нарушение всех прав? Что с равенством, почти совершенным, всех сословий, в которых люди могли переходить все степени службы государственной и достигать высших званий и почестей? Мы этому имеем множество доказательств, и даже самые злые враги древности русской должны ей отдать в сём отношении преимущество перед народами западными. Власть представляет нам явные доказательства своего существования в распространении России, восторжествовавшей над столькими и столь сильными врагами, а дружба власти с народом запечатлена в старом обычае, сохранившемся при царе Алексее Михайловиче, собирать депутатов всех сословий для обсуждения важнейших вопросов государственных. Наконец, свобода чистой и просвещённой церкви является в целом ряде святителей, которых могущее слово более способствовало к созданию царства, чем ум и хитрость государей, — в уважении не только русских, но и иноземцев к начальникам нашего духовенства, в богатстве библиотек патриаршеских и митрополических, в книгах духовных, в спорах богословских, в письмах Иоанна и, особенно, в отпоре, данном нашей церковью церкви Римской.

После этого, что же думать нам об старой Руси? Два воззрения, совершенно противоположные, одинаково оправдываются и одинаково опровергаются фактами неоспоримыми, и никакая система, никакое искусственное воссоздание древности не соответствует памятникам и не объясняет в полноте их всестороннего смысла.

Нам непозволительно было бы оставить вопрос неразрешённым тогда, когда настоящее так ясно представляется нам в виде переходного момента и когда направление будущего почти вполне зависит от понятия нашего о прошедшем. Если ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то нам приходится всё черпать из жизни других народов, из собственных теорий, из примеров и трудов племён просвещёнейших и из

стремлений современных. Мы можем приступить к делу смело, прививать чужие плоды к домашнему дичку, перепахивать землю, не таящую в себе никаких семян, и при неудачах успокаивать свою совесть мыслью, что, как ни делай, хуже прежнего не сделаешь. Если же, напротив, старина русская была сокровище неисчерпаемое всякой правды и всякого добра, то труд наш переменит свой характер, а всё так же будет лёгко. Вот архивы, вот записки старых бумаг, сделок, судебных решений, летописей и пр., и пр. Только стоит внести факт критики под архивные своды и воскресить, на просторе царства, учреждения и законы, которых трупы истлевают в забытых шкафах и сундуках.

После краткого обзора обоих мнений едва ли можно пристать к тому или другому. Вопрос представляется в виде многосложном и решение затруднительным. Что лучше, старая или новая Россия? Много ли поступило чуждых стихий в её теперешнюю организацию? Приличны ли ей эти стихии? Много ли она утратила своих коренных начал и таковы ли были эти начала, чтобы нам о них сожалеть и стараться их воскресить?

Современную Россию мы видим: она нас и радует, и теснит; об ней мы можем говорить с гордостью иностранцам, а иногда совестимся говорить даже с своими; но старую Русь надобно — угадать.

Сличение всех памятников, если не ошибаюсь, приведёт нас к тому простому заключению, что прежде, как и теперь, было постоянное несогласие между законом и жизнью, между учреждениями писаными и живыми нравами народными. Тогда, как и теперь, закон был то лучше, то хуже обычая и, редко исполняемый, то портился, то исправлялся в приложении. Примем это толкование как истину, и все перемены быта русского объяснятся. Мы поймём, как легко могли измениться отношения видимые, и в то же время будем знать, что изменения редко касались сущности отношения между людьми и учреждениями, между государством, гражданами и церковью. Для примера возьмём один из благороднейших законов новейшего времени, которым мы можем похвалиться перед стари-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ною, и одно из старых постановлений, о котором мы должны вспомнить с горестью. Пытка отменена в России тогда, когда она существовала почти во всех судах Европы, когда Франция и Германия говорили об ней без стыда и полагали её необходимою для отыскания и наказания преступников. Скажем ли, однако, что пытка не существовала в России? Она существует, она считается неизбежною, она существует при всяком следствии, дерзко бросается в глаза во всех судах... <...> Так-то факты и учреждения письменные разногласят между собою. Конечно, никто из нас не может вспомнить без горя о том, что закон согласился принять на себя ответственность за мерзость рабства, введённого уже обычаем, что закон освятил и укоренил давно вкрадывавшееся злоупотребление аристократии, что он видимо ограничил свободу церкви; но вспомним также, что дворянство слабеет ежедневно, расширяется, отворяет свои ворота почти для всех желающих и до того тяготится собою, что готово само проситься в отставку из дворян; а церковь в земле самодержавной более ограждена равнодушием правительства к ней, чем сановитым, но всегда зависимым лицом полупридворного патриарха. Бесконечные неурюстройства России доромановской не позволяют сравнивать её с нынешнею, и потому я всегда говорю об той России, которую застал Пётр и которая была естественным развитием прежней. Я знаю, что в ней хранилось много прекрасных инстинктов, которые ежечасно искажаются, что когда-нибудь придётся нам поплатиться за то, что мы попрали святыи истины равенства, свободы и чистоты церковной; но нельзя не признаться, что все лучшие начала не только не были развиты, но ещё были совершенно затемнены и испорчены в жизни народной, прежде чем закон коснулся их мнимой жизни.

По мере того как царство русское образовывалось и крепло, изглаживались мало-помалу следы первого, чистого и патриархального состава общества. Вольности городов пропадали, замолкали веча, отменялось заступничество тысяцких, вкрадывалось местничество, составлялась аристократия, люди прикреплялись к земле, как прозяба-

ющие, и добро нравственное сохранялось уже только в мёртвых формах, лишённых прежнего содержания. **Невозможно государству подвигаться в одно время по всем направлениям.** Когда наступила минута, в которую самое существование его подверглось опасности, когда, безмерно расширяясь и помня прежнее своё рождение, оно испугалось будущего, тогда, оставляя без внимания все частные и мелкие выгоды личные, пренебрегая обычаи и установления, несколько обветшавшие, не останавливаясь, чтобы отыскивать прекрасную сущность, обратившуюся в бесполезный обряд, государство устремилось к одной цели, задало себе одну задачу и напрягло все силы свои, чтобы разрешить её: задача состояла в сплочении разрозненных частей, в укреплении связей правительственных, в усовершенствовании, так сказать, механическом всего общественного состава.

Иоанн Третий утягощает свободу северных городов и утверждает обряды местничества, чтобы все уделы притянуть в Москву общею нумерацией боярских родов; Иоанн Четвёртый выдумывает опричнину; Феодор воздвигает в Москве патриаршеский престол; Годунов укрепляет людей к земле; Алексей Михайлович заводит армию на лад западный; Феодор [II] уничтожает местничество, сделавшееся бесполезным для власти и вредным для России, и, наконец, является окончатель их подвига, воля железная, ум необычайный, но обращённый только в одну сторону, человек, для которого мы не находим ни достаточно похвал, ни достаточно упреков, но о котором потомство вспомнит только с благодарностью, — является Пётр. Об его деле судить я не стану; но замечу мимоходом, что его не должно считать основателем аристократии в России, потому что безусловная продажа поместий, обращённых Михаилом Феодоровичем и Алексеем Михайловичем в отчины, уже положила законное начало дворянству; так же как не должно его обвинять в порабощении церкви, потому что независимость её была уже уничтожена переселением внутрь государства престола патриаршего, который мог быть свободным в Царьграде, но не мог уже быть свободным в Москве.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Если сравнить состояние России в XIX веке с состоянием её в XVII, мы придём, кажется, к следующему заключению. Государство стало крепче и получило возможность сознания и постепенного улучшения без внутренней борьбы; несколько прекрасных начал, прежде утраченных и забытых, освящено законом и поставлено на твёрдом основании: такова отмена смертной казни, человеколюбие в праве уголовном и возможность низшим сословиям восходить до высших степеней государственных на условиях известных и правильных. Наконец, закон осветил несколько злоупотреблений, введённых обычаем в жизнь народную, и через это видимо укоренил их. Я знаю, как важна для общества нравственная чистота закона; я знаю, что в ней таится вся сила государства, все начала будущей жизни, но полагаю также, что иногда злоупотребление, освящённое законом, вызывает исправление именно своею наглостью, между тем как тихая и скрытая чума злого обычая делается почти неисцелимою. Так в наше время мерзость рабства законного, тяжёлая для нас во всех смыслах, вещественном и нравственном, должна вскоре искорениться <...>, между тем как илотизм крестьян до Петра мог сделаться язвою вечною и, по меньшей мере, вёл к состоянию пролетариев или безземельных английских работников.

Начал чуждых вижу я весьма мало <...>. В жизни же и ходе просвещения: излишний космополитизм, некоторое протестанство мыслей и отчуждение от положительных начал веры и духовного усовершенствования христианского, сопряжённые в то же время с отстранением безобразной формальности, равнодушия к человечеству, переходящего почти в ненависть, и какого-то усыпления умственного и духовного, граничащего с еврейским самодовольствием и языческой беспечностью.

Я уже говорил о многих прекрасных стихиях, которые нами утрачены; но я, кажется, также показал, что они уничтожены обрядами, прежде чем законы коснулись их. Они прежде были убиты народом, потом уже схоронены государями. Сказать ли нам: «Почий в мире?» Нет, лучше скажем: вечная им память, и вечно их будем помянуть. <...>. Когда

государство находилось в продолжение нескольких веков в осадном положении, многие законы могли быть совершенно забыты; но это забвение невольное не есть укор закону. Бессильный временно, лишённый действия и приложения, он живёт скрытно в душах, несмотря на злые обычаи, введённые необходимостью, несмотря на невежество народа или на крутое действие власти.

Эти-то лучшие инстинкты души русской, образованной и облагороженной христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно, произвели всё хорошее, чем мы можем гордиться: уничтожение смертной казни, освобождение Греции и церкви греческой в недрах самой Турции, открытие законных путей к возвышению лиц по лестнице государственных чинов, под условием заслуг или просто просвещения, мирное направление политики, провозглашение закона Христа и правды, как единственных законов, на которых должны основаться жизнь народов и их взаимные сношения. Кое-что сделано; более, несравненно более остаётся сделать такого, на что вызывает нас дух, живущий в воспоминаниях, преданиях или символах, уцелевших от древности. Весь этот прекрасный мир замирал, почти замер в беспрестанных борьбах, внутренних и внешних, России. Без возобновления государства всё бы погибло; государство ожило, утвердилось, наполнилось крепостью необычайною: теперь все прежние начала могут, должны развиваться и разовьются собственно своею неумирающею силою. Нам стыдно бы было не перегнать Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою; но всё это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного начала, раздорами внутренними, игом внешних врагов. Западным людям приходится всё прежнее отстранять, как дурное, и всё хорошее в себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Всё, что можно разобрать в первых началах истории русской, заключается в немногих словах. Правительство из варягов представляет внешнюю сторону; областные веча — внутреннюю сторону государства. Во всей России исполнительная власть, защита границ, сношения с державами соседними находятся в руках одной варяго-русской семьи, начальствующей над наёмною дружиною; суд правды, сохранение обычаев, решение всех вопросов правления внутреннего предоставлены народному совещанию. Везде, по всей России устройство почти одинаковое; но совершенного единства обычаев не находим не только между отдалёнными городами, но даже между Новгородом и Псковом, столь близкими и по месту, и по выгодам, и по элементам народонаселения. Где же могла находиться внутренняя связь? Случайно соединено несколько племён славянских, мало известных друг другу, не живших никогда одною общею жизнью государства; соединены они какою-то федерациею, основанною на родстве князей, вышедших не из народа, и, может быть, отчасти единством торговых выгод: как мало стихий для будущей России!

Другое основание могло поддержать здание государственное, это единство веры и жизнь церковная; но Греция посылала нам святителей, имела с нами одну веру, одни догматы, одни обряды, а не осталась ли она нам совершенно чуждою? Без влияния, без живительной силы христианства не восстала бы земля Русская; но мы не имеем права сказать, что одно христианство воздвигло её. Конечно, все истины, всякое начало добра, жизни и любви находилось в церкви, но в церкви возможной, в церкви просвещённой и торжествующей над земными началами. Она не была таковой ни в какое время и ни в какой земле. Связанная с бытом житейским и языческим на Западе, она долго была тёмною и бессознательною, но деятельною и сухо-практическою; потом, оторвавшись от Востока и стремясь пояснить себя, она обратилась к рационализму, утратила чистоту, заключила в себе ядовитое начало будущего падения, но овладела грубым человечеством, развила его силы вещественные и умственные и создала мир прекрасный, со-

блзнительный, но обречённый на гибель, мир католицизма и реформатства. Иная была судьба церкви восточной. Долго боролась она с заблуждениями индивидуального суждения, долго не могла она успокоить в правоте веры разум, взволнованный гордостью философии эллинской и мистицизмом Египта или Сирии. Прошли века, уяснилось понятие, смирилась гордость ума, истина явилась в свете ясном, в формах определённых; но промысл не дозволил Греции тогда же пожать плоды своих трудов и своей прекрасной борьбы. Общество существовало уже на основании прочном, выведенном историею, определённом законами положительными, логическими, освящённом великою славою прошедшего, чудесами искусства, роскошью поэзии; и между тем всё это — история, законы, слава, искусство, поэзия — разногласило с простотой духа христианского, с истинами его любви. Народ не мог оторваться от своей истории, общество не могло пересоздать *свои* законы: христианство жило в Греции, но Греция не жила христианством. Долго от живого источника веры получала империя силы, почти невероятные, для сопротивления врагам внешним; долго это дряхлое тело боролось с напором варваров северных, воинственных фанатиков Юга и диких племён Средней Азии; но восстать и окрепнуть для новой жизни оно не могло, потому что упорные формы древности не способны были принять полноту учения христианского. <...> По всему обществу распространяется характер отчуждения людей друг от друга; эгоизм и стремление к выгодам частным сделались отличительными чертами грека. Гражданин, забывая отечество, жил для корысти и честолюбия; христианин, забывая человечество, просил только личного душеспасения; государство, потеряв святость свою, переставало представлять собою нравственную мысль; церковь, лишившись всякого действия и сохраняя только мёртвую чистоту догмата, утратила сознание своих живых сил и память о своей высокой цели. Она продолжала скорбеть с человеком, утешать его, отстранять его от преходящего мира; но она уже не помнила, что ей поручено созидать здание всего человечества.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Такова была Греция, таково было её христианство, когда угодно было Богу перенести в наш Север семена жизни и истины. Не могло духовенство византийское развить в России начала жизни гражданской, о которой не знало оно в своём отечестве. Полюбив монастыри сперва, как я сказал, поневоле, Греция явилась к нам с своими предубеждениями, с любовью к аскетизму, призывая людей к покаянию и к совершенствованию, терпя общество, но не благословляя его, повинувась государству, где оно было, но не созидавая там, где его не было. Впрочем, и тут она заслужила нашу благодарность. Чистотой учения она улучшила нравы, привела к согласию обычаи разных племён, обняла всю Русь цепью духовного единства и приготовила людей к другой, лучшей эпохе жизни народной.

Всего этого было ещё мало. Федерация южных и северных племен, под охраною дома Рюрика, не составляла могущего единоначального целого. Области жили жизнью отдельною, самобытною. Новгород не был врагом врагов Киева. Киев своею силою не отстаивал Новгорода. Народ не просил единства, не желал его. Внешняя форма государства не срослась с ним, не проникла в его тайную, душевную жизнь. Раздоры князей разрывали и опустошали Россию, но области оставались равнодушными к победителю, так же как и к побеждённому. Когда же честолюбивый и искусный в битвах великий князь стремился к распространению власти своей, к сосредоточиванию сил народных (какие бы ни были побудительные причины его действия, любовь ли к общественному благу или своекорыстие), против него восставало не только властолюбие других князей, но ещё более завистливая свобода общин и областей, привычных к независимости, хотя вечно терпевших угнетения. Одно было в праве, а другое в деле.

Новгороду вольному, гордому, эгоистическому, привыкшему к своей отдельной политической жизни, в которой преобладало начало племенное, не приходило в мысль соединить всю Россию; Киеву бессильному, случайно принявшему в себя воинственный характер варягов, нельзя было осуществить идею великого государства. До наше-

ствия монголов никому, ни человеку, ни городу, нельзя было восстать и сказать: «Я представитель России, я центр её, я сосредоточу в себе её жизнь и силу».

Гроза налетела с Востока, ужасная, сокрушившая все престолы Азии, достаточная для уничтожения всей Европы, если бы Европа не была спасена от неё безмерным расстоянием. Тень будущей России встретила её при Калке, и побеждённая — могла не стыдиться своего поражения. Бог как будто призывал нас к единению и союзу. Но церковь молчала и не предвидела гибели; народ оставался равнодушным, князья продолжали свои междоусобицы. Кара была правосудна, перерождение было необходимо. Насилие спасительно, когда спит внутренняя деятельность человека. Когда вторичный налёт монголов ударил в Россию, её падение было бесславно. <...> Читая летописи, чувствуешь, что какое-то глубокое уныние проникло весь этот нестройный состав русского общества, что он уже не мог долее существовать и что монголы были случайностью, счастливою для нас: ибо эти дикие завоеватели, разрушая всё существующее, по крайней мере, не хотели и не могли ничего создать.

В то время, когда ханы уничтожали всю восточную и южную полосу России, когда Запад её, волею или неволею, признал над собою владычество грубого племени литовского, а Север, чуждый всякой великой идеи государственной, безумно продолжал свою ограниченную и местную жизнь, торговую и разбойническую, возникла новая Россия. Беглецы с берегов Дона и Днепра, изгнанники из богатых областей Вольни и Курска бросились в леса, покрывающие берега Оки и Тверцы, верховья Волги и скаты Алаунские. Старые города переполнились, выросли новые сёла, выстроились новые города, Север и Юг смешались, проникнули друг друга, и началась в пустопорожних землях, в диких полях Москвы, новая жизнь, уже не племенная и не окружающая, но общерусская.

Москва была город новый, не имеющий прошедшего, не представляющий никакого определительного характера, смешение разных славянских семей, и это её достоин-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ство. Она была столько же созданием князей, как и дочерью народа; следственно, она совместила в тесном союзе государственную внешность и внутренность, и вот тайна её силы. Наружная форма для неё уже не была случайною, но живую, органическую, и торжество её в борьбе с другими княжениями было несомненно. От этого-то так рано в этом молодом городке (который, по обычаям русской старины, засвидетельствованной летописцами, и по местничеству городов должен был быть смиренным и тихим) родилось вдруг такое буйное честолюбие князей, и оттого народ мог сочувствовать с князьями.

Я не стану излагать истории Московского княжества; из предыдущих данных легко понять её [Москвы] битвы и её победы. Как скоро она объявила желание быть Россиею, это желание должно было исполниться, потому что оно выразилось вдруг и в князе, и в гражданине, и в духовенстве, представленном в лице митрополита. Новгород устоять не мог, потому что идея города должна была уступить идее государства; князья противиться долго не могли, потому что они были случайностью в своих княжествах; областная свобода и зависть городов, разбитых и уничтоженных монголами, не могли служить препоною, потому что инстинкт народа, после кровавого урока, им полученного, стремился к соединению сил, а духовенство, обращающееся к Москве, как к главе православия русского, приучало умы людей покоряться её благодетельной воле.

Таковы причины торжества. Каковы же были последствия? Распространение России, развитие сил вещественных, уничтожение областных прав, угнетение быта общинного, покорение всякой личности мысли государства, сосредоточение мысли государства в лице государя, — добро и зло допетровской России. С Петром начинается новая эпоха. Россия сходится с Западом, который до того времени был совершенно чужд ей. Она из Москвы выдвигается на границу, на морской берег, чтобы быть доступнее влиянию других земель, торговых и просвещённых. Но это движение не было действием воли народной; Петербург был и будет единственно городом правительственным, и,

может быть, для здорового и разумного развития России не осталось и не останется бесполезным такое разъединение в самом центре государства. Жизнь власти государственной и жизнь духа народного разделились даже местом их сосредоточения. Одна из Петербурга движет всеми видимыми силами России, всеми её изменениями формальными, всю внешнею её деятельность; другая незаметно воспитывает характер будущего времени, мысли и чувства, которым суждено ещё облечься в образ и перейти из инстинктов в полную, разумную, проявленную деятельность. Таким образом, вещественная личность государства получает решительную и определённую деятельность, свободную от всякого внутреннего волнения, и в то же время бесстрастное и спокойное сознание души народной, сохраняя свои вечные права, развивается более и более в удалении от всякого временного интереса и от пагубного влияния сухой практической внешности.

<...> Когда же гроза монгольская и властолюбие органически созданного княжества Московского разрушили границы племён, когда Русь срослась в одно целое, <...> люди, отступившись от своей мятежной и ограниченной деятельности в уделах и областях, не могли ещё перенести к новосозданному целому тёплого чувства любви, с которым они стремились к знамёнам родного города при криках: «За Новгород и святую Софию» или: «За Владимир и Боголюбскую Богородицу». России ещё никто не любил в самой России, ибо, понимая необходимость государства, никто не понимал его святости. Таким образом, даже в 1612 году, которым может несколько похвалиться наша история, желание иметь веру свободную сильнее действовало, чем патриотизм, а подвиги ограничились победою всей России над какою-то горстью поляков.

Между тем, когда все обычаи старины, все права и вольности городов и сословий были принесены на жертву для составления плотного тела государства, когда люди, охранённые вещественною властью, стали жить не друг с другом, а, так сказать, друг подле друга, язва безнравственности общественной распространилась безмерно, и

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

все худшие страсти человека развились на просторе: корыстолюбие в судьях, которых имя сделалось притчею в народе, честолюбие в боярах, которые просились в аристократию, властолюбие в духовенстве, которое стремилось поставить новый папский престол. Явился Пётр, и, по какому-то странному инстинкту души высокой, обняв одним взглядом все болезни отечества, постигнув всё прекрасное и святое значение слова государство, он ударил по России, как страшная, но благодетельная гроза. Удар по сословию судей-воров; удар по боярам, думающим о родах своих и забывающим родину; удар по монахам, ищущим душеспасения в кельях и поборов по городам и забывающим церковь, и человечество, и братство христианское. За кого из них заступится история?

Много ошибок помрачают славу преобразователя России, но ему остаётся честь пробуждения её к силе и к сознанию силы. Средства, им употреблённые, были грубые и вещественные; но не забудем, что силы духовные принадлежат народу и церкви, а не правительству; правительству же предоставлено только пробуждать или убивать их деятельность каким-то насилием, более или менее суровым. Но грустно подумать, что тот, кто так живо и сильно понял смысл государства, кто поработил вполне ему свою личность, так же как и личность всех подданных, не вспомнил в то же время, что там только сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобода.

Быть может, я строго судил о старине; но виноват ли я, когда она сама себя осудила? Если ни прежние обычаи, ни церковь не создали никакого видимого образа, в котором воплотилась бы старая Россия, не должны ли мы признаться, что в них недоставало одной какой-нибудь или даже нескольких стихий? Так и было. **Общество, которое вне себя ищет сил для самохранения, уже находится в состоянии болезненном.** Всякая федерация заключает в себе безмолвный протест против одного общего начала. Федерация случайная доказывает отчуждение людей друг от друга, равнодушие, в котором ещё нет вражды, но ещё нет и любви взаимной. Челове-

чество воспитывается религиею, но оно воспитывается медленно. Много веков проходит, прежде чем вера проникнет в сознание общее, в жизнь людей, in succum et sanguinem [в соки и кровь (лат.)]. <...>

При всём том перед Западом мы имеем выгоды неисчислимы. На нашей первоначальной истории не лежит пятно завоевания. Кровь и вражда не служили основанием государству Русскому, и деды не завещали внукам преданий ненависти и мщениия. Церковь, ограничив круг своего действия, никогда не утрачивала чистоты своей жизни внутренней и не проповедовала детям своим уроков неправосудия и насилия. Простота дотатарского устройства областного не чужда была истинны человеческой, и закон справедливости и любви взаимной служил основанием этого быта, почти патриархального. Теперь, когда эпоха создания государственного кончилась, когда связались колоссальные массы в одно целое, несокрушимое для внешней вражды, настало для нас время понимать, что человек достигает своей нравственной цели только в обществе, где силы каждого принадлежат всем и силы всех каждому. Таким образом, мы будем подвигаться вперёд смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада остались тайными, спрашивая у истории церкви и законов её — светил путеводительных для будущего нашего развития — и воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего племени. Тогда, в просвещённых и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и христианское лицо, воскреснет древняя Русь, но уже сознающая себя, а не случайная, полная сил живых и органических, а не колеблющаяся вечно между бытием и смертью.

Написано в 1839 г. для обсуждения в кружке И.В. Киреевского и не предназначалось для печати.

И.В. КИРЕЕВСКИЙ (1806—1856)

В ответ А.С. Хомякову

Статья г. Хомякова возбудила во многих из нас желание написать ему возражение. <...> когда я обдумал, что понятие наше об отношении прошедшего состояния России к настоящему принадлежит не к таким вопросам, о которых мы можем иметь безнаказанно то или другое мнение, как о предметах литературы, о музыке или о иностранной политике, но составляет, так сказать, существенную часть нас самих, ибо входит в малейшее обстоятельство, в каждую минуту нашей жизни; когда я обдумал ещё, что каждый из нас имеет об этом предмете отличное от других мнение, тогда я решился писать, думая, что моя статья не может помешать другому говорить о том же, потому что это дело для каждого важно, мнения всех различны и единомыслие могло бы быть бесполезно для всех.

Вопрос обыкновенно предлагается таким образом: прежняя Россия, в которой порядок вещей слагался из родственных её элементов, была ли лучше или хуже теперешней России, где порядок вещей подчинен преобладанию элемента западного? Если прежняя Россия была лучше теперешней, говорят обыкновенно, то надобно желать возвратить старое, исключительно русское, и уничтожить западное, искажающее русскую особенность; если же прежняя Россия была хуже, то надобно стараться вводить всё западное и истреблять особенность русскую.

Силлогизм, мне кажется, не совсем верный. Если старое было лучше теперешнего, из этого ещё не следует, чтобы оно было лучше теперь. Что годилось в одно время, при одних обстоятельствах, может не годиться в другое, при других обстоятельствах. Если же старое было хуже, то из этого также не следует, чтобы его элементы не могли сами собой развиться во что-нибудь лучшее, если бы только развитие это не было остановлено насильственным введением элемента чужого. Молодой дуб, конечно, ниже одностолетней с ним ракиты, которая видна издалека, рано даёт

тень, рано кажется деревом и годится на дрова. Но вы, конечно, не услужите дубу тем, что привьёте к нему ракиту.

Таким образом, и самый вопрос предложен неудовлетворительно. Вместо того чтобы спрашивать, лучше ли была прежняя Россия, полезнее, кажется, спросить: нужно ли для улучшения нашей жизни теперь возвращение к старому русскому или нужно развитие элемента западного, ему противоположного?

Рассмотрим, какую пользу мы можем извлечь из решения этого вопроса.

Положим, что вследствие беспристрастных изысканий мы убедимся, что для нас особенно полезно бы было исключительное преобладание одного из двух противоположных бытов; положим притом, что мы находимся в возможности иметь самое сильное влияние на судьбу России, — то и тогда мы не могли бы от всех усилий наших ожидать исключительного преобладания одного из противоположных элементов, потому именно, что хотя и один избран в нашей теории, но другой вместе с ним существует в действительности. Сколько бы мы ни были врагами западного просвещения, западных обычаев и т. п., но можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь, какую-нибудь силою истребится в России память всего того, что она получила от Европы в продолжение двухсот лет? Можем ли мы не знать того, что знаем, забыть всё, что умеем? Ещё менее можно думать, что 1000-летие русское может совершенно уничтожиться от влияния нового европейского. Потому сколько бы мы ни желали возвращения русского или введения западного быта, но ни того ни другого исключительно ожидать не можем, а поневоле должны предполагать что-то третье, долженствующее возникнуть из взаимной борьбы двух враждующих начал.

Следовательно, и этот вид вопроса — который из двух элементов исключительно полезен теперь? — также предложен неправильно. Не в том дело, который из двух, но в том, какое оба они должны получить направление, чтобы действовать благотельно. Чего от взаимного их действия должны мы надеяться или чего бояться?

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Вот вопрос, как он существенно важен для каждого из нас: направление туда или сюда, а не приобретение того или другого.

Рассматривая основные начала жизни, образующие силы народности в России и на Западе, мы с первого взгляда открываем между ними одно очевидно общее: это христианство. Различие заключается в особенных видах христианства, в особенном направлении просвещения, в особенном смысле частного и народного быта. Откуда происходит общее, мы знаем; но откуда происходит различие и в чём заключается его характеристическая черта?

Два способа имеем мы для того, чтобы определить особенность Запада и России, и один из них должен служить поверкою другому. Мы можем или, восходя исторически к началу того или другого вида образованности, искать причину различия их в первых элементах, из которых они составились; или, рассматривая уже последующее развитие этих элементов, сравнивать самые результаты. И если найдётся, что то же различие, какое мы заметим в элементах, окажется и в результатах их развития, тогда очевидно, что предположение наше верно, и, основываясь на нём, нам уже виднее будет, какие можно делать из него дальнейшие заключения.

Три элемента легли основанием европейской образованности: римское христианство, мир необразованных варваров, разрушивших Римскую империю, и классический мир древнего язычества.

Этот классический мир древнего язычества, не доставшийся в наследие России, в сущности своей представляет торжество формального разума человека над всем, что внутри и вне его находится, — чистого, голого разума, на себе самом основанного, выше себя и вне себя ничего не признающего и являющегося в двух свойственных ему видах — в виде формальной отвлечённости и отвлечённой чувственности. Действие классицизма на образованность европейскую должно было соответствовать тому же характеру.

Но потому ли, что христиане на Западе поддались незаконно влиянию классического мира, или случайно ересь

сошлась с язычеством, но только римская церковь в уклонении своём от восточной отличается именно тем же торжеством рационализма над преданием внешней разумности, над внутренним духовным разумом. Так, вследствие этого внешнего силлогизма, выведенного из понятия о Божественном равенстве Отца и Сына, изменён догмат о Троице в противность духовному смыслу и преданию; так, вследствие другого силлогизма папа стал главою церкви вместо Иисуса Христа, потом мирским властителем, наконец, непогрешаемым; бытие Божие во всём христианстве доказывалось силлогизмом; вся совокупность веры опиралась на силлогистическую схоластику; инквизиция, иезуитизм — одним словом, все особенности католицизма развились силою того же формального процесса разума, так что и самый протестантизм, который католики упрекают в рациональности, произошёл прямо из рациональности католицизма. В этом последнем торжестве формального разума над верою и преданием проницательный ум мог уже наперёд видеть в зародыше всю теперешнюю судьбу Европы как следствие вотще начатого начала, то есть и Штрауса, и новую философию со всеми её видами, и индустриализм как пружину общественной жизни, и филантропию, основанную на рассчитанном своекорыстии, и систему воспитания, ускоренную силою возбужденной зависти, и Гёте, венец новой поэзии, литературного Талейрана, меняющего свою красоту, как тот свои правительства, и Наполеона, и героя нового времени, идеал бездушного расчёта, и материальное большинство, плод рациональной политики, и Людвига Филиппа, последний результат таких надежд и таких дорогих опытов!

Я совсем не имею намерения писать сатиру на Запад; никто больше меня не ценит тех удобств жизни общественной и частной, которые произошли от того же самого рационализма. Да, если говорить откровенно, я и теперь ещё люблю Запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привычками; но в серд-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

це человека есть такие движения, есть такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее всех привычек и вкусов, сильнее всех приятностей жизни и выгод внешней разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить своею настоящею жизнью. Потому, вполне оценивая все отдельные выгоды рациональности, я думаю, что в конечном развитии она своею болезненно неудовлетворительностью явно обнаруживается началом односторонним, обманчивым, обольстительным и предательским. Впрочем, распространяться об этом было бы здесь неуместно. Я припомню только, что все высокие умы Европы жалуются на теперешнее состояние нравственной апатии, на недостаток убеждений, на всеобщий эгоизм, требуют новой духовной силы вне разума, требуют новой пружины жизни вне расчёта — одним словом, ищут веры и не могут найти её у себя, ибо христианство на Западе исказилось своемыслием.

Таким образом, рационализм и вначале был лишним элементом в образовании Европы и теперь является исключительным характером просвещения и быта европейского. Это будет ещё очевиднее, если мы сравним основные начала общественного и частного быта Запада с основными началами того общественного и частного быта, который если не развился вполне, то по крайней мере ясно обозначился в прежней России, находившейся под прямым влиянием чистого христианства, без примеси мира языческого.

Весь частный и общественный быт Запада основывается на понятии о индивидуальной, отдельной независимости, предполагающей индивидуальную изолированность. Оттуда святость внешних формальных отношений, святость собственности и условий постановлений важнее личности. Каждый индивидуум — частный человек, рыцарь, князь или город — внутри своих прав есть лицо самовластное, неограниченное, само себе дающее законы. Первый шаг каждого лица в общество есть окружение себя крепостью, из нутра которой оно вступает в переговоры с другими независимыми властями.

<...> Я говорил о различии просвещения в России и на Западе. У нас образовательное начало заключалось в нашей церкви. Там вместе с христианством действовали на развитие просвещения ещё плодоносные остатки древнего языческого мира. Самое христианство западное, отделившись от вселенской церкви, приняло в себя зародыш того начала, которое составляло общий оттенок всего греко-языческого развития: начала рационализма. Потому и характер образованности европейской отличается перевесом рациональности.

Впрочем, этот перевес обнаружился только впоследствии, когда логическое развитие, можно сказать, уже задавило христианское. Но вначале рационализм, как я сказал, является только в зародыше. Римская церковь отделилась от восточной тем, что некоторые догматы, существовавшие в предании всего христианства, она изменила на другие вследствие умозаключения. Некоторые распространила вследствие того же логического процесса и также в противность преданию и духу церкви вселенской. Таким образом, логическое убеждение легло в самое первое основание католицизма. Но этим и ограничилось действие рационализма на первое время.

Внутреннее и внешнее устройство церкви, уже совершившееся прежде в другом духе, до тех пор существовало без очевидного изменения, покуда вся совокупность церковного учения не перешла в сознание мыслящей части духовенства. Это совершилось в схоластической философии, которая по причине логического начала в самом основании церкви не могла иначе согласить противоречие веры и разума, как силою силлогизма, сделавшегося таким образом первым условием всякого убеждения. Сначала, естественно, этот же самый силлогизм доказывал веру против разума и подчинял ей разум силою разумных доводов. Но эта вера, логически доказанная и логически противопоставленная разуму, была уже не живая, но формальная вера, не вера собственно, а только логическое отрицание разума. Потому в этот период схоластического развития католицизма именно по причине рациональности своей

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

западная церковь является врагом разума, угнетающим, убийственным, отчаянным врагом его. Но, развившись до крайности, продолжением того же логического процесса, это безусловное уничтожение разума произвело то известное противодействие, которого последствия составляют характер теперешнего просвещения.

Вот что я разумел, говоря о рациональном элементе католицизма.

Христианство восточное не знало ни этой борьбы веры против разума, ни этого торжества разума над верою. Потому и действия его на просвещение были не похожи на католические.

Рассматривая общественное устройство прежней России, мы находим многие отличия от Запада, и во-первых: образование общества в маленькие так называемые миры. Частная, личная самобытность, основа западного развития, была у нас так же мало известна, как и самовластие общественное. Человек принадлежал миру, мир ему. Земельная собственность, источник личных прав на Западе, была у нас принадлежностью общества. Лицо участвовало во столько в праве владения, во сколько входило в состав общества.

Но это общество не было самовластное и не могло само себя устраивать, само изобретать для себя законы, потому что не было отделено от других ему подобных обществ, управлявшихся однообразным обычаем. Бесчисленное множество этих маленьких миров, составлявших Россию, было всё покрыто сетью церковей, монастырей, жилищ уединённых отшельников, откуда постоянно распространялись повсюду одинакие понятия об отношениях общественных и частных. Понятия эти мало-помалу должны были переходить в общее убеждение, убеждение — в обычай, который заменял закон, устраивая по всему пространству земель, подвластных нашей церкви, одну мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни. Это повсеместное однообразие обычая было, вероятно, одною из причин его невероятной крепости, сохранившей его живые остатки даже до нашего времени сквозь всё противодей-

ствии разрушительных влияний, в продолжение 200 лет стремившихся ввести на место его новые начала.

Вследствие этих крепких, однообразных и повсеместных обычаев всякое изменение в общественном устройстве, не согласное с строем целого, было невозможно. Семейные отношения каждого были определены прежде его рождения; в таком же предопределённом порядке подчинялась семья миру, мир более обширный — сходке, сходка — вечу и т.д., покуда все частные круги смыкались в одном центре, в одной православной церкви. Никакое частное разумение, никакое искусственное соглашение не могло основать нового порядка, выдумать новые права и преимущества. Даже самое слово «право» было у нас неизвестно в западном его смысле, но означало только справедливость, правду. Потому никакая власть никакому лицу, ни сословию не могла ни даровать, ни уступить никакого права, ибо правда и справедливость не могут ни продаваться, ни браться, но существуют сами по себе, независимо от условных отношений. На Западе, напротив того, все отношения общественные основаны на условии или стремятся достигнуть этого искусственного основания. Вне условия нет отношений правильных, но является произвол, который в правительственном классе называется самовластием, в управляемом — свободою. Но и в том и в другом случае этот произвол доказывает не развитие внутренней жизни, а развитие внешней, формальной. Все силы, все интересы, все права общественные существуют там отдельно, каждый сам по себе и соединяются не по нормальному закону, а или в случайном порядке, или в искусственном соглашении: в первом случае торжествует материальная сила, во втором — сумма индивидуальных разумений. Но материальная сила, материальный перевес, материальное большинство, сумма индивидуальных разумений, в сущности, составляют одно начало, только в разных моментах своего развития. Потому общественный договор не есть изобретение энциклопедистов, но действительный идеал, к которому стремились без сознания, а теперь стремятся с сознанием все западные общества под

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

влиянием рационального элемента, перевесившего элемент христианский.

В России мы не знаем хорошо границ княжеской власти прежде подчинения удельных княжеств Московскому; но если сообразим, что сила неизменяемого обычая делала всякое самовластное законодательство невозможным; что разбор и суд, который в некоторых случаях принадлежал князю, не мог совершаться несогласно со всеобъемлющими обычаями, ни толкование этих обычаев по той же причине не могло быть произвольное; что общий ход дел принадлежал мирам и приказам, судившим также по обычаю вековому и потому всем известному; наконец, что в крайних случаях князь, нарушавший правильность своих отношений к народу и церкви, был изгоняем самим народом, — сообразивши всё это, кажется очевидно, что собственно княжеская власть заключалась более в предводительстве дружин, чем во внутреннем управлении, более в вооружённом покровительстве, чем во владении областями.

Вообще, кажется, России так же малоизвестны были мелкие властители Запада, употреблявшие общество как бездушную собственность в свою личную пользу, как ей неизвестны были и благородные рыцари Запада, опиравшиеся на личной силе, крепостях и железных латах, не признававшие другого закона, кроме собственного меча и условных правил чести, основанных на законе самоуправства.

Впрочем, рыцарства у нас не было по другим причинам.

С первого взгляда кажется непонятным, почему у нас не возникло чего-нибудь подобного рыцарству, по крайней мере во время татар. Общества были разрознены, власть не имела материальной силы, каждый мог переходить с места на место, леса были глубокие, полиция была ещё не выдумана; отчего бы, кажется, не составиться обществам людей, которые бы пользовались превосходством своей силы над мирными земледельцами и горожанами, грабили, управлялись как хотели, захватили бы себе отдельные земли, деревни и строили бы там крепости; составили бы между собой известные правила и, таким образом, образовали бы особенный класс сильнейшего сословия, которое

по причине силы могло бы назваться и благороднейшим сословием? Церковь могла бы воспользоваться ими, образуя из них отдельные ордена с отдельными уставами и употребляя их против неверных, подобно западным крестоносцам. Отчего же не сделалось этого?

Именно потому, я думаю, что церковь наша в то время не продавала чистоты своей за временные выгоды. У нас были богатыри только до введения христианства. После введения христианства у нас были разбойники, шайки устроенные, ещё до сих пор сохранившиеся в наших песнях, но шайки, отверженные церковью и потому бессильные. Ничего не было бы легче, как возбудить у нас крестовые походы, причислив разбойников к служителям церкви и обещав им прощение грехов за убиение неверных: всякий пошёл бы в честные разбойники. Католицизм так и действовал; он не поднял народы за веру, но только бродивших направил к одной цели, назвав их святыми. Наша церковь этого не сделала, и потому мы не имели рыцарства, а вместе с ним и того аристократического класса, который был главным элементом всего западного образования.

Где больше было неустройства на Западе, там больше и сильнее было рыцарство; в Италии его было всего менее. Где менее было рыцарства, там более общество склонялось к устройству народному; где более — там более к единовластному. Единовластие само собой рождается из аристократии, когда сильнейший покоряет слабейших и потом правитель на условиях переходит в правителя безусловного, соединяясь против класса благородных с классом подлых, как Европа называла народ. Этот класс подлых, по общей формуле общественного развития Европы, вступил в права благородного, и та же сила, которая делала самовластным одного, естественным своим развитием переносила власть в материальное большинство, которое уже само изобретает для себя какое-нибудь формальное устройство и до сих пор ещё находится в процессе изобретения.

Таким образом, как западная церковь образовала из разбойников рыцарей, из духовной власти власть свет-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

скую, из светской полиции святуую инквизицию, что всё, может быть, имело свои временные выгоды, — таким же образом действовала она и в отношении к наукам, искусствам языческим. Не изнутри себя произвела она новое искусство христианское, но прежнее, рождённое и воспитанное другим духом, другою жизнью, направила к украшению своего храма. Оттого искусство романтическое заиграло новою блестящею жизнью, но окончилось поклонением язычеству и теперь кланяется отвлечённым формулам философии, покуда не возвратится мир к истинному христианству и не явится миру новый служитель христианской красоты.

Науки существенною частью своею, то есть как познания, принадлежат равно языческому и христианскому миру и различаются только своею философскою стороною. Этой философской стороны христианства католицизм не мог сообщить им, потому что сам не имел её в чистом виде. Оттого видим мы, что науки как наследие языческое процветали так сильно в Европе, но окончились безбожием как необходимым следствием своего одностороннего развития.

Россия не блеснула ни художествами, ни учёными изобретениями, не имея времени развиться в этом отношении самобытно и не принимая чужого развития, основанного на ложном взгляде и потому враждебного её христианскому духу. Но зато в ней хранилось первое условие развития правильного, требующего только времени и благоприятных обстоятельств; в ней собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам. Все святые отцы греческие, не исключая самых глубоких писателей, были переведены, и читаны, и переписываемы, и изучаемы в тишине наших монастырей, этих святых зародышей несбывшихся университетов. Исаак Сирий, глубокомысленнейшее из всех философских писаний, до сих пор ещё находится в списках XII — XIII веков. И эти монастыри были в живом, беспрестанном соприкосновении с народом. Какое просвещение в нашем подлом классе не впра-

ве мы заключить из этого одного факта! Но это просвещение не блестящее, но глубокое; не роскошное, не материальное, имеющее целью удобства наружной жизни, но внутреннее, духовное, это устройство общественное, без самовластия и рабства, без благородных и подлых; эти обычаи вековые, без писанных кодексов, исходящие из церкви и крепкие согласием нравов с учением веры; эти святые монастыри, рассадники христианского устройства, духовное сердце России, в которых хранились все условия будущего самобытного просвещения; эти отшельники, из роскошной жизни уходившие в леса, в недоступных ущельях изучавшие писания глубочайших мудрецов христианской Греции и выходившие оттуда учить народ, их понимавший; эти образованные сельские приговоры; эти городские веча; это раздолье русской жизни, которое сохранилось в песнях, — куда всё это делось? Как могло это уничтожиться, не принеся плода? Как могло оно уступить насилию чужого элемента? Как возможен был Пётр, разрушитель русского и вводитель немецкого? Если же разрушение началось прежде Петра, то как могло Московское княжество, соединивши Россию, задавить её? Отчего соединение различных частей в одно целое произошло не другим образом? Отчего при этом случае должно было торжествовать иностранное, а не русское начало?

Один факт в нашей истории объясняет нам причину такого несчастного переворота; этот факт есть Стоглавый Собор. Как скоро ересь явилась в церкви, так раздор духа должен был отразиться и в жизни. Явились партии, более или менее уклоняющиеся от истины. Партия нововводительная одолела партию старины именно потому, что старина разорвана была разномыслием. Оттуда при разрушении связи духовной, внутренней явилась необходимость связи вещественной, формальной, оттуда местничество, опричнина, рабство и т.п. Оттуда искажение книг по заблуждению и невежеству и исправление их по частному разумению и произвольной критике. Оттуда перед Петром правительство в разномыслии с большинством народа, отвергаемого под названием раскольников. Оттого Пётр

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

как начальник партии в государстве образует общество в обществе и всё, что за тем следует.

Какой же результат всего сказанного? Желать ли нам вернуть прошедшее России и можно ли вернуть его? Если правда, что самая особенность русского быта заключалась в его живом исхождении из чистого христианства и что форма этого быта упала вместе с ослаблением духа, то теперь эта мёртвая форма не имела бы решительно никакой важности. Возвращать её насильственно было бы смешно, когда бы не было вредно. Но истреблять оставшиеся формы может только тот, кто не верит, что когда-нибудь Россия возвратится к тому живительному духу, которым дышит её церковь.

Желать теперь остаётся нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей церкви, и написал об этом статью в журнале; чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем.

В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ (1841—1911)

Афоризмы.

Мысли об истории России

Республиканцы в монархиях — обыкновенно люди, не имеющие царя в собств[енной] голове; монархисты в республиках — люди, замечающие, что другие его теряют.

Русск[ая] интеллигенция скоро почувствует себя в положении продавщицы конфет голодным людям.

Истина проводится в наше сознание подобно запретным заграничным товарам контрабандой, под ярлыком

лжи или шутки; зато под видом заграничной истины мы беспощинно получаем от своих поставщиков-производителей чистую ложь или озорство совершенно домашнего кустарного изделия. 1 янв[аря] 1898.

Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь её.

Русский мыслящий человек мыслит, как русский царь правит; последний при каждом столкновении с неприятным законом говорит: «Я выше закона» — и отвергает старый закон, не улаживая столкновения. Русский мыслящий человек при встрече с вопросом, не поддающимся его привычным воззрениям, но возбуждаемый логикой, здравым смыслом, говорит: «Я выше логики», и отвергает самый вопрос, не разрешая его. Произволу власти соответствует произвол мысли.

С[амодержавие] нужно нам пока как стихийная сила, которая своей стихийностью может сдержать другие стихийные силы, ещё худшие.

Мы гораздо более научаемся истории, наблюдая настоящее, чем поняли настоящее, изучая историю. Следовало бы наоборот.

Разница между консерваторами и либералами: у первых слова хуже мыслей, у вторых мысли хуже слов, т.е. первые не хотят хорошенько сказать, что думают, а вторые не умеют понять, что говорят.

У нас политические партии — не порядки убеждений или образы мыслей, а возрасты или экономические положения.

В России центр на периферии.

Начитанные и надорванные либеральные дураки, производящие впечатление умных только на таких же надор-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ванных, но не столь начитанных дураков. Недовольны всем настоящим, а прошлое ругают за то, что не похоже на настоящее. <...>

Великорус — историк от природы: он лучше понимает своё прошедшее, чем будущее; он не всегда догадается, что нужно предусмотреть, но всегда поймёт, что он не догадался. Он умнее, когда обсуждает, что сделал, чем когда сообщает, что нужно сделать. В нём больше оглядки, чем предусмотрительности, больше смирения, чем нахальства.

В России все элементы культуры парниковые, казённые: всё, и даже анархия, воспитано и разведено на казённый счет. <...> 1898.

Всякое общество вправе требовать от власти, чтобы им удовлетворительно управляли, сказать своим управителям: «Правьте нами так, чтобы нам удобно жилось». Но бюрократия думает обыкновенно иначе и расположена отвечать на такое требование: «Нет, вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами, и даже платите нам хорошее жалованье, чтобы нам весело было управлять вами; если же вы чувствуете себя неловко, то в этом виноваты вы, а не мы, потому что не умеете приспособиться к нашему управлению и потому что ваши потребности несовместимы с образом правления, которому мы служим органами».

<...> В России развилась особая привычка к новым зрам в своей жизни, склонность начинать новую жизнь с восходом солнца, забывая, что вчерашний день потонул под неизбежной тенью. Это предрассудок — всё от недостатка исторического мышления, от пренебрежения к исторической закономерности. <...>

<...> У русского царя есть корректор посильнее его — министр или секретарь. Царь повелит — министр отменит, как при Ек[атерине] II с наказом. Он лучше понимает волю царя, чем сам царь.

Наша беда в нас самих: мы не умеем стоять за закон. <...>

Не знаю общества, которое терпеливее, не скажу доверчивее, относилось к прав[итель]ству, как не знаю правительства, которое так сорило бы терпением общества, точно казёнными деньгами. <...>

Власть как средство для общего блага нравственно обя-зывает; власть вопреки общему благу — простой захват.

Успехи: ключ дан, замок отперт, дверь отворена и свежий воздух пахнул на вековую пыль. Выбирайте людей, которые, спокойно, ровно ступая по твёрдой законной почве, не порываясь, стремились вперёд и не пятась назад, [и которые] во имя закона сделают Думу могучим оплотом законности, мира и преуспеянья. Идти напрямки, без сделок, но с прото[колом] в руках: иначе нельзя. <...>

Самовластие само по себе противно; как политический принцип, его никогда не признает гражданская совесть. Но можно мириться с лицом, в котором эта противоестественная сила соединяется с самопожертвованием, когда самовластец, не жалея себя, самоотверженно идёт напролом во имя общего блага, рискуя разбиться о неодолимые препятствия и даже о собственное дело. Так мирятся с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает исходам нового посева.

1909

Самодержавие — не власть, а задача, т.е. не право, а ответственность. Задача в том, чтобы единоличная власть делала для народного блага то, чего не в силах сделать сам народ чрез свои органы. Ответственность в том, что одно лицо несёт ответственность за все неудачи в достижении народного блага. Самодержавие есть счастливая узурпация, единственное политическое оправдание которой непрерывный успех или постоянно уметь поправлять свои ошибки или несчастья. Неудачное самодержавие переста-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ёт быть законным. В этом смысле единственным самодержцем в нашей истории был Пётр В[еликий]. Правление, сопровождающееся Нарвами без Полтав, есть nonsense [бессмыслица (англ.)].

<...> Все от нечего делать или от неумения сделать что-нибудь принялись играть, одни в конституцию, другие в революцию, превращая в куклы идеи, идеалы, интересы, принципы. Одна власть, как настоящая кукла, ни во что не играет, даже в самое себя, а, благовоспитанно-послушно сложив на бумажных коленях свои пришитые к деревянным плечикам руки, притворилась, что её нет, и стала выжидать, когда её спрячут в детский шкафчик. Она поняла себя очень логично: она всегда отрицала свободу, никогда не умела выразуметь, что и есть опора свободы, и потому, даровав свободу своим подданным, она умозаклчила, что этим упразднила себя, т.е. сложила с себя всякую ответственность за что-либо. Она привыкла видеть в подданных своих холопов, невольников и их приучила смотреть на неё как на плантатора, а когда узнала из доклада приказчиков, что её белые негры взбунтовались и у неё нет силы их перевешать, она самоотверженно заперлась в своей усадьбе, сказав себе: а посмотрим, что из всей этой кутерьмы выйдет.

Учредительное собрание, которого требуют железно-дорожники, телеграфисты, курсистки, все забастовщики и забастовщицы, есть комбинация русского ума — обезьяны: так бывало за границей, так должно быть и у нас <...>
1905

Перестраиваются не политические понятия и общественные интересы, а политические чувства и социальные отношения; думают не о том, что делать и как устроиться, а о том, что можно сделать и захватить и чего нельзя, кто враг и кого потому надо побить и кого опасно бить. Политическая революция разделяется в социальную усобицу, и само правительство превращается в одну из со[циальных] партий, только маскируясь в личину государственного органа.

1906

Политич[еские] мысли.

Я не сочувствую партиям, манифесты которых сыплются в газетах. Вообще не сочувствую партийно-политическому делению общества при организации народного представительства. Это: 1) шаблонная репетиция чужого опыта, 2) игра в жмурки. Манифесты выставляют политические принципы, но ими прикрываются гражданские интересы, а представительство частных интересов — это такой анахронизм, с которым пора расстаться. Все платформы грешат одним недосмотром: они спешат установить, т.е. предопределить, направление нашего будущего конституционного законодательства, а наша ближайшая задача и забота — обеспечить и подготовить самый орган конституционного представительства.

Оппозиция против правительства постепенно превратилась в заговор против общества. Этим дело русской свободы было передано из рук либералов и руки хулиганов.

1905

Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства

Когда вместе с разнообразной, набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой Лавры, иногда думаешь: почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным неизменным взглядом наблюдал и ровной бесстрашной рукой записывал, «еже содеяся в Русской земле», и делал это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший целые столетия? Такой бессменный и не умирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили 500 лет поклониться гробу преподобного Сергия и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда во все концы Русской земли. Между прочим он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерывною волной притекавшего ко гробу преподобного, в течение пяти веков оставался неизменным. Ещё при жизни преподобного,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

как рассказывает его жизнеописатель-современник, много множество приходило к нему из различных стран и городов, и в числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, «на селе живущие». И в наши дни люди всех классов русского общества притекают к гробу преподобного со своими думами, мольбами и упованиями, государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, простые люди в печальные или радостные минуты своего частного существования. И этот приток не изменился в течение веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и настроении русского общества: старые понятия иссякали, новые пробивались или наплывали, а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в XIV в. Если бы возможно было воспроизвести писание всего, что соединилось с памятью преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано пред его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни.

Впрочем, если преп[одобный] Сергей доселе остаётся для приходящих к нему тем же, чем был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах можно прочесть то же, что прочитал бы монастырский наблюдатель на лицах своих современников 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встречные лица из многого множества, в эти дни здесь теснящегося, чтобы понять, во имя чего поднялись со своих мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. Да и каждый из нас в своей собственной душе найдёт то же общее чувство, стоя у гробницы преподобного. У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени. Это чувство вот уже пять столетий одинаково загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолжение тысячелетий одинаково светится в капле чистой воды. Спросите любого из этих простых людей, с посохом и котомкой пришедших

сюда издалека: когда жил преподобный Сергий и что сделал для Руси XIV века, чем он *был* для своего времени? И редкий из них даст вам удовлетворительный ответ; но на вопрос, что он *есть* для них, далёких потомков людей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твёрдо и вразумительно.

Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила, ими завещанного. Таково имя преподобного Сергия; это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственно-народного содержания.

Какой подвиг так освятил это имя? Надобно припомнить время, когда подвизался преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома Русской земли и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах ещё до боли живо было впечатление ужаса, произведённого этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только мате-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

риальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что ещё хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после неё. Мать пугала непокойного ребенка лихим татаринном; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя тёмная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа.

Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжело его унижение, но пробьёт урочный час, он соберёт свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу.

Русские люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сити, сошли в могилу со своими сверстниками, безнадежно оглядываясь вокруг, не займётся ли где заря освобождения. За ними последовали их дети, тревожно наблюдавшие, как многочисленные русские князья холопствовали перед татарами и дрались друг с другом. Но подросли внуки, сверстники Ивана Калиты, и стали присматриваться и прислушиваться к необычным делам в Русской земле. В то время как все русские окраины страдали от внешних врагов, маленькое срединное Московское княжество оставалось безопасным, и со всех краев Русской земли потянулись туда бояре и простые люди. В то же время московские князьки, братья Юрий и этот самый Иван Калита, без оглядки и раздумья, пуская против врагов все доступные

средства, ставя в игру всё, что могли поставить, вступили в борьбу со старшими и сильнейшими князьями за первенство, за старшее Владимирское княжение, и при содействии самой Орды отбили его у соперников. Тогда же устроилось так, что и русский митрополит, живший во Владимире, стал жить в Москве, придав этому городку значение церковной столицы Русской земли. И как только случилось всё это, все почувствовали, что татарские опустошения прекратились и наступила давно не испытанная тишина в Русской земле. По смерти Калиты Русь долго вспоминала его княжение, когда ей впервые в сто лет рабства удалось вздохнуть свободно, и любила украшать память этого князя благодарной легендой.

Так к половине XIV в. подросло поколение, выросшее под впечатлением этой тишины, начавшее отвыкать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром представителю этого поколения, сыну великого князя Ивана Калиты, Симеону, современники дали прозвание Гордого. Это поколение и почувствовало ободрение, что скоро забрезжит свет. В это именно время, в начале сороковых годов XIV в., свершились три знаменательных события: из московского Богоявленского монастыря вызван был на церковно-административное поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок Алексий, тогда же один 20-летний искатель пустыни, будущий преподобный Сергий, в дремучем лесу — вот на этом самом месте — поставил маленькую деревянную келию с такой же церковью, а в Устюге у бедного соборного причётника родился сын, будущий просветитель Пермской земли св. Стефан. Ни одного из этих имён нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта присноблаженная троица ярким созвездием блещет в нашем XIV в., делая его зарёй политического и нравственного возрождения Русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Митрополит Алексий навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желал иметь его своим преемником. Припомним душевный рассказ в житии преподобного Сергия о проезде св. Стефана Пермского мимо Сер-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

гиева монастыря, когда оба друга на расстоянии 10 с лишком вёрст обменялись братскими поклонами.

Все три св[ятых] мужа, подвизаясь каждый на своём поприще, делали одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего народа. Это дело — укрепление Русского государства, над созданием которого по-своему трудились московские князья XIV в. Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархией величайшим святителем Древней Руси митрополитом Петром. Ещё в мрачное время татарского ига, когда ниоткуда не проступал луч надежды, он, по преданию, пророчески благословил бедный тогда городок Москву, как будущую церковную и государственную столицу Русской земли. Духовными силами трёх наших св[ятых] мужей XIV в., воспринявших этот завет святителя, Русская земля и пришла поработать над предвозвещённой судьбой этого города. Ни один из них не был коренным москвичом. Но в их лице сошлись для общего дела три основные части Русской земли: Алексий, сын черниговского боярина-переселенца, представлял старый киевский юг, Стефан — новый финско-русский север, а Сергей, сын ростовского боярина-переселенца, великорусскую средину. Они приложили к делу могущественные духовные силы. Это были образованнейшие русские люди своего века; о них древние жизнеописатели замечают, что один «всю грамоту добре умея», другой «всяко писание ветхаго и новаго завета пройде», третий даже «книги греческия извыче добре». Потому ведь и удалось московским князьям так успешно собрать в своих руках материальные, политические силы русского народа, что им дружно содействовали добровольно соединившиеся духовные его силы.

Но в общем деле каждый из трёх деятелей делал свою особую часть. Они не составляли общего плана действий, не распределяли между собой призваний и подвигов и не могли этого сделать, потому что были люди разных поколений. Они хотели работать над самими собой, делать дело собственного душевного спасения. Деятельность

каждого текла своим особым руслом, но текла в одну сторону с двумя другими, направляемая таинственными историческими силами, в видимой работе которых верующий ум прозревает миродержавную десницу Провидения. Личный долг каждого своим путём вёл всех троих к одной общей цели. Происходя из родовитого боярства, искони привыкшего делить с князьями труды обороны и управления страны, митрополит Алексей шёл боевым политическим путем, был преемственно главным советником трёх великих князей московских, руководил их боярской думой, ездил в Орду улаживать ханов, отмаливая их от злых замыслов против Руси, воинствовал с недругами Москвы всеми средствами своего сана, карал церковным отлучением русских князей, непослушных московскому государю, поддерживая его первенство, с неослабной энергией отстаивая значение Москвы, как единственного церковного средоточия всей политически разбитой Русской земли. Уроженец г. Устюга, в краю которого новгородская и ростовская колонизация, сливаясь и вовлекая в свой поток туземную чужд, создавала из неё новую Русь, св[ятой] Стефан пошёл с христианской проповедью в Пермскую землю продолжать это дело обрусения и просвещения заволжских инородцев. Так церковная иерархия благословила своим починком две народные цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного политического существования нашего народа: это — сосредоточение династически раздробленной государственной власти в московском княжеском доме и приобщение восточноевропейских и азиатских инородцев к русской Церкви и народности посредством христианской проповеди.

Но чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство и ввести инородцев в ограду христианской Церкви, для этого самому русскому обществу должно было встать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, принижённые вековым порабощением и унынием. Этому третьему делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь преподобный Сергей. То была внутренняя миссия,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

долженствовала служить подготовкой и обеспечением успехов миссии внешней, начатой пермским просветителем; преподобный Сергей и вышел на своё дело значительно раньше св[ятого] Стефана. Разумеется, он мог применить к делу средства нравственной дисциплины, ему доступные и понятные тому веку, а в числе таких средств самым сильным был живой пример, наглядное осуществление нравственного правила. Он начал с самого себя и продолжительным уединением, исполненным трудов и лишений среди дремучего леса, приготовился быть руководителем других пустынножителей. Жизнеописатель, сам живший в братстве, воспитанном Сергием, живыми чертами описывает, как оно воспитывалось, с какой постепенностью и любовью к человеку, с каким терпением и знанием души человеческой. Мы все читали и перечитывали эти страницы древнего жития, повествующие о том, как Сергей, начав править собиравшейся к нему братией, был для неё поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угодно трудником служил ей, как раб купленный, по выражению жития, ни на один час не складывал рук для отдыха, как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же чёрную хозяйственную работу, он принимал искавших у него пострижения, не спускал глаз с каждого новика, возводя его со степени на степень иноческого искусства, указывал дело всякому по силам, ночью дозором ходил мимо келий, лёгким стуком в дверь или окно напоминал празднословившим, что у монаха есть лучшие способы проводить досужее время, а поутру осторожными намёками, не обличая прямо, не заставляя краснеть, «тихой и кроткой речью» вызывал в них раскаяние без досады. Читая эти рассказы, видишь пред собою практическую школу благонравия, в которой сверх религиозно-иноческого воспитания главными житейскими науками были уметь отдавать всего себя на общее дело, навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах. Наставник вёл ежедневную дробную терпеливую работу над каждым отдельным братом, над отдельными особенностями каждого брата, при-

способляя их к целям всего братства. По последующей самостоятельной деятельности учеников преподобного Сергия видно, что под его воспитательным руководством лица не обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и, становясь на своё место, входил в состав сложного и стройного целого, как в мозаической иконе различные по величине и цвету камешки укладываются под рукой мастера в гармоническое выразительное изображение. Наблюдение и любовь к людям дали умение тихо и кротко настраивать душу человека и извлекать из неё, как из хорошего инструмента, лучшие её чувства, — то уменье, перед которым не устоял самый упрямый русский человек XIV века кн. Олег Иванович рязанский, когда по просьбе великого князя московского Дмитрия Ивановича, как рассказывает летописец, «старец чудный» отговорил «суровейшего» рязанца от войны с Москвой, умилив его тихими и кроткими речами и благоуветливыми глаголами.

Так воспиталось дружное братство, производившее, по современным свидетельствам, глубокое назидательное впечатление на мирян. Мир приходил к монастырю с пытливым взглядом, каким он привык смотреть на монашество, и если его не встречали здесь словами *прииди* и *виждь*, то потому, что такой зазыв был противен Сергиевой дисциплине. Мир смотрел на чин жизни в монастыре преподобного Сергия, и то, что он видел, быт и обстановка пустынного братства поучали его самым простым правилам, которыми крепко людское христианское общежитие. В монастыре всё было бедно и скудно, или, как выразился разочарованно один мужичок, пришедший в обитель преподобного Сергия повидать прославленного величественного игумена, «всё худостно, всё нищетно, всё сиротинско»; в самой ограде монастыря первобытный лес шумел над кельями и осенью обсыпал их кровли палыми листьями и иглами; вокруг церкви торчали свежие пни и валялись неубранные стволы срубленных деревьев; в деревянной церковке за недостатком свеч пахло лучиной; в обиходе братии столько же недостатков, сколько заплат на сермяж-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ной ряске игумена; чего ни хватись, всего нет, по выражению жизнеописателя; случалось, вся братия по целым дням сидела чуть не без куска хлеба. Но все дружны между собой и приветливы к пришельцам, во всём следы порядка и размышления, каждый делает своё дело, каждый работает с молитвой, и все молятся после работы; во всех чулся скрытый огонь, который без искр и вспышек обнаруживался живительной теплотой, обдававшей всякого, кто вступал в эту атмосферу труда, мысли и молитвы. Мир видел всё это и уходил ободренный и освежённый, подобно тому как мутная волна, прибывая к прибрежной скале, отлагает от себя примесь, захваченную в неопрятном месте, и бежит далее светлой и прозрачной струёй. Надобно припомнить людей XIV века, их быт и обстановку, запас их умственных и нравственных средств, чтобы понять впечатление этого зрелища на набожных наблюдателей. Нам, страдающим избытком нравственных возбуждений и недостатком нравственной восприимчивости, трудно уже воспроизвести слагавшееся из этих наблюдений настроенное нравственной сосредоточенности и общественного братства, какое разносили по своим углам из этой пустыни побывавшие в ней люди XIV в. Таких людей была капля в море православного русского населения. Но ведь и в тесто немного нужно вещества, вызывающего в нём живительное брожение. Нравственное влияние действует не механически, а органически. На это указал сам Христос, сказав: *«Царство Божие подобно закваске»*. Украдкой западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека XIV в. От вековых бедствий этот человек так оскудел нравственно, что не мог не замечать в своей жизни недостатка этих первых основ христианского общежития, но ещё не настолько очерствел от этой скудости, чтобы не чувствовать потребности в них.

Пробуждение этой потребности и было началом нравственного, а потом и политического возрождения русского народа. Пятьдесят лет делал своё тихое дело

преподобный Сергей в Радонежской пустыне; целые полвека приходившие к нему люди вместе с водой из его источника черпали в его пустыне утешение и ободрение и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими. Никто тогда не считал гостей пустычника и тех, кого они делали причастниками приносимой ими благодатной росы, — никто не думал считать этого, как человек, пробуждающийся с ощущением здоровья, не думает о своём пульсе. Но к концу жизни Сергия едва ли вырывался из какой-либо православной груди на Руси скорбный вздох, который бы не облегчался молитвенным призывом имени св[ятого] старца. Этими каплями нравственного влияния и выращены были два факта, которые легли среди других основ нашего государственного и общественного здания и которые оба связаны с именем преподобного Сергия. Один из этих факторов — великое событие, совершившееся при жизни Сергия, а другой — целый сложный и продолжительный исторический процесс, только начавшийся при его жизни.

Событие состояло в том, что народ, привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался наконец с духом, встал на поработителей и не только нашёл в себе мужество встать, но и пошёл искать татарских полчищ в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями. Как могло это случиться? Откуда взялись, как воспитались люди, отважившиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Глаз исторического знания уже не в состоянии разглядеть хода этой подготовки великих борцов 1380 года; знаем только, что преподобный Сергей благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, сказав: «Иди на безбожников смело, без колебания, и победишь», — и этот молодой вождь был человек поколения, возмужавшего на глазах преподобного Сергия и вместе с князем Димитрием Донским бившегося на Куликовом поле.

Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое преподобный Сергей вдохнул в русское обще-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ство, ещё живее и полнее воспринималось русским монашеством. В жизни русских монастырей со времени Сергия начался замечательный перелом: заметно оживилось стремление к иночеству. В бедственный первый век ига это стремление было очень слабо: в сто лет 1240—1340 гг. возникло всего каких-нибудь десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340—1440 гг., когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя, из куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до 150 новых монастырей. Таким образом, древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества: стремление покинуть мир усиливалось не оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нём возвышались нравственные силы. Это значит, что русское монашество было отречением от мира во имя идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя начал, ему враждебных. Впрочем, исторические факты здесь говорят не более того, что подсказывает сама идея православного иночества. Эта связь русского монастыря с миром обнаружилась и в другом признаке перелома, в перемене самого направления монастырской жизни со времён преп[одобного] Сергия. До половины XIV в. почти все монастыри на Руси возникали в городах или под их стенами; с этого времени решительный численный перевес получают монастыри, возникавшие вдали от городов, в лесной глухой пустыне, ждавшей топора и сохи. Так к основной цели монашества, в борьбе с недостатками духовной природы человека, присоединилась новая борьба с неудобствами внешней природы; лучше сказать, эта вторая цель стала новым средством для достижения первой.

Преподобный Сергий со своею обителью и своими учениками был образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни, «начальником и учителем всем монастырем, иже в Руси», как называет его летописец. Колонии Сергиевской обители, монастыри, основанные учениками преподобного или учениками его учеников, считались десятками, составляли почти четвёртую часть всего

числа новых монастырей во втором веке татарского ига, и почти все эти колонии были пустынные монастыри подобно своей митрополии. Но, убегая от соблазнов мира, основатели этих монастырей служили его насущным нуждам. До половины XIV в. масса русского населения, сбита врагами в междуречье Оки и Верхней Волги, робко жалась здесь по немногим расчищенным среди леса и болот полосам удобной земли. Татары и Литва запирали выход из этого треугольника на запад, юг и юго-восток. Оставался открытым путь на север и северо-восток за Волгу; но то был глухой непроходимый край, кое-где занятый дикарями финнами; русскому крестьянину с семьёй и бедными пожитками страшно было пуститься в эти бездорожные дебри. «Много было тогда некрещёных людей за Волгой», т. е. мало крещёных, говорит старая летопись одного заволжского монастыря о временах до Сергия. Монах-пустынный и пошёл туда смелым разведчиком. Огромное большинство новых монастырей с половины XIV до конца XV в. возникло среди лесов костромского, ярославского и вологодского Заволжья: этот волжско-двинский водораздел стал северной Фиваидой православного Востока. Старинные памятники истории русской Церкви рассказывают, сколько силы духа проявлено было русским монашеством в этом мирном завоевании финского языческого Заволжья для христианской церкви и русской народности. Многочисленные лесные монастыри становились здесь опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. Ради спасения души монах бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создавалась верхневолжская Великороссия дружными усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское общество преподобный Сергий.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Напутствуемые благословением старца, шли борцы, одни на юг за Оку на татар, другие на север за Волгу на борьбу с лесом и болотом.

Время давно свеяло эти дела с народной памяти, как оно же глубоко заметало вековой пылью кости куликовских бойцов. Но память святого пустынножителя доселе парит в народном сознании, как гроб с его нетлеющими останками невинно стоит на поверхности земли. Чем дорога народу эта память, что она говорит ему, его уму и сердцу? Современным, засохшим в абстракциях и схемах языком трудно изобразить живые, глубоко сокрытые движения верующей народной души. В эту душу глубоко запало какое-то сильное и светлое впечатление, произведённое когда-то одним человеком и произведённое неуловимыми, бесшумными нравственными средствами, про которые не знаешь, что и рассказать, как не находишь слов для передачи иного светлого и ободряющего, хотя молчаливого взгляда. Виновник впечатления давно ушёл, исчезла и обстановка его деятельности, оставив скудные остатки в монастырской ризнице да источник, изведённый его молитвою, а впечатление все живёт, переливаясь свежей струёй из поколения в поколение, и ни народные бедствия, ни нравственные переломы в обществе доселе не могли сгладить его. Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск духовного пробуждения — вот в чём состояло это впечатление. Примером своей жизни, высотой своего духа преподобный Сергей поднял упавший дух родного народа, пробудил в нём доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в своё будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Так думали тогда все на Руси, и это мнение разделял православный Восток, подобно тому цареградскому епископу, который, по рассказу Сергиева жизнеописателя, приехав в Москву и слыша всюду толки о великом русском подвижнике, с удивлением восклицал: *«Како может в сих странах таков светильник явиться?»*

Преподобный Сергей своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нём ещё не все доброе погасло и замерло; своим появлением среди соотечественников, *сидевших во тьме и сени смертной*, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там ещё тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня — такое проявление духовного влияния всегда признавалось чудесным, творческим актом; таково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что его источник — вера. Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе не чаяло, становится для него носителем чудодейственной искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда они понадобятся, когда окажутся недостаточными наличные обиходные средства народной жизни. Впечатление людей XIV века становилось верованием поколений, за ними следовавших. Отцы передавали воспринятое ими одушевление детям, а они возводили его к тому же источнику, из которого впервые почерпнули его современники. Так духовное влияние преподобного Сергея пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа. Это имя сохраняло силу непосредственного личного впечатления, какое производил преподобный на современников; эта сила длилась и тогда, когда стало тускнеть историческое воспоминание, заменяясь церковной *памятью*, которая превращала это впечатление в привычное, поднимающее дух настроение. Так теплота ощущается долго после того, как погаснет её источник. Этим настроением народ жил целые века; оно помогало ему устроить свою внутреннюю жизнь, сплотить и упрочить государ-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ственный порядок. При имени преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверждает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо памятями деятелей, внёсших наибольшее количество добра в своё общество. С этими памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа; они — его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведённые в нём траты. Ворота лавры преподобного Сергия затворятся и лампы погаснут над его гробницей — только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его.

*Ключевский В. О. Исторические портреты.
Деятели исторической мысли. М., 1991*

П. Б. СТРУВЕ (1870—1944)

Исторический смысл русской революции
и национальные задачи

Божиим попущением за бесчисленные наши всенародного множества грехи над Московским Государством на всей Великой Российской земли учинилась неудобь-сказаема напасть.

Из грамоты патриарха Гермогена

Того всего взыщет Бог на вас, что вы своим развратом с нами не в соединены, да и окрестные все Государства назовут вас предатели своей вере и отечеству; но и паче всего, каков вам дати ответ на втором пришествии перед праведным Судиею?

Из грамоты ярославцев вологжанам
(1612)

I

Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором — таков непререкаемый морально-политический итог пережитых нами с февраля 1917 года событий.

Разыскание причин той поразительной катастрофы, которая именуется русской революцией и которая, в отличие от внутренних кризисов, пережитых другими народами, означает величайшее во всех отношениях падение нашего народа, имеет первостепенное значение для всего его будущего. Конечно, судьбы народов движутся и решаются не рассуждениями. Они определяются стремлениями, в основе которых лежат чувства и страсти. Но всякие такие стремления выливаются в идеи, в них формулируются. Явиться могучей движущей и творческой силой исторического процесса страсть может, только заострившись до идеи, а идея должна, в свою очередь, воплотиться в страсть. Для того чтобы создать такую *идею-страсть*, которая призвана покорить себе наши чувства и волю, заразить нас до восторга и самозабвения, — мы должны сперва измерить всю глубину того падения, в котором мы оказались, мы должны прочувствовать и продумать наше унижение сполна и до конца. Это — важная очистительная работа самопознания. Отрицательного самопознания, смешанного из раздумья, покаяния и негодования, недостаточно, однако, для возрождения нации. Необходимы ясные положительные идеи и превращение этих идей в могучие творческие страсти.

Я хочу наметить, как я понимаю те реальные психологические условия, которые привели нас к национальному

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

банкротству и мировому позору, и затем развить, какие идеи-страсти могут и должны своим огнём очистить нас и спасти Россию.

II

Обычное ходячее объяснение той катастрофы, которая именуется и впредь будет, вероятно, именоваться русской *революцией* (хотя, в известном смысле, право её на этот всё-таки *морально* значительный титул довольно сомнительно), прежде всего заключается в ссылке на невежество и некультурность народа. Однако это объяснение не может несколько удовлетворить ни политика, который как действенный и ответственный участник событий обсуждает их реальный смысл, ни историка, который объективно анализирует их и сопоставляет с прошлым своего и чужих народов. Русский народ был гораздо более невежественным и некультурным в эпоху Стеньки Разина и Емельки Пугачёва, чем теперь; он был тогда во всём своём составе, так сказать, *сплошь* менее культурен, чем в наше время. С другой стороны, вряд ли современный русский народ в массе своей менее культурен, чем были народы французский и английский в эпоху их подлинных и подлинно-великих революций. У нас как-то очень легко забывают, что «культурность» народных масс там, где она налицо и поскольку она действительно наблюдается, есть приобретение почти исключительно XIX в. и что для XVII и XVIII в. о культурности этих масс даже у самых передовых народов Запада речи быть не может.

Таким образом, ссылку на некультурность народных масс мы должны решительно отклонить как поверхностную и, сказать откровенно, просто глупую.

Родственна ей ссылка на «режим» («старый порядок» и т.п.). Между тем один из замечательнейших и по практически-политической, и по теоретически-социологической поучительности и значительности уроков русской революции представляет открытие, в какой мере «ре-

жим» низвергнутой монархии, с одной стороны, был технически удовлетворителен, с другой — в какой мере самые недостатки этого режима коренились не в порядках и учреждениях, не в «бюрократии», «полиции», «самодержавии», как гласили общепринятые объяснения, а в нравах народа или всей общественной среды, которые отчасти в известных границах даже сдерживались именно порядками и учреждениями.

Революция, низвергая «режим», оголила и разнузда-ла гоголевскую Русь, обрядив её в красный колпак, и советская власть есть, по существу, николаевский городничий, возведённый в верховную власть великого государства. В революционную эпоху Хлестаков как бытовой символ из коллежского регистратора получил производство в особу первого класса, и «Ревизор» из комедии провинциальных нравов превратился в трагедию государственности. Гоголевско-щедринское обличие великой русской революции есть непререкаемый исторический факт.

В настоящий момент, когда мы живём под властью советской бюрократии и под пятой Красной гвардии, мы начинаем понимать, чем были и какую культурную роль выполняли бюрократия и полиция низвергнутой монархии. То, что у Гоголя и Щедрина было шаржем, воплотилось в ужающую действительность русской революционной демократии.

III

Явление русской революции объясняется совпадением того извращённого идейного воспитания русской интеллигенции, которое она получала в течение почти всего XIX века, с воздействием великой мировой войны на народные массы: война поставила народ в условия, сделавшие его особенно восприимчивым к деморализующей проповеди интеллигентских идей. Извращённое же идейное воспитание интеллигенции восходит к тому, что близоруко-ревнивое отстаивание нераздельного обладания властью со стороны монархии и узкого круга близких к ней элементов

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

отчуждило от государства широкий круг образованных людей, ослепило его ненавистью к исторической власти, в то же время сделав эту интеллигенцию бесчувственной и слепой по отношению к противокультурным и зверским силам, дремавшим в народных массах. Старый режим самодержавия опирался в течение веков на социальную власть и политическую покорность того класса, который творил русскую культуру и без творческой работы которого не существовало бы и самой нации, класса земельного дворянства. Систематически отказывая сперва этому классу, а потом развившейся на его стволе интеллигенции во властном участии в деле устройства и управления государством, самодержавие создало в душе, помыслах и навыках русских образованных людей психологию и традицию государственного отщепенства. Это отщепенство и есть та разрушительная сила, которая, разлившись по всему народу и сопрягшись с материальными его похотями и вожделениями, сокрушила великое и многосоставное государство.

IV

Генезис и генеалогия этого отщепенства были в своё время в общих чертах указаны мною в «Вехах». С этой точки зрения может и должна быть когда-нибудь написана связная и цельная история России в XIX и XX вв. Здесь я не могу даже представить вытяжки из такой обобщающей исторической работы, но хотел бы всё-таки осветить некоторые решающие моменты этого процесса отчуждения и отщепления от государства русских культурных классов, приведшего к революционной катастрофе 1917 г. и последующих годов.

Владимир Ильич Ленин-Ульянов мог окончательно разрушить великую державу Российскую и возвести на месте её развалин кроваво-призрачную Совдепию потому, что в 1730 г. отпрыск династии Романовых, племянница Петра Великого герцогиня курляндская Анна Иоанновна победила князя Дмитрия Михайловича Голицына с его то-

варишами-верховниками и добивавшееся вольностей, но боявшееся «сильных персон» шляхетство и тем самым окончательно заложила традицию утверждения русской монархии на политической покорности культурных классов пред независимой от них верховной властью. Своим основным содержанием и характером события 1730 г. имели для политических судеб России роковой предопределяющий характер.

Монархическая власть, самодержавие победило тогда конституционные стремления и боярской аристократии, сильных персон, и среднего дворянства, шляхетства. И как самодержавие победило эти общественные силы? Опираясь на физическую воинскую силу дворян-гвардейцев, позднейших лейб-кампанцев, т.е. опираясь на солдатчину (солдатеску), непосредственно заинтересованную в торжестве монарха над сильными персонами и шляхетством. При этом была использована, как известно, рознь между двумя только что названными элементами. С другой стороны, весьма важно и то, как были смягчены и преодолены конституционные стремления шляхетства. Достигнуто это было удовлетворением некоторых его весьма жизненных интересов. Переворот 1730 г. не дал политических результатов, был государственным фиаско шляхетства, но его отражение в императорском законодательстве ближайшей эпохи несомненно и весьма существенно шло навстречу шляхетским интересам. Таким образом, самодержавие, отказав культурному классу во властном участии в государстве, вновь привязало к себе этот класс цепями материальных интересов, тем самым отучая его от политических стремлений и средств и приучая к защите своих интересов помимо постановки и решения *политического* вопроса.

Дальнейший ход политического развития России определился событиями 1730 г. Верховная власть в течение XVIII и XIX вв. окончательно осознала себя как силу, независимую от «общественных», сословных в то время, элементов, и отложила в такую силу. А общественные элементы за это время одной своей частью привыкли государственную власть мыслить только в этой независимой от

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

«общественных» элементов форме и всю свою психологию приспособили и принизили до такой государственности. Другой же своей частью они всё больше и больше отчуждались от реального государства, ведя с ним постоянно скрытую, подпольную, а временами открытую революционную борьбу. Это отщепенство от государства получило с половины XIX в. идейное оформление, благодаря восприятию русской интеллигенцией идей западноевропейского радикализма и социализма.

V

Конкретными этапами политической истории России, развёртывавшейся в указанном направлении, были восстание декабристов и освобождение крестьян.

Восстание декабристов было, по существу, попыткой перевести шляхетские замыслы XVIII в. на язык передовой европейской политической мысли XIX века и осложнить и дополнить постановку политических задач проблемами социальными (освобождением крестьян).

Освобождение крестьян было уже в XVIII веке поставлено как проблема личного освобождения крестьян-рабов, создания мелкой крестьянской собственности и землеустройства как условия рационального землепользования. Личное освобождение крестьян назрело уже во второй половине XVIII в., когда было отменено прикрепление дворянства к государству в форме обязательной дворянской службы, и потому оно запоздало на целое столетие, а это запоздание отсрочило и затянуло до нашего времени постановку и решение двух других сторон крестьянского вопроса — утверждение земельной собственности и упорядочение землепользования.

Запоздание личного освобождения крестьян на столетие, и во всяком случае на полустолетие, было лишь выражением и следствием, в области социальной, той победы самодержавия над конституционализмом, которую русская монархия одержала в 1730 г. Крепостным правом русская монархия откупалась от политической реформы.

А запоздание личного крестьянского освобождения отсрочило и прочное установление мелкой земельной собственности и землеустройство. Теперь для нас должно быть совершенно ясно, что русская монархия рушилась в 1917 г. оттого, что она слишком долго опиралась на политическое бесправие дворянства и гражданское бесправие крестьянства. Из политического бесправия дворянства и других культурных классов родилось государственное отщепенство интеллигенции. А это государственное отщепенство выработало те духовные яды, которые, проникнув в крестьянство, до 1861 г. жившее без права и прав, не развившее в себе ни сознания, ни инстинкта собственности, подвинули крестьянскую массу, одетую в серые шинели, на ниспровержение государства и экономической культуры.

До недавнего времени в русском обществе был распространён, даже господствовал взгляд, по которому в России освобождение крестьян, к счастью, не было предварено дворянской или господской конституцией. Этот народнический взгляд как в его радикальной, так и в его консервативной (монархической) версии совершенно превратен. Историческое несчастье России, к которому восходит трагическая катастрофа 1917 г., обусловлено, наоборот, тем, что политическая реформа страшно запоздала в России. В интересах здорового национально-культурного развития России она должна была бы произойти не позже начала XIX века. Тогда задержанное освобождение крестьян (личное) быстро за ней последовало бы, и всё развитие политических и социальных отношений протекало бы нормальнее. Народническое же воззрение, гоняясь за утопией спасения России от «язвы пролетариата», считало и считает счастьем России ту форму, в которой у нас совершилось освобождение крестьян. Между тем теперь уже совершенно очевидно, что крушение государственности и глубокое повреждение культуры, принесённые революцией, произошли не оттого, что у нас было слишком много промышленного и вообще городского пролетариата в точном смысле, а оттого, что наш крестьянин не стал соб-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ственником-буржуа, каким должен быть всякий культурный мелкий земледелец, сидящий на своей земле и ведущий своё хозяйство. У нас боялись развести сельский пролетариат и из-за этого страха не сумели создать сельской буржуазии. Лишь в эпоху уже после падения самодержавия государственная власть в лице Столыпина стала на этот единственно правильный путь. Но упорствуя в своём реакционном недоверии к культурным классам, ревниво ограждая от них свои прерогативы, она систематически отталкивала эти классы в оппозицию. А оппозиция эта всё больше и больше проникалась отщепенским антигосударственным духом. Так подготовлялась и творилась революция с двух концов — исторической монархией, с её ревнивым недопущением культурных и образованных элементов к властному участию в устройении государства, и интеллигенцией страны, с её близорукой борьбой против государства. В этой борьбе интеллигенция, несмотря на грозное предостережение 1905 — 1907 гг., точно руководясь девизом: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo» [«Если я и не умолю богов высших, то преисподнюю всколыхну» (*лат.*)], натравливала низы на государство и историческую монархию, несмотря на все её ошибки, пороки и преступления всё-таки выразившую и поддерживавшую единство и крепость государства.

Только немногие люди, живо ощущавшие роковую круговую поруку между пороками русской государственности и русской общественности, тщетно боролись и с безумием интеллигенции, и с ослеплением власти.

VI

Торжество социализма или коммунизма оказалось в России разрушением государственности и экономической культуры, разгулом погромных страстей, в конце концов поставившим десятки миллионов населения перед угрозой голодной смерти.

В том, что произошло, характерно и существенно своеобразное сочетание, с одной стороны, безмерной рацио-

налистической гордыни ничтожной кучки вожаков, с другой — разнuzданных инстинктов и вожделений неопределённого множества людей, масс.

Таково реальное воплощение в жизни проповеди революционного социализма, опирающегося на идею классовой борьбы. Вожаки мыслят себе организацию общества согласно идеалам коммунизма как цель, разрыв существующих духовных связей и разрушение унаследованных общественных отношений и учреждений — как средство. Массы же не приемлют, не понимают и не могут понять конструктивной цели социализма, но зато жадно воспринимают и с увлечением применяют разрушительное средство.

Поэтому идея социализма как организации хозяйственной жизни — безразлично, правильна или неправильна эта идея, — вовсе не воспринимается русскими массами; социализм (или коммунизм) мыслится ими только либо как раздел наличного имущества, либо как получение достаточного и равного пайка с наименьшей затратой труда, с минимумом обязательств. Раздел наличного имущества, равномерный или неравномерный, с признанием или непризнанием права собственности, во всяком случае ничего общего с социализмом как идеей организации хозяйственной жизни не имеет и есть не конструктивно-социалистическая, а отрицательно-индивидуалистическая манипуляция, простое перераспределение или перемещение благ или собственности из одних рук в другие.

«Справедливое распределение» в смысле получения каждым гражданином достаточного и равного пайка с наименьшими жертвами есть в лучшем случае заключительный потребительный результат социализма. Без социалистической организации народного хозяйства этот результат безжизнен и висит в воздухе, есть чистейшее «продание» без производства.

Таким образом, социализм как идея строительства планомерной организации хозяйства явился в русской жизни рационалистическим построением ничтожной кучки док-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

тринёров-вожаков, поднятых волной народных страстей и вожделений, но бессильных ею управлять. Социализм же как идея раздела или передела имущества, означая конкретно уничтожение множества капитальных ценностей, упирается в пассивное потребление, или расточение, «проедание» благ, за которым не видится ничего, кроме голода и борьбы голодных людей из-за скудного и непрерывно скудеющего запаса благ.

VII

Отвлечённое социологическое начало классовой борьбы, брошенное в русские массы, было ими воспринято, с одной стороны, чисто психологически, как вражда к «буржуям», к «господам», к «интеллигенции», к «кадетам», «юнкрям», к дамам в «шляпах» и к т.п. категориям, не имеющим никакого производственно-экономического смысла; с другой стороны, оно, как директива социально-политических действий, было воспринято чисто погромно-механически, как лозунг истребления, заушения и ограбления «буржуев». Поэтому организующее значение идеи классовой борьбы в русской революции было и продолжает быть ничтожно; её разрушительное значение было и продолжает быть безмерно. Так две основные идеи новейшего социального движения, идея социализма и идея классовой борьбы — в русское развитие вошли не как организующие, созидательные силы строительства, а только как разлагающие, разрушительные силы ниспровержения.

«Класс» мыслится, с одной стороны, как категория, разряд, для выделения которого взят какой-либо объективный социально-экономический признак: занятие (профессия, например земледелие), положение в профессии (хозяин, служащий, рабочий), вид и размер получаемого дохода (заработная плата, жалованье, процент на капитал и т.д., доход до 1000 руб., от 1000 до 2000 руб. и т.д.) и т.п. С другой стороны, класс мыслится как такой разряд людей, объективная характеристика которого необходимо

совпадает с известным сознанием или устойчивой настроенностью практически *всех* принадлежащих к данному классу индивидов. <...>

VIII

Вообще созидательных потенций нет и не видно в русской революции. И это было неизбежно, ибо в нашей революции 1917 г. идеи играли роль случайных украшений, орнаментальных надстроек над разрушительными инстинктами и страстями. Социалисты (коммунисты) желали воспользоваться этими инстинктами и страстями как рычагом осуществления своего идеала, а массы воспринимали идею социализма как санкцию своих стремлений, не желая вовсе ограничивать этих последних во имя идеала.

При этом вскрылось глубочайшее внутреннее противоречие, присущее обеим идеям, социализма и классовой борьбы, как реальным социально-психическим силам.

Идея социализма есть, с одной стороны, идея надиндивидуального устройства хозяйственной жизни, требующего от индивида подчинения его интересов, целей и действий интересам, задачам и жизненным отправлениям общественного целого. Социализм как идея или начало известного строя диктует индивиду самоограничение. С другой стороны, сознательным или бессознательным психологическим предположением социализма как массового вероучения является осуществление интересов и целей индивида. Пафос социализма, и именно революционного социализма, *для масс* лежит в осуществлении благополучия, и прежде всего материального, индивидов, это пафос чисто материалистический и в то же время индивидуалистический, или атомистический. Таким образом, реальные психологические мотивы «социалистических» масс находятся в глубочайшем противоречии с отвлечённым идейным смыслом социализма как идеи устройства общества и подчинения индивида интересам общественного целого.

То же следует сказать и о принципе классовой борьбы. Класс есть отвлечённая категория, в которой выражается

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

реальное психологическое содержание совершенно не коллективного, а чисто индивидуального чекана. Говорят «классовая борьба», а ощущают как реальный мотив и жизненное задание, отстаивание индивидуальных интересов. Совершенно так толпа, производящая погром, хотя и является коллективом, быть может, даже организованным, движется в своём погромном действии индивидуальными мотивами захвата и обогащения. В этом глубочайшее отличие производящей погромы толпы, хотя бы она и была видимым образом «организована», от воинской части, спаянной не общностью индивидуальных мотивов, а единством независимой от лиц коллективной воли, выражающейся в дисциплине. Вот почему идея классовой борьбы могла подвинуть на разрушение армии и её дисциплины, на разрушение экономической культуры в погромном вихре и так жалко неспособна и бессильна создать даже Красную армию и заложить основы хозяйственной организации общества на принципе социализма. Это и значит, что идеи социализма и классовой борьбы, как идеи революционные, имеют над русскими массами силу и власть только как индивидуалистические и разрушительные, а не как коллективистические и созидательные.

Это противоречие им присуще, это проклятие тяготеет над ними как идеями революционными, ибо вообще самое понятие революции есть понятие отрицательно-разрушительное и с потенциями созидательными, т.е. со строительством жизни прочно сопрягаться не может. Строительство жизни может быть только эволюционным и как коллективное действие может и должно быть основано на возбуждении мотивов не индивидуалистических, а коллективистических. Как это на первый взгляд ни кажется парадоксальным, но «буржуазное» общество и «буржуазные» социальные формы (государство, войско, церковь и т.п.) гораздо больше проникнуты духом коллективизма (если угодно, социализма), гораздо более выражают начало обобществления и общественного действия, чем воинствующий революционный социализм, глубоко проникнутый материализмом и индивидуализмом (атомизмом). Это та

же разница, которая существует между внешней войной и войной гражданской. Первая объединяет классы и индивиды в общем действии, объединяет, апеллируя к моральным мотивам, к личному самоограничению и самопожертвованию ради целого. Вторая разъединяет классы, отрицая целое и солидарность его частей. Но так как класс есть, практически, понятие чисто психологическое и субъективное (Ленин и Раковский принадлежат к классу пролетариев потому только, что психологически себя к нему прикомандировали), то грань между лицами различных классов проводится их чувствами: люди сознают себя принадлежащими к различным классам в меру взаимной вражды. Классы создаются враждебными чувствами личностей, а потому гражданская война разъединяет общество, делая его членов врагами между собой.

IX

Принципиально, по существу понятие нации есть такая же категория, как и понятие класса. Принадлежность к нации прежде всего определяется каким-либо объективным признаком, по большей части языком. Но для образования и бытия нации решающее значение имеет та выражающаяся в национальном сознании объединяющая настроенность, которая создает из группы лиц одного происхождения, одной веры, одного языка и т.п. некое духовное единство. Нация конституируется и создаётся национальным сознанием.

Нет никакого сомнения в том, что русская революция есть первый в мировой истории случай торжества интернационализма и классовой идеи над национализмом и национальной идеей. Я говорю «интернационализм» и «классовая идея» и совершенно сознательно ставлю эти понятия в один ряд. Интернационализм может быть двух типов: интернационализм мирный или пацифистский, призывающий нации к примирению и объединению во имя какого-то высшего единства, и интернационализм воинствующий или классовый, призывающий к расчленению мира не на

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

нации, а на классы, враждебные друг другу. Первый интернационализм может быть так или иначе оцениваем в своих конкретных обнаружениях и стремлениях. Принципиально он ставит себе великую моральную задачу, и наивысшим, по духовному содержанию, образцом такого интернационализма было христианство, с его идеалом вселенского церковного объединения. Методами этого интернационализма является проповедь духа любви и братства людей во Христе. Политические и социальные цели ему сами по себе совершенно чужды.

Другой смысл имеет воинствующий классовый интернационализм. Он кровно связан с идеей классовой борьбы и с настроениями гражданской войны. Внешняя война, как я уже сказал, отличается от гражданской в самом существенном: по своему моральному смыслу эти два вида войны прямо противоположны. Внешняя война объединяет людей, принадлежащих к одному и тому же народу; гражданская война, являющаяся лишь обострённым выражением классовой борьбы, их разъединяет. Внешняя война ограничена во времени, она должна так или иначе иметь окончание; гражданская война в той или иной форме мыслится как нечто постоянное или, по крайней мере, длительное. Отчего идея классовой борьбы с такой лёгкостью завладела душой русского народа и опустошила русскую жизнь? Объясняется это некоторыми стародавними моральными пороками, гнездившимися в нашем народе, междуклассовым и междучеловеческим недоверием и недоброжелательством, часто разгоравшимся до ненависти. Революция порвала в русском народе старые связи, объединявшие людей, связи национальные, государственные и религиозные, и не создала вместо них никаких новых. Идея классовой борьбы в русской бытовой атмосфере оказалась силой только разлагающей и разрушительной, отнюдь не сплачивающей и не созидающей.

Интернационалистический социализм, опирающийся на идею классовой борьбы, изведен Россией и русским народом, он испытан теперь на практике. Он привёл к разрушению государства, к величайшему человеконенавист-

ничеству, к отказу от всего, что поднимает отдельного человека над звериным образом.

Эта отрицательная школа, пройденная русским народом в революционную эпоху, даёт нам в то же время положительные уроки и ставит творческие задачи перед народным духом. Эти положительные уроки и творческие задачи должны быть претворены в жизненное дело.

X

Жизненное дело нашего времени и грядущих поколений должно быть творимо под знаменем и во имя *нации*. Нация, как я уже сказал, есть формально такое же понятие, как класс. Национальное сознание так же образует нацию, как сознание классовое — класс. Нация — это духовное единство, создаваемое и поддерживаемое общностью культуры, духовного содержания, завещанного прошлым, живого в настоящем и в нём творимого для будущего. Но в то время как классовый признак приурочивается к скудному социально-экономическому содержанию, не имеющему ни моральной, ни какой-либо иной духовной ценности, признак национальный указывает на всё то огромное и нетленное богатство, которым обладает всякий член и участник нации и которое, в сущности, образует самое понятие нации. «В основе нации всегда лежит культурная общность в прошлом, настоящем и будущем, общее культурное наследие, общая культурная работа, общие культурные чаяния».

Таким образом, все задачи нашего будущего сходятся и объединяются в одной; воспитание индивидов и масс в национальном духе. Эта задача есть задача воспитательная, но всякое подлинное воспитание (и самовоспитание) — не только подготовка к жизни, а и сама жизнь и жизнедеятельность. Поэтому та задача, о которой говорю я, не есть какая-либо просто подготовительная работа: она имеет значение жизненное и в этом качестве окончательное. Русская нация и её культура есть стихийный продукт всей нашей жёсткой и жестокой истории.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Теперь она должна стать любовно-сознательно творимой стихией нашего бытия, той высшей ценностью, от которой, как от мерила, должны исходить и к которой должны приходить бесчисленные поколения русских людей. Для того чтобы очистить место любовно-сознательному творчеству национальной культуры, русские образованные люди прежде всего должны освободиться в своём духовном бытии от того ложного идеала, разрушительное действие которого на народный дух и народную жизнь теперь окончательно познано. Это классовый, интернационалистический социализм. Рядом с этим они должны отделаться от преклонения перед какими-либо политическими и социальными формами. Ни классовые интересы международного пролетариата, ни те или иные политические и социальные формы (например, республика, община, социализм) не могут притязать на какое-либо признание в качестве высших идеалов или ценностей. Национальная культура не подчинена каким-либо классовым интересам и не может быть замкнута в какую-либо определённую политическую или социальную форму. Место всякого класса в народной жизни определяется его участием в национальной культуре, и всякая политическая и социальная форма для того, чтобы оправдаться в истории, должна показать себя в данных исторических условиях наилучшим вместилищем для национальной культуры, т.е. для духовного содержания, значение и смысл которого выходит за всякие классовые рамки и превосходит всякие политические и социальные формы.

В том, что русская революция в своём разрушительном действии дошла до конца, есть одна хорошая сторона. Она покончила с властью социализма и политики над умами русских образованных людей. На развалинах России, пред лицом поруганного Кремля и разрушенных ярославских храмов мы скажем каждому русскому юноше: России безразлично, веришь ли ты в социализм, в республику или в общину, но ей важно, чтобы ты чтит величие её прошлого и чаял и требовал величия для её будущего, чтобы благочестие Сергия Радонежского, дерзновение митрополита Фи-

липпа, патриотизм Петра Великого, геройство Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя и Толстого, самоотвержение Нахимова, Корнилова и всех миллионов русских людей, помещиков и крестьян, богачей и бедняков, бестрепетно, безропотно и бескорыстно умиравших за Россию, были для тебя святынями. Ибо ими, этими святынями, творилась и поддерживалась Россия как живая соборная личность и как духовная сила. Ими, их духом и их мощью мы только и можем возродить Россию. В этом смысле прошлое России, и только оно, есть залог её будущего. На том пепелище, в которое изуверством социалистических вожаков и разгулом соблазнённых ими масс превращена великая страна, возрождение жизненных сил даст только национальная идея в сочетании с национальной страстью. Это та идея-страсть, которая должна стать обетом всякого русского человека. Ею, её исповеданием должна быть отныне проникнута вся русская жизнь. Она должна овладеть чувствами и волей русских образованных людей и, прочно спаявшись со всем духовным содержанием их бытия, воплотиться в жизни в упорный ежедневный труд. Если есть русская «интеллигенция» как совокупность образованных людей, способных создавать себе идеалы и действовать во имя их, и если есть у этой «интеллигенции» какой-нибудь «долг перед народом», то долг этот состоит в том, чтобы со страстью и упорством нести в широкие народные массы национальную идею как оздоровляющую и организующую силу, без которой невозможно ни возрождение народа, ни воссоздание государства. Это — целая программа духовного, культурного и политического возрождения России, опирающаяся на идейное воспитание и перевоспитание образованных людей и народных масс. Мы зовём всех, чьи души потрясены пережитым национальным банкротством и мировым позором, к обдумыванию и осуществлению этой программы.

«Быти нам всем православным христианом в любви и в соединении. И вам бы... помнити общее свое... А нашим будет нерадением учинится конечное разоренье Московскому Государству... который ответ дадим в страшный

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

день суда Христова», — в этих словах бесхитростной грамоты нижегородцев к вологжанам 1612 г. и в других аналогичных документах Смутного времени в совершенно других, менее сложных, но, быть может, не менее грозных исторических условиях была уже возведена стране и народу спасительная сила национальной идеи и духовно-политического объединения во имя её.

Сим победиши!

Август 1918 г.

И.А. ИЛЬИН (1882—1954)

Россия есть живой организм

I

Когда нам ставят вопрос, как это могло случиться, что русский народ в эпоху второй Отечественной войны (1914—1917) предпочёл имущественный передел национальному спасению, мы отвечаем: это случилось потому, что русское простонародное, а также и радикально-интеллигентское правосознание не были на высоте тех национально-державных задач, которые были возложены на него Богом и судьбою. — Русский человек видел только ближайшее; политическое мышление его было узко и мелко; он думал, что личный и классовый интерес составляют «главное» в жизни; он не разумел своей величавой истории; он не был приучен к государственному самоуправлению; он был не твёрд в вопросах веры и чести... И прежде всего он не чувствовал своим инстинктом национального самосохранения, что Россия есть единый живой организм.

И с этого нам надо теперь начинать. Это нам надо уяснить себе и укрепить в наших детях. Россия есть организм природы и духа — и горе тому, кто её расчленяет! Горе — не от нас: мы не мстители и не зовём к мести. Наказание придёт само... Горе придёт от неизбежных и страшных последствий этой слепой и нелепой затеи, от её хозяйствен-

ных, стратегических, государственных и национально-духовных последствий. Не добром помянут наши потомки этих честолюбцев, этих доктринёров, этих сепаратистов и врагов России и её духа... И — не только наши потомки: вспомнят и другие народы единую Россию, испытав на себе последствия её преднамеренного расчленения; вспомнят её так, как уже вспоминал её в 1932 году дальнороркий итальянский историк Гвильельмо Ферреро <...>.

Итак, Россия есть единый живой организм. Глупо и невежественно сводить её исторический рост к «скопидомству Мономаховичей», к «империализму Царей», к честолюбию её аристократии или к рабской и грабительской мстительности развращённого русского простонародья <...>.

Тот, кто с открытым сердцем и честным разумением будет читать «скрижали» русской истории, тот поймёт этот рост русского государства совсем иначе. Надо установить и выговорить раз навсегда, что всякий другой народ, будучи в географическом и историческом положении русского народа, был бы вынужден идти тем же самым путем, хотя ни один из этих других народов наверное не проявил бы ни такого благодушия, ни такого терпения, ни такой братской терпимости, какие были проявлены на протяжении тысячелетнего развития русским народом. Ход русской истории слагался не по произволу русских Государей, русского правящего класса или, тем более, русского простонародья а в силу объективных факторов, с которыми каждый народ вынужден считаться. Слагаясь и возрастая в таком порядке, Россия превратилась не в механическую сумму территорий и народностей, как это натоверживают иностранцам русские перебежчики, а в органическое единство.

1. Это единство было прежде всего географически предписано и навязано нам землёю. С первых же веков своего существования русский народ оказался на отовсюду открытой и лишь условно делимой равнине. Ограждающих рубежей не было; был издревле великий «проходной двор», через который валили «переселяющиеся» народы, — с востока и юго-востока на запад... Возникая и слагаясь,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Россия не могла опереться ни на какие естественные границы. Надо было или гибнуть под вечными набегами то мелких, то крупных хищных племён, или давать им отпор, замирать равнину оружием и осваивать её. Это длилось веками; и только враги России могут изображать это дело так, будто агрессия шла со стороны самого русского народа, тогда как «бедные» печенеги, половцы, хазары, татары (ордынские, казанские и крымские), черемисы, чувашаи, черкесы и кабардинцы — «стонали под гнетом русского империализма» и «боролись за свою свободу»... Россия была издревле организмом, вечно вынужденным к самообороне.

2. Издревле же Россия была географическим организмом больших рек и удалённых морей. Среднерусская возвышенность есть её живой центр: сначала «волоки», потом каналы должны были связать далёкие моря друг с другом, соединить Европу с Азией, Запад с Востоком, Север с Югом. Россия не могла и не должна была стать путевой, торговой и культурной баррикадой; её мировое призвание было прежде всего — творчески-посредническое между народами и культурами, а не замыкающееся и не разлучающее... Россия не должна была превращаться, подобно Западной Европе, в «кочечно-каморочную» систему мелких государств с их заставами, таможняами и вечными войнами. Она должна была сначала побороть своих внутренних «Соловьёв-Разбойников» (подвиг Ильи Муромца!) и «Змеев Горынычей» (подвиг Ивана Царевича!), залегавших добрым людям пути и пересекавших все дороги, — с тем, чтобы потом стать великим и вседоступным культурным простором.

А этот простор не может жить одними верховьями рек, не владея их выводящими в море низовьями. Вот почему — всякий, всякий народ на месте русского вынужден был бы повести борьбу за устья Волги, Дона, Днепра, Днестра, Западной Двины, Наровы, Волхова, Невы, Свири, Кеми, Онеги, Северной Двины и Печоры. Хозяйственный массив суши всегда задыхается без моря. Заприте французам устье Сены, Луары или Роны... Перегородите германцам низо-

вье Эльбы, Одера, лишите австрийцев Дуная — и увидите, к чему это поведёт. А разве их «массив суши» может сравниться с русским массивом? — Вот почему пресловутый план Густава Адольфа: запереть Россию в её безвыходном лесном-степном территориальном и континентальном блоке и превратить её в объект общеевропейской эксплуатации, в пассивный рынок для европейской жадности — свидетельствовал не о государственной «мудрости» или «дальновидности» этого предприимчивого короля, но о его полной неосведомлённости в восточных делах и о его узко-провинциальном горизонте, ибо он не видел ничего дальше своей Балтики и не постигал, из-за собственного «губернского» империализма, что Европа есть лишь небольшой полуостров великого Азиатского материка...

Нациям, которые захотят впредь загородить России выход к морям, надлежит помнить, что здесь дело идёт совсем не о том, чтобы «уловить поступь современности», как выражаются теперь заносчивые сепаратисты русской равнины, и поскорее «расчлениться», а о том, чтобы верно увидеть проблему континентального размера и не становиться поперёк дороги мировому развитию. Не умно и не дальновидно вызывать грядущую Россию на новую борьбу за «двери её собственного дома», ибо борьба эта начнётся неизбежно и будет сурово беспощадна.

3. Отстаивая свою национальность, Россия боролась за свою веру и религию. Этим Россия, как духовный организм, служила не только всем православным народам, и не только всем народам европо-азиатского территориального массива, но и всем народам мира. Ибо Православная вера есть особое, самостоятельное и великое слово в истории и в системе Христианства. Православие сохранило в себе и бережно растило то, что утратили все другие западные исповедания и что наложило свою печать на все ответвления Христианства, магометанства, иудейства и язычества в России. Всякий внимательный наблюдатель знает, что лютеране в России, и реформаты в России, англикане в России, и магометане в России — разнятся от своих иностранных со-исповедников по укладу души и религиозно-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

сти, удаляясь от своих перво-образцов и приближаясь незаметно для себя к Православию.... А Католичество кончилось тем, что открыто выработало и выдвинуло межеумочно-подражательную форму исповедания: «католичество восточного обряда», — форму, по видимости, православно-свободно-молитвенную, но по существу католически-лукаво-неискреннюю, симулирующую в обрядах невоспринятый и даже не постигнутый Дух Православия...

И при всём том Православная Церковь никогда не обращала иноверных в свою веру мечом или страхом, открыто осуждая это и запрещая уже в ранние века своего распространения. Она не уподоблялась ни католикам (особенно при Карле и Каролингах, и во Франции в эпоху Варфоломеевской ночи и Религиозных войн, при Альбе, в Нидерландах и всюду, насколько у них хватало сил, например, в Прибалтике), — ни англиканам (например, при Генрихе VIII, в период английской революции и междоусобных войн).

В религии, как и во всей культуре, русский организм творил и дарил, но не искоренял, не отсекал и не насилывал...

II

4. Духовный организм России создал далее свой особый язык, свою литературу и своё искусство. На этот язык, как на родной, отзываются все славяне мира. Но помимо своих особых и великих языковых достоинств, он оказался тем духовным орудием, которое передало начатки Христианства, правосознания, искусства и науки — всем малым народам нашего территориального массива.

Живя и творя на своём языке, русский народ, как надлежит большому культурному народу, щедро делился своими дарами со своими замиренными и присоединёнными бывшими соседями, вчувствовался в их жизнь, вслушивался в их самобытность, учился у них, воспевал их в своей поэзии, перенимал их искусство, их песни, их танцы и их одежды, и простосердечно и искренно — считал их свои-

ми братьями; но никогда не гнал их, не стремился денационализировать их (по германскому обычаю!) и не преследовал их. Мало того: нередко он впервые слагал для них буквенные знаки и переводил им на их язык Евангелие (<...> труды И.А. Яковлева в деле создания чувашской письменности и одухотворения их языка).

Жизненно-культурное значение русского языка быстро обнаружилось после революции и отделения от России западных окраин. К сожалению, немногие знают, что всё железнодорожное сообщение между Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Бессарабией могло наладиться и происходило до самой Второй мировой войны — на русском языке, ибо малые народы взаимно не знали, не признавали и не хотели признавать соседних языков, а по-русски говорили и думали все... Немногие знают также, как судьи прибалтийских государств вплоть до сенаторов, изучившие русское право на русском языке, готовясь к «слушанию» сколько-нибудь сложного дела, обращались к русскому праву и к образцовым произведениям замечательных русских юристов (от Таганцева до Тютрюмова*!), — и по ним искали права и правды для своих соплеменников, и затем подбирали новые слова на своих языках, чтобы передать и закрепить рецепированное русское право.

Что же касается русского искусства, то о его всенародном и мировом значении нет нужды распространяться.

И вот, в силу того, что на протяжении российского пространства и в длительности веков не оказывалось народа, равного по талантливости, по вере и по культуре русскому народу или соперничающего с ним (в языке, в организации, в творческой самобытности, в жизненной энергии и в политической дальновидности), — русский народ оказался естественно ведущим и правящим народом, «культуртрегером», народом — защитником, а не угнетателем. Всякий талант, всякий творческий человек любой нации, вращая в Россию, пролагал себе путь вверх и находил себе

* Таганцев Н.С. (1843—1923), Тютрюмов И.М. (1855—1943) — русские юристы, члены Государственного совета. — *Сост.*

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

государственное и всенародное признание, — от евреев Шафирова, Левитана, Антокольского и братьев Рубинштейнов до армян Лорис-Меликова, Делянова и Джаншиева; от немцев барона Дельвига, Гильфердинга и отца Климента Зедергольма до литовцев Ягужинского, Балтрушайтиса и Чюрлёниса; от грузина Чавчавадзе до карачайского князя Крым-Шохмалова и до текинца Лавра Корнилова. Кто преследовал в России после замирения — казанских и касимовских татар? Мордву? Зырян? Лопарей? Армян? Черкесов? Туркмен? Имеретин? Узбеков? Таджиков? Сартов? Кого из них не видели стены российских университетов сдающими экзамены, кому из них мешали по-своему веровать, одеваться, богатеть и блюсти своё обычное право?.. Однажды полный и беспристрастный словарь деятелей русской имперской культуры вскроет это общенациональное братство, это всенациональное сотрудничество российских народов в русской культуре.

5. Далее, Россия есть великий и единый хозяйственный организм. Все её части или территории связаны друг с другом взаимным хозяйственным обменом или «питанием» — отличительный признак всякого организма. Хлебобородный юг европейской России нужен не малороссам только, а всей стране, вплоть до далёкого севера. Лесобильный север с его невысыхающей влагой и незамерзающими выходами в Балтийское море и в океан — необходим всем народам России вплоть до среднеазиатских. Нелепо думать, будто кавказские народы, уцепившись за нефть и марганец, процветут во славу Англии или Германии, предавая им Россию. Ребячливо мечтать о том, будто «Донецкая Всевеликая Республика» — «не даст» на север ни угля, ни железа. Или будто «высокие послы» Мордовии, Черемисии и Чувашии, отрезав Великороссию от Волги и Каспия, добьются от Лиги Наций вооружённого похода на Москву для подавления её «всевожского империализма»... Сколько во всех подобных замыслах политического дилетанства и доктринёрства, того самого, которое погубило «февралистов» и которым они доселе гордятся!..

Хозяйственное взаимопитание российских стран и народов будет рано или поздно органически восстановлено; и если рано, то в мирное процветание всех народов Империи; а если — поздно, то в результате многих лишений, после ряда войн и ценою многой крови. Рабочая сила, сырьё, готовые товары и единая валюта — или будут свободно циркулировать от «линии Керзона» до Владивостока и от Баку до Мурманска, и тогда народы российского пространства будут блюсти свою независимость и экономически процветать; или же Россия покроется внутренними рубежами и таможенями, и сорок бессильных и беспомощных государств будут бедствовать на сорока монетных системах, ломать себе голову над сорока рабочими вопросами, вести друг с другом таможенные и иные войны и сидеть без необходимого сырья и вывоза. Ибо Россия есть единый хозяйственный организм.

6. Само собою разумеется, что этим органическое единство России только очерчено. Однажды оно будет раскрыто с подобающим вниманием и установлено с полной доказательной силой.

Мы приведём здесь только ещё одно поучительное доказательство.

Выдающийся русский антрополог нашего времени, пользующийся мировым признанием, профессор А.А. Башмаков, устанавливает замечательный процесс расового синтеза, осуществившегося в истории России и включившего в себя все основные народности её истории и территории. В результате этого процесса получилось некое величавое органическое «единообразие в различии».

Именно в этом единообразии при различии, пишет Башмаков, «лежит ключ к русской загадке, которая сочетает эти два противоположные начала в единое устойчивое и умеряющее соотношение; в нём резюмируется вся история этих десяти веков, разрешивших между Эвксинским Понтом и пятидесятой параллелью ту проблему, которую другие расы тщетно пытались разрешить и которая состояла в творческом закреплении человеческих волн, вечно обновлявшихся и вечно распадавшихся».

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

«Этот русский успех, там, где сто других различных рас потерпело неудачу, должен непременно иметь антропологический эквивалент, формулу, резюмирующую... выражение этой исторической мощи, которая привела к успеху после тысячи лет приспособления славянской расы.

Вот эта формула. Русский народ, славянский по своему языку, смешанный по крови и по множественной наследственности, роднящей его со всеми расами, сменявшимися друг друга до него на русской равнине, — представляет собою в настоящее время некую однородность, ярко выраженную в черепоизмерительных данных и весьма ограниченную в объёме отклонений от центрального и среднего типа представляемой им расы. В противоположность тому, что все воображают, — русская однородность есть самая установившаяся и самая ярко выраженная во всей Европе»...

Американские антропологи исчислили, что вариации в строении черепа у населения России не превышают 5 пунктов на сто, тогда как французское население варьирует в пределах 9 пунктов, а итальянское — в пределах 14 пунктов, причём средний череповой тип чисто русского населения занимает почти середину между нерусифицированными народами Империи. Напрасно также говорят о «татаризации» русского народа. На самом деле в истории происходило обратное, т.е. русификация иноплеменных народов: ибо иноплеменники на протяжении веков «умькали» русских женщин, которые рожали им полурусских детей, а русские, строго придерживавшиеся национальной близости, не брали себе жён из иноплеменниц (чужой веры! чужого языка! чужого нрава!); напуганные татарским игом, они держались своего и соблюдали этим своё органически-центральное чистокровие. Весь этот вековой процесс «создал в русском типе пункт сосредоточения всех творческих сил. присущих народам его территории». (См. труд А.А. Башмакова, вышедший на французском языке в 1937 году в Париже «Пятьдесят веков этнической эволюции вокруг Чёрного моря»).

Итак, Россия есть единый живой организм: географический, стратегический, религиозный, языковой, культурный,

правовой и государственный, хозяйственный и антропологический. Этому организму несомненно предстоит выработать новую государственную организацию. Но расчленение его поведёт к длительному хаосу, ко всеобщему распаду и разорению, а затем — к новому собиранию русских территорий и российских народов в новое единство. Тогда уже история будет решать вопрос о том, кто из малых народов уцелеет вообще в этом новом собирании Руси. Надо молить Бога, чтобы водворилось как можно скорее полное братское единение между народами России.

ЧАСТЬ III

ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА: ЗА И ПРОТИВ РОССИИ

ЦИТАТЫ: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Во всём свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас.

*

Всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры, для того чтобы избегать ужасов войны.

Император Александр III

Россию упрекают в том, что она изолируется. <...> Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится. Она собирается с силами.

Ф.И. Тютчев

Неестественно, чтобы великая держава, как Россия, навсегда или даже надолго оставалась под видом дружбы и союза в слепом подчинении чужой воле, будто в гипнотизме. Такие неестественные отношения непременно породят тьму недоразумений и под наружным видом дружбы скопят тем более глубокую внутреннюю вражду, которая непременно разразится так или иначе, рано или поздно.

М.Н. Катков

Но почему же Россия обязана неминуемо и быстро стать на сторону или Германии, или Англии? Почему

Россия не может оставаться свободной, жить своей собственной жизнью, не втягиваясь в ту борьбу, которая касается других, но не её... Разве мало государств, которые жили и живут «международным балансом», т.е. не примыкая ни к одной из соседних стран... Если международный баланс спасает заведомо слабые государства, даёт им возможность вести самостоятельную жизнь, то насколько больше шансов у могущественной России использовать этот приём для безопасного завершения внутренних реформ, укрепления своей мощи, последующего более разумного и верного учёта в свою пользу той борьбы, которая может разгореться между державами.

А.Е. Снесарёв

В начале 1870-х годов в беседе с дипломатом и литератором А.Н. Цертелевым Леонтьев обмолвился:

— Православных-то скоро и русских подданных ни единого не останется...

— Что же — не китайцы ли уничтожат нас? — спросил насмешливо князь.

— Хотя бы и китайцы — через века три.

— Гоги и Магоги, — тотчас же нашёлся князь, и все рассмеялись.

Но я нахожу, что и в этой ничтожной полушутке о китайцах была бездна ума; она доказывала, что он, вероятно, и сам о такой возможности думал...

Л.А. Тихомиров

Наше положение на окраинах существенно разнится от положения нашего внутри России. Здесь оплошность, ошибка, фальшивая мера вредят отрицательно, ослабляя нас, но никого не усиливая на наш счёт <...>. Не так на окраинах. Там имеются наготове, в полном сборе, силы, прямо нам враждебные, с той именно целью вышколаченные, чтобы обращать в наступательное против нас орудие всякую нашу ошибку и пользоваться нам во вред каждой потерянной нами минутой...

Ю.Ф. Самарин

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Политика — дело текущей жизни, и в ней могут иметь голос только выдержавшие ценз действительной жизненной зрелости... <...> ученикам же просто грех политиканствовать, потому что надо сперва поучиться, да жизни попробовать. Путаница здесь и вредит, и с толку сбивает.

Д. И. Менделеев

Хотя и звучит парадоксом, но соглашение с оппозицией в России безусловно ослабляет правительство. Дело в том, что наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентна, и в этом её слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия.

П. Н. Дурново

...Народы забывают иногда о своих национальных задачах; но такие народы гибнут, господа; они превращаются в назём, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы.

*

...В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права России — быть сильной.

П. А. Столыпин

Если американским политикам люди взглядов Керенского заранее говорят, что мы согласны на расчленение России, то нет сомнения, что Россию, в случае победы над ней, под самым демократическим соусом расчленят так, что от неё останется одна пятая территории...

Марк Алданов

Н.М. КАРАМЗИН (1766—1826)

Мнение русского гражданина

(Письмо Александру I по поводу проекта
восстановления Польши)

Государь! В волнении души моей, любящей отечество и Вас, спешу после нашего разговора излить на бумагу некоторые мысли (не думая ни о красноречии, ни о строгом логическом порядке). Как мы говорим с Богом и совестью, хочу говорить с Вами.

Вы думаете восстановить Польшу в её целости, действуя как христианин, благотворя врагам. Государь! Вера христианская есть тайный союз человеческого сердца с Богом; есть внутреннее, неизглаголанное, небесное чувство; оно выше земли и мира; выше всех законов — физических, гражданских, государственных — но их не отменяет. Солнце течёт и ныне по тем же законам, по коим текло до явления Христа Спасителя: так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов; всё осталось, как было на земле и как иначе быть не может: только возвысилась душа в её сокровенностях, утвердилась в невидимых связях с Божеством, с своим вечным, истинным Отечеством, которое вне материи, вне пространства и времени. Мы сблизились с Небом в *чувствах*, но *действуем* на земле, как и прежде действовали. *Несмь от мира сего*, сказал Христос: а граждане и государства в сём мире. Христос велит любить врагов: любовь есть чувство; но Он не запретил судьям осуждать злодеев, не запретил воинам оборонять государства. Вы христианин, но Вы истребили полки Наполеоновы в России, как греки-язычники истребляли персов на полях Эллады; Вы исполняли закон государственный, который не принадлежит к религии, но также дан Богом: закон естественной обороны, необходимый для существования всех земных тварей и гражданских обществ. Как христианин, любите своих личных врагов; но Бог дал Вам царство и вместе с ним обязанность исключи-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

тельно заниматься благом оного. *Как человек по чувствам души, озарённой светом христианства, Вы можете быть выше Марка Аврелия, но как царь Вы то же, что он.* Евангелие молчит о политике; не даёт новой: или мы, захотев быть христианами-политиками, впадаем в противоречия и несообразности. Меня ударят в ланиту: я, как христианин, должен подставить другую. Неприятель сожжёт наш город: впустим ли его мирно в другой, чтобы он также обратил его в пепел? Как мог язычник Марк Аврелий, так может и христианин Александр благотворить врагам государственным, уже побеждённым, следуя закону человеколюбия, известного и добродетельным язычникам, но единственно в таком случае, когда сие благотворение не вредно для отечества. Любите людей, но ещё более любите россиян, ибо они и люди, и Ваши подданные, дети Вашего сердца. И поляки теперь слушаются Александра: но Александр взял их русскою силою, а россиян дал ему Бог, и с ними снискал он благодетельную славу *Освободителя Европы.*

Вы думаете восстановить *древнее* Королевство Польское; но сие восстановление согласно ли с законом государственного блага России? Согласно ли с Вашими священными обязанностями, с Вашей любовью к России и к самой справедливости? Во-первых (не говоря о Пруссии), спрашиваю: Австрия отдаст ли добровольно Галицию? Можете ли Вы, творец *Священного Союза*, объявить ей войну, противную не только христианству, но и государственной справедливости? Ибо Вы сами признали Галицию законным владением Австрийским. Во-вторых, можете ли с мирною совестью отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынию, Подолию, утверждённую собственностью России ещё до Вашего царствования? Не клянутся ли государи блюсти целостность своих держав? Сии земли уже были *Россиею*, когда митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра и Екатерины, которую Вы сами называли *Великою*. Скажут ли, что она незаконно разделила Польшу? Но Вы поступили бы ещё незаконнее, если бы вздумали загладить её несправедливость разделом самой России. Мы взяли

Польшу мечом: вот наше право, коему все государства обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоеваний. Екатерина ответствует Богу, ответствует Истории за своё дело; но оно сделано, и для Вас уже свято: для Вас Польша есть законное Российское владение. *Старых крепостей* нет в политике: иначе мы должны были бы восстановить и Казанское, Астраханское царство, Новгородскую республику, Великое княжество Рязанское и так далее. К тому же и *по старым крепостям* Белоруссия, Волыния, Подолия, вместе с Галицией, были некогда коренным достоянием России. Если Вы отдадите их, то у Вас потребуют и Киева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали враждебной Литве. Или всё, или ничего. Доселе нашим государственным правилом было: *ни пяди, ни врагу, ни другу!* Наполеон мог завоевать Россию; но Вы, хотя и самодержец, не могли договором уступить ему ни одной хижинки русской. Таков наш характер и дух государственный. Вы, любя законную свободу гражданскую, уподобите ли Россию бездушной, бессловесной собственности? Будете ли самовольно раздроблять её на части и дарить ими, кого за благо рассудите? Россия, Государь, безмолвна перед Вами; но если бы восстановилась древняя Польша (чего Боже сохрани!) и произвела некогда историка достойного, искреннего, беспристрастного, то он, Государь, осудил бы Ваше великодушие, как вредное для Вашего истинного отечества, доброй, сильной России. Сей историк сказал бы совсем не то, что могут теперь говорить Вам поляки; извиняем их, но Вас бы мы, русские, не извинили, если бы Вы для их рукоплескания ввергли нас в отчаяние. Государь, ныне славный, великий, любезный! отвечаю Вам головою за сие неминуемое действие целого восстановления Польши. Я слышу русских и знаю их: мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к царю; остыли бы душой и к отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением государства, но и духом; унизились бы перед другими и перед собою. Не опустел бы, конечно, дворец; Вы и тогда имели бы министров, генералов: но они служили бы не оте-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

честву, а единственно своим личным выгодам, как наёмники, как истинные рабы... А Вы, Государь, гнушаетесь рабством и хотите дать нам свободу!

Одним словом... и Господь Сердцеведец да замкнёт смертью уста мои в сию минуту, если говорю Вам не истину... одним словом, восстановление Польши будет падением России, или сыновья наши обагрят своею кровью землю польскую и снова возьмут штурмом Прагу!

Нет, Государь, никогда поляки не будут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками. Теперь они слабы и ничтожны: слабые не любят сильных, а сильные презирают слабых; когда же усилите их, то они захотят независимости, и первым опытом её будет отступление от России, конечно, не в Ваше царствование, но Вы, Государь, смотрите далее своего века, и если не бессмертны телом, то бессмертны славою! В делах государственных чувство и благодарность безмолвны; а независимость есть главный закон гражданских обществ. Литва, Вольния желают Королевства Польского, но мы желаем единой Империи Российской. Чей голос должен быть слышнее для Вашего сердца? Они, в случае войны, впрочем, ни мало не вероятной (ибо кому теперь восстать на Россию?), могут изменить нам: тогда накажем измену силою и правом: право всегда имеет особенную силу, а бунт, как беззаконие, отнимает её. Поляки, законом утверждённые в достоинстве особенного, державного народа, для нас есть опаснее поляков-россиян.

Государь! Бог дал Вам такую славу и такую державу, что Вам без неблагодарности, без греха христианского и без тщеславия, осуждаемого самою человеческою политикою, нельзя хотеть ничего более, кроме того, чтобы утвердить мир в Европе и благоустройство в России: первый бескорыстным, великодушным посредничеством; второе хорошими законами и ещё лучшей управой. Вы уже приобрели имя Великого: приобретите имя Отца нашего! Пусть существует и даже благоденствует Королевство Польское, как оно есть ныне; но да существует, да благоденствует и Россия, как она есть и как оставлена Вам Ека-

териною!.. Екатерина любила Вас нежно, любила и наше отечество: её тень здесь присутствует... умолкаю.

1819

*Н.М. Карамзин. О древней и новой России.
Избранная проза и публицистика.
М., 2002. С. 436—438*

В.П. СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

О могущественном территориальном владении применительно к России: очерк по политической географии

О форме могущественного территориального владения в России

<...> Единственным серьёзным средством для успешной борьбы в условиях растянутой государственной территории является неотложное доведение географического центра такой территории по возможности до одинаковой или близкой степени густоты населения и экономического развития с западным коренным концом государства, до возможного выровни[вани]я их. Тогда крайняя восточная часть приблизится сама собой на несколько тысяч вёрст к сильной количеством населения и культурной средней части государства и, опираясь на такого своего непосредственного соседа, гораздо успешнее сможет выдержать борьбу с внешним врагом. В таких условиях защита нашего Дальнего Востока, по степени своей успешной выполнимости, может уравниваться с защитой нами, например, Польши или Финляндии, даже с некоторым преимуществом в виде преобладающего процента русского населения над инородческим, несмотря даже на несравненно более плохие пути сообщения, чем на западных окраинах. При отсутствии же этого выравнивания успешная защита дальневосточной окраины является делом настолько трудным, что вполне понятна психология

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

местных русских обитателей, нередко считавших себя там «временными жильцами».

Всё это приводит к тому, чтобы окончательно изменить наше обычное географическое представление о Российской империи, искусственно делящейся Уральским хребтом на совершенно неравные по площади Европейскую и Азиатскую части. Нам, более чем кому-либо на свете, не следует различать Европы от Азии, а, напротив, стараться соединять её в одно географическое целое, в противовес выдвигавшейся от времени до времени жёлтой расой доктрине «Азия для азиатов». Эта доктрина логически совершенно несостоятельна уже потому, что географические границы Азии совершенно искусственны и неопределённы и что Евразийский материк населён спокон веков двумя различными, равноправными по своему историческому развитию расами, которые можно различать только по цвету кожи, но не как «азиатов» и «европейцев», так как белая раса в Азии едва ли малочисленнее, чем в Европе. На Американском же материке, где зародилась доктрина Монро, одна раса действительно уничтожила уже давно другую и потому имеет полное хозяйское право на весь материк.

Следует выделить, на пространстве между Волгой и Енисеем от Ледовитого океана до самых южных граней государства, особую культурно-экономическую единицу в виде Русской Евразии, не считать её никоим образом за окраину, а говорить о ней уже как о коренной и равноправной во всём Русской земле, как мы привыкли говорить об Европейской России. Оказывается, что такая часть Российской империи вполне может быть географически построена, при желании, по тому же культурно-экономическому типу, к которому мы исторически привыкли в Европейской России, может, следовательно, стать настолько же прочной, в понятиях политических соседей, страной, как и Европейская Россия.

Каким же образом можно для укрепления системы и «от моря до моря» сдвинуть культурно-экономический центр государства ближе к истинному географическому

его центру? Для этого есть два способа: один, очень радикальный, — это тот, которому следовал Пётр Великий, перенеся столицу из Москвы на устья Невы к шведам. В данном случае, следуя этому способу, пришлось бы перенести столицу России в Екатеринбург на Урале. Однако этот способ, весьма пригодный в примитивные времена государства, когда подобные эксперименты обходятся сравнительно дёшево, совершенно непригоден в наш сложный век дороговизны; да к тому же теперь и пути сообщения настолько улучшились и настолько сравнительно быстро сообщают даже самые отдалённые окраины, что в этом способе нет никакой надобности. Но есть другой способ, вполне применимый и ныне, хотя он и ведёт свои корни от очень далёких времён.

Во всяком государстве, в том числе и в России, есть, так сказать, культурно-экономические колонизационные базы в числе нескольких. Эти очаги, посылая свои лучи во все стороны, поддерживают настоящим образом прочность государственной территории и способствуют более равномерному её заселению и культурно-экономическому развитию. Если мы взглянем на Европейскую Россию, то заметим четыре такие чисто русские базы на её пространстве, возникшие в разные времена. Первые базы — Галицкая и Киево-Черниговская земля, вторая — Новгородско-Петроградская земля, третья — Московская и четвертая — Средневожская. Галицкая и Киево-Черниговская и Новгородско-Петроградская базы, как обращённые к западным врагам, приходили на продолжительное время в полный упадок, но затем снова возрождались, как феникс, из пепла, Московская же и Средневожская, как занимавшие более внутреннее географическое положение, росли почти непрерывно, без длительных периодов упадка. Только благодаря этим четырём базам, давшим возможность твёрдо укрепиться до самых берегов четырёх морей, Европейская Россия и представляет ту культурно-экономическую массу, которая позволила ей стать в ряды великих держав мира.

Есть ли географические основы для развития таких же баз в наших азиатских владениях? Несомненно, есть, но

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

для того, чтобы устроить и использовать эти базы, придётся отрешиться от многих давно вкоренившихся в нас предрассудков и иметь мужество пожертвовать многим ради действительного осуществления идеи «от моря до моря». Для этого наши старые четыре базы должны отрешиться в значительной мере от своих монопольных привычек в торгово-промышленном отношении, основать на первое время местные промышленные филиалы в наших азиатских базах, дать им вовремя экономическую независимость, развить там действительно культурные центры и относиться не только терпимо, но даже любовно и поощрительно к возникающим там промышленным и культурным начинаниям. Взамен же потерянных рынков сбыта наши старые базы должны приобрести новые на юг от Европейской России <...>. Вообще старому учителю никогда не следует бояться конкуренции своих же молодых учеников, ибо такая боязнь только показывает, что учитель впал в безнадежную рутину и немощь и на дальнейший прогресс не способен. Как только действительно сознают это молодые и полные энергии ученики, — охлаждение и даже разрыв со старым учителем более чем вероятны, и тогда государственной системе «от моря до моря» придётся сказать «навсегда прощай».

Что же такое должны представлять эти новые культурные базы? Это должно быть то, что я называю «зональными бойкими торгово-промышленными наносами», с центрами, сильными своей действительной, хотя и молодой по времени культурой, явно переросшими свою исключительную зависимость от зонально расположенных поверхностных богатств — почв, климата, растительности и животного мира. Где же могут развиваться такие колонизационные базы? По географическим условиям их в настоящее время намечается четыре (как и в Европейской России). Это будут: в Русской Евразии — Урал и Алтай с горной частью Енисейской губернии, в среднеазиатских владениях — горный Туркестан с Семиречьем и в Восточной Сибири — Кругобайкалье, которое, несомненно, разовьётся позже других.

<...> стихийное стремление русской колонизации в широтном направлении — к берегам Тихого океана — могло бы быть сломлено только в двух случаях: посредством физических сил природы — в случае наступления новой ледниковой эпохи, или историческим путём — в случае вековых политических неудач в Северной Азии. <...>.

О колонизационных базах России, её карте, штатах и территориях

<...> До сих пор мы ещё слишком мало обращали внимания на то, на что давно обратили внимание американцы: это деление государственной территории на штаты — местности, населённые и способные к местному самоуправлению и самодеятельности, и на территории — местности пустынные, в которых местное самоуправление, по причине их обширности и пустынности, неосуществимо и которые обречены частью ещё на долгие времена, частью навсегда остаться всецело на полном попечении центрального правительства и во всех отношениях управляться исключительно его органами. Я оговариваюсь, что, употребляя термин «штаты» (так как не нахожу пока другого, разве что заменить его термином «земские области»), я весьма далёк при этом от мысли о федеративном устройстве России, которое было бы для неё безусловно гибелью в смысле могущественного владения. Но для всяких практических целей необходимо и весьма своевременно географически разобраться в этих двух категориях местностей. Однако, так как границы наших губерний и областей, возникшие совершенно случайно, путём канцелярских усмотрений, ниже всякой критики с географической точки зрения, то очевидно, что наши территории и штаты могут группироваться только из комплексов уездов и округов, а никак не из губерний и областей, при условии, что в самые уездные и окружные границы будут введены серьёзные поправки. Эта колоссальная задача по предварительной черновой работе, разумеется, не может не тормозить в высшей степени практического выполнения разделения России на

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

штаты и территории. Попытаемся же, хотя бы грубо, отметить на карте границы штатов и территорий России, приняв пока только один критерий — плотность населения. В этом случае можно считать территориями все местности, не достигшие ещё плотности 1 житель на кв. версту, а штатами — местности с плотностью населения выше этой нормы.

Обозревая принятые нами карты, можно видеть, что в западной половине Империи большая часть площади занята штатами, а в восточной большая часть занята территориями. При этом в западной половине листы, занимающие Центральную и Западную Россию, представляют сплошные штаты. Двигаясь на восток, мы замечаем, что в листе Южного Приуралья всё занято штатами, за исключением незначительных северо-восточного и юго-восточного углов, а в листе Западной Сибири штаты, занимая всё ещё большую часть площади, тем не менее оставляют под территории уже довольно значительные участки на севере и юге. Лист Южной России также почти сплошь занят штатами, за исключением небольших пространств на востоке и северо-востоке. <...> В листе Северной России около 2/3 площади занято штатами и около 1/3 на Крайнем Севере — территориями. Лист Северного Приуралья занят почти весь территорией, за исключением своего юго-западного угла, где имеются небольшие участки штатов, а лист СевероЗападной Сибири представляет уже всецело территорию. В карте русских пустынь почти всё (за исключением полос по Сырдарье и Амударье) представляет территорию, а на карте русского Туркестана штаты жмутся к горам, тогда как всё остальное пространство занято территорией. В восточной половине Империи только южные листы имеют большие или меньшие участки штатов, а все остальные листы сплошь заняты территориями. При этом штаты занимают около половины всего пространства лишь в листе Прибайкалья, а в остальных двух листах — верхнего и нижнего Приамурья — быстро выклиниваются, уступая своё место территориям. Итак, около половины всей пло-

щади Российской империи занято штатами и почти столько же территориями. При этом территории приходятся большей частью на местности, либо лежащие в северных, весьма суровых климатических условиях, либо представляющие безводные пустыни южного типа, т.е., иначе говоря, территории Российской империи отличаются значительной устойчивостью, так как по вышеуказанным причинам трудно ожидать скорого увеличения в них населения до нормы штатов. В восточной половине Империи до этой нормы может ещё при благоприятных условиях заполниться в более или менее близком будущем значительная часть местностей, лежащих южнее 60° с.ш., но всё, что находится к северу от этой параллели, обречено оставаться территориями на неопределённо долгое время. В отношении распределения штатов и территорий мы похожи на Канаду, с той только разницей, что в Канаде, по климатическим условиям, штатам суждено располагаться ещё более узкой полосой в южной части страны.

Более быстрому обращению территорий в штаты самую существенную помощь оказывают усовершенствованные пути сообщения, представляющие фактор, наиболее способствующий сгущению населения.

<...> Теперь именно настало то время, когда уже положительно нельзя не пытаться изо всех сил Россию умом понимать и измерять общим аршином, чтобы не остаться висеть в воздухе наивным мечтателем, за флагом всех других наций, совершенно реально преследующих ясно видимые ими цели и не идущих ни на какие компромиссы именно вследствие ясности понимания своих задач, которая всецело зависит от политико-географического воспитания. При этом, конечно, следует предостеречь от смешения политической географии с политикой в географии, в которую легко впасть при неопытности в постановке вопросов.

Семёнов-Тян-Шанский В.П. О могущественном территориальном владении применительно к России: Очерк по политической географии. Пг., 1917; Рождение нации. М., 1996. С. 593—616 (Арабески истории. Вып. 7)

М.Н. КАТКОВ (1818—1887)

Достоинство России требует её полной независимости и отсутствия всяких союзов

<...> Германский канцлер приобрёл вместе с заслуженной славой некоторое мистическое значение. Его рука подзревается во всех событиях нашего времени; он считается обладателем талисмана, перед которым рушатся все преграды и распираются все замки. Без его соизволения нельзя ни лечь, ни встать; он ворочает всем миром...

Но так ли? Не вера ли наша творит эти чудеса? Или, точнее, не суеверием ли нашим так сильна эта сила? И коль скоро речь идёт о дружбе между Россией и Германией, то дружба эта есть ли необходимость для России и не есть ли она всё для Германии?

Если бы состоялось свидание трёх министров, то глава нашего посольского приказа мог бы убедительно показать графу Кальноки ту выгоду, какую приобрела Германия от своей дружбы с Россией, и те крушения, какие потерпела Австрия потому, что не умела воспользоваться русской дружбой. Разве, в самом деле, Пруссия только силам своим обязана теми успехами, какие она стяжала в последнюю четверть века и прежде? Разве, наконец, самое создание Германской империи произошло само собой и разве нынешнее первенствующее в Европе положение этой Империи, её кажущееся всемогущество и дела, которые творит чудодей, стоящий во главе её правительства, — разве всё это не есть, в сущности, дружба России, *qui se fait litiere* [которая ни во что не ставится (*фр.*)], не есть добровольная кабала России? Если Германия стоит высоко, то не потому ли, что она стоит на России? А если бы этот добродушный Бриарей пошевелинулся, то оказалась ли бы Германия так незыблемо могущественной, как представляется теперь, и мановение бровей её Юпитера было ли бы так потрясательно?

Графу Кальноки ближе всего было бы знать, почему в 1870 году была так сокрушительно разгромлена Франция.

В самом ли деле Германия была обязана страшным успехом в этой войне превосходству своих сил над Францией? Император Наполеон III ошибся в своих расчётах — ошибся потому, что упустил из виду Россию. Он начинал войну в уверенности, что с ним заодно будет Австрия, а за Австрией и вся Южная Германия, был так твёрдо уверен в этом, что не считал нужным делать серьёзные приготовления. Он даже не сосредоточил должным образом наличных войск своих, открывая кампанию. Государственные люди Австрии должны хорошо знать, что вышесказанная уверенность императора Наполеона не была лишена основания. Если она обманула его, то лишь потому, что он забыл о добродушном гиганте, на которого Германия опиралась.

Он готовился совершить военную прогулку в Берлин и предпринял войну без должных приготовлений; между тем как Пруссия, обеспеченная Россией против Австрии, изготовилась к борьбе не на живот, а на смерть и бросила на беспечного противника все силы Германии, все её резервы и задавила его, прежде чем он мог опомниться. Что князь Бисмарк действовал ловко и что граф Мольтке искусный стратег — в этом нет сомнения; что благодаря им всё было заранее хорошо рассчитано и подготовлено — этого нельзя не признать. Что эти расчёты оправдались, что они были возможны — этим Пруссия, и князь Бисмарк, и граф Мольтке были обязаны русской дружбе, которая не позволила Австрии шевельнуться и через то удержала остальную Германию под знамёнами Пруссии. Что произошло бы, если бы этого не было? Да и теперь стоит только России возвратить свободу своих действий, то есть перестать быть подстилкой, — и призрак всемогущества Германии мгновенно исчезнет, и она займёт своё место в ряду других государств. Мы говорим: стоит только России возвратить свободу своих действий — и отнюдь не хотим этим сказать, чтобы она должна была стать во враждебные к соседней державе отношения. Напротив, желательно, чтобы наши дружелюбные отношения к соседней державе упрочились, а упрочиться они могут, не иначе как при полной

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ясности их и при взаимной свободе и взаимном уважении обеих сторон. Не естественно, чтобы великая держава, как Россия, навсегда или даже надолго оставалась под видом дружбы и союза в слепом подчинении чужой воле, будто в гипнотизме. Такие неестественные отношения непременно породят тьму недоразумений и под наружным видом дружбы скопят тем более глубокую внутреннюю вражду, которая непременно разразится так или иначе, рано или поздно.

Зачем нам эти союзы, эти концерты? Были между Россией и Германией печальные недоразумения, порождённые именно неправильными отношениями, в каких обе державы прежде находились. Требовалось устранить эти недоразумения, объясниться и стать друг к другу в правильные, то есть свободно-дружеские, отношения. Мы радовались начинавшемуся разъяснению взаимных между двумя соседними Империями недоразумений — радовались в надежде, что взаимные опасения между ними прекратятся. Этого и было бы достаточно; это возвращало и той и другой стороне желательное спокойствие. Если мы ничем не угрожаем нашему соседу и если он, в свою очередь, не злоумышляет против наших интересов, то мы можем находиться в наилучших к нему отношениях — в доброй и истинной дружбе. Вот результат, которого желательно было достигнуть посредством ближайших и прямодушных объяснений между обоими правительствами. Зачем же ещё какие-то союзы, какие-то соглашения? Если имелось в виду общее действие, какое-либо обширное и опасное предприятие, требуемое интересами той и другой стороны, то соглашение, ввиду общей цели, имело бы смысл. *Do ut des* [даю, чтобы ты дал (*лат.*)]. Но никакого общего предприятия, сколько известно, не предполагалось. Была речь о соглашении нашем с Германией и через неё (непременно через неё) с Австро-Венгрией для обеспечения якобы европейского мира. Но какая нам надобность обеспечивать европейский мир? Что мы за жандармы европейского мира? Да и что такое европейский мир? Довольно было бы с нас обеспечивать мир России в сфере её

интересов. Ещё прежде, когда между нами и Германией были недоразумения, шла речь о какой-то лиге мира, и великий чудодей германской политики в продолжение некоторого времени всё набирал охотников в эту священную лигу и через свои органы оповещал свет о присоединении к ней то той, то другой из европейских держав, чуть ли даже не Франции, так что вся Европа превращалась в великую лигу мира, вне которой оставалась только Россия — а её-то, собственно, и требовалось уловить. Как только она после дружелюбных объяснений министров вступила в соглашение с Германией для обеспечения воображаемого европейского мира, разом исчез призрак всеобщей лиги мира, в которую входили Италия, Испания, Турция и пр. и пр. Великая лига исчезла, осталась только Россия, закабалённая и взятая на буксир. Во имя сохранения европейского мира она должна была возвратиться к своей обязанности обеспечивать безопасность, мир и величие Германии; под видом соблюдения европейского концерта она должна была отдать себя в полное распоряжение берлинской политики. Взяв нас в руки, Германия снова очутилась всерешающей державой. Князь Бисмарк посредством концерта успел уладить одно за другим интересовавшие его дела, а нас, между тем, благополучно вытеснили с Балканского полуострова. Заручившись Россией, он легко мог пугнуть всякого, кто вздумал бы противиться его политике; с другой стороны, Россию можно было пугать то столкновением с Англией, то европейской коалицией, в случае если бы русская политика позволила себе действовать вне концерта, то есть не по берлинской команде...

Мало того, нас именем дружбы обязывают даже в нашем народном хозяйстве согласоваться с надобностями не своими, а чужой страны...

Возможно ли России оставаться в таком положении? Великая держава, каковой Россия не может не считаться уже по своей громаде, всящей в судьбах мира гораздо более, чем можем мы расчесть, не способна жить при таких условиях. Её правительство и её народ не могут при таких условиях обладать тем мощным духом, какой требуется ей

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

для управления своими делами и для охраны своих интересов и своего достоинства. Так как Россия, находясь в несвойственном ей положении, всё-таки остаётся по существу сама собой, то рано или поздно ей придётся заплатить тяжким напряжением сил, как это нередко с ней бывало и прежде, для того чтобы восстановить своё достоинство, вернуть свою независимость. Пребывая в несвойственном себе положении, Россия может только вредить и себе, и другим. Всякое ложное положение сопровождается последствиями, непременно вредными. Мы гораздо более можем способствовать обеспечению всеобщего мира, если мы в нашей политике будем самостоятельны, управляясь собственным чутьём и смыслом. Внося правду в наши отношения к другим державам, мы отрезвим одних и успокоим других; мы будем способны состоять не рабами, а поистине друзьями наших друзей. Только благодаря независимости, необходимой для государства как воздух для живого существа, мы можем различать врагов от друзей и в ток событий, среди меняющихся обстоятельств уразуметь, с кем приходится нам в данную минуту, по воле Провидения, идти вместе, против кого принимать предохранительные меры.

Не отвлечёнными принципами должны мы руководиться, а тем, что понятно говорит сердцу всякого, — благом нашего отечества. Россия, как и всякая подобная ей держава, есть живая индивидуальность, которая в самой себе имеет начала своего существования, своего разумения и своего образа действий. Если нельзя признать правильным международное соглашение, например, сословий во имя отвлечённого сословного принципа, то не может точно так же и правительство действовать помимо интересов своей страны, во имя отвлечённых принципов. Было ли бы дозволительно русскому дворянину, например, мыслить не в духе своего отечества и действовать не в единстве со своим народом, а в солидарности с классами других стран, по внешним признакам соответствующими, хотя существенно и по исторической формации чуждыми русскому дворянству. Тем паче русская монархическая идея есть нечто

sui generis [особого рода (*лат.*)]. Она существенно разнится ото всякой другой монархии в целом мире. Некоторые общие классификационные признаки несколько не роднят русскую монархию с другими, не касаются её индивидуальности, её живой сущности, которую русская монархия вынесла из истории. Руководиться в нашей политике пустой абстракцией вместо начала, действительно живущего в нашем народе, вместо духа, которым зиждется наше отечество, есть одна из величайших ошибок, какими мы грешили в прошлое время. Тот только и может быть нам истинным союзником, кого ход событий сблизит с живыми и существенными интересами нашего отечества, будет ли то президент Соединенных Штатов или богдыхан китайский. Нам нет надобности справляться, в какую клетку помещают классификаторы то или другое правительство; мы должны знать только интересы нашего отечества и руководствоваться в наших делах, в наших сближениях и разрывах только нашим долгом перед судьбами России.

Мы уверены, что в наших словах захотят видеть намёк на франко-русский союз, но мы решительно протестуем против такого толкования. Мы желаем, чтобы Россия находилась в свободных, хотя и дружеских отношениях к Германии, но чтобы такие же отношения были у нас и с другими державами, а равно и с Францией, которая, что бы там ни говорили, принимает всё более и более подобающее ей положение в Европе. Зачем же, в самом деле, станем мы ссориться с ней и какая нам надобность до её внутренних дел? Каждая страна, особенно столь значительная, как Франция, имеет свои судьбы, и нам незачем впутываться в них и хотеть переделывать их по-своему. Но мы в равной мере не имеем никакой надобности помышлять о сепаратном союзе с нею. Ради чего мог бы потребоваться такой союз? Если бы в самом деле произошло столкновение между Германией и Францией, то самое приличное, самое достойное и наиболее соответствующее интересам России положение был бы строгий нейтралитет. Нет ничего хуже, как вмешиваться в чужую ссору, и в подобных обстоятельствах нам следовало бы только принять долж-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ные меры к обеспечению нашего нейтралитета и к охране наших интересов, зорко следя за событиями. Сама Россия не затевает никаких предприятий; все это знают, все в этом убеждены, хотя все в то же время, хватая всё, что плохо лежит, лукаво обвиняют Россию в страсти к захватам. Ничего не затевая, мы не нуждаемся в союзниках; но было бы странно не желать, чтобы у наших противников были и кроме нас противники. Мы считаем совершенно невероятным, чтобы Германия когда-нибудь захотела искать с нами ссоры. Но если Англия, что возможно, столкнулась с нами на Ближнем или Дальнем Востоке, то нынешняя Франция, которая находится с ней почти в не меньшем, чем с Германией, антагонизме, вероятно, не осталась бы праздной зрительницей борьбы, а на это нам сетовать, право, нет причины...

Московские ведомости. 1886. № 197

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (1821—1881)

Дневник писателя (*отрывки*). 1876

I. Слова, слова, слова!

Несколько мнений, наших и европейских, о разрешении Восточного вопроса, решительно удивительны. Кстати, в газетном мире есть и у нас как бы укушенные. О, не буду перебирать всех моих впечатлений, устану. Одна «административная автономия» способна устроить у вас паралич в мозгу. Видите ли, если сделать так, чтобы дать Болгарии, Герцеговине, Боснии одинаковые права с населением мусульманским, и тут же найти способ, как бы эти права обеспечить, — «то мы решительно не видим, почему бы не кончиться Восточному вопросу» и т.д. и т.д. Мнение это, как известно, пользуется особым авторитетом в Европе. Одним словом, представляют такую комбинацию, осуществить которую труднее, чем вновь создать всю Европу, или отделить воду от земли, или всё, что угодно,

а между тем думают, что дело решили, и спокойны, и довольны. Нет-с, Россия согласилась на это лишь *в принципе*, а за исполнением хотела сама присмотреть, и *по-своему*, и, уж конечно, не дала бы вам погреть руки, г-да фразёры. «Дать автономию? Найти комбинацию?» — да ведь как же это сделать, кто может это дать и сделать? Кто станет слушаться и кто заставит слушаться? Наконец, кто управляет Турцией, какие партии и силы? Есть ли даже в Константинополе, который всё же *образованнее*, чем остальные турки, хоть единый турок, который в самом деле, по внутреннему убеждению своему, мог бы, наконец, признать христианскую райю до того себе равноправною, чтоб могло выйти из этой «автономии» хоть что-нибудь в самом деле? Я говорю: «хоть единый человек»... А если так, если нет даже единого, то как вести с таким народом переговоры и договоры? «Устроить надзор, найти комбинацию», — возражают путеводители. А нуте-ка, найдите комбинацию! Есть вопросы, имеющие уже такое свойство в себе, что их никак нельзя разрешить именно так, как непременно тянет всех разрешить их в данный момент. Гордиев узел нельзя было распутать пальцами, а между тем все ломали голову, как бы его распутать именно пальцами; но пришёл Александр — и рассёк узел мечом, тем и разрешил загадку.

Но вот ещё, например, одно газетное мнение; впрочем, не одно газетное: это старинное, дипломатическое мнение, а также мнение множества учёных, профессоров, фельетонистов, публицистов, романистов, западников, славянофилов и проч. и проч., именно: что Константинополь в конце концов будет никому не принадлежать, что это будет нечто вроде вольного города, международного, одним словом, вроде какого-то «общего места». Охранять же его будет европейское равновесие и т.д. Одним словом, вместо простого, прямого и ясного решения, единственно возможного, является какая-то сложная и неестественная учёная комбинация. Но спросить только: что такое европейское равновесие? Равновесие это предполагалось до сих пор между несколькими наиболее могучими европейскими державами, — ну, пятью, например, равного веса (то есть

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

предполагалось, так сказать, из деликатности, что они равного веса). И вот пять волков разлягутся кругом, а в середине их лакомый кусок (Константинополь), и все пятеро только и делают, что оберегают один от другого добычу. И это называется шедевром, мейстерштюком разрешения вопроса! Но разрешает ли это хоть что-нибудь? Уж одно то, что всё основано на первобытной нелепице, на факте фантастическом и никогда не существовавшем, на факте даже ненатуральном — на равновесии. Существовало ли когда-нибудь политическое равновесие на свете в самом деле? Положительно нет! Это только хитрая формула, созданная в своё время хитрыми людьми, чтоб надуть простячков. Россия хоть и не простячок, но честный человек, а потому всех чаще, кажется, верила в ненарушимость истин и законов этого равновесия, и много раз искренно сама исполняла их, и служила им охранительницей. В этом смысле Россию Европа чрезвычайно нагло эксплуатировала. Зато из остальных равновесящих, кажется, никто не думал об этих равновесных законах серьёзно, хотя до времени и исполнял формалистику, но лишь до времени: когда, по расчётам, выдавался успех — всякий нарушал это равновесие, ни об чём не заботясь. Комичнее всего то, что всегда сходило с рук и всегда тотчас же наступало опять «равновесие». Когда же случалось и России — не нарушить что-нибудь, а лишь чуть-чуть подумать о своём интересе, — то тотчас же все остальные равновесия соединялись в одно и двигались на Россию: «нарушаешь-де равновесие». Ну, вот то же самое будет и при международном Константинополе: будут лежать пять волков, скаля друг на друга зубы и каждый про себя изобретая комбинацию: как бы соединиться с соседями и как бы, истребив остальных волков, повыгоднее разделить кусок. Неужто это есть разрешение? Между тем между волками-охранителями происходят тоже своего рода новые комбинации: вдруг один какой-нибудь из пяти волков, да ещё самый серый, в один день, в один час, каким-нибудь таким несчастным для него случаем, обращается из волка в крошечную комнатную собачонку, даже совсем уж и не лающую.

Вот уж и потрясение в равновесии! Мало того, может случиться в будущем Европы, что из пяти равновесных сил могут образоваться просто-напросто только две, и тогда — где тогда ваша комбинация, господа мудрецы?.. Кстати, я бы осмелился выговорить одну аксиому: «Никогда не будет такого момента в Европе, такого в ней политического состояния вещей, чтобы Константинополь *не был чьим-нибудь*, то есть не принадлежал бы кому-нибудь». Вот эта аксиома, и мне кажется — невозможно, чтоб было иначе. Если же позволите мне пошутить, то вернее всего разве то, что в самую последнюю и решительную минуту Константинополь вдруг захватят англичане, как захватили они Гибралтар, Мальту и пр. И именно тогда, когда державы будут всё ещё думать о равновесии. Именно эти самые англичане, с таким материнским участием оберегающие теперь неприкосновенность Турции, пророчествующие ей возможность великой будущности, цивилизации, верящие в её живые начала, — именно они-то, когда увидят, что дело дошло до порога, именно они-то и скушают султана и Константинополь. Это так в их характере, в их направлении, так сходно с их всегдашнею наглою дерзостью, с их насилием, с их ехидностью! Удержатся ли в Константинополе, как в Гибралтаре, это другой вопрос! Всё это, конечно, теперь только шутка, я и выдаю как за шутку, но не худо бы, однако, эту шутку запомнить: ужасно похожа на правду...

III. Комбинации и комбинации

Итак, в решение Восточного вопроса допускаются все комбинации, кроме самой ясной, самой здоровой, самой простой и естественной. Даже так можно сказать: чем неестественнее предполагается разрешение, тем скорее и схватится за него общественное и общее мнение. Вот, например, ещё одна «неестественность»: предполагается, что «если бы Россия заявила вслух о своём бескорыстии на всю Европу, то дело было бы разом разрешено и покончено». Но — блажен кто верует! Да если б Россия не только объа-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

вила, а и доказала бы даже, *de facto* [фактически (*лат.*)], своё бескорыстие, то это, может быть, ещё пуще смутило бы Европу. Ну, что ж такое, что мы ничего не возьмём себе, «облагодетельствуем» и уйдём назад, ничем не пользовавшись, а только лишь доказав Европе наше бескорыстие. Да Европе это тем даже хуже: «Чем бескорыстнее ты их облагодетельствовала, тем пуще доказала им, что не посягаешь на их независимость; тем доверчивее, тем преданнее станут они к тебе, — всё равно как за солнце будут впредь почитать тебя, за верх, за зенит, за Империю. И что ж, что они будут автономны, а не твоими подданными: зато в душе признают себя твоими подданными, бессознательно даже признавать будут, невольно». Вот эта-то неминуемость нравственного приобщения славян к России, рано ли, поздно ли, эта, так сказать, естественность, законность этого ужасного для Европы факта и составляет кошмар ее, её главные опасения в будущем. С её стороны только силы и комбинации, а с нашей стороны — закон природы, естественность, родственность, правда; за кем же, стало быть, будущее славянских земель?

А между тем есть именно в Европе одна комбинация, основанная на совершенно противоположном начале и до того *вероятная*, что, может быть, будет иметь даже будущность. Эта новая комбинация тоже английского изделия; это — так сказать, поправка всех ошибок и промахов торийской партии. Основана она на том, чтоб немедленно облагодетельствовать славян самой Англией, но с тем, однако, чтоб поделаться из них, на веки вечные, врагов и ненавистников России. Предполагается отказать наконец от турок, уничтожить турок, как людей отпетых и ни на что не способных, и из всех христианских народов Балканского полуострова составить союз с центром в Константинополе. Освобождённые и благодарные славяне естественно потянутся к Англии, как к своей спасительнице и освободительнице, а она «откроет тогда им глаза на Россию»: «Вот, дескать, ваш злейший враг; она, под видом забот о вас, спит и видит, как бы вас проглотить и лишит вас неминуемой, славной политической будущности ва-

шей». Таким образом, когда славяне уверятся в коварстве России, то составят тотчас же новый и сильнейший оплот против неё и — «не видать тогда России Константинополя, не пустят они её туда никогда!»

Хитрее и, на первый взгляд, метче трудно что и придумать. Главное — так просто и основано на существующем факте. Про факт этот уже я заговаривал прежде, вскользь. Состоит он в том, что в части славянской интеллигенции, в некоторых высших представителях и предводителях славян, существует действительно затаённая недоверчивость к целям России, а потому даже враждебность к России и русским. О, я не про народ говорю, не про массу. Для народов славянских, для сербов, для черногорцев — Россия всё ещё солнце, всё ещё надежда, всё ещё друг, мать и покровительница их, будущая освободительница! Но интеллигенция славянская — дело другое. Разумеется, я говорю не про всю интеллигенцию; я не осмелюсь и не позволю себе сказать про всех; «но *хоть далеко не все*, но, однако же, даже из самых министерских ихних голов» (как выразился я в августовском моем «Дневнике») «найдутся такие, которым только и мерещится, что Россия коварна, спит и видит, как бы их отвоевать и проглотить». Нечего скрывать нам от самих себя, что нас, русских, очень даже многие из образованных славян, может быть, даже и вовсе не любят. Они, например, всё ещё считают нас, сравнительно с собой, необразованными, чуть не варварами. Они далеко не очень интересуются нашими успехами гражданской жизни, нашим внутренним устройством, нашими реформами, нашей литературой. Разве уж очень учёные из них знают про Пушкина, но и из знающих вряд ли найдётся уж очень много таких, которые согласятся признать его за великого славянского гения. Очень многие из образованных чехов уверены, например, что у них было уже сорок таких поэтов, как Пушкин. Кроме того, все эти славянские отдельности, в том виде, в каком они теперь, — политически самолюбивы и раздражительны, как нации неопытные и жизни не знающие. Между такими английская комбинация могла бы иметь успех, если б могла пойти в ход. И трудно

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

представить, почему бы ей не пойти, если б, с победою в Англии вигов, дошла и до неё очередь. А между тем сколько в ней искусственности, неестественности, невозможности, лжи!

Во-первых, как соединить такие несходные разнородности Балканского полуострова, да ещё с центром в Константинополе? Тут греки, славяне, румыны. Чей будет Константинополь? Общий. Вот и рознь и свара, хоть у греков с славянами на первый случай (если предположить даже, что славяне будут все в согласии). Скажут: можно поставить главу, основать империю, — так, кажется, и предполагается в мечтах проекта. Но кто же императором — славянин, грек, уж не из Габсбургского ли дома? Во всяком случае, тотчас же начнутся дуализмы, бифуркации. Главное, греческий и славянский элементы несоединимы: оба элемента эти с огромными, совсем несоизмеримыми и фальшивыми мечтами, каждый о предстоящей ему собственной славной политической будущности. Нет, Англия если уж раз бы захотела решиться оставить турок, то устроит всё это прочнее. Вот тут-то, мне кажется, и могла бы произойти та комбинация, которую я, выше, назвал шуткой, то есть Англия сама проглотит Константинополь для блага, дескать, славян. «Я из вас, славяне, составлю на Севере союз и оплот против северного колосса, чтоб не пустить его в Константинополь, потому что — раз он захватит Константинополь, то захватит и всех вас. Тогда и не будет у вас никакой славной политической будущности. Не беспокойтесь и вы, греки, Константинополь ваш; я именно хочу, чтоб он был ваш, а для того и занимаю его. Я только, чтоб его России не дать. Славяне его с севера защитят, а я с моря — и никого не пустим. Я же только временно постою в Константинополе, пока вы укрепитесь и пока из вас составится уже твёрдая и зрелая союзная империя. А до тех пор я ваша руководительница и оборона. Мало ли где я ни стояла, у меня и Гибралтар, и Мальта; воротила же я Ионические острова...»

Одним словом, если это изделие вигов могло бы получить ход, то, повторяю, трудно сомневаться в успехе, но,

конечно, лишь на время. Мало того, это время могло бы, пожалуй, протянуться и на много лет, но... тем неминуемее всё это и сокрушится, когда придёт к тому натуральный предел, и уж тогда-то крушение будет окончательное, потому что вся эта комбинация основана лишь на клевете и на неестественности. <...>

1877, сентябрь — декабрь

<...> по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому — не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными!

И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, — у них характер в этом смысле как у всех, — а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут.

Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают.

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Все-славянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени».

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Может быть, целое столетие, или ещё более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё.

О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению.

Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации.

У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министерство в (...страну по вкусу...) и составилось новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний (...фамилию по вкусу...) согласился наконец принять портфель президента Совета министров.

России надо серьёзно подготовиться к тому, что все эти освобождённые славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своём славянском значении и в своём особом славянском призвании в среде человечества.

Между собой эти земли будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьёзной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как

ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя её в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целостность и единство.

Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ (1822—1885)

Россия и Европа

Глава II. Почему Европа враждебна России?

Мы слышим клеветы, мы знаем оскорбленья
Тысячеглавой лжи газет,
Измены, зависти и страха порожденья.
Друзей у нашей Руси нет!

«Взгляните на карту, — говорил мне один иностранец, — разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?» Да, <...> давление действительно существует, но где же оно на деле, чем и когда выражалось? Франция при Людовике XIV и Наполеоне, Испания при Карле V и Филиппе II, Австрия при Фердинанде II действительно тяготели над Европой, грозили уничтожить самостоятельное, свободное развитие различных её национальностей, и большого труда стоило ей освободиться от такого давления. Но есть ли что-нибудь подобное в прошедшей истории России? Правда, не раз вмешивалась она в судьбы Европы, но каков был повод к этим вмешательствам? В 1799-м, в 1805-м, в 1807 г. сражалась русская армия, с разным успехом, не за русские, а за европейские интересы. Из-за этих же интересов, для неё, собственно, чуждых, навлекла она на себя грозу двенадцатого года; когда же смела с лица земли полумиллионную армию и этим од-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ним, казалось бы, уже довольно послужила свободе Европы, она не остановилась на этом, а, вопреки своим выгодам, — таково было в 1813 году мнение Кутузова и вообще всей так называемой русской партии, — два года боролась за Германию и Европу и, окончив борьбу низвержением Наполеона, точно так же спасла Францию от мщениия Европы, как спасла Европу от угнетения Франции. Спустя тридцать пять лет она опять, едва ли не вопреки своим интересам, спасла от конечного распада Австрию, считаемую, справедливо или нет, краеугольным камнем политической системы европейских государств. Какую благодарность за всё это получала она как у правительств, так и у народов Европы? Всем хорошо известно, но не в этом дело. Вот, однако же, всё, чем ознаменовалось до сих пор деятельное участие России в делах Европы, за единственным разве исключением бесцельного вмешательства в Семилетнюю войну. Но эти уроки истории никого не вразумляют. Россия, — не устают кричать на все лады, — колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. Это — одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического Аримана, какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Много ли во всём этом справедливо-го? Посмотрим сначала на завоевательность России. Конечно, Россия не мала, но большую часть её пространства занял русский народ путём свободного расселения, а не государственного завоевания. Надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне естественную область, — столь же естественную, как, например, Франция, только в огромных размерах, — область, резко означенную со всех сторон (за некоторым исключением западной) морями и горами. <...> Никогда занятие народом предназначенного ему исторического поприща не стоило меньше крови и слёз. Он терпел много неправд и утеснений от татар и поляков, шведов и меченосцев, но сам никого не утеснял, если не назовём утеснением отражения неспра-

ведливых нападений и притязаний. Воздвигнутое им государственное здание не основано на костях погранных народностей. Он или занимал пустыри, или соединял с собою путём исторической, нисколько не насильственной ассимиляции такие племена, как чудь, весь, меря или как нынешние зыряне, черемисы, мордва, не заключавшие в себе ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней; или, наконец, принимал под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоятельность или не могли долее сохранять ее, как армяне и грузины. Завоевание играло во всём этом самую ничтожную роль, как легко убедиться, проследив, каким образом достались России её западные и южные окраины, слывущие в Европе под именем завоеваний ненасытимо алчной России. <...> Если бы, например, Пруссия покорила Данию или Франция Голландию, они причинили бы этим действительное страдание, нарушили бы действительное право, которое не могло бы быть вознаграждено никакими гражданскими или даже политическими правами и льготами, дарованными датчанам или голландцам; <...> каждая историческая национальность имеет свою собственную задачу, которую должна решить, свою идею, свою отдельную сторону жизни, которые стремится осуществить <...>. Но необходимое условие для достижения всего этого составляет национально-политическая независимость. <...> Исторический народ, пока не соберёт воедино всех своих частей, всех своих органов, должен считаться политическим калекою. <...> Сказанное здесь было бы, однако ж, несправедливо и неразумно относить и к таким племенам, которые не жили самостоятельную историческую жизнью, потому ли, что вовсе не имели для сего внутренних задатков, или потому, что обстоятельства для них сложились неблагоприятно и возможность их исторического развития была уничтожена в такой ранний период их жизни, когда они составляли только этнографический материал, ещё не успевший принять формы политической индивидуальности <...>.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

После этого небольшого отступления, необходимого для уяснения понятия о завоевании, начнём наш обзор с северо-западного угла Русского государства, с Финляндии, — прямо с одного из политических преступлений, в которых нас укоряет Европа. <...> Финское племя, населяющее Финляндию, подобно всем прочим финским племенам, рассеянным по пространству России, никогда не жило историческою жизнью. <...> Россия вела войну с Швецией, которая с самого Ништадтского мира не могла привыкнуть к мысли об уступке того, что по всем правам принадлежало России, и искала всякого, по её мнению, удобного случая возобновить эту войну и вернуть свои прежние завоевания. Россия победила и приобрела право на вознаграждение денежное, земельное или другое, лишь бы оно не простиралось на часть самой Швеции, — ибо национальная территория не отчуждаема и никакие договоры не могут освятить в сознании народа такого отчуждения, пока отчуждённая часть не потеряет своего национального характера. Тогда, конечно, но только тогда, приходится покориться невозвратно. Но мало сказать, что присоединением Финляндии от Швеции к России ничьи существенные права не были нарушены <...>. Государство, столь могучее, как Россия, могло в значительной мере отказаться от извлечения выгод из приобретённой страны; народность, столь могучая, как русская, могла без вреда для себя предоставить финской народности полную этнографическую самостоятельность. Русское государство и русская народность могли довольствоваться малым; им было достаточно иметь в северо-западном углу своей территории нейтральную страну и доброжелательную народность вместо неприятельского передового поста и господства враждебных шведов. Государство и народность русская могли обойтись без полного слияния с собою страны и народности финской, к чему, конечно, по необходимости, должна была стремиться слабая Швеция, в отношении к которой Финляндия составляла три четверти её собственного пространства и половину её населения. И действительно, только со времени присоединения Финляндии к

России начала пробуждаться финская народность и достигла наконец того, что за языком её могла быть признана равноправность со шведским <...>. В мою бытность в Норвегии меня серьёзно уверял один швед, что русское правительство, из вражды к Швеции, искусственно вызвало финскую национальность и сочинило, с этой именно целью, эпическую поэму Калевалу. Удивительное правительство, которое, по отзывам поляков, указами создаёт русский язык и научает ему своих монгольских подданных, а, по отзывам шведов, сочиняет народные эпосы!

За Финляндией <...> мы встречаем так называемые немецкие Остзейские провинции <...>, то есть немецкие владения по берегам Балтийского моря. По названию можно, пожалуй, подумать, что дело идёт о завоёванных и отторгнутых русскими <...> провинциях Пруссии и Померании <...>, а не о населённом эстами и латышами пространстве от Чудского озера и реки Наровы до прусской границы — исконной принадлежности России, где ещё Ярослав основал Юрьев, переименованный потом в Дорпат, — о пространстве, на поселение в котором первые рижские епископы считали нужным испрашивать дозволение у полоцких князей. Кто были завоевателями в этой стране: русские ли, то есть славяне, которые, в союзе с разными чудскими племенами, положили основание Русскому государству и мирными путями вносили христианство с зачатками образованности в эту прибалтийскую страну точно так же, как и в прочие части своей, составляющей одно физическое целое государственной области, — или незваные и непрошеные немецкие искатели приключений, явившиеся сюда огнём и мечом распространять духовное владычество пап, обращать туземцев в рабство и присваивать себе чужую собственность? Россия никогда не признавала этого вторжения пришельцев! Псков и Новгород, стоявшие здесь на страже земли Русской в тяжелую татарскую годину, не переставали протестовать против него с оружием в руках. Когда же Москва соединила в себе Русь, она сочла своим первым долгом уничтожить рыцарское гнездо и вернуть России её достояние. Первое удалось

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

на первых же порах, но сама страна перешла в руки Польши и Швеции, и борьба за неё соединилась с борьбою за прочие области, отторгнутые этими государствами от России. Но это только ещё одна сторона дела; самое присоединение главной части Прибалтийского края совершилось даже не вопреки желанию пришлого дворянства, а по его же просьбам <...>. Можно утверждать, что для самого народа, коренного обладателя страны, эстов и латышей, Россия хотя и сделала уже кое-что, однако ж, далеко не всё, чего могли они от неё ожидать; но, конечно, не за это упрекает её Европа, не в этом видит она ту черту, по которой в её глазах присоединение Прибалтийского края имеет ненавистный завоевательный характер. Совершенно напротив, в том немногом, что сделано — или, лучше сказать, в том, чего она опасается со стороны России, — для истинного освобождения народа и страны, она и видит, собственно, русскую узурпацию, оскорбление германской и вообще европейской цивилизации.

За Прибалтийскими областями начинается страна, известная ныне под именами Северо-Западного и Юго-Западного края, а прежде именовавшаяся польскими провинциями. <...> Поляки и Европа взяли на себя, к счастью, труд несколько протрезвить русских в этом отношении, и хотя, к сожалению, несмотря на все свои старания, не столько ещё успели в этом, как бы следовало желать, — так крепко забились гуманитарные бредни в русские головы <...>.

Не может ли, однако, самое Царство Польское назваться завоеванием России, так как в силу выше данного определения тут было, по-видимому, национальное убийство? Этот вопрос заслуживает рассмотрения, потому что в суждениях и действиях Европы, по отношению к нему, проявляется <...> та двойственность меры и та фальшивость весов, которыми она отмеривает и отвешивает России и другим государствам.

Раздел Польши считается во мнении Европы величайшим преступлением против народного права, совершённым в новейшие времена, и вся тяжесть его взваливается на

Россию. И это мнение не газетных крикунов, не толпы, а мнение большинства передовых людей Европы. В чём же, однако, вина России? Западная её половина во время татарского господства была покорена Литвой, вскоре обрусевшей, затем через посредство Литвы — сначала случайно (по брачному союзу), а потом насильственно (Люблинской унией) — присоединена к Польше. Восточная Русь никогда не мирилась с таким положением дел. Об этом свидетельствует непрерывный ряд войн, перевес в которых сначала принадлежал большею частью Польше, а со времени Хмельницкого и воссоединения Малороссии окончательно перешёл к России. При Алексее Михайловиче Россия не имела ещё счастья принадлежать к политической системе европейских государств, и потому у ней были связаны руки, и она была единственным судьёй в своих делах. В то время произошёл первый раздел Польши. Россия, никого не спрашиваясь, взяла из своего, что могла, — Малороссию по левую сторону Днепра, Киев и Смоленск, — взяла бы и больше, если бы надежды на польскую корону не обманули царя и заставили упустить благоприятное время. Раздел Польши, насколько в нём участвовала Россия, мог бы совершиться уже тогда, — с лишком за сто лет ранее, чем он действительно совершился, и, конечно, с огромною для России пользою, ибо тогда не бродили ещё гуманитарные идеи в русских головах; и край был бы закреплён за православием и русской народностью <...>. Как бы то ни было, дело не было окончено, а едва только начато при Алексее, и раз упущенное благоприятное время возвратилось не ранее как через сто лет, при Екатерине II. Но почему же то, что было законно в половине XVII века, становится незаконным к концу XVIII? Самый повод к войне при Алексее одинаков — всё то же утеснение православного населения, взывавшего о помощи к родной России. И если справедливо было возвратить Смоленск и Киев, то почему же было несправедливо возвратить не только Вильну, Подолию, Полоцк, Минск, но даже Галич, который, к несчастью, вовсе не был возвращён? А ведь в этом единственно и состоял раздел Польши, насколько в нём участвова-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ла Россия! Форма была, правда, иная. В эти сто лет Россия имела счастье вступить в политическую систему европейских государств, и руки её были связаны. Своё ли, не своё родовое достояние ты возвращаешь, как бы говорили ей соседи, нам всё равно; только ты усиливаешься, и нам надобно усилиться на столько же. Положение было таково, что Россия не имела возможности возратить по праву ей принадлежащего, не допуская в то же время Австрию и Пруссию завладеть собственно Польшей и даже частью России — Галичем, — на что ни та, ни другая, конечно, не имели ни малейшего права. Первоначальная мысль о таком разделе принадлежит, как известно, Фридриху, и в уничтожении настоящей Польши, в её законных пределах, Россия не имела никакой выгоды. Совершенно напротив, Россия, несомненно, сохранила бы своё влияние на Польшу и по отделении от неё русских областей, тем более что в ней одной могла бы Польша надеяться найти опору против своих немецких соседей, которым (особенно Пруссии) было весьма желательно, даже существенно необходимо получить некоторые части собственной Польши. Но не рисковать же было России из-за этого войною с Пруссией и Австрией! Не очевидно ли, что всё, что было несправедливо в разделе Польши, — так сказать, убийство польской национальности, — лежит на совести Пруссии и Австрии, а вовсе не России, удовольствовавшейся своим достоянием, возвращение которого не только составляло её право, но и священнейшую обязанность.? Или найдутся, быть может, гуманитарные головы, которые скажут, что великодушие требовало от России скорее отказаться от принадлежащего ей по праву, чем согласиться на уничтожение самой Польши? Ведь это всё, чем можно упрекнуть Россию, став на самую донкихотскую точку зрения. Такой образ действий был бы, пожалуй, возможен, если бы Польша иначе поступала со своими русскими и православными подданными; в данных же обстоятельствах это было бы смешным и жалким великодушничаньем на чужой счёт. <...> Око за око, зуб за зуб, строгое право, <...> принцип утилитарности, то есть здраво понятой пользы, — вот

закон внешней политики, закон отношений государства к государству. Тут нет места закону любви и самопожертвования. <...>

Итак, раздел Польши, насколько в нём принимала участие Россия, был делом совершенно законным и справедливым <...>, в котором её не должны были смущать порывы <...> ложного великодушия, как после Екатерины они, к сожалению и к общему несчастью России и Польши, смущали её и смущают многих ещё до сих пор. Если при разделе Польши была несправедливость со стороны России, то она заключалась единственно в том, что Галич не был воссоединен с Россией. Несмотря на всё это, негодование Европы обрушилось, однако же, всею своей тяжестью не на действительно виновных — Пруссию и Австрию, — а на Россию. В глазах Европы всё преступление раздела Польши заключается именно в том, что Россия усилилась, возвратив своё достояние. Если бы не это горестное обстоятельство, то германизация славянской народности, — хотя для неё самой любезной из всех, но всё же-таки славянской, — не возбудила бы столько слез и плача. Я думаю даже, что, совершенно напротив, — после должных лицемерных соболезнований она была бы втайне принята с общию радостью как желательная победа цивилизации над варварством. Ведь знаем же мы, что она не пугает европейских и наших гуманитарных прогрессистов, даже когда является в форме австрийского жандарма <...>. Разве одни французы пожалели бы, что лишились удобного орудия мутить Германию. Такое направление общественного мнения Европы очень хорошо поняла и польская интеллигенция; она знает, чем задобрить Европу, и отказывается от кровного достояния Польши, доставшегося Австрии и Пруссии, лишь бы ей было возвращено то, что она некогда отняла у России; чужое ей милее своего. <...>

Но как бы ни была права Россия при разделе Польши, теперь она владеет уже частью настоящей Польши и, следовательно, должна нести на себе упрёк в неправом стяжании, по крайней мере, наравне с Пруссией и Австрией. Да, к несчастью, владеет! Но владеет опять-таки не по завое-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ванию, а по тому сентиментальному великодушию <...>. Если бы Россия, освободив Европу, предоставила отчасти восстановленную Наполеоном Польшу её прежней участи, то есть разделу между Австрией и Пруссией, а в вознаграждение своих неоценимых, хотя и плохо оценённых, заслуг потребовала для себя восточной Галиции, частью которой — Тарнопольским округом — в то время уже владела, то осталась бы на той же почве, на которой стояла при Екатерине, и никто ни в чём не мог бы её упрекнуть. Россия получила бы значительно меньше по пространству, не многим меньше по народонаселению, но зато скольким больше по внутреннему достоинству приобретённого, так как она увеличила бы число своих подданных не враждебным польским элементом, а настоящим русским народом.

Что же заставило императора Александра упустить из виду эту существенную выгоду? Что ослепило его взор? Никак не завоевательные планы, а желание осуществить свою юношескую мечту — восстановить польскую народность и тем загладить то, что ему казалось проступком его великой бабки. Что это было действительно так, доказывает тем, что так смотрели на это сами поляки. Когда из враждебного лагеря, из Австрии, Франции и Англии, стали делать всевозможные препятствия этому плану восстановления Польши, угрожая даже войной, император Александр послал великого князя Константина в Варшаву призывать поляков к оружию для защиты их национальной независимости. Европа, по обыкновению, видела в этом со стороны России хитрость, — желание, под предлогом восстановления польской народности, мало-помалу прибрать к своим рукам и те части прежнего Польского королевства, которые не ей достались <...>. Последующие события доказали, что планы России были не честолюбивы, а только великодушны. <...> Как бы кто ни судил о дарованной Царству конституции, — свобода, которою оно пользовалось, была, во всяком случае, несравненно значительнее, чем в означенных провинциях Пруссии и Авст-

рии, чем в самой Пруссии и Австрии, чем даже в большей части тогдашней Европы. Время с 1815 по 1830 год, в которое Царство пользовалось независимым управлением, особой армией, собственными финансами и конституционными формами правления, было, без сомнения, и в материальном и в нравственном отношениях счастливейшим временем польской истории. Восстание ни чем другим не объясняется, как досадою поляков на неосуществление их планов к восстановлению древнего величия Польши, хотя бы то было под скипетром русских государей; конечно, только для начала. Но эти планы были направлены не на Галицию и Познань, а на западную Россию, потому что тут только были развязаны руки польской интеллигенции — сколько угодно полячить и латынить. И только когда, по мнению польской интеллигенции, стало оказываться недостаточно потворства или, лучше сказать, содействия русского правительства, — ибо потворства всё ещё было довольно, — к ополячению западной России, тогда негодование поляков вспыхнуло и привело к восстанию 1830-го, а также и 1863 года. Вот как честолюбивы и завоевательны были планы России, побудившие её домогаться на Венском конгрессе присоединения Царства Польского!

В юго-западном углу России лежит Бессарабия, также недавнее приобретение. Здесь христианское православное население было исторгнуто из рук угнетавших его диких и грубых завоевателей, турок, — население, которое торжествовало это событие как избавление из плена. Если то было завоевание, то и Кир, освободив иудеев из плена вавилонского, был их завоевателем. Об этом и распространяться больше не стоит.

Все южнорусские степи также были вырваны из рук турок. Степи эти принадлежат к русской равнине. Спокон века, ещё со времен Святослава, боролись за них с ордами кочевников сначала русские князья, потом русские казацкие общины и русские цари. Зачем же и с какого права занесло сюда турецкую власть, покровительствовавшую хищническим набегам? То же должно сказать и о Крым-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ском полуострове, хотя и не принадлежавшем исстари к России, но послужившем убежищем не только её неприимым врагам, но врагам всякой гражданственности, которые делали из него набеги при всяком удобном случае <...>.

Остаётся ещё Кавказ. Под этим многообъемлющим именем надобно отличать, в рассматриваемом здесь отношении, закавказские христианские области, закавказские магометанские области и кавказских горцев.

Мелкие закавказские христианские царства ещё со времен Грозного и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское подданство. Но только император Александр I, в начале своего царствования, после долгих колебаний, согласился наконец исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя истомленные вековой борьбой с турками, персиянами и кавказскими горцами, не могли вести долее самостоятельного существования и должны были или погибнуть, или присоединиться к единой России. Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжёлую обузу, хотя, может быть, не предугадывала, что она будет так тяжела, что она будет стоить ей непрерывной шестидесятилетней борьбы. Как бы то ни было, ни по существу дела, ни по его форме тут не было завоевания, а было подание помощи изнемогавшему и погибавшему. Прежде всего это вовлекло Россию в двукратную борьбу с Персией, причём не Россия была зачинщицей. В течение этой борьбы ей удалось освободить некоторые христианские населения от двойного ига мелких владельцев ханов и персидского верховенства. С этим вместе были покорены магометанские ханства: Кубанское, Бакинское, Ширванское, Шекинское, Ганджинское и Тальшенское, составляющие теперь столько же уездов, и Эриванская область. Назовём, пожалуй, это завоеваниями, хотя завоёванные через это только выиграли. Не столь довольны, правда, русским завоеванием кавказские горцы.

Здесь точно много погибло, если не независимых государств, то независимых племён. После раздела Польши едва ли какое другое действие России возбуждало в Европе такое всеобщее негодование и сожаление, как война с кавказскими горцами и особливо недавно совершившееся покорение Кавказа. Сколько ни стараются наши публицисты выставить это дело как великую победу, одержанную общечеловеческою цивилизацией, — ничто не помогает. Не любит Европа, чтобы Россия бралась за это дело. <...> И по этому кавказскому (как и по польскому, как и по восточному, как и по всякому) вопросу можно судить о доброжелательстве Европы к России.

О Сибири и говорить нечего. Какое тут, в самом деле, завоевание? Где тут завоёванные народы и покорённые царства? Стоит лишь счесть, сколько в Сибири русских и сколько инородцев, чтобы убедиться, что большею частью это было занятие пустопорожнего места, совершённое (как показывает история) казацкой удалью и расселением русского народа почти без содействия государства. Разве ещё к числу русских завоеваний причислим Амурский край, никем не заселённый, куда всякое переселение было даже запрещено китайским правительством, неизвестно почему и для чего считавшим его своею собственностью?

Итак, в завоеваниях России всё, что можно при разных натяжках назвать этим именем, ограничивается Туркестанскою областью, Кавказским горным хребтом, пятью-шестью уездами Закавказья и, если угодно, ещё Крымским полуостровом. Если же разбирать дело по совести и чистой справедливости, то ни одно из владений России нельзя называть завоеванием в дурном, антинациональном и потому ненавистном для человечества смысле. Много ли государств, которые могут сказать про себя то же самое?

<...> Что не какие-либо свои собственные интересы имела Россия в виду, решаясь на борьбу с Наполеоном, видно уж из того, что, окончив с беспримерной славою первый акт этой борьбы, она не остановилась, не восполь-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

зовалась представлявшимся ей случаем достигнуть всего, чего только могла желать для себя, заключив с Наполеоном мир и союз, как он этого всеми мерами домогался и как желали того же Кутузов и многие другие замечательные люди той эпохи. Что мешало Александру повторить Тильзит с той лишь разницей, что в этот раз он играл бы первостепенную и почётнейшую роль? Даже для Пруссии, которая уже скомпрометировала себя перед Наполеоном, император Александр мог выговорить всё, чего требовала бы, по его мнению, честь.

Через четырнадцать лет после Парижского мира пришлось России вести войну с Турцией. Русские войска перешли Балканы и стояли у ворот Константинополя. С Францией Россия была в дружбе, у Австрии не было ни войск, ни денег; Англия, хотя бы и хотела, ничего не могла сделать, — тогда ещё не было военных пароходов; прусское правительство было связано тесной дружбой с Россией. Европа могла только поручить Турцию великодушию России. Взяла ли тогда Россия что-нибудь для себя? А одного слова её было достаточно, чтобы присоединить к себе Молдавию и Валахию. Даже и слова было не надо. Турция сама предлагала России княжества вместо недоплаченного ещё долга. Император Николай отказался от того и от другого.

Настал 1848 год. Потрясения, бывшие в эту пору в целой Европе, развязывали руки завоевателя и честолюбца. Как же воспользовалась Россия этим единственным положением? Она спасла от гибели соседа, — того именно соседа, который всего более должен был противиться её честолюбивым видам на Турцию, если бы у неё таковые были. Этого мало, тогда можно было соединить великодушные с честолюбием. После венгерской кампании был достаточный предлог для войны с Турцией; русские войска занимали Валахию и Молдавию, турецкие славяне поднялись бы по первому слову России. Воспользовалась ли всем этим Россия? Наконец, в самом 1853 году, если бы Россия высказала свои требования с той резкостью и неус-

тупчивостью, пример которых в том же году подавало ей посольство графа Лейнингена, и, в случае малейшей задержки удовлетворения, двинула войска и флот, когда ни Турция, ни западные державы нисколько не были приготовлены, чего не могла бы она достигнуть?

Итак, состав Русского государства, войны, которое оно вело, цели, которые преследовало, а ещё более — благоприятные обстоятельства, столько раз повторявшиеся, которыми оно не думало воспользоваться, — всё показывает, что Россия не честолюбивая, не завоевательная держава, что в новейший период своей истории она большею частью жертвовала своими очевиднейшими выгодами, самыми справедливыми и законными, европейским интересам, — часто даже считала своею обязанностью действовать не как самобытный организм (имеющий своё самостоятельное назначение, находящий в себе самом достаточное оправдание всем своим стремлениям и действиям), а как служебная сила. Откуда же и за что же, спрашиваю, недоверие, несправедливость, ненависть к России со стороны правительств и общественного мнения Европы?

Обращаюсь к другому капитальному обвинению против России. Россия — гасительница света и свободы, тёмная мрачная сила, политический Ариман <...>. У знаменитого Роттека* высказана мысль, — которую, не имея под рукой его «Истории...», не могу, к сожалению, буквально цитировать, — что всякое преуспеяние России, всякое развитие её внутренних сил, увеличение её благоденствия и могущества есть общественное бедствие, несчастье для всего человечества. Это мнение Роттека есть только выражение общественного мнения Европы. И это опять основано на таком же песке, как и честолюбие и завоевательность России. Какова бы ни была форма правления в России, каковы бы ни были недостатки русской администрации, русского судопроизводства, русской фискальной системы и т.д., до всего этого, я полагаю, никому дела нет, пока она не

* К. фон Роттек (1775—1840) — немецкий историк и политический деятель либерального направления. — *Сост.*

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

стремится навязать всего этого другим. Если всё это очень дурно, тем хуже для неё и тем лучше для её врагов и недоброжелателей. Различие в политических принципах ещё не может служить препятствием к дружбе правительств и народов. <...>

<...> Смешны эти ухаживания за иностранцами с целью показать им Русь лицом, а через их посредство просветить и заставить прозреть заблуждающееся и ослеплённое общественное мнение Европы. Почему и не удовлетворить любопытству доброго человека; только напрасно соединять с этим разные <...> мечтания. Нечего снимать бельмо тому, кто имеет очи и не видит; нечего лечить от глухоты того, кто имеет уши и не слышит. Просвещение общественного мнения книгами, журналами, брошюрами и устным словом может быть очень полезно и в этом отношении, как и во всех других, — только не для Европы, а для самих нас, русских, которые даже на самих себя привыкли смотреть чужими глазами, для наших единоплеменников. Для Европы это будет напрасный труд: она и сама без нашей помощи узнает, что захочет, и если захочет узнать.

Дело в том, что Европа не признаёт нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для неё простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т.д., — материалом, который можно бы формировать и обделывать по образу и подобию своему, как прежде было надеялась <...>. Европа видит поэтому в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний <...> слой, всё же Европа понимает, или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твёрдое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не растворить, — которое, следовательно, нельзя будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, — которое имеет и силу и притязание жить своею независимую, самобытную жизнью. Гордой, и справед-

ливо гордой, своими заслугами Европе трудно — чтобы не сказать невозможно — перенести это. Итак, во что бы то ни стало, не крестом, так пестом, не мытьём, так катаньём, надо не дать этому ядру ещё более окрепнуть и разрастись, пустить корни и ветви вглубь и вширь. Уж и теперь не поздно ли, не упущено ли время? Тут ли ещё думать о беспристрастии, о справедливости. Для священной цели не все ли средства хороши? <...> Будет ли Шлезвиг и Голштейн датским или германским, он всё-таки останется европейским; произойдёт маленькое наклонение в политических весах, стоит ли о том толковать много? Державность Европы от того не потерпит, общественному мнению нечего слишком волноваться, надо быть снисходительным между своими. <...> Но как дозволить распространиться влиянию чуждого, враждебного, варварского мира, хотя бы оно распространялось на то, что по всем Божеским и человеческим законам принадлежит этому миру? Не допускать до этого — общее дело всего, что только чувствует себя Европой. Тут можно и турка взять в союзники и даже вручить ему знамя цивилизации. Вот единственное удовлетворительное объяснение той двойственности меры и весов, которыми отмеривает и отвешивает Европа, когда дело идёт о России <...> — и когда оно идёт о других странах и народах. Для этой несправедливости для этой неприязненности Европы к России <...> сколько бы мы ни искали, мы не найдём причины в тех или других поступках России; вообще не найдём объяснения и ответа, основанного на фактах. Тут даже нет ничего сознательного, в чём бы Европа могла дать себе самой беспристрастный отчёт. Причина явления лежит глубже. Она лежит в неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов, ведущий их (помимо, хотя и не против их воли и сознания) к неведомой для них цели; ибо в общих, главных очертаниях история складывается не по произволу человеческому, хотя ему и предоставлено разводить по ним узоры. <...>

П.Н. ДУРНОВО (1845—1915)

Записка

(Николаю II – чем грозит России вступление
в мировую войну на стороне Англии)

Это воспроизведение меморандума, представленного в феврале 1914 г. Николаю II членом Государственного совета, бывшим министром внутренних дел в кабинете Витте.

*Будущая англо-германская война превратится в
вооружённое столкновение между двумя
группами держав*

Центральным фактором переживаемого нами периода мировой истории является соперничество Англии и Германии. Это соперничество неминуемо должно привести к вооружённой борьбе между ними, исход которой, по всей вероятности, будет смертельным для побеждённой стороны. Слишком уж несовместимы интересы этих двух государств, и одновременное великодержавное их существование, рано или поздно, окажется невозможным. Действительно, с одной стороны, островное государство, мировое значение которого зиждется на владычестве над морями, мировой торговле и бесчисленных колониях. С другой стороны — мощная континентальная держава, ограниченная территория которой недостаточна для возросшего населения. Поэтому она прямо и открыто заявила, что будущее её на морях, со сказочной быстротой развила огромную мировую торговлю, построила, для её охраны, грозный военный флот и знаменитой маркой «Made in Germany» создала смертельную опасность промышленно-экономическому благосостоянию соперницы. Естественно, что Англия не может сдаться без боя, и между нею и Германией неизбежна борьба не на жизнь, а на смерть. Предстоящее в результате отмеченного соперничества вооружённое столкновение ни в коем случае не может свестись к единоборству Англии и Германии. Слишком уж не равны их

силы и, вместе с тем, недостаточно уязвимы они друг для друга. Германия может вызвать восстание в Индии, в Южной Америке и в особенности опасное восстание в Ирландии, парализовать путём каперства, а может быть, и подводной войны, английскую морскую торговлю и тем создать для Великобритании продовольственные затруднения, но, при всей смелости германских военачальников, едва ли они рискнут на высадку в Англии, разве счастливый случай поможет им уничтожить или заметно ослабить английский военный флот. Что же касается Англии, то для неё Германия совершенно неуязвима. Всё, что для неё доступно — это захватить германские колонии, прекратить германскую морскую торговлю, в самом благоприятном случае разгромить германский военный флот, но и только, а этим вынудить противника к миру нельзя. Несомненно, поэтому, что Англия постарается прибегнуть к не раз с успехом испытанному ею средству и решиться на вооружённое выступление не иначе, как обеспечив участие в войне на своей стороне стратегически более сильных держав. А так как Германия, в свою очередь, несомненно, не окажется изолированной, то будущая англо-германская война превратится в вооружённое между двумя группами держав столкновение, придерживающимися одна германской, другая английской ориентации.

*Трудно уловить какие-либо реальные выгоды,
полученные Россией в результате сближения
с Англией*

До русско-японской войны русская политика не придерживалась ни той, ни другой ориентации. Со времени царствования императора Александра III Россия находилась в оборонительном союзе с Францией, настолько прочном, что им обеспечивалось совместное выступление обоих государств, в случае нападения на одно из них, но, вместе с тем, не настолько тесном, чтобы обязывать их непременно поддерживать вооружённую рукою все политические выступления и домогательства союзника. Одно-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

временно русский двор поддерживал традиционно дружественные, основанные на родственных связях отношения с Берлинским. Именно благодаря этой конъюнктуре в течение целого ряда лет мир между великими державами не нарушался, несмотря на обилие наличного в Европе горючего материала. Франция союзом с Россией обеспечивалась от нападения Германии, эта же последняя испытанным миролюбием и дружбой России — от стремлений к реваншу со стороны Франции, Россия — необходимостью для Германии поддерживать с нею добрососедские отношения — от чрезмерных происков Австро-Венгрии на Балканском полуострове. Наконец, изолированная Англия, сдерживаемая соперничеством с Россией в Персии, традиционными для английской дипломатии опасениями нашего наступательного движения на Индию и дурными отношениями с Францией, особенно сказавшимися в период известного инцидента с Фашодою, с тревогою взирала на усиление морского могущества Германии, не решаясь, однако, на активное выступление.

Русско-японская война в корне изменила взаимоотношения великих держав и вывела Англию из её обособленного положения. Как известно, во всё время русско-японской войны Англия и Америка соблюдали благоприятный нейтралитет по отношению к Японии, между тем как мы пользовались столь же благожелательным нейтралитетом Франции и Германии. Казалось бы, здесь должен был быть зародыш наиболее естественной для нас политической комбинации. Но после войны наша дипломатия совершила крутой поворот и определённо стала на путь сближения с Англией. В орбиту английской политики была втянута Франция, образовалась группа держав тройственного согласия, с преобладающим в ней влиянием Англии, и столкновение с группирующимися вокруг Германии державами сделалось, рано или поздно, неизбежным.

Какие же выгоды сулили и сулят нам отказ от традиционной политики недоверия к Англии и разрыв испытанных если не дружественных, то добрососедских отношений с Германией?

Сколько-нибудь внимательно вдумываясь и присматриваясь к происшедшим после Портсмутского договора событиям, трудно уловить какие-либо реальные выгоды, полученные нами в результате сближения с Англией. Единственный плюс — улучшившиеся отношения с Японией — едва ли является последствием русско-английского сближения. В сущности, Россия и Япония созданы для того, чтобы жить в мире, так как делить им решительно нечего. Все задачи России на Дальнем Востоке, правильно понятые, вполне совместимы с интересами Японии. Эти задачи, в сущности, сводятся к очень скромным пределам. Слишком широкий размах фантазии зарвавшихся исполнителей, не имевший под собой почвы действительных интересов государственных — с одной стороны, чрезмерная нервность и впечатлительность Японии, ошибочно принявшей эти фантазии за последовательно проводимый план, с другой стороны, вызвали столкновение, которое более искусная дипломатия сумела бы избежать. России не нужна ни Корея, ни даже Порт-Артур. Выход к открытому морю, несомненно, полезен, но ведь море, само по себе, не рынок, а лишь путь для более выгодной доставки товаров на потребляющие рынки. Между тем у нас на Дальнем Востоке нет и долго не будет ценностей, сулящих сколько-нибудь значительные выгоды от их отпуска за границу. Нет там и рынков для экспорта наших произведений. Мы не можем рассчитывать на широкое снабжение предметами нашего вывоза ни развитой, и промышленно, и земледельчески, Америки, ни небогатой и также промышленной Японией, ни даже приморского Китая и более отдалённых рынков, где наш экспорт неминуемо встретился бы с товарами промышленно более сильных держав-конкуренток.

Остаётся внутренний Китай, с которым наша торговля преимущественно ведётся сухим путем. Таким образом, открытый порт более способствовал бы ввозу к нам иностранных товаров, нежели вывозу наших отечественных произведений. С другой стороны, и Япония, что бы ни говорили, не зарится на наши дальневосточные владения. Японцы, по природе своей, народ южный, и суровые усло-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

вия нашей дальневосточной окраины их не могут прельстить. Известно, что и в самой Японии северный Иезо населён слабо; по-видимому, и на отошедшей по Портсмутскому договору к Японии южной части Сахалина японская колонизация идёт малоуспешно. Завладев Кореею и Формозою, Япония севернее едва ли пойдёт, и её вождения, надо полагать, скорее будут направлены в сторону Филиппинских островов, Индокитая, Явы, Суматры и Борнео. Самое большое, к чему она, быть может, устремилась бы — это к приобретению, в силу чисто коммерческих соображений, некоторых дальнейших участков Маньчжурской железной дороги.

Словом, мирное сожителство, скажу более, тесное сближение России и Японии на Дальнем Востоке вполне естественно, помимо всякого посредничества Англии. Почва на соглашение напрашивается сама собою. Япония страна небогатая, содержание одновременно сильной армии и могучего флота для неё затруднительно. Островное её положение толкает её на путь усиления именно морской своей мощи. Союз с Россией даст возможность все своё внимание сосредоточить на флоте, столь необходимом при зародившемся уже соперничестве с Америкой, предоставив защиту интересов своих на материке России. С другой стороны, мы, располагая японским флотом для морской защиты нашего Тихоокеанского побережья, имели бы возможность навсегда отказаться от непосильной для нас мечты о создании военного флота на Дальнем Востоке. Таким образом, в смысле взаимоотношений с Японией, сближение с Англией никакой реальной выгоды нам не принесло. Не дало оно нам ничего и в смысле упрочения нашего положения ни в Маньчжурии, ни в Монголии, ни даже в Урянхайском крае, где неопределённость нашего положения свидетельствует о том, что соглашение с Англиею, во всяком случае, рук нашей дипломатии не развязало. Напротив того, попытка наша завязать сношения с Тибетом встретила со стороны Англии резкий отпор.

Не к лучшему, со времени соглашения, изменилось наше положение в Персии. Всем памятно преобладающее

влияние наше в этой стране при шахе Наср-Эдине, т.е. как раз в период наибольшей обострённости наших отношений с Англией. С момента сближения с этой последнею, мы оказались вовлечёнными в целый ряд непонятных попыток навязывания персидскому населению совершенно ненужной ему конституции и, в результате, сами способствовали свержению преданного России монарха, в угоду закоренелым противникам. Словом, мы не только ничего не выиграли, но, напротив того, потеряли по всей линии, погубив и наш престиж, и многие миллионы рублей, и даже драгоценную кровь русских солдат, предательски умерщвлённых и, в угоду Англии, даже не отомщённых. Но наиболее отрицательные последствия сближения с Англией — а, следовательно, и коренного расхождения с Германией — сказались на Ближнем Востоке. Как известно, ещё Бисмарку принадлежала крылатая фраза о том, что для Германии Балканский вопрос не стоит костей одного померанского гренадера. Впоследствии балканские осложнения стали привлекать несравненно большее внимание германской дипломатии, взявшей под свою защиту «больного человека», но, во всяком случае, и тогда Германия долго не обнаруживала склонности из-за балканских дел рисковать отношениями с Россией. Доказательства налицо. Ведь как легко было Австрии, в период русско-японской войны и последовавшей у нас смуты, осуществить заветные свои стремления на Балканском полуострове. Но Россия в то время не связала ещё с Англией своей судьбы, и Австро-Венгрия вынуждена была упустить наиболее выгодный для её целей момент.

Стоило, однако, нам стать на путь тесного сближения с Англией, как тотчас последовало присоединение Боснии и Герцеговины, которое так легко и безболезненно могло быть осуществлено в 1905 или 1906 году, затем возник вопрос Албанский и комбинация с принцем Видом. Русская дипломатия попробовала ответить на австрийские происки образованием Балканского союза, но эта комбинация, как и следовало ожидать, оказалась совершенно эфемерною. По идее направленная против Австрии, она сразу же

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

обратилась против Турции и распалась на дележе захваченной у этой последней добычи. В результате получилось только окончательное прикрепление Турции к Германии, в которой она не без основания видит единственную свою покровительницу. Действительно, русско-английское сближение, очевидно, для Турции равносильно отказу Англии от традиционной её политики закрытия для нас Дарданелл, а образование, под покровительством России, Балканского союза явилось прямой угрозой дальнейшему существованию Турции как Европейского государства. Итак, англо-русское сближение ничего реально полезного для нас до сего времени не принесло. В будущем оно неизбежно сулит нам вооружённое столкновение с Германией.

Основные группировки в грядущей войне

В каких же условиях произойдёт это столкновение и каковы окажутся его вероятные последствия? Основные группировки при будущей войне очевидны: это — Россия, Франция и Англия, с одной стороны, Германия, Австрия и Турция — с другой.

Более чем вероятно, что примут участие в войне и другие державы, в зависимости от тех или других условий, при которых разразится война. Но послужит ли ближайшим поводом к войне новое столкновение противоположных интересов на Балканах, или же колониальный инцидент вроде Алжезирасского, основная группировка останется всё та же. Италия, при сколько-нибудь правильно понятых своих интересах, на стороне Германии не выступит.

В силу политических и экономических причин, она, несомненно, стремится к расширению нынешней своей территории. Это расширение может быть достигнуто только за счёт Австрии — с одной, и Турции, с другой стороны. Естественно, поэтому, что Италия не выступит на той стороне, которая обеспечивает территориальную целостность государства, за счёт которых она желала бы осуществить свои стремления. Более того, не исключена, казалось бы, возможность выступления Италии на стороне

противогерманской коалиции, если бы жребий войны склонился в её пользу, в видах обеспечения себе наиболее выгодных условий участия в последующем дележе. В этом отношении позиция Италии сходится с вероятною позицией Румынии, которая, надо полагать, останется нейтральной, пока весы счастья не склонятся на ту или другую сторону. Тогда она, руководствуясь здоровым политическим эгоизмом, примкнёт к победителям, чтобы быть вознаграждённою либо за счёт России, либо за счёт Австрии. Из других Балканских государств Сербия и Черногория, несомненно, выступят на стороне, противной Австрии, а Болгария и Албания, — если к тому времени не образует хотя бы эмбриона государства, — на стороне, противной Сербии. Греция, по всей вероятности, останется нейтральной или выступит на стороне, противной Турции, но лишь тогда, когда исход будет более или менее предрешён.

Участие других государств явится случайным, причём следует опасаться Швеции, само собою разумеется, в рядах наших противников. При таких условиях борьба с Германией представляет для нас огромные трудности и потребует неисчислимых жертв. Война не застанет противника врасплох, и степень его готовности, вероятно, превзойдёт самые преувеличенные наши ожидания. Не следует думать, чтобы эта готовность проистекала из стремления самой Германии к войне. Война ей не нужна, коль скоро она и без неё могла бы достичь своей цели — прекращения единоличного владычества над морями. Но раз эта жизненная для неё цель встречает противодействие со стороны коалиции, то Германия не отступит перед войною и, конечно, постарается даже её вызвать, выбрав наиболее выгодный для себя момент.

Главная тяжесть войны выпадет на долю России

Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю, так как Англия к принятию широкого участия в континентальной войне едва ли способна, а Франция, бедная людским материалом, при тех колоссальных потерях, которыми будет сопровождаться война при современных

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

условиях военной техники, вероятно, будет придерживать-ся строго оборонительной тактики. Роль тарана, пробивающего самую толщу немецкой обороны, достанется нам, а между тем сколько факторов будет против нас и сколько на них нам придётся потратить и сил, и внимания.

Из числа этих неблагоприятных факторов следует исключить Дальний Восток. Америка и Япония, первая по существу, а вторая в силу современной политической своей ориентации, обе враждебны Германии, и ждать от них выступления на её стороне нет основания. К тому же война, независимо даже от её исхода, ослабит Россию и отвлечет её внимание на Запад, что, конечно, отвечает японским и американским интересам.

Поэтому тыл наш со стороны Дальнего Востока достаточно обеспечен и, самое большее, с нас за благожелательный нейтралитет сорвут какие-нибудь уступки экономического характера. Более того, не исключена возможность выступления Америки или Японии на противной Германии стороне, но, конечно, только в качестве захватчиков тех или других, плохо лежащих германских колоний. Зато несомненен взрыв вражды против нас в Персии, вероятные волнения среди мусульман на Кавказе и в Туркестане, не исключена возможность выступления против нас, в связи с последними, Афганистана, наконец, следует предвидеть весьма неприятные осложнения в Польше и в Финляндии. В последней неминуемо вспыхнет восстание, если Швеция окажется в числе наших противников. Что же касается Польши, то следует ожидать, что мы не будем в состоянии во время войны удерживать её в наших руках. И вот, когда она окажется во власти противников, ими, несомненно, будет сделана попытка вызвать восстание, в существе для нас и не очень опасное, но которое всё же придётся учитывать в числе неблагоприятных для нас факторов, тем более что влияние наших союзников может побудить нас на такие шаги в области наших с Польшей взаимоотношений, которые опаснее для нас всякого открытого восстания.

Готовы ли мы к столь упорной борьбе, которою, несомненно, окажется будущая война европейских народов?

На этот вопрос приходится, не обинуясь, ответить отрицательно. Менее, чем кто-либо, я склонен отрицать то многое, что сделано для нашей обороны со времени японской войны. Несомненно, однако, что это многое является недостаточным при тех невиданных размерах, в которых неизбежно будет протекать будущая война. В этой недостаточности, в значительной мере, виноваты наши молодые законодательные учреждения, дилетантски интересовавшиеся нашею обороною, но далеко не проникшиеся всей серьезностью политического положения, складывающегося под влиянием ориентации, которой, при сочувственном отношении общества, придерживалось за последние годы наше Министерство иностранных дел.

Доказательством этого служит огромное количество остающихся нерассмотренными законопроектов военного и морского ведомств и, в частности, представленный в Думу ещё при статс-секретаре Столыпине план организации нашей государственной обороны. Бесспорно, в области обучения войск мы, по отзывам специалистов, достигли существенного улучшения по сравнению с временем, предшествовавшим японской войне. По отзывам тех же специалистов, наша полевая артиллерия не оставляет желать лучшего: ружьё вполне удовлетворительно, снаряжение удобно и практично. Но бесспорно также, что в организации нашей обороны есть и существенные недочёты.

В этом отношении нужно, прежде всего, отметить недостаточность наших военных запасов, что, конечно, не может быть поставлено в вину военному ведомству, так как намеченные заготовительные планы далеко ещё не выполнены полностью из-за малой производительности наших заводов. Эта недостаточность огневых запасов имеет тем большее значение, что, при зачаточном состоянии нашей промышленности, мы во время войны не будем иметь возможности домашними средствами восполнить выяснившиеся недохваты, а между тем с закрытием для нас как Балтийского, так и Чёрного морей, — ввоз недостающих нам предметов обороны из-за границы окажется невозможным.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Далее неблагоприятным для нашей обороны обстоятельством является вообще чрезмерная её зависимость от иностранной промышленности, что, в связи с отмеченным уже прекращением сколько-нибудь удобных заграничных сообщений, создаст ряд трудноодолимых затруднений. Далеко не достаточно количество имеющейся у нас тяжёлой артиллерии, значение которой доказано опытом японской войны, мало пулемётов. К организации нашей крепостной обороны почти не приступлено, и даже защищающая подступ к столице Ревельская крепость ещё не закончена.

Сеть стратегических железных дорог недостаточна, и железные дороги обладают подвижным составом, быть может, достаточным для нормального движения, но не соответствующим тем колоссальным требованиям, которые будут предъявлены к нам в случае европейской войны. Наконец, не следует упускать из виду, что в предстоящей войне будут бороться наиболее культурные, технически развитые нации. Всякая война неизменно сопровождалась доселе новым словом в области военной техники, а техническая отсталость нашей промышленности не создаёт благоприятных условий для усвоения нами новых изобретений.

Жизненные интересы Германии и России нигде не сталкиваются

Все эти факторы едва ли принимаются к должному учёту нашей дипломатией, поведение которой, по отношению к Германии, не лишено, до известной степени, даже некоторой агрессивности, могущей чрезмерно приблизить момент вооружённого столкновения с Германией, при английской ориентации, в сущности неизбежного. Верна ли, однако, эта ориентация и обещает ли нам даже благоприятный период войны такие выгоды, которые искупили бы все трудности и жертвы, неизбежные при исключительной по вероятной своей напряжённости войны?

Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожитель-

ства этих двух государств. Будущее Германии на морях, то есть там, где у России, по существу наиболее континентальной из всех великих держав, нет никаких интересов. Заморских колоний у нас нет и, вероятно, никогда не будет, а сообщение между различными частями империи легче сухим путём, нежели морем. Избытка населения, требующего расширения территории, у нас не ощущается, но даже с точки зрения новых завоеваний, что может дать нам победа над Германией? Познань, Восточную Пруссию? Но зачем нам эти области, густо населённые поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управляться. Зачем оживлять центробежные стремления, не заглохшие по сию пору в Привислинском крае, привлечением в состав Российского государства беспокойных познанских и восточнопруссских поляков, национальных требований которых не в силах заглушить и более твёрдая, нежели русская, германская власть?

Совершенно то же и в отношении Галиции. Нам явно невыгодно, во имя идеи национального сентиментализма, присоединять к нашему отечеству область, потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан сколько мы получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское, или мазепинское, движение сейчас у нас не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достигнуть совершенно неожиданных размеров. Очевидная цель, преследуемая нашей дипломатией при сближении с Англией — открытие проливов, но, думается, достижение этой цели едва ли требует войны с Германией. Ведь Англия, а совсем не Германия закрывала нам выход из Чёрного моря. Не заручившись ли содействием этой последней, мы избавились в 1871 году от унижительных ограничений, наложенных на нас Англией по Парижскому договору?

И есть полное основание рассчитывать, что немцы легче, чем англичане, пошли бы на предоставление нам про-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ливов, в судьбе которых они мало заинтересованы и ценою которых охотно купили бы наш союз.

Не следует к тому же питать преувеличенных ожиданий от занятия нами проливов. Приобретение их для нас выгодно лишь постольку, поскольку ими закрывается вход в Чёрное море, которое становится с той поры для нас внутренним морем, безопасным от вражеских нападений.

Выхода же в открытое море проливы нам не дают, так как за ними идёт море, почти сплошь состоящее из территориальных вод, море, усеянное множеством островов, где, например, английскому флоту ничего не стоит фактически закрыть для нас все входы и выходы, независимо от проливов. Поэтому Россия смело могла бы приветствовать такую комбинацию, которая, не передавая непосредственно в наши руки проливов, обеспечила бы нас от прорыва в Чёрное море неприятельского флота. Такая комбинация, при благоприятных обстоятельствах вполне достижимая без всякой войны, обладает ещё и тем преимуществом, что она не нарушила бы интересов Балканских государств, которые не без тревоги и вполне понятного ревнивого чувства отнеслись бы к захвату нами проливов.

В Закавказье мы, в результате войны, могли бы территориально расшириться лишь за счёт населённых армянами областей, что, при революционности современных армянских настроений и мечтаниях о великой Армении, едва ли желательно и в чём, конечно, Германия ещё меньше, чем Англия, стала бы нам препятствовать, будь мы с нею в союзе. Действительно же полезные для нас и территориальные, и экономические приобретения доступны лишь там, где наши стремления могут встретить препятствия со стороны Англии, а отнюдь не Германии. Персия, Памир, Кульджа, Кашгария, Джунгария, Монголия, Урянхайский край — всё это местности, где интересы России и Германии не сталкиваются, а интересы России и Англии сталкивались неоднократно.

Совершенно в том же положении по отношению к России находится и Германия, которая, равным образом, мог-

ла бы отторгнуть от нас, в случае успешной войны, лишь малоценные для неё области, по своей населённости мало-пригодные для колонизации: Привислинский край, с польско-литовским, и Остзейские губернии с латышско-эстонским, одинаково беспокойным и враждебным к немцам населением.

*В области экономических интересов
русские пользы и нужды
не противоречат германским*

Но могут возразить: территориальные приобретения, при современных условиях жизни народов, отступают на второй план и на первое место выдвигаются экономические интересы. Однако и в этой области русские пользы и нужды едва ли настолько, как это принято думать, противоречат германским. Не подлежит, конечно, сомнению, что действующие русско-германские торговые договоры невыгодны для нашего сельского хозяйства и выгодны для германского, но едва ли правильно приписывать это обстоятельство коварству и недружелюбию Германии.

Не следует упускать из виду, что эти договоры во многих своих частях выгодны для нас. Заключавшие в своё время договоры русские делегаты были убеждёнными сторонниками развития русской промышленности какою бы то ни было ценою и, несомненно, сознательно жертвовали, хотя бы отчасти, интересами русского земледелия в пользу интересов русской промышленности. Далее не надо упускать из виду, что Германия сама далеко не является прямым потребителем большей части предметов заграничного отпуска нашего сельского хозяйства. Для большей части произведений нашей земледельческой промышленности Германия является только посредником, а, следовательно, от нас и от потребляющих рынков зависит войти в непосредственные сношения и тем избежать дорого стоящего германского посредничества. Наконец, необходимо принять в соображение, что условия торговых взаимоотношений могут изменяться в зависи-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

мости от условий политического сожительства договаривающихся государств, так как ни одной стране не выгодно экономическое ослабление союзника, а, напротив, выгодно разорение политического противника. Словом, хотя несомненно, что действующие русско-германские торговые договоры для нас невыгодны и что Германия, при заключении их, использовала удачно сложившуюся для неё обстановку, то есть попросту прижала нас, но поведение это не может учитываться как враждебное и является заслуживающим подражания и с нашей стороны актом здорового национального эгоизма, которого нельзя было от Германии не ожидать и с которым надлежало считаться. Во всяком случае мы на примере Австро-Венгрии видим земледельческую страну, находящуюся в несравненно большей, нежели мы, экономической зависимости от Германии, что, однако, не препятствует ей достигнуть в области сельского хозяйства такого развития, о котором мы можем только мечтать.

В силу всего изложенного заключение с Германией вполне приемлемого для России торгового договора, казалось бы, отнюдь не требует предварительного разгрома Германии. Вполне достаточно добрососедских с нею отношений, вдумчивого взвешивания действительных наших экономических интересов в различных отраслях народного хозяйства и долгой упорной торговли с германскими делегатами, несомненно, призванными охранять интересы своего, а не нашего отечества. Скажу более, разгром Германии в области нашего с нею товарообмена был бы для нас невыгодным.

Разгром ее, несомненно, завершился бы миром, продиктованным с точки зрения экономических интересов Англии. Эта последняя использует выпавший на её долю успех до самых крайних пределов, и тогда мы в разорённой и утратившей морские пути Германии только потеряем всё же ценный для нас потребительский рынок для своих, не находящих другого сбыта продуктов.

В отношении к экономическому будущему Германии интересы России и Англии прямо противоположны друг другу.

Англии выгодно убить германскую морскую торговлю и промышленность Германии, обратив её в бедную, по возможности, земледельческую страну. Нам выгодно, чтобы Германия развила свою морскую торговлю и обслуживаемую ею промышленность в целях снабжения отдалённых мировых рынков и в то же время открыла бы внутренний рынок произведениям нашего сельского хозяйства для снабжения многочисленного своего рабочего населения.

Но, независимо от торговых договоров, обычно принято указывать на гнёт немецкого засилья в русской экономической жизни и на систематическое внедрение к нам немецкой колонизации, представляющей будто бы явную опасность для Русского государства. Думается, однако, что такого рода опасения в значительной мере преувеличены. Пресловутый *Drang nach Osten* был в своё время естественен и понятен, раз территория Германии не вмещала возросшего населения, избыток которого и вытеснялся в сторону наименьшего сопротивления, т.е. в менее густо населённую, соседнюю страну.

Германское правительство вынуждено было считаться с неизбежностью этого движения, но само едва ли могло признавать его отвечающим своим интересам. Ведь, как-никак, из сферы германской государственности уходили германские люди, сокращая тем живую силу своей страны. Конечно, германское правительство, употребляя все усилия, чтобы сохранить связь переселенцев со своим прежним отечеством, пошло даже на столь оригинальный прием, как допущение двойного подданства. Но несомненно, однако, что значительная часть германских выходцев всё же окончательно и бесповоротно оседала на своём новом месте и постепенно порывала с прежнею родиною. Это обстоятельство, явно не соответствующее государственным интересам Германии, очевидно, и явилось одним из побудительных для неё стимулов стать на путь столь чуждых ей прежде колониальной политики и морской торговли.

И вот, по мере умножения германских колоний и тесно связанного с тем развития германской промышленности и

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

морской торговли, немецкая колониистская волна идёт на убыль, и недалёк тот день, когда Drang nach Osten отойдёт в область исторических воспоминаний. Во всяком случае, немецкая колонизация, несомненно противоречащая нашим государственным интересам, должна быть прекращена, и в этом дружественные отношения с Германией нам не помеха. Выказываться за предпочтительность германской ориентации — не значит стоять за вассальную зависимость России от Германии, и, поддерживая дружественную, добрососедскую с нею связь, мы не должны приносить в жертву этой цели наших государственных интересов. Да и Германия не будет возражать против борьбы с дальнейшим наплывом в Россию немецких колониистов. Ей самой выгоднее направить волну переселения в свои колонии. К тому же даже и тогда, когда этих последних не было, и германская промышленность не обеспечивала ещё заработка всему населению, оно всё-таки не считало себя вправе протестовать против принятых в царствование Александра III ограничительных мер по отношению к иностранной колонизации. Что же касается немецкого засилья в области нашей экономической жизни, то едва ли это явление вызывает те нарекания, которые обычно против него раздаются. Россия слишком бедна и капиталами, и промышленною предприимчивостью, чтобы могла обойтись без широкого притока иностранных капиталов. Поэтому известная зависимость от того или другого иностранного капитала неизбежна для нас до тех пор, пока промышленная предприимчивость и материальные средства населения не разовьются настолько, что дадут возможность совершенно отказаться от услуг иностранных предпринимателей и их денег. Но, пока мы в них нуждаемся, немецкий капитал выгоднее для нас, чем всякий другой.

Прежде всего, этот капитал из всех наиболее дешёвый, как довольствующийся наименьшим процентом предпринимательской прибыли. Этим в значительной мере и объясняется сравнительная дешевизна немецких производений и постепенное вытеснение ими английских товаров

с мирового рынка. Меньшая требовательность в смысле рентабельности немецкого капитала имеет своим последствием то, что он идёт на такие предприятия, в которые, по сравнительной их малой доходности, другие иностранные капиталы не идут. Вследствие той же относительной дешевизны немецкого капитала, прилив его в Россию влечёт за собой отлив из России меньших сумм предпринимательских барышей по сравнению с английским и французским, и, таким образом, большее количество русских рублей остаётся в России. Мало того, значительная доля прибылей, получаемых на вложенные в русскую промышленность германские капиталы, и вовсе от нас не уходит, а проживается в России.

В отличие от английских или французских германские капиталисты большею частью, вместе со своими капиталами, и сами переезжают в Россию. Этим их свойством в значительной степени и объясняется поражающая нас многочисленность немцев-промышленников, заводчиков и фабрикантов по сравнению с англичанами и французами.

Те сидят себе за границей, до последней копейки выбирая из России вырабатываемые их предприятиями барыши. Напротив того, немцы-предприниматели подолгу проживают в России, а нередко там оседают навсегда. Что бы ни говорили, но немцы, в отличие от других иностранцев, скоро осваиваются в России и быстро русеют. Кто не видал, напр[имер], французов и англичан, чуть не всю жизнь проживающих в России и, однако, ни слова по-русски не говорящих? Напротив того, много ли видно немцев, которые бы хотя с акцентом, ломаным языком, но всё же не объяснялись по-русски? Мало того, кто не видал чисто русских людей, православных, до глубины души преданных русским государственным началам и, однако, всего в первом или во втором поколении происходящих от немецких выходцев? Наконец, не следует забывать, что Германия, до известной степени, и сама заинтересована в экономическом нашем благосостоянии. В этом отношении Германия выгодно отличается от других государств, заинтересованных исключительно в получении возможно

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

большей ренты на затраченные в России капиталы, хотя бы ценою экономического разорения страны. Напротив того, Германия в качестве постоянного — хотя, разумеется, и не бескорыстного — посредника в нашей внешней торговле заинтересована в поддержании производительных сил нашей родины, как источника выгодных для неё посреднических операций.

*Даже победа над Германией сулит России
крайне неблагоприятные перспективы*

Во всяком случае, если даже признать необходимость искоренения немецкого засилья в области нашей экономической жизни, хотя бы ценою совершенного изгнания немецкого капитала из русской промышленности, то соответствующие мероприятия, казалось бы, могут быть осуществлены и помимо войны с Германией. Эта война потребует таких огромных расходов, которые во много раз превысят более чем сомнительные выгоды, полученные нами вследствие избавления от немецкого засилья. Мало того, последствием этой войны окажется такое экономическое положение, перед которым гнёт германского капитала покажется лёгким.

Ведь не подлежит сомнению, что война потребует расходов, превышающих ограниченные финансовые ресурсы России. Придётся обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан не даром. Не стоит даже говорить о том, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические последствия поражения не поддаются ни учёту, ни даже предвидению и, без сомнения, отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы: вконец разорённая Германия не будет в состоянии возместить нам понесённые издержки. Продиктованный в интересах Англии мирный договор не даст ей возможности экономически оправиться настолько, чтобы даже впоследствии покрыть наши военные расходы. То небольшое, что может быть,

удастся с неё урвать, придётся делить с союзниками, и на нашу долю придутся ничтожные, по сравнению с военными издержками, крохи. А между тем военные займы придётся платить не без нажима со стороны союзников. Ведь после крушения германского могущества мы уже более не будем им нужны. Мало того, возросшая вследствие победы политическая наша мощь побудит их ослабить нас хотя бы экономически. И вот неизбежно, даже после победоносного окончания войны, мы попадём в такую же финансовую экономическую кабалу к нашим кредиторам, по сравнению с которой наша теперешняя зависимость от германского капитала покажется идеалом. Как бы печально, однако, ни складывались экономические перспективы, открывающиеся нам как результат союза с Англией, следовательно и войны с Германией, — они всё же отступают на второй план перед политическими последствиями этого по существу своему противоестественного союза.

*Борьба между Россией и Германией
глубоко нежелательна для обеих сторон,
как сводящаяся к ослаблению
монархического начала*

Не следует упускать из виду, что Россия и Германия являются представительницами консервативного начала в цивилизованном мире, противоположного началу демократическому, воплощаемому Англией и, в несравненно меньшей степени, Францией. Как это ни странно, Англия, до мозга костей монархическая и консервативная дома, всегда во внешних своих сношениях выступала в качестве покровительницы самых демагогических стремлений, неизменно потворствуя всем народным движениям, направленным к ослаблению монархического начала.

С этой точки зрения борьба между Германией и Россией, независимо от её исхода, глубоко нежелательна для обеих сторон, как, несомненно, сводящаяся к ослаблению мирового консервативного начала, единственным надёжным оплотом которого являются названные две великие

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

державы. Более того, нельзя не предвидеть, что, при исключительных условиях надвигающейся общеевропейской войны, таковая, опять-таки независимо от её исхода, представит смертельную опасность и для России, и для Германии. По глубокому убеждению, основанному на тщательном многолетнем изучении всех современных противогосударственных течений, в побеждённой стране неминуемо разразится социальная революция, которая, силою вещей, перекинется и в страну-победительницу.

Слишком уж многочисленны те каналы, которыми, за много лет мирного сожительства, незримо соединены обе страны, чтобы коренные социальные потрясения, разыгравшиеся в одной из них, не отразились бы и в другой. Что эти потрясения будут носить именно социальный, а не политический характер — в этом не может быть никаких сомнений, и это не только в отношении России, но и в отношении Германии. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательную, как и социализм широких слоёв населения, политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно вырождается в социалистическое. За нашей оппозицией нет никого, у неё нет поддержки в народе, не видящем никакой разницы между правительственным чиновником и интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково не ищет политических прав, ему и ненужных, и непонятных.

Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землею, рабочий — о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, и дальше этого их вожделения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, — Россия, несомненно, будет ввергнута в анархию, пережитую ею в принопамятный период смуты 1905 — 1906 годов. Война с Германией создаст исключительно благоприятные усло-

вия для такой агитации. Как уже было отмечено, война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи, — будем надеяться, частичные, — неизбежными окажутся и те или другие недочёты в нашем снабжении. При исключительной нервности нашего общества, этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение, а при оппозиционности этого общества всё будет поставлено в вину правительству.

Хорошо, если это последнее не сдастся и стойко заявит, что во время войны никакая критика государственной власти недопустима, и решительно пресечёт всякие оппозиционные выступления. При отсутствии у оппозиции серьёзных корней в населении этим дело и кончится. Не пошёл в своё время и народ за составителями Выборгского воззвания, точно так же не пойдёт он за ними и теперь.

Но может случиться и худшее: правительственная власть пойдёт на уступки, попытается войти в соглашение с оппозицией и этим ослабит себя к моменту выступления социалистических элементов. Хотя и звучит парадоксом, но соглашение с оппозицией в России безусловно ослабляет правительство. Дело в том, что наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентна, и в этом её слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия. Необходим искусственный выборный закон, мало того, нужно ещё и прямое воздействие правительственной власти, чтобы обеспечить избрание в Гос[ударственную] думу даже наиболее горячих защитников прав народных. Откажи им правительство в поддержке, предоставь выборы их естественному течению, — и законодательные учреждения не увидели бы в самых стенах ни одного интеллигента, помимо нескольких агитаторов-демагогов. Как бы ни распинались о народном доверии к ним члены наших законодательных учреждений, крестьянин скорее поверит безземельному казённому чиновнику, чем помещику-октябристу, заседающему в Думе; рабочий с

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

большим доверием отнесётся к живущему на жалованье фабричному инспектору, чем к фабриканту-законодателю, хотя бы тот исповедовал все принципы кадетской партии.

Более чем странно при таких условиях требовать от правительственной власти, чтобы она серьёзно считалась с оппозицией, ради неё отказалась от роли беспристрастного регулятора социальных отношений и выступила перед широкими народными массами в качестве послушного органа классовых стремлений интеллигентно-имущего меньшинства населения. Требуя от правительственной власти ответственности перед классовым представительством и повиновения ей же искусственно созданному парламенту (вспомним знаменитое изречение В. Набокова: «Власть исполнительная да подчинится власти законодательной!»), наша оппозиция, в сущности, требует от правительства психологию дикаря, собственными руками мастерящего идола и затем с трепетом ему поклоняющегося.

Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой трудно предвидеть

Если война окончится победоносно, усмирение социалистического движения в конце концов не представит непреодолимых затруднений. Будут аграрные волнения на почве агитации за необходимость вознаграждения солдат дополнительной нарезкой земли, будут рабочие беспорядки при переходе от вероятно повышенных заработков военного времени к нормальным расценкам — и, надо надеяться, только этим и ограничится, пока не докатится до нас волна германской социальной революции. Но в случае неудачи, возможность которой, при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть, — социальная революция, в самых крайних её проявлениях, у нас неизбежна.

Как уже было указано, начнётся с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных

учреждениях начнётся яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала чёрный передел, а затем и общий раздел всех ценностей и имущества. Победённая армия, лишившаяся, к тому же, за время войны наиболее надёжного кадрового своего состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишённые действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдерживать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддаётся даже предвидению. <...>

*Мирному сожителству культурных наций
более всего угрожает стремление Англии удержать
ускользающее от неё господство над морями*

Совокупность всего вышеизложенного не может не приводить к заключению, что сближение с Англией никаких благ нам не сулит и английская ориентация нашей дипломатии по своему существу глубоко ошибочна. С Англией нам не по пути, она должна быть предоставлена своей судьбе, и ссориться из-за неё с Германией нам не приходится.

Тройственное согласие — комбинация искусственная, не имеющая под собой почвы интересов, и будущее принадлежит не ей, а несравненно более жизненному тесному сближению России, Германии, примирённой с последнею Францией и связанной с Россией строго оборонительным союзом Японии. Такая лишённая всякой агрессивности по отношению к прочим государствам, политическая комбинация на долгие годы обеспечит мирное сожителство культурных наций, которому угрожают не воинственные

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

замыслы Германии, как силится доказать английская дипломатия, а лишь вполне естественное стремление Англии во что бы то ни стало удержать ускользающее от неё господство над морями. В этом направлении, а не в бесплодных исканиях почвы для противоречащего самым своим существом нашим государственным видам и целям соглашения с Англией и должны быть сосредоточены все усилия нашей дипломатии.

При этом само собой разумеется, что и Германия должна пойти навстречу нашим стремлениям восстановить испытанные дружественно-союзные с нею отношения и выработать, по ближайшему соглашению с нами, такие условия нашего с нею сожительства, которые не давали бы почвы для противогерманской агитации со стороны наших конституционно-либеральных партий, по самой своей природе вынужденных придерживаться не консервативно-германской, а либерально-английской ориентации.

Февраль 1914 г.

Н.А. БЕРДЯЕВ (1874—1948)

Задачи национальной демократии

I

Так называемая «революционная демократия» претендует говорить от лица русского народа и хотела бы представить Россию в переговорах о мире. И это есть основная ложь и подмена наших революционных дней. подлинного народа в «революционной демократии» нет. Не паразитально ли, что в демократическом Временном Совете Российской Республики был всего один крестьянин и что этот крестьянин сидел на крайней правой, как представитель союза земельных собственников? В Советах крестьянских депутатов сидят не русские крестьяне, а наехавшие из-за границы интеллигенты, чуждые русскому народу. Имеет

ли наша «революционная демократия» органическую связь с Россией? В ней нет ничего русского. Нельзя сказать, чтобы представители «революционной демократии» не были патриотами и не имели родины. Но родина их не Россия. Наша родина существует тысячу лет. Их родина существует всего полгода с чем-то, их родина — революция. Они — не русские патриоты, а патриоты революции и революционного народа. За эти месяцы у нас родился не только революционный патриотизм, но и самый крайний революционный шовинизм. «Революционная демократия» также кричит «шапками закидаем», как прежде кричали старые русские шовинисты. Все народы мира хотят подчинить воле русской революции. Революционная демократия видит в русской революции свет с Востока, который должен просветить все народы Запада. Но свет этот, долженствующий покорить весь мир, выражается исключительно в потоке слов, выветрившихся и опошлившихся, вроде «без аннексий и контрибуций», «самоопределение народов» и т.п. Всё это самодовольное пустословие уже полгода деморализует и разлагает русский народ и русскую армию. Интернационализм на русской почве есть вывернутый наизнанку германский национализм, или национализм инородцев, населяющих Россию. Но по свойственной русским пассивности и по характерной для русских одержимости многие русские переживают этот интернационализм как русский революционный мессианизм. Этот революционный мессианизм нанес уже тяжёлые раны русской национальной душе и национальному телу. Революционное самомнение унизило Россию и утеснило русский народ, подчинив его чуждым началам. Революция больно ударила по русскому национальному чувству, и многие уродливые явления её должны вызвать здоровую реакцию инстинкта национального самосохранения и инстинкта национального творчества.

В России должна наконец образоваться здоровая национальная демократия с сильным инстинктом национально-го самосохранения, с глубоким чувством связи с прошлым русской истории, с широким базисом в народной массе, с

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

решительным социальным реформизмом в своей программе. Национальная демократия будет иметь органическую связь с подлинным русским народом и будет выражать его духовный облик. Необходимо подчеркнуть, что речь идёт не об общенациональном, как теперь любят выражаться, а об национально-русском демократическом течении. От роста и кристаллизации такого течения в значительной степени будет зависеть будущее России. В наших политических и социальных группировках есть зияющая пустота, которая должна быть наконец заполнена. Там, где должно народиться новое течение, там — самая важная, самая центральная, самая огненная почва русской жизни. В той точке, в которой народится национальная демократия, пробудится русская народная стихия. **Нужно наконец признать, что все наши партии в значительной степени представляют фикции и за ними скрыто совсем не то, что они выставляют на своих лозунгах. Русской народной основы в конце концов нет ни в одной из наших партий.** Но многие из них спекулируют на тёмных народных инстинктах и на самых грубых интересах минуты. Поразительно, что в существующих группировках нет группировки наиболее реальной и существенной, которая должна была составлять ядро всего будущего России, нет национальной, русской группировки. Русское оказалось забитым и затёртым в России в момент великого исторического перелома. Революционную стихию эксплуатируют для нерусских целей, враждебной нашей национальной личности.

Государство российское объёмлет много национальностей, и существует оно не только для русских, но и для всех населяющих её народностей. Но русская и даже точнее — великорусская национальность составляет то крепкое и мощное ядро, которое создало русское государство и русскую культуру, она есть субъект русской истории. Вокруг этого ядра нарастало и расширялось все многоплеменное государство наше. **Русский народ излучал вокруг себя энергию, которая государственно и культурно объединяла и образовывала великое целое.** Он покорял другие национальности не насилиями только и войнами, но и своим великим

языком, своей великой литературой, перед которой склоняются даже те народности, которые бы хотели отделиться от русского государства и изрыгали хулу на русское племя. Русская культура оказалась той высшей культурой, которая приобщила более слабые и отсталые расы России к высшей духовной жизни, а могущественное и огромное русское государство защищало многие народности и давало им формы государственного бытия. Было бы вопиющей несправедливостью рассматривать великодержавный народ русский как насильника и утеснителя и отождествлять его роль с насильнической политикой старой власти.

II

Нельзя понимать формально принцип самоопределения народов. Это самоопределение должно быть соразмерено с реальным весом, с духовной и материальной силой народов. И вот силу и вес русской национальности нельзя сравнивать с силой и весом других национальностей, населяющих Россию. Поистине русская национальность есть царствующая и господствующая национальность. У русского народа есть избыточная сила, которой он должен не утеснять, а одарять все другие народы России, давая им защиту своего огромного государства, блага своего огромного хозяйственного организма и ценности своей духовной культуры. Нельзя допустить того поношения русского народа со стороны всех инородцев, которое намечается в эпоху революционного кризиса. В прошлом русский народ был не только утеснителем, он был и подателем благ, он приобщал мелкие народы к великой исторической жизни. И вот в момент великого исторического перелома само существование русской национальности подвергается сомнению, она оказалась не организованной, и даже право её на организованность отрицается. Русское национальное сознание поражено болезнью и ослаблено. Русские слишком привыкли быть под официальной охраной и слишком всегда полагались на городского. Одни были

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

очень довольны тем внешне привилегированным положением, которое создалось для них властью, другие же стыдились быть русскими из-за этого привилегированного положения. Но русская энергия, русская самодеятельность была подорвана и у тех, и у других. И вот, когда пала старая опека, когда сняты были городовые, то русский народ оказался совершенно дезорганизованным и слабым, он чувствует себя как бы чужим у себя на родине, в собственном государстве, на собственной земле. Все другие национальности недурно организованы, проявляют большую энергию и предъявляют непомерные притязания. Русская национальность существует лишь в качестве российского гражданства, в то время как другие национальности существуют и как организованные, отстаивающие себя национальности, и как российское гражданство, т.е. представлены с удвоенной силой. И это не может не повести к ослаблению русской национальности. Она повсюду оказывается представленной не пропорционально своему историческому значению. Русское государство, которое призвано служить русской идее в мире, может превратиться в обезличенное государство национальностей, и русская культура не может сделаться обеспеченной интернациональной культурой, в которой нельзя уже будет узнать русского духовного образа. Такое положение подвергает опасности самое существование единой, великой России с единой и неповторимой миссией в мире. Русские слишком тяжело расплачиваются за грехи старой власти. **В русском народе не хотят видеть объединителя и творца, видят лишь насильника.**

В свободной России возникает русский национальный вопрос, который был замутнён насильнической национальной политикой старой власти. Теперь можно уже и должно ставить этот вопрос по существу, без всякой ложной моральной рефлексии. Основной и неотложной представляется мне организация русской национальности как того ядра, которое должно сохранить единство России и создать возможность перехода к новой жизни в связи с заветами русской истории. В возможности этой задачи

особенно убедили меня немногие заседания комиссии по национальным вопросам кратковременного Совета Российской Республики, которую можно было бы назвать комиссией по разделу России. Русская национальность имеет свой единственный духовный облик, отразившийся в русской религиозности, в великой русской литературе, запечатлённый на всей русской культуре, и облик этот не может исчезнуть из мира, не должен раствориться в российском интернационализме, он нужен и ценен для всего мира. Если у нас не будет сознательной организации русской национальности, которая подчинит себя великой идее, то оскорблённое национальное чувство, не просветлённое и ничем не руководимое, может вылиться в погромное и насильническое движение. Еврейские погромы и сейчас уже происходят и могут принять самые безобразные формы, позорящие русский народ. Здоровый национализм ничего общего не должен иметь с человеконенавистничеством.

III

Организованная и просветлённая национальная демократия должна создать условия жизни, в которых возможно было бы содружество русского народа со всеми населяющими Россию народами. Все народы должны получить культурную автономию, но с сохранением централизованного единства Великой России. Русский народ есть один из народов, населяющих Россию, он и есть Россия, он придает России её неповторимый облик. Россия не есть сборная страна, не есть соединение разных национальностей. Россия родилась в мире для осуществления какой-то единой русской идеи. И в этой великой и обширной идее нет ничего утесняющего и давящего, она — благостна для всех народов Русской земли и для всего человечества, в ней есть универсальность. Но для того, чтобы русский народ мог осуществить в мире идею, он должен быть силен, должен обладать могущественным государством, должен чувствовать себя единым народом и настоящим хозяином своей

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

земли. Движение, которое возникает на почве пробуждения русского сознания, не может быть по преимуществу движением господствующих, имущих классов, оно должно идти в глубь народной России. Не может оно быть и по преимуществу интеллигентским движением, хотя во главе его должна стоять национальная интеллигенция — носительница национального разума и национальной совести.

Национальной партии у нас не существует, хотя есть элементы, из которых она могла бы образоваться. За неимением национальной партии эту роль у нас исполняет партия народной свободы. Но партия эта не имеет в себе национальной сущности и лишена народного базиса. Она слишком для этого академична. Это — государственная партия, и национальной она стала в силу внешних условий войны и революции по политической своей тактике. Партия народной свободы не столько национальна, сколько общенациональна. Она национальна в российском, а не русском смысле этого слова. И ещё нужно сказать, что партия эта — очень демократична по своей программе, но недостаточно демократична по своей психологии, она не входит в толщу народной жизни, не затрагивает никаких сердечных струн в народной душе. Я признаю заслуги этой партии за эти тяжёлые месяцы, её стойкость, её высокий интеллектуальный уровень. Но причину слабости этой наиболее организованной и наиболее отстаивающей государственно-национальную политику партии нужно искать в отсутствии широкой и крепкой народной, национальной основы. Такие выражения, как «левее» и «правее» кадетов, представляются мне пошлыми и пустыми, в словах этих нет ничего существенного и реального. Пора бы уже нам освободиться от власти слов и перейти от поверхности всякого движения «влево» и «вправо» к движению вглубь, где «левость» и «правость» теряет всякий смысл. Но по поверхностной и условной терминологии та национальная демократия, о которой я говорю, будет «левее» кадетов по своей связи с народной массой и по всей социальной программе, включающей элементы реформаторского социализма, и в то же время «правее» кадетов по своему резко национальному

характеру, по признанию иерархического начала, по своей связи с историческим прошлым России, так как будет заключать в себе элементы консервативной связи времён и почитание религиозных и национальных заветов отцов.

Образование истинной национальной демократии в России предполагает совсем другую духовную почву, совсем иное мирозерцание, чем то, которое господствует в наших интеллигентских кругах и навязывается народным массам. Революционное мирозерцание не может не быть поверхностным, оно всегда лишено глубокой духовной почвы. Революционизм может быть лишь моментом, он не может быть длительным состоянием. И в самой первооснове революционной демократии лежит ложное предположение, что возможна и желанна перманентная революционность и что революционность является творческим началом. Но новая демократия должна наконец преодолеть революционность и превратиться в творческую национальную демократию. Это будет победа начал организующих и созидательных над началами дезорганизующими и разрушительными. Национальная демократия должна иметь другие духовные основы, чем те, на которых покоятся все наши партии, и основы эти могут быть лишь религиозными.

*«Народоправство». М., 1917. № 16, с. 5 — 7. Переиздано:
Памятники культуры. Новые открытия:
Письменность, искусство, археология:
Ежегодник. 1999. М., 2000. С. 114 — 117*

Г.В. ФЛОРОВСКИЙ (1893—1979)

Евразийский соблазн

Дни правды дороже воинственных дней...

А.К. Толстой

Судьба евразийства — история духовной неудачи. Нельзя замалчивать евразийскую правду. Но нужно сразу и прямо сказать: это — правда вопросов, не правда отве-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

тов, — правда проблем, а не решений. Так случилось, что евразийцам первым удалось увидеть больше других, удалось не столько поставить, сколько расслышать живые и острые вопросы творимого дня. Справиться с ними, чётко на них ответить они не сумели и не смогли. Ответили призрачным кружевом соблазнительных грёз. Грёзы всегда соблазнительны и опасны, когда их выдают и принимают за явь. В евразийских грёзах малая правда сочетается с великим самообманом. <...> Первоначальное евразийство хотело быть призывом к духовному пробуждению. Но сами евразийцы если и проснулись, то для того, чтобы грезить наяву... Евразийство не удалось. Вместо пути проложен тупик. Он никуда не ведёт. Нужно вернуться к исходной точке. И оттуда, быть может, откроются новые кругозоры, протянутся новые и верные пути.

1

Революция всех застала врасплох, и тех, кто ждал её и готовил, и тех, кто её боялся. В своей страшной неотвратимости и необратимости свершившееся оказалось непостижимым и внутренним смыслом и действительная размерность происшедшего оставались загадочны и непонятны. И нелегко дается мужество видеть и постигать.

Есть и была вечная и простая правда в белом деле и в белой борьбе. Это — правда наивного и прямого нравственного противления, правда волевого неприятия и отрицания мятежного зла. Но на нравственное противление нужно иметь духовно оправданное право. И духовную силу, собираемую во внутреннем искусстве и блении, нельзя заменить ни пафосом благородного негодования, ни жадой мести. Белый порыв распался в страстной торопливости, отравленной ядами «междоусобной брани». Нравственное негодование не перегорело в смирении, не просветлело в вещи зоркости трезвенной думы. Среди грохота исторических обвалов казалось странным и неуместным задуматься, сосредоточиться, уйти в себя. Это казалось превратным бездельем и бездействием, внутрен-

ней сдачею и отказом от борьбы. Максимализм бездумного, мстительного гнева разряжался в кровавое нетерпение внешнего действия и внешнего конца. В такой торопливости нет подлинной силы и действенной правды. Ибо нет воли к покаянию. И нет зоркости. Ненависть выжигает любовь, а только в любви духовная зоркость. Легко было поддаться опьянению нравственного ригоризма и пред лицом зла и злобы, творимой на Русской земле её теперешней антихристовой властью, духовно ослепнуть и оглохнуть и к родине самой, и потерять всякий исторический слух и зоркость. Точно нет России и до конца и без остатка выгорела она в большевистском пожаре, — и в будущем нам, бездомным погорельцам, предстоит строиться на диком поле, на месте пустом. В таком поспешном отчаянии много самомнения и самодовольства, сужение любви и кругозора. За советской стеною скрывается от взоров страждущая и в страдании перегорающая Россия. Забывается её творимая судьба. И нужно прямо и твёрдо понять: революция и разруха, обман и отравка не убили Россию; и она живёт и жива, жива в безумии и озорстве, жива в буйном хмеле и злобе, жива в молчаливом противлении, жива в незримом преображении своём. Среди бесовского маскарада, под мерзостной маскою есть творимая Россия, и проходит она по мытарствам огненного испытания. И с нею должна быть наша любовь, любовь сочувствия и любовь противления, двоящаяся и строгая любовь. Наша душа должна внутренне обратиться к России, в любви отождествиться с нею. И приять её роковую судьбу, как свою судьбу, и перестрадать её покаянный искуc. Не всё в любимой России должны мы принять и благословить. Но всё должны понять и разгадать, как тайну Божия гнева, как правду Божия суда. <...>

Нужно понять и признать: русская разруха имеет глубокое духовное корнесловие, есть итог и финал давнего и застарелого духовного кризиса, болезненного внутреннего распада. Исторический обвал подготовлялся давно и постепенно. В глубинах русского бытия давно бушевала смута, сотрясавшая русскую почву, прорывавшаяся на историче-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

скую поверхность и в политических, и в социальных, и в идеологических судорогах и корчах. Сейчас и кризис, и развязка, и расплата. В своих корнях и истоках русская смута есть прежде всего духовный обман и помрачение, заблуждение народной воли. И в этом грех и вина. Только в подвиге покаяния, в строгом искусе духовного трезвения, может открыться и открывается подлинный выход из водоворотов ликующего зла. На духовный срыв нужно ответить подвигом очищения, внутреннего делания и собирания. Только в бдении и аскезе, только в молитвенном безмолвии накапливается и собирается подлинная сила, — в молчаливом искусе светлеет и преображается душа, куётся и закаляется творческая воля. Только в этом подвиге совершится воскресение и воскрешение России, восстановление и оживление её разбитого и поруганного державного тела. Это трудный и суровый путь. Но нет лёгких и скорых путей для победы над злом, и в делах покаяния дерзко требовать лёгкости. Предельный ужас революции был в нашем бессилии — в том, что в грозный час исторического испытания нечего было противопоставить раскованным стихиям зла, что в этот час открылось великое оскудение и немочь русской души. В революции открылась жуткая и жестокая правда о России. В революции обнажаются глубины, обнажается страшная бездна русского отпадения и неверности <...>. Нечего бояться и стыдиться таких признаний, нечего тешить себя малодушной грёзой о прежнем благополучии и перелагать всё на чужую вину. В раскаянии нет ни отступничества, ни хулы. И только в нём полнота патриотического дерзновения, мужества и мощи.

В таких исторических признаниях, в остром и живом чувстве сверхполитической и лжедуховной природы русской революции, и в призыве к зоркому культурно-патриотическому бдению и раздумью — в этом была правда и историческое дело начального евразийства. И эта правда оказалась жестокой для самих евразийцев. Они тоже соблазнились о терпении и увлеклись исканием лёгких и скорых путей. В своём внутреннем развитии, или, сказать

правду, разложении, евразийство отравилось тем самым соблазном лжедейственной торопливости, с раскрытия и обличения которого оно началось, — отравилось вождением быстрой и внешней удачи. Верные, но беглые наблюдения разрослись в торопливый и мечтательный синтез, и обманная, хотя и розовая грёза заволочла и окутала историческую бль.

2

В самом восприятии и в толковании переживаемой современности евразийцы не сумели и не смогли соблюсти строгой внутренней меры, не сумели сочетать свободу исторического внимания со свободой высшего и духовного, оценочного разбора и суда. Евразийцы точно зачарованы историческими видениями, развёртывающимися вокруг <...>. Они подавлены исторической необходимостью, мощной поступью неотразимых событий. Для них «жизнь есть конкретность идеи», единой, единственной и потому «истинной». Истину они хотят найти и расслышать в исторической действительности <...>. И потому в их сознании правило исторической чуткости превращается в требование «слушаться» истории, — именно слушаться, не только слушать. Исторический учёт и признание косвенно перерождаются в покорное и даже угодливое приятие творимой новизны. Евразийцы не допускают возможности неправедной истории. При всей неизбежности эмпирической неполноты и несовершенства, в истории для них всегда раскрывается, осуществляется и овеществляется правда. И отсюда у них болезненный страх исторической отсталости, страх не попасть в ритм событий. В бессильном испуге рождается торопливая готовность уступить зову времён. Евразийцы как-то веруют в непогрешимость истории, в благодетельную ритмику органических процессов. Они приемлют суд времени как окончательный и неопровержимый суд. <...> Евразийцы готовы подсмеиваться над каждым, кто не поддаётся с покорностью органическому насилию стихий, как над близоруким изгоем всемошной

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

жизни. И точно, бывают безнадёжно опоздавшие и отстающие люди, ослепшие и оскудевшие безвременно и безвозвратно. Но евразийцы забывают, что судить и осуждать, и отвергать историческую новизну можно не только во имя старого, но и во имя вечного, во вдохновении подлинных святынь. В евразийстве оживает «пресловутое змеиное положение» о разумности действительного и действительности разумного, какой-то огрубелый и опрощённый «панлогизм». <...> Бывает злая жизнь. И ей надлежит противиться, без примирения и уступок. В таком противлении нет никакой отвлечённости, нет гордости и отщепенства. Напротив, только в праведном противлении осуществляется подлинное смирение, — смирение пред голосом Божией правды, не пред слепым роком. Только в нём преодолевается человеческая гордыня, овеществившая себя в злом направлении исторических событий. Только в нём проявляется высший и подлинный реализм, учитывающий не только извивы исторического бытия, но и гораздо более действительные, хотя в исторической эмпирии и не осуществлённые Божественные меры бытия, — Божию волю о мире. Этого высшего и духовного реализма вовсе нет в евразийстве. Евразийцы приемлют случившееся и свершившееся, как неотвратимый факт, — не как знамение и суд Божий, не как грозный призыв к человеческой свободе.

В евразийстве есть воля и вкус к совершившейся революции, и евразийцы приемлют её как обновление застоявшейся жизни. Они правы, революция есть «глубокий и существенный процесс», не «историческое недоразумение». <...> Правильно и своевременно говорить сейчас о противоречиях и неувязках старой, петербургской России, в которых зачиналась, и готовилась, и созревала смута. В известном смысле, конечно, революция есть «саморазложение Императорской России», бурный конец петербургского периода. Но смысл этого исторического обрыва евразийцы толкуют узко и превратно, в скудных терминах натуралистической морфологии. Весь смысл трагедии старой России сводится для них к <...> «разрыву» правительства с

«народом», к правительственному насилию над народной массой, втесняемой в чужеродные и тем самым ложные рамки «европеизма». И торопливое примирение с «новой Россией», рождающейся в кровавой пене революции, для евразийцев вполне оправдывается совершившимся обнажением материка, освобождённого от насильственных наслоений.

Любовь к отечеству — сложное и запутанное чувство: голос крови и голос совести соединяются в нём, чаще перебивая и заглушая друг друга, редко сливаясь в мирном созвучии. И до этой меры патриотическая любовь должна возрастать в суровом внутреннем искусстве. Этого искусства нет в евразийстве. В нём недостает строгости к себе, недостаёт страха Божия, нравственной чуткости, духовного смирения и простоты. В евразийском патриотизме слышится только голос крови и голос страсти, буйной и хмельной. Патриотизм для евразийцев есть «пенящийся и хмельной напиток», не зов долга и не воля к подвигу. Евразийцам кажется, будто сейчас приходится делать выбор между интеллигентскою хилостью и новой «народной» силой, и выбирают вторую. Они не понимают, что выбор предстоит между греховным самоутверждением и творческим самоотречением, в покаянной покорности Богу. Не от Духа, а от плоти и от земли хотят набраться они силы. Но нет там подлинной силы, и Божия правда не там. <...> Евразийцы всюду видят стихию — и любят ее, и веруют в неё, в органические законы естественного роста. <...> История для них, прежде всего мощный силовой процесс, явление силы, не духа, — развитие, а не творчество и не подвиг. После великих исторических потрясений поломанные и искалеченные в них люди от обратного, от усталости и бессилия, начинают грезить о силе и мощи в каком-то надрывном подобострастии пред стихией. В пафосе стихии стираются категорические грани добра и зла как какая-то моралистическая условность, как придирка слишком субъективной рефлексии, несоизмеримой с высшей правдой и мудростью исторического сверхличного бытия. Не по нравственным и духовным мерилам определяется тогда и

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

оценивается достоинство людей и событий, но по потенциалу заряжающей их и в них воплощающейся стихийной энергии и мощи. Так слагается культ «сильных» людей, не то «героев», не то «разбойников»; и в нём получает лже-религиозное оправдание право на страсть и волю, с забвением о единственном действительном и возможном пути к Богу через крест и любовь. Есть что-то от этого романтического перегара в теперешнем евразийстве. В каком-то смысле евразийцев зачаровали «новые русские люди», ражии, мускулистые молодцы в кожаных куртках, с душой авантюристов, с той бесшабашной удалью и вольностью, которые вызревали в оргии войны, мятежа и расправы. <...> Пусть эти новые люди, этот «новый правящий слой» собрался и скристаллизовался вокруг «воров», бездумных и скудоумных, — «выбора у народа не было», решают евразийцы; по нашей скудости и хилости на «ворах» русский свет клином сошёлся. В этих «ворах» евразийцы увидели «воплощение государственной стихии». Их загипнотизировал большевистский пафос «народоводительства», волевой пафос коммунистической партии, пусть скудной и ложной в своей идеологии, но «властной до тираничности». <...>

И потому евразийцы сознательно и хотят быть «следственниками современного большевизма», «следственниками советской государственности» — в психологии и типе, в пафосе и внутреннем строе. Они хотят и призывают равняться по большевистскому примеру и типу, только переменив «конструктивный принцип» с безбожного на религиозный. Станным образом они не замечают и не понимают, насколько в формальном «типе» большевистского максимализма отражается и выражается его безбожная бесчеловечная, бесовская сущность, — не чувствуют, что при «полярных» основаниях окажутся необходимыми инородные и инотипные «методы и силы».

<...> Наивная доверчивость к органической работе тёмных подсознательных сил соединяется в евразийском сознании с жутким, хотя и мечтательным упоением властью. Ибо «только единая и сильная власть способна про-

вести русскую культуру через переходный период, канализировать и направить пафос революции». В этой сильной власти найдёт и оформит себя сама народная стихия <...>.

Евразийцы признают, конечно, что «зло, действительно, сильно в мире». Но смутно и наивно представляют они себе и другим пути и приёмы борьбы со злом. <...> Они недосматривают и недооценивают мотивы злостного бунтарства и одержимого беснования в воспеваемом ими процессе органического вырастания и сложения «нового народа, не менее русского», чем прежний. Они забывают об упрямой инерции зла, воссавшегося в самую духовную конституцию народа, забывают о взошедшем в кровь и дух нигилизме, безбожии и богоборчестве. Конечно, в чистое «зло» ни народы, ни личности никогда не превращаются, они бывают и становятся только «злыми», только носителями зла, — но этого ограничительного «только» не следует преувеличивать. <...> Духовные яды глубоко воссалились в русскую жизнь и ещё долго будут в ней чадить и смердеть. И, конечно, не только «старый правящий слой» изъязвлен и отравлен ядами исторического разложения, но в гораздо большей степени и «новый», рождённый и повитый в буйстве и злобе. И напрасно и наивно надеяться на выцветание и самовыветривание этих ядов, на их самообессиливание и самообезвреживание. <...> Разоблачённые заблуждения веками сохраняют своё роковое обаяние и злую власть над людьми, и от их страшного дурмана не в силах без благодатной помощи освободиться греховная человеческая воля, немощная в добром, упорная и упрямая в злом. У евразийцев есть какая-то поспешная готовность отвлечься от зла <...>. Точно в самом деле можно весь страшный вопрос духовного очищения и преобразования свести к смене идеологий, к замене одной «программы» другой, «ясной и чёткой», точно всё зависит от додуманности, настойчивости и упорства...

<...> Евразийцы чувствуют и определяют себя как «осознателей русского культурного своеобразия». Ис большой настойчивостью и упорством подбирают и накапливают признаки и свидетельства этого своеобразия. В этой регис-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

трации проявляется немалая наблюдательность. Но со своими реестрами евразийцы плохо справляются и смутно понимают их действительный смысл. Своеобразие они открывают всюду, начиная от «месторазвития» и вплоть до религиозной области. С большим вниманием они изображают в подробностях «географические особенности России», подчёркивают своеобразие этнического состава <...>. Они заняты морфологией России-Евразии, и на это уходит все их внимание. Географическое единство и своеобразие «евразийской» территории настолько поражает их, что в их представлениях подлинным субъектом исторического процесса и становления оказывается как бы территория, — даже не народы. Поэтому история русского народа и растворяется для них в истории Евразии как своеобразной среды и «месторазвития». Правда, сама территория изменяется <...> под «психическим и физическим давлением» населяющих её народов. Но вместе с тем именно территория является основным фактом и фактором исторического процесса.

<...> В евразийской морфологии исторических типов теряется проблема христианской философии истории. Схемы и типы заслоняют конкретную и трагическую судьбу. Евразийцы не пережили до конца тех старых уже русских дум о России, в которых превзойдена узость морфологизма и учтена его правда. Была скрытая, но вещая правда в том, что проблема русского своеобразия была поставлена сразу в виде антитезы России и Европы. Это случилось не только потому, что силой исторических превратностей Россия была брошена в душевные объятия Европы, что внутри самой России сложилась своя внутренняя «Европа», и русский исторический лик двоился. Смысл встречи России и Европы нельзя свести только на «тактическую» необходимость. Напротив, в таком толковании и заключалась основная опасность извращённого «европеизма». При «тактической» встрече душа, духовная природа Европы остаётся неузнанной и непонятой, — подлинная встреча не осуществляется, и потому не удаётся найти творческую меру соотношения с Европой. «Поворот» к

Европе был нужен и оправдывался не техническими потребностями, но единством религиозного задания и происхождения. В этом живом чувствѣ религиозной связанности и сопринадлежности России и Европы, как двух частей, как Востока и Запада, единого «христианского материка», была вещая правда старшего славянофильства, впоследствии с такою трагической силой и яркостью пережитая и выраженная Достоевским. В таком признании не только не стирается, но впервые чётко проводится твёрдая и ясная грань между православной Россией и неправославной Европой, — проводится не морфологическая только грань, но конкретная, религиозно-историческая с ясным сознанием, насколько в «морфологии» раскрывается внутренняя, свободно-духовная жизнь народов, насколько народы творчески ответственны за свою «морфологию», за свои строй и судьбу. Правда и непроходящая ценность славянофильской философии истории состоит в её ярком Христоцентрализме, в чуткой восприимчивости к подлинной исторической динамике, к динамике не только органических круговращений, но и творческого делания и греховного распада. Старшие славянофилы знали и чувствовали трагедию Запада, и болели ею и никогда не могли бы сказать, что Запад нам чужой, даже в его грехе и падении. И именно трагедии Запада евразийцы не замечают. Со спутанным и косным набором понятий подошли они к страдной проблеме России и Европы. И не смогли чётко поставить проблему её. <...> И остаётся до конца неясным, в чём для евразийства корень западноевропейской лжи, в национальной ограниченности или в уклонении злой воли. Иначе сказать, есть ли тот соблазн, о который в своём пути бесспорно преткнулся Европейский Запад, есть ли он исключительно западный соблазн, от которого по самому органическому сложению своему застрахован и предохранён Евразийский Восток; или это общий, хотя и многовидный соблазн, заложенный в самой динамике греховно-естественного человеческого строя и только подчёркнутый на Западе условиями времени и места... Евразийцы склоняются к первому ответу. <...> Евразийцы не понимают до

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

конца трагической судьбы Запада, не понимают вселенского смысла его падения и заблуждения, вселенского смысла «уроков отречённой веры». В небратском отчуждении евразийцы не видят, не чувствуют и не слышат живых, ищущих и страждущих западных людей, пусть слепых и даже злобных, но уже коснувшихся ризы Христовой, уже помазанных Его благодатью. Евразийцы предоставляют их свободе. В евразийстве нет чувства живой и конкретной религиозно-исторической круговой поруки, нет чувства ответственности за вручённую России правду Православия. Ересь и раскол вызывают в них отвращение, гнев и злобу, вместо жалости, боли и любви, всё долготерпящей. Они довольствуются сухим и как бы самодовольным требованием «покаяния». Есть здесь какая-то несправедливая самозамыкающаяся радость о счастливом обладании. Великая правда старших славянофилов была в их остром чувстве русской религиозно-культурной ответственности пред Западом. Россия должна и призвана ответить на западные вопросы. Русская мысль должна перестрадать западные соблазны, ибо это человеческие соблазны, соблазны призванного в Церковь человечества. Нельзя их обойти. Без искуса не закалится мысль. И соблазны снова придут, с незащищённой стороны. Есть некая тайна в том, что именно те, а не иные народы приняли христианство, хотя и не соблюли, не сохранили его. Не все земли открыли христианскому благовестию своё духовное лоно. Нельзя уменьшать ответственность каменистых душ. Но не следует впадать в самодовольство о чужой неправде... <...>

Россия не Европа, говорит Данилевский и повторяют евразийцы. Допустим и согласимся. Да, Россия не Европа, но по какому мерилу «не Европа»? В евразийском определении смешиваются географические, этнические, социологические, религиозные мотивы без ясного сознания их разнородности. «Россия не Европа», допустим и в известном смысле согласимся. Географически и биологически не так трудно провести западную границу России и, может быть, даже выстроить на ней стену. Вряд ли так же легко и просто разделить Россию и Европу в духовно-исторической

динамике; и вряд ли это нужно. Нужно твёрдо помнить, имя Христа соединяет Россию и Европу, как бы ни было оно искажено и даже поругано на Западе. Есть глубокая и не снятая религиозная грань между Россией и Западом, но она не устраняет внутренней мистико-метафизической их сопряжённости и круговой христианской поруки. Россия, как живая преемница Византии, останется православным Востоком для неправославного, но христианского Запада внутри единого культурно-исторического цикла.

Россия есть Евразия. Согласимся, но потребуем твёрдого и ясного определения этого удачного, но смутного имени. В нём есть двусмысленность, и сами евразийцы вкладывают в него разные смыслы. Евразия — это значит: ни Европа, ни Азия, — третий мир. Евразия — это и Европа и Азия, помесь или синтез двух с преобладанием последнего. Между этими пониманиями евразийцы колеблются. Геософически они довольно легко проводят обе границы, и западную, и восточную. Но в дальнейших планах восточная граница оставляется расплывчатой, и в пределы Евразии вводится слишком много Азии. Всегда есть нарост отращения к Европе и крен в Азию. О родстве с Азией, и кровном и духовном, евразийцы говорят всегда с подъёмом и даже упоением, и в этом подъёме тонут и русские и православные черты. <...> В евразийстве сложилась некая розовая сказка об язычестве, и в ней к тому же совершенно забыто коренное различие между «язычеством» дохристианским и «язычеством» послехристианским. Здесь ведь не одно хронологическое различие: в сохранении своего «языческого» облика после Христа исторические субъекты не только мистико-метафизически, но и эмпирически проявляют и упорно сопротивляются бесспорному противлению истине. <...>

5

Россия в развалинах. Разбито и растерзано её державное тело. Взбудоражена, и отравлена, и потрясена русская душа, и проходит по мытарствам огненного испытания, — и в них перегорают, переплавляется. Видно, не исполнилась

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ещё внутренняя мера, не истекли, не свершились ещё тайные времена и сроки. И вспоминаются мудрые слова одного из наших владык. «“Доколе, Господи!” — спрашиваем и не понимаем, что в нашей это воле, от нас зависит, от нашего подвига и смирения. Вот открылись на Руси дивные знаки Божия промысления — знамения, чудеса... И никто не расслышал, не понял их вешего смысла, — что бдит Господь о России... И знамения сокрылись... ещё рано... ещё не созрела, не готова наша душа»... Ибо только в ответе на дерзновение взыскующей веры, в ответе на подвиг духовного стяжания откроется Нечаянная Радость, — «сверлом Божией воли».

Есть соблазн тонкого маловерия в тоске нетерпеливого ожидания, — и в нём прикрывается лукавая уклончивость немощной воли. В русской смуте открылась снова и поставлена перед нами великая и жуткая задача духовного созидания и воссозидания. <...>

Но знаем и верим, пробуждается русская душа и в творческом самоотречении от своего дома прилепляется к Дому Божию. И не в умствованиях, и не в надрыве, но в бдении и подвиге восстанавливает его. Верим и знаем, Великая Россия воскреснет и восстановится тогда, и только тогда, когда воскреснем и восстанем мы в молитвенной силе. Ибо Россия, это — мы, каждый и все, хотя и больше она каждого и всех. Ибо каждый из нас в своём подвиге собирает и созидает Россию и в своей косности и падении разоряет и бесчестит её. Ибо каждое падение разлагает творимый народный дух, и в личных возрастаниях святится он и просветляется священнотайно. О семи праведниках миру стояние, и о семи злодеях приходит погибель ему. В самих себе, каждый и все в круговом общении и порuke, должны мы напряжением творческой воли строить и созидать новую Россию, не осуществлённую по нашей немощи и небрежению Святую и праведную Русь... И тогда воздвигнутся стены Иерусалимские! [Псалтирь, 50, 20]

«Современные записки». Париж, 1928. № 34. с. 312—346

П.Б. СТРУВЕ (1870—1944)

Великая Россия. Из размышлений о проблеме
русского могущества

Посвящается Н.Н. Львову

Одну из своих речей в Государственной думе, а именно программную речь по аграрному вопросу, П.А. Столыпин закончил следующими словами: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия»¹.

Мы не знаем, оценивал ли г. Столыпин всё то значение, которое заключено в этой формуле: «Великая Россия». Для нас эта формула звучит не как призыв к старому, а, наоборот, как лозунг новой русской государственности, государственности, опирающейся на «историческое прошлое» нашей страны и на живые «культурные традиции» и в то же время творческой и, как всё творческое, в лучшем смысле революционной.

Обычная, я бы сказал, банальная точка зрения благонамеренного, корректного радикализма рассматривает внешнюю политику и внешнюю мощь государства как досадные осложнения, вносимые расовыми, национальными или даже иными историческими моментами в подлинное содержание государственной жизни, в политику внутреннюю, преследующую истинное существо государства, его «внутреннее» благополучие.

С этой точки зрения всемирная история есть сплошной ряд недоразумений довольно скверного свойства.

Замечательно, что с банальным радикализмом в этом отношении совершенно сходится банальный консерватизм. Когда радикал указанного типа рассуждает: внешняя мощь государства есть фантом реакции, идеал эксплуататорских классов, когда он, исходя из такого понимания, во имя внутренней политики отрицает политику внешнюю, —

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

он, в сущности, рассуждает совершенно так же, как рассуждал В.К. фон Плеве. Как известно, фон Плеве был один из тех людей, которые толкали Россию на войну с Японией, толкали во имя сохранения и упрочения самодержавной бюрократической системы.

Государство есть «организм» — я нарочно беру это слово в кавычки, потому что вовсе не желаю его употреблять в доктринальном смысле так называемой органической теории — совершенно особого свойства.

Можно как угодно разлагать государство на атомы и собирать его из атомов, можно объявить его «отношением» или системой «отношений». Это не уничтожает того факта, что психологически всякое сложившееся государство есть как бы некая личность, у которой есть свой верховный закон бытия.

Для государства этот верховный закон его бытия гласит: **всякое здоровое и сильное, т.е. не только юридически «самодержавное» или «суверенное», но и фактически самим собой держащееся государство желает быть могущественным. А быть могущественным — значит обладать непременно «внешней» мощью.** Ибо из стремления государств к могуществу неизбежно вытекает то, что всякое слабое государство, если оно не ограждено противоборством интересов государств сильных, является в возможности (потенциально) и в действительности (de facto) добычей для государства сильного.

Отсюда явствует, на мой взгляд, как превратна та точка зрения, на которой банальный радикализм объединяется с банальным консерватизмом или, скорее, с реакционерством и которая сводится к подчинению вопроса о внешней мощи государства вопросу о так или иначе понимаемом его «внутреннем благополучии».

Русско-японская война и русская революция, можно сказать, до конца оправдали это понимание. Карой за подчинение внешней политики соображениям политики внутренней был полный разгром старой правительственной системы в той сфере, в которой она считалась наиболее сильной, в сфере внешнего могущества. А с другой сторо-

ны, революция потерпела поражение именно потому, что она была направлена на подрыв государственной мощи ради известных целей внутренней политики. Я говорю: «потому что», но, быть может, правильнее было бы сказать: «постольку, поскольку».

Таким образом, и в этой области параллелизм между революцией и старым порядком обнаруживается прямо поразительный!

Рассуждение банального радикализма следует поставить вверх ногами.

Отсюда получается тезис, который для обычного русского интеллигентского слуха может показаться до крайности парадоксальным.

Оселком и мерилom всей так называемой «внутренней» политики как правительства, так и партий должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта политика содействует так называемому внешнему могуществу государства?

Это не значит, что «внешним могуществом» исчерпывается весь смысл существования государства; из этого не следует даже, что внешнее могущество есть верховная ценность с государственной точки зрения; может быть, это так, но это вовсе не нужно для того, чтобы наш тезис был верен. Если, однако, верно, что всякое здоровое и держащееся самим собой государство желает обладать внешней мощью, то в этой внешней мощи заключается безошибочное мерило для оценки всех жизненных отправлений и сил государства, и в том числе и его «внутренней политики».

Относительно современной России не может быть ни малейшего сомнения в том, что её внешняя мощь подорвана. Весьма характерно, что руководитель нашей самой видной «националистической» газеты в новогоднем «маленьком письме» утешается тем, что нас никто в предстоящем году не обидит войной, так как мы «будем вести себя смиренно». Трудно найти лозунг менее государственный и менее национальный, чем это: «будем вести себя смиренно». Можно собирать и копить силы, но великий народ не может — под угрозой упадка и вырождения — сидеть сми-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

но среди движущегося вперёд, растущего в непрерывной борьбе мира. Давая такой пароль, наша реакционная мысль показывает, как она изумительно беспомощна перед проблемой возрождения внешней мощи России.

Для того чтобы решить эту проблему, нужно её поставить правильно, т.е. с полной ясностью и в полном объёме.

Хотящее воззрение обвиняет русскую внешнюю политику, политику «дипломатическую» и «военно-морскую», в том, что мы были не подготовлены к войне с Японией. Мне неоднократно, во время самой войны на страницах «Освобождения»² и позже, приходилось указывать, что ошибка нашей дальневосточной политики была гораздо глубже, что она заключалась не только в методах, но — что гораздо существеннее — в самых целях этой политики. У нас до сих пор не понимают, что наша дальневосточная политика была логическим венцом всей внешней политики царствования Александра III, когда реакционная Россия, по недостатку истинного государственного смысла, отвернулась от Востока Ближнего.

В перенесении центра тяжести нашей политики в область, недоступную реальному влиянию русской культуры, заключалась первая ложь нашей внешней политики, приведшей к Цусиме и Портсмуту. В трудностях ведения войны это сказалось с полной ясностью. Японская война была войной, которая велась на огромном расстоянии и исход которой решался на далёком от седалища нашей национальной мощи море. Этими двумя обстоятельствами, вытекшими из ошибочного направления всей приведшей к войне политики, определилось наше поражение.

Те же самые обстоятельства, которые в милитарном отношении обусловили конечный итог войны, определили полную бессмысленность нашей дальневосточной политики и в экономическом отношении. Осуществлять пресловутый выход России к Тихому океану с самого начала значило, в смысле экономическом, — *travailler pour l'empereur de Japon* [работать на японского императора (*фр.*)]. Успех в промышленном соперничестве на каком-нибудь рынке, при прочих равных условиях, определяется

условиями транспорта. Совершенно ясно, что, производя товары в Москве (подразумевая под Москвой весь московско-владимирский промышленный район), в Петербурге, в Лодзи (подразумевая под Лодзью весь польский район), нельзя за тысячи верст железнодорожного пути конкурировать не только с японцами, но даже с немцами, англичанами и американцами. <...> я категорически восставал против дискредитирования нашей армии на основании тех неудач, которые она терпела, и указывал на то, что политика задала армии, как своему орудию, задачу, по существу невыполнимую (в особенности резко выражено это было в передовой статье № 47 «Освобождения», от 2 мая 1904 г., где я писал: «Русская армия побеждала не раз, но, если она тут не победит, знайте, что перед ней была нелепая задача»).

Теперь пора признать, что для создания Великой России есть только один путь: направить все силы на ту область, которая действительно доступна реальному влиянию русской культуры. Эта область — весь бассейн Чёрного моря, т.е. все европейские и азиатские страны, «выходящие» к Чёрному морю.

Здесь для нашего неоспоримого хозяйственного и экономического господства есть настоящий базис: люди, каменный уголь и железо. На этом реальном базисе — и только на нём — неустанною культурною работой, которая во всех направлениях должна быть поддержана государством, может быть создана экономически мощная Великая Россия. Она должна явиться не выдумкой реакционных политиков и честолюбивых адмиралов, а созданием народного труда, свободного и в то же время дисциплинированного. В последнюю эпоху нашего дальневосточного «расширения» мы поддерживали экономическую жизнь Юга отчасти нашими восточными предприятиями. Отношение должно быть совершенно иное. Наш Юг должен излучать по всей России богатство и трудовую энергию. Из чёрноморского побережья мы должны экономически завоевать и наши собственные тихоокеанские владения.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Основой русской внешней политики должно быть, таким образом, экономическое господство России в бассейне Чёрного моря. Из такого господства само собой вытечет политическое и культурное преобладание России на всём так называемом Ближнем Востоке. Такое преобладание именно на почве экономического господства осуществимо совершенно мирным путем. Раз мы укрепимся экономически и культурно на этой естественной базе нашего могущества, нам не будут страшны никакие внешние осложнения, могущие возникнуть помимо нас.

В этой области мы будем иметь великолепную защиту в союзе с Францией и в соглашении с Англией, которое в случае надобности может быть соответствующим образом расширено и углублено. Историческое значение соглашения с Англией <...> в том и заключается, что оно, несмотря на свою кажущуюся новизну, по существу является началом возвращения нашей внешней политики домой, в область, указываемую ей и русской природой, и русской историей. С традициями, которые потеряли жизненные корни, необходимо рвать смело, не останавливаясь ни перед чем. Но традиции, которые держатся сильными, здоровыми корнями, следует поддерживать. К таким живым традициям относится вековое стремление русского племени и Русского государства к Чёрному морю и омываемым им областям. Донецкий уголь, о котором Пётр Великий сказал: «Сей минерал, если не нам, то нашим потомкам весьма полезен будет», — такой фундамент этому стремлению, который значит больше самых блестящих военных подвигов. Без всякого преувеличения можно сказать, что только на этом чёрном «минерале» можно основать Великую Россию.

Из такого понимания проблемы русского могущества вытекают важные выводы, имеющие огромное значение для освещения некоторых основных вопросов текущей русской политики. Это относится как к вопросам внутриполитическим, в том числе так называемым «национальным», а в сущности «племенным», так и к вопросам внешнеполитическим, с вытекающими из них проблемами

военно-морскими. Вся область этих вопросов освещается совершенно новым светом, если её рассматривать под углом зрения Великой России. Этот угол зрения позволяет видеть лучше и дальше, чем обычные позиции враждующих направлений и партий.

Сперва — о политике общества, а потом о политике власти.

Политика общества определяется тем духом, который общество вносит в своё отношение к государству. В другом месте я покажу, как, в связи с разными влияниями, в русском обществе развивался и разливался враждебный государству дух. Дело тут вовсе не в революции и «революционности» в полицейском смысле. Может быть, революция во имя государства и в его духе; таким революционером-государственником был Оливер Кромвель, самый мощный творец английского государственного могущества! **Враждебный государству дух сказывается в непонимании того, что государство есть «организм», который, во имя культуры, подчиняет народную жизнь началу дисциплины, основному условию государственной мощи.** Дух государственной дисциплины был чужд русской революции. Как носители власти до сих пор смешивают у нас себя с государством, так большинство тех, кто боролся и борется с ними, смешивали и смешивают государство с носителями власти. С двух сторон, из двух, по-видимому, противоположных исходных точек, пришли к одному и тому же противогосударственному выводу.

Это обнаружилось в «забастовочной» тактике, усвоенной себе русской революцией в борьбе с самодержавно-бюрократическим правительством. Основываясь на успехе, который имела стихийная «забастовка», повлёкшая за собой Манифест 17 октября, стали паралич хозяйственной жизни упражнять как тактический приём. Что означала эта «тактика»? — что средством в борьбе с «правительством» может быть разрушение народного хозяйства. Известный манифест Совета рабочих депутатов и примкнувших к нему организаций призывал прямо к разрушению государственного хозяйства.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Теперь должно быть ясно, что эти действия и лозунги не были «тактическими ошибками», «нерассчитанной» пробой сил и т.п. Они были внушены духом, враждебным государству как таковому, потому что они подрывали не правительство, а, ради подрыва правительства, разрушали хозяйственную основу государства и тем самым государственную мощь.

Эти действия и лозунги были внушены духом, враждебным культуре, ибо они подрывали самую основу культуры — дисциплину труда. Если можно в двух словах определить ту болезнь, которою поражён наш народный организм, то её следует назвать исчезновением или ослаблением дисциплины труда. В бесчисленных и многообразных явлениях жизни обнаруживается эта болезнь.

Политика общества и должна начать с того, чтобы на всех пунктах национальной жизни противогосударственному духу, не признающему государственной мощи и с нею не считающемуся, и противокультурному духу, отрицающему дисциплину труда, противопоставить новое политическое и культурное сознание.

Идеал государственной мощи и идея дисциплины народного труда — вместе с идеей права и прав — должны образовать железный инвентарь этого нового политического и культурного сознания русского человека.

Характеризуемая таким образом правильная политика общества есть проблема не тактическая, а идейная и воспитательная <...>. Великая Россия для своего создания требует от всего народа, и прежде всего от его образованных классов, признания идеала государственной мощи и начала дисциплины труда. Ибо созидать Великую Россию — значит созидать государственное могущество на основе мощи хозяйственной.

Политика власти начертана ясно идеалом Великой России. То состояние, в котором находится в настоящее время Россия, есть — приходится это признать с величайшей горечью — состояние открытой вражды между властью и наиболее культурными элементами общества. До событий революции власть могла ссылаться — хотя и фиктивно —

на сочувствие к ней молчальника-народа. После всего, что произошло, после первой и второй Думы, подобная ссылка невозможна. Разрыв власти с наиболее культурными элементами общества есть в то же время разрыв с народом. Такое положение вещей в стране глубоко ненормально; в сущности, оно есть тот червь, который всего сильнее подтачивает нашу государственную мощь. Неудивительно, что политика, которая упорно закрывает глаза на эту основную язву нашей государственности, вынуждена давать лозунг: «Будем вести себя смиренно». Государство, которое разьедаемо такой болезнью, может сказать ещё больше: «Будем умирать». Но государство сильного, растущего, хотя бы большого народа не может умереть. Оно должно жить.

Положение осложняется ещё разноплеменностью населения, составляющего наше государство. С одной стороны, если бы население России было одноплеменным, чисто русским, существование власти, находящейся в открытом разрыве с народом, вряд ли было бы возможно. С другой стороны, наших «инородцев» принято упрекать в том, что они заводчики революции. Объективно психологически следует признать, наоборот, что вся наша реакция держится на существовании в России «инородцев» и им питается. «Инородцы» — последний психологический ресурс реакции.

Из вопросов «инородческих» два самых важных — «еврейский» и «польский». Рассмотрим их с точки зрения проблемы русского могущества.

По отношению к вопросу «еврейскому» власть держится «политики страуса». Она не признаёт предмета, которого не желает видеть. Центр тяжести политического решения еврейского вопроса заключается в упразднении так называемой черты оседлости. С точки зрения проблемы русского могущества «еврейский вопрос» вовсе не так несуществен, как принято думать в наших *soitdisant* [так называемых (*фр.*) консервативных кругах <...>]. Если верно, что проблема Великой России сводится к нашему хозяйственному «расширению» в бассейне Чёрного моря, то для

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

осуществления этой задачи и вообще для хозяйственного подъёма России евреи представляют элемент весьма ценный. В том экономическом завоевании Ближнего Востока, без которого не может быть создано Великой России, преданные русской государственности и привязанные к русской культуре евреи прямо незаменимы в качестве пионеров и посредников (любопытно, что это недавно доказывалось в весьма обстоятельной статье официального «Вестника финансов». См. статью «Ближневосточные рынки» в № 45 за 1907 г.). Таким образом, нам, ради Великой России, нужно создавать таких евреев и широко ими пользоваться. Очевидно, что единственным способом для этого является последовательное и лояльное осуществление «эмансипации» евреев. По существу, среди всех «инородцев» России — несмотря на все антисемитические вопли — нет элемента, который мог бы легче, чем евреи, быть поставлен на службу русской государственности и ассимилирован с русской культурой.

С другой стороны, нельзя закрывать себе глаза на то, что такая реформа, как «эмансипация» евреев, может совершиться с наименьшим психологическим трением в атмосфере общего хозяйственного подъёма страны. Нужно, чтобы создался в стране такой экономический простор, при котором все чувствовали бы, что им находится место «на пиру жизни». Разрешение «еврейского вопроса», таким образом, неразрывно связано с экономической стороной проблемы Великой России: «эмансипация» евреев психологически предполагает хозяйственное возрождение России, а с другой стороны, явится одним из орудий создания хозяйственной мощи страны.

«Польский вопрос», с той точки зрения, с которой мы разбираем здесь вообще вопросы русской государственности, является вопросом политическим или международно-политическим *par excellence* [преимущественно (*фр.*)]. Что бы там ни говорили, в хозяйственном отношении Царство Польское нуждается в России, а не наоборот. Русским экономически почти нечего делать в Польше. Россия же для Польши — её единственный рынок.

<...> Обладание Царством Польским есть для России вопрос не национального самосохранения, а политическо-могущества.

Польская политика России с этой точки зрения должна быть совершенно ясна. Опираясь на экономическую прикреплённость Польши к России, мы должны воспользоваться её принадлежностью к Империи, для того чтобы через неё скрепить наши естественные связи со славянством вообще и западным в частности. Польская политика должна служить нашему сближению с Австрией, которая теперь является по преимуществу державой славянской. Либеральная польская политика в огромной степени подымет наш престиж в славянском мире и психологически совершенно естественно создаст, впервые в истории, моральную связь между нами и Австрией как государством.

В экономическом отношении мы будем даже конкурентами на Ближнем Востоке, но эта конкуренция будет смягчаться и сглаживаться морально-политической солидарностью.

Такова та положительная миссия, которая принадлежит разумной польской политике России в деле укрепления её внешней мощи. Но гораздо важнее её отрицательная миссия или функция. Всякое здоровое, сильное государство — сказали мы выше — желает быть могущественным. Австрия, с великой избирательной реформой, вступила в период своего внутреннего укрепления, которое будет означать и рост внешней мощи Австро-Венгрии. Славянский характер Австрии вовсе не гарантирует нас от нападения с её стороны, если мы будем оставаться слабы, так же как культурное и политическое преобладание германского элемента в Австрии до 1866 г. не спасло её от разгрома Пруссией. Если русская Польша будет по-прежнему очагом недовольства, имеющим теснейшую морально-культурную связь с австрийскими поляками, если Россия, вместо того чтобы экономически и культурно укрепляться в бассейне Чёрного моря, будет строить ни для чего не нужный линейный флот, предназначенный для Балтийского

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

моря и Тихого океана, в один прекрасный день в Европе на западной границе может назреть для нас великая беда.

Теперь ещё идея борьбы не на живот, а на смерть с поляками торжествует в Пруссии, но дни её сочтены. Идея эта свершит свой круг, и — хотя бы ради сохранения своей entente [соглашение (*фр.*)] с Австрией — Германия принуждена будет отказаться от своей польской политики. Не следует также упускать из виду, что вообще крушение реакции и торжество либерализма во внутренней политике Германии должно наступить с безошибочностью естественного процесса. В этот момент, если мы не разрешим своего «польского вопроса», не создадим по всей линии и во всей стране действительного прочного примирения власти с народом, мы можем и неизбежно получим жестокий удар уже не с Востока, а с Запада.

У нас в широкой публике, а также в военных сферах существует к Австрии такое же легкомысленное отношение, какое до войны было к Японии. Мы склонны упиваться суворовской фразой: «Австрийцы имеют проклятую привычку быть всегда битыми», и можем на собственном теле испытать всю условность подобных афоризмов. Неудачная война с Австрией — при недоброжелательном нейтралитете Германии — в лучшем случае будет иметь для России своим результатом потерю Царства Польского, которое отойдёт к Австрии, и потерю Прибалтийского края, который отойдёт к Германии. Если обладание русской Польшей не нужно и совершенно неинтересно для Германии, то этого нельзя сказать о Прибалтийском крае. Войдя в состав Германской империи, он сравнительно легко может быть завоёван или, в известном смысле, отвоёван для германской культуры. Латыши и эсты будут либо германизованы, либо оттеснены на территорию России, куда они и без того до сих пор выселяются в значительном числе.

Я вовсе не сомневаюсь в полнейшем миролюбии Германии и Австрии и их правительств. Но следует же понимать, что столкновения государств между собой в основе вытекают из конфликтов интересов и из соотношений

могущества, а вовсе не из международного бретёрства правительств. Мы должны были бы научиться этому из опыта нашей войны с Японией. Не говоря уже о Бисмарке, даже Наполеон III не был вовсе политическим бретёром.

Можно сказать, что все нарисованные нами перспективы суть только комбинации и предположения. Но то, что слабые государства делаются добычей государств более сильных, если не ограждены противоборством их интересов, — это уже не комбинация. Это своего рода «закон истории». А в столкновении слабой России с сильной Австро-Венгрией, при недоброжелательном к нам нейтралитете заинтересованной в нашем поражении Германии, ни один палец в Европе не пошевелится в нашу защиту.

Может ли явиться повод для такого столкновения? Мы ведь в наилучших отношениях и с Австрией, и с Германией. С первой мы вместе действуем на Балканах, как главные великие державы, заинтересованные в турецких делах. Неужели из кооперации может возникнуть конфликт? По этому поводу достаточно, на справку, напомнить, что конфликту Пруссии с Австрией предшествовала кооперация этих государств против Дании, что войне Японии с Россией предшествовала наша с Японией кооперация против Китая.

Повод всегда найдётся, если будет продолжаться ослабление государственной мощи России, которое есть неизбежный результат того, что за разрухой японской войны и революции следует не возрождение страны конституцией, а разложение её реакцией.

Сигнализировать вовремя эту опасность перед общественным сознанием есть патриотический долг независимой русской печати. Мы можем ошибаться в том или другом конкретном указании, но суть нашего анализа — увы! — соответствует действительному положению вещей.

Из международно-политических перспектив, которые мы начертали, вытекает тот вывод, что наша «внутренняя» политика должна быть поставлена так, чтобы — без ущер-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ба для наших интересов, нашей мощи и нашего достоинства — психологически устранить самую возможность войны с Австро-Венгрией или (худший для нас случай!) войны с Австро-Венгрией и Германией. Конечно, Россия может просто добровольно сделаться вассалом или сателлитом Германии, но только — пожертвовав исторической миссией, мощью и достоинством государства. Такой выход будет мнимым решением проблемы Великой России. Ключ к действительному её решению лежит в урегулировании русско-польских отношений.

Тут обычно выдвигается пугало Германии. Германия-де не потерпит либерального решения «польского вопроса». Не говоря уже о том, что принципиально никакое вмешательство в наши внутренние дела нетерпимо, гораздо важнее то, что одна Германия без Австро-Венгрии ничего против России предпринять не может. Против Германии, если она не в союзе с Австро-Венгрией, Россия, даже без всяких формальных союзов и соглашений, *ipso facto* [в силу самого факта (*лат.*)] существующего противоборства интересов, имеет за себя и Францию (первоклассная сухопутная держава!) и Англию (решающая сила на море!).

Из сказанного выше следует, что неурегулированность «польского вопроса», стоящая вообще в связи с реакционным характером нашей внутренней политики, ставит нас совершенно *a la merci* [в подчинение (*фр.*)] Германии. Мы либо вынуждены в международных делах и внутренней политике слепо, как вассал, следовать ей, либо будем всегда находиться под угрозой того, что в удобный и желательный для себя момент она выдвинет против нас Австро-Венгрию. Не следует — повторяем — в этом случае предаваться иллюзиям, что славянский характер Австро-Венгрии гарантирует нас от такого оборота дел. Пока мы не ведём настоящей славянской политики, пока мы держим Польшу в «подвластном» положении, пока мы не исполняем своей исторической миссии на Чёрном море, где находится естественная экономическая основа Великой России, — Австро-Венгрия, даже как славянская держава или, вернее, именно как таковая, обязана стремиться к «расширению» на наш счёт.

А Германия из двух возможностей, каковыми являются: 1) одновременный политический рост двух славянских держав, Австро-Венгрии и России, и 2) возвышение на счёт России Австро-Венгрии, во всяком случае менее славянской, гораздо ближе стоящей к германскому миру державы, — из этих двух политических возможностей Германия обязана, повинаясь здравому государственному эгоизму, выбрать вторую, для неё гораздо более выгодную.

Не следует также думать, что Германия, держава консервативная со строго «легитимными» традициями, будет, вопреки своим государственным интересам, церемониться с консервативной Россией. С «легитимными» традициями современной Германии дело обстоит весьма своеобразно. Несмотря на весь свой прусский легитимизм, Бисмарк упразднил несколько весьма легитимных немецких тронов — и гессен-дармштадтский трон уцелел в разгроме 1866 г. исключительно благодаря заступничеству Александра II! — и в борьбе с Австрией не смущался даже перспективой союза с венгерской революцией.

Всякая истинно государственная политика, хотя бы она и была во внутренних вопросах весьма консервативна, в борьбе за могущество не останавливается перед такими мелочами, как «легитимность».

<...> Великой России, на настоящем уровне нашего экономического развития, необходимы сильная армия и такой флот, который давал бы нам возможность десанта на любом пункте Чёрного моря и в то же время абсолютно обеспечивал бы нас от вражеского десанта в этой области. Другими словами, мы должны быть господами на Чёрном море. Совершенно ясно, что это осуществимо только при том условии, если мы из числа крупных морских держав будем иметь своим противником там в худшем случае одну Германию, против которой у нас будет всегда «покрытие» в лице Англии и Франции. Против Англии мы и там бороться никогда не сможем. Но ведь вообще реальная политика утверждения русского могущества на Чёрном море неразрывно связана с прочным англо-русским соглашением, которое для нас не менее важно, чем фран-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ко-русский союз. Вообще это соглашение и этот союз суть безусловно необходимые внешние гарантии создания Великой России.

Внутреннее содержание этой проблемы может быть дано только сочетанием правильной внешней политики с разумным разрешением наших внутренних вопросов.

Интеллигенция страны должна пропитаться тем духом государственности, без господства которого в образованном классе не может быть мощного и свободного государства.

«Правящие круги» должны понять, что если из великих потрясений должна выйти Великая Россия, то для этого нужен свободный, творческий подвиг всего народа. В народе, пришедшем в движение, в народе, конституция которого родилась вовсе не из навеянного извне радикализма, а из потрясённого тяжкими государственными уронами патриотического духа, — в этом народе нельзя уже ничего достигнуть простым приказом власти. Из скорбного исторического опыта последних лет народ наш вынес понимание того, что государство есть личность «соборная» и стоит выше всякой личной воли. Это огромное неопценное и неистребимое приобретение и оправдание пережитых нами «великих потрясений».

Теперь задача истинных сторонников государственности заключается в том, чтобы понять и расценить все условия, созидающие мощь государства. Только государство и его мощь могут быть для настоящих патриотов истинной путеводной звездой. Остальное — «блуждающие огни».

Государственная мощь невозможна вне осуществления национальной идеи. Национальная идея современной России есть примирение между властью и проснувшимся к самосознанию и самодеятельности народом, который становится нацией. Государство и нация должны органически срастись.

В новейшей европейской истории есть замечательный и поучительный пример такого сращения.

В [18]60-х годах между нацией и властью в руководящей германской державе Пруссии возгорелся жесточай-

ший конфликт, грозивший политической катастрофой. Власть, благодаря Бисмарку, вышла победительницей из этого конфликта, овладев национальной идеей, чего не сумели сделать ни Стюарты в Англии, ни Бурбоны во Франции. Победа власти, однако, не была ни унижением народа, ни разрушением права. Величие Бисмарка как государственного деятеля заключалось, между прочим, в том, что он никогда не смешивал государство ни с какими лицами. Власть и народ примирились на осуществлении национальной идеи, и объединённая Германия, утверждающая свою внешнюю мощь, сумела органически сочетать исторические традиции с новыми государственными учреждениями на демократической основе всеобщего избирательного права.

Объединение Германии под предводительством Пруссии, выбрасывающей Австрию из Германии и затем набрасывающейся на Францию и отнимающей у неё завоевания Людовика XIV, было рядом событий, в которых и современник, и всякий изучающий их теперь не может не чувствовать действия какой-то роковой силы.

У Бисмарка, когда он ковал германскую империю, вовсе не было готового, до подробностей выработанного плана. Творец событий, он в то же время был влеком ими. Но он по крайней мере в каждый данный момент выполнял свою волю и осуществлял дорогую ему идею. О Вильгельме I нельзя сказать даже этого. Прусский король, если бы дела совершались по его воле, никогда бы не был германским императором. Но он должен был стать им. Самая незаметная и в то же время самая трудная и почётная борьба, которую вёл Бисмарк во имя государства, велась им не против оппозиции парламента, не против внешнего врага и его дипломатии, а против главы государства. И он, а с ним вместе и германская государственность оказались победителями в этой борьбе.

Такова сила национальной идеи, нашедшей себе орудие в государстве, которое стремится увеличить свою мощь. Или, наоборот, такова сила государства, поставившего себе на службу национальную идею. Это — две

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

силы, которые, для того чтобы перевернуть судьбы народов, должны найти одна другую и действовать в полном союзе.

<...> Государство должно быть революционно, когда и поскольку этого требует его могущество. Государство не может быть революционно, когда и поскольку это подрывает его могущество.

Это «закон», который властвует одинаково и над династиями, и над демократиями. Он низвергает монархов и правительства; и он же убивает революции.

*

Понять это — значит понять государство в его истинном существе, заглянуть ему в лицо, которое, как лик Петра Великого, по слову величайшего русского поэта, «прекрасно» и «ужасно».

Только если русский народ будет охвачен духом истинной государственности и будет отстаивать её смело в борьбе со всеми её противниками, где бы они ни укрывались, — только тогда, на основе живых традиций прошлого и драгоценных приобретений живущих и грядущих поколений, будет создана Великая Россия.

«Русская Мысль». 1908. № 1

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Государственная Дума. Стенографический отчет. Сессия II, заседание 36, 10. V. 1907 г. (примечание П.Б. Струве).
- ² Журнал «Освобождение» он возглавлял с 1902 по 1905 год, когда после Манифеста 17 октября вернулся из эмиграции.

И.А. ИЛЬИН (1882—1954)

О расчленителях России

У национальной России есть враги. Их не мало называть по именам: ибо мы знаем их и они знают сами себя. Они появились не со вчерашнего дня, и дела их всем известны из истории.

Для одних национальная Россия слишком велика, народ её кажется им слишком многочисленным, намерения и планы её кажутся им тревожно-загадочными и, вероятно, «завоевательными»; и самое «единство» её представляется им угрозой. Малое государство часто боится большого соседа, особенно такого, страна которого расположена слишком близко, язык которого чужд и непонятен, и культура которого инородна и своеобразна. Это противники — в силу слабости, опасения и неосведомлённости.

Другие видят в национальной России — соперника, правда, ни в чём и никак не посягающего на их достояние, но «могущего, однажды, захотеть посягнуть» на него, или слишком успешным мореплаванием, или сближением с восточными странами, или же торговой конкуренцией! Это недоброхоты — по морскому и торговому соперничеству.

Есть и такие, которые сами одержимы завоевательными намерениями и промышленной завистью: им завидно, что у русского соседа большие пространства и естественные богатства; и вот они пытаются уверить себя и других, что русский народ принадлежит к низшей, полуварварской расе, что он является не более чем «историческим навозом» и что «сам Бог» предназначил его для завоевания, покорения и исчезновения с лица земли. Это враги — из зависти, жадности и властолюбия.

Но есть и давние религиозные недруги, не находящие себе покоя оттого, что русский народ упорствует в своей «схизме» или «ереси», не приемлет «истины» и «покорности» и не поддаётся церковному поглощению. А так как крестовые походы против него невозможны и на костёр его не возведёшь, то остаётся одно: повергнуть его в глубочайшую смуту, разложение и бедствия, которые и будут для него или «спасительным чистилищем», или же «железной метлой», выметающей Православие в мусорную яму истории. Это недруги — из фанатизма и церковного властолюбия.

Наконец, есть и такие, которые не успокоятся до тех пор, пока им не удастся овладеть русским народом через

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

малозаметную инфильтрацию его души и воли, чтобы привить ему под видом «терпимости» — безбожие, под видом «республики» — покорность закулисным мановениям и под видом «федерации» — национальное обезличие. Это зложелатели — закулисные, идущие «тихой сапой» и наиболее из всех сочувствующие советским коммунистам, как своему («несколько пересаливающему») авангарду.

Не следует закрывать себе глаза на людскую вражду, да ещё в исторически-мировом масштабе. Неумно ждать от неприятелей — доброжелательства. Им нужна слабая Россия, изнемогающая в смутах, в революциях, в гражданских войнах и в расчленении. Им нужна Россия с убывающим народонаселением, что и осуществляется за последние 32 года. Им нужна Россия безвольная, погружённая в несущественные и нескончаемые партийные распри, вечно застревающая в разногласии и многоволении, не способная ни оздоровить свои финансы, ни провести военный бюджет, ни создать свою армию, ни примирить рабочего с крестьянином, ни построить необходимый флот. Им нужна Россия расчленённая, по наивному «свободолюбию» согласная на расчленение и воображающая, что её «благо» — в распадении.

Но единая Россия им не нужна.

Одни думают, что Россия, расколовшаяся на множество маленьких государств (например, по числу этнических групп или подгрупп!), перестанет висеть вечной угрозой над своими «беззащитными» европейскими и азиатскими соседями. Это выговаривается иногда открыто. И ещё недавно, в тридцатых годах, один соседний дипломат уверял нас, что такое саморасчленение «бывшей России» по этническим группам будто бы уже подготовлено подпольными переговорами за последние годы и начнётся немедленно после падения большевиков. Другие уверены, что раздробленная Россия сойдет со сцены в качестве опасного, — торгового, морского и имперского, — конкурента; а затем можно будет создать себе превосходные «рынки» (или рыночки) и среди маленьких народов, столь отзывчивых на иностранную валюту и на дипломатическую интригу.

Есть и такие, которые считают, что первую жертвою явится политически и стратегически бессильная Украина, которая будет в благоприятный момент легко оккупирована и аннексирована с запада; а за нею быстро созреет для завоевания и Кавказ, раздробленный на 23 маленькие и вечно враждующие между собой республики.

Естественно, что религиозные противники национальной России ожидают себе полного успеха от всероссийского расчленения: во множестве маленьких «демократических республик» воцарится, конечно, полная свобода религиозной пропаганды и конфессионального совращения, «первенствующее» исповедание исчезнет, всюду возникнут дисциплинированные клерикальные партии и работа над конфессиональным завоеванием «бывшей России» закипит. Для этого уже готовится целая куча искушённых пропагандистов и вороха неправдивой литературы.

Понятно, что и закулисные организации ждут себе такого же успеха от всероссийского расчленения: среди обнищавшего, напуганного и беспомощного русского населения инфильтрация разольётся неудержимо, все политические и социальные высоты будут захвачены тихой сапой и скоро все республиканские правительства будут служить «одной великой идее»: безыдейной покорности, безнациональной цивилизации и безрелигиозного псевдобратства.

Кому же из них нужна единая Россия, это великое «пугало» веков, этот «давящий» государственный и военный массив, с его «возмутительным» национальным эгоизмом и «общепризнанной» политической «реакционностью». Единая Россия есть национально и государственно-сильная Россия, блюдущая свою особливую веру и свою самостоятельную культуру: всё это решительно не нужно её врагам. Это понятно. Это надо было давно предвидеть.

Гораздо менее понятно и естественно, что эту идею расчленения, обессиления и, в сущности, ликвидации исторически-национальной России, ныне стали выговаривать люди, родившиеся и выросшие под её крылом, обязанные ей всем прошлым своего народа и своих личных предков,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

всем своим душевным укладом и своей культурой (по-скольку она вообще им присуща). Голоса этих людей иногда звучат просто слепым и наивным политическим доктринёрством <...>. Но иногда эти голоса, как ни страшно сказать, проникнуты сущей ненавистью к исконной исторически-сложившейся России и формулы, произносимые ими, звучат безответственной клеветой на неё <...>.

8 сентября 1949 г.

Что сулит миру расчленение России

I

1. Беседуя с иностранцами о России, каждый верный русский патриот должен разъяснить им, что Россия есть не случайное нагромождение территорий и племён и не искусственно слаженный «механизм» «областей», но живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению. Этот организм есть географическое единство, части которого связаны хозяйственным взаимопитанием: этот организм есть духовное, языковое и культурное единство, исторически связавшее русский народ с его национально-младшими братьями духовным взаимопитанием; он есть государственное и стратегическое единство, доказавшее миру свою волю и свою способность к самообороне; он есть сущий оплот европейски-азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия. Расчленение его явилось бы невиданной ещё в истории политической авантюрой, гибельные последствия которой человечество понесло бы на долгие времена.

Расчленение организма на составные части нигде не давало и никогда не даст ни оздоровления, ни творческого равновесия, ни мира. Напротив, оно всегда было и будет болезненным распадом, процессом разложения, брожения, гниения и всеобщего заражения. И в нашу эпоху в этот процесс будет втянута вся вселенная. Территория России закипит бесконечными распрями, столкновениями и

гражданскими войнами, которые будут постоянно перерастать в мировые столкновения. Это перерастание будет совершенно неотвратимым в силу одного того, что державы всего мира (европейские, азиатские и американские) будут вкладывать свои деньги, свои торговые интересы и свои стратегические расчёты в нововозникшие малые государства; они будут соперничать друг с другом, добиваться преобладания и «опорных пунктов»; мало того, — выступят империалистические соседи, которые будут покушаться на прямое или скрытое «аннексирование» неустроенных и незащищённых новообразований (Германия двинется на Украину и Прибалтику, Англия покусится на Кавказ и на Среднюю Азию, Япония — на дальневосточные берега и так далее). Россия превратится в гигантские «Балканы», в вечный источник войн, в великий рассадник смут. Она станет мировым бродилом, в которое будут вливаться социальные и моральные отбросы всех стран («инфильтранты», «оккупанты», «агитаторы», «разведчики», революционные спекулянты и «миссионеры») — все уголовные, политические и конфессиональные авантюристы вселенной. Расчлененная Россия станет неизлечимую язвою мира.

2. Установим сразу же, что подготовляемое международно закулисою расчленение России не имеет за себя ни малейших оснований, никаких духовных или реально политических соображений, кроме революционной демагогии, нелепого страха перед единой Россией и застарелой вражды к русской монархии и к Восточному Православию. Мы знаем, что западные народы не понимают и не терпят русского своеобразия. Они испытывают единое Русское государство как плотину для их торгового, языкового и завоевательного распространения. Они собираются разделить всеединый российский «веник» на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести её через западное уравнение и развязание и тем погубить её: план ненависти и властолюбия.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

3. Напрасно они ссылаются при этом на великий принцип «свободы»: «национальная свобода» требует-де «политической самостоятельности»... Никогда и нигде племенное деление народов не совпадало с государственным. Вся история даёт тому живые и убедительные доказательства. Всегда были малые народы и племена, неспособные к государственному самостоянию: проследите тысячелетнюю историю армян, народа темпераментного и культурно-самобытного, но не государственного; и далее, спросите — где самостоятельные государства фламандцев (4,2 милл. — в Бельгии, 1 милл. — в Голландии) или валлонов (4 милл.)? Почему не суверенны уэльские кимры и шотландские гэлы (0,6 милл.)? Где государства кроатов (3.000.000), словенцев (1.260.000), словаков (2,4 милл.), вендов (65.000)? Французских басков (170.000), испанских басков (450.000), цыган (до 5 милл.), швейцарских лодинов (45.000), испанских каталонцев (6 милл.), испанских галлегосов (2,2 милл.), курдов (свыше 2 милл.) и многого множества других азиатских, африканских, австралийских и американских племён?

Итак, племенные «швы» Европы и других материков совершенно не совпадают с государственными границами. Многие малые племена только тем и спаслись в истории, что примыкали к более крупно-сильным народам, государственным и толерантным: отделить эти малые племена значило бы или передать их новым завоевателям и тем окончательно повредить их самобытную культурную жизнь, или погубить их совсем, что было бы духовно разрушительно, хозяйственно разорительно и государственно нелепо. Вспомним историю древней Римской империи, — это множество народов «включённых», получивших права римского гражданства, самобытных и ограждённых от варваров. А современная Великобританская империя? И вот именно таково же культуртрегерское задание единой России.

Ни история, ни современное правосознание не знают такого правила: «сколько племён, столько государств». Это есть новоизобретённая, нелепая и гибельная доктрина

на; и ныне она выдвигается именно для того, чтобы расчленить единую Россию и погубить её самобытную духовную культуру.

II

4. Далее, пусть не говорят нам о том, что «национальные меньшинства» России стояли под гнётом русского большинства и его государей. Это вздорная и ложная фантазия. Императорская Россия никогда не денационализовала свои малые народы, в отличие хотя бы от германцев в Западной Европе.

Дайте себе труд заглянуть в историческую карту Европы эпохи Карла Великого и первых Каролингов (768 — 843 по Р. Х.). Вы увидите, что почти от самой Дании, по Эльбе и за Эльбой (славянская «Лаба»!), через Эрфурт к Регенсбургу и по Дунаю — сидели славянские племена: абодриты, лютичи, линоны, гевслы, редарии, укры, поморяне, сорбы и много других. Где они все? Что от них осталось? Они подверглись завоеванию, искоренению или полной денационализации со стороны германцев. Тактика завоевателя была такова: после военной победы в стан германцев вызывался ведущий слой побеждённого народа; эта аристократия вырезывалась на месте; затем обезглавленный народ подвергался принудительному крещению в католицизм, несогласные убивались тысячами; оставшиеся принудительно и бесповоротно германизировались. «Обезглавление» побеждённого народа есть старый общегерманский приём, который был позднее применён и к чехам, а в наши дни — опять к чехам, полякам и русским (для чего и внедрены были в Россию большевики с их терро-ром).

Видано ли, слыхано ли что-нибудь подобное в истории России? Никогда и нигде! Сколько малых племён Россия получила в истории, столько она и соблюла. Она выделяла, правда, верхние слои присоединённых племён, но лишь для того, чтобы включить их в свой имперский верхний слой. Ни принудительным крещением, ни искоренением,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ни всеуравнивающим обрусением она никогда не занималась. Насильственная денационализация и коммунистическая уравниловка появились только при большевиках.

И вот доказательство: население Германии, поглотившей столько племён, доведено посредством беспощадной денационализации до всегерманской однородности, а в России общие переписи установили сначала свыше ста, а потом до ста шестидесяти различных языковых племён и до тридцати различных исповеданий. И господа расчленители забывают, что племенной состав для затеваемого ими политического расчленения соблюла именно императорская Россия.

Вспомним хотя бы историю немецких колонистов в России. Подверглись ли они за 150 лет денационализации? Они переселились на Волгу и в южную Россию во второй половине XVIII века и позже (1765—1809) в числе 40—50 тысяч. К началу XX века это был богатейший слой российского крестьянства числом около 1.200.000 человек. Все соблюли свой язык, свои исповедания, свои обычаи. И когда, доведённые экспроприацией большевиков до отчаяния, они хлынули назад в Германию, то немцы с изумлением услышали в их устах исконные — голштинские, вюртембергские и иные — диалекты. Все сообщения о принудительной русификации были этим опровергнуты и посрамлены.

Но политическая пропаганда не останавливается и перед явной ложью.

5. Далее, надо установить, что самое расчленение России представляет задачу территориально неразрешимую. Императорская Россия не смотрела на свои племена как на дрова, подлежащие перебросу с места на место; она никогда не гоняла их по стране произвольно. Расселение их в России было делом истории и свободного оседания: это был процесс иррациональный, не сводимый ни на какие географические размежевания; это был процесс колонизации, ухода, переселения, рассеяния, смешения, уподобления, размножения и вымирания. Откройте дореволюционную этнографическую карту России (1900—1910), и вы

увидите необычайную пестроту: вся территория наша была испещрена маленькими национальными «островками», «ответвлениями», «окружениями», племенными «заливами», «проливами», «каналами» и «озёрами». Всмотритесь в это племенное смешение и учтите следующие оговорки: 1) все эти цветовые обозначения условны, ибо никто не мешал грузинам жить в Киеве или Петербурге, армянам — в Бессарабии или Владивостоке, латышам — в Архангельске или же на Кавказе, черкесам — в Эстонии, великороссам — повсюду и так далее; 2) поэтому все эти краски на карте обозначают не «исключительную», а только «преимущественную» племенную заселённость; 3) все эти племена за последние сто-двести лет вступали друг с другом в кровное смешение, причём дети от смешанных браков вступали в новые и новые племенные смешения; 4) учтите ещё дар русского духа и русской природы непринудительно и незаметно обрусевать людей иной крови, что и передается в южнорусской поговорке «Папа — турок, мама — грек, а я русский человек»; 5) распространите этот процесс на всю русскую территорию — от Аракса до Варангерской губы и от Петербурга до Якутска, и вы поймёте, почему провалилась большевистская попытка показным образом размежевать Россию на национальные «республики».

Большевикам не удалось отвести каждому племени его особую территорию потому, что все племена России разбросаны и рассеяны, кровно смешаны и географически перемешаны друг с другом.

Политически обособляясь, каждое племя претендует, конечно, на течение «своих» рек и каналов, на плодородную почву, на подземные богатства, на удобные пастбища, на выгодные торговые пути и на стратегические оборонительные границы, не говоря уже о главном «массиве» своего племени, как бы малочислен ни был этот «массив». И вот если мы отвлечёмся от малых и рассеянных племен, как то: вотяки, пермяки, зыряне, вогулы, остяки, черемисы, мордва, чуваша, ижора, тальшинцы, кзызцы, долгане, чуванцы, алеуты, лаки, табасаранцы, удины и другие,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

и взглянем только в национальную гущу Кавказа и Средней Азии, то мы увидим следующее.

Расселение более крупных и значительных племён в России таково, что каждое отдельное «государствице» должно было отдать свои «меньшинства» соседям и включить в свой состав обильные чужие «меньшинства». Так обстояло в начале революции в Средней Азии с узбеками, таджиками, киргиз-кайсаками и туркменами: здесь попытки политического размежевания вызвали только ожесточённое соперничество, ненависть и неповиновение. Так же обстояло и на Кавказе. Застарелая национальная вражда между азербайджанскими татарами и армянами требовала строгого территориального раздела, а этот раздел оказался совершенно неосуществимым: обнаружались большие территориальные узлы со смешанным населением, и только присутствие советских войск предотвращало взаимную резню. Подобные же большие узлы образовались при размежевании Грузии и Армении уже в силу одного того, что в Тифлисе, главном городе Грузии, армяне составляли почти половину населения, и притом наиболее зажиточную половину.

Понятно, что большевики, желавшие под видом «национальной самостоятельности» изолировать, денационализировать и интернационализировать российские племена, разрешали все эти задачи диктаториальным произволом, за которым скрывались партийно-марксистские соображения, и силою красноармейского оружия.

Так, национально-территориальное размежевание народов было делом искони безнадёжным.

III

6. Ко всему сказанному надо добавить, что целый ряд российских племён живёт донныне в состоянии духовной и государственно-политической малокультурности: среди них есть такие, что пребывают религиозно в самом примитивном шаманстве; вся «культура» сводится у многих к кустарным ремёслам; кочевничество далеко ещё не изжи-

то; не имея ни естественных границ своей территории, ни главных городов, ни своих письменных знаков, ни своей средней и высшей школы, ни своей национальной интеллигенции, ни национального самосознания, ни государственного правосознания, они (как это было известно русскому Императорскому Правительству и как это подтвердилось при большевиках) неспособны к самой элементарной политической жизни, не говоря уже о разрешении сложных задач судопроизводства, народного представительства, техники, дипломатии и стратегии. В руках большевиков они оказались политическими «куклами», надетыми на «пальцы» большевистской диктатуры: двигались эти пальцы — и несчастные куклы шевелились, кланялись, покорно разводили руками и лепетали партийно-марксистские пошлости. Демагогия и обман, экспроприация и террор, разрушение религии и быта выдавались за «национальный расцвет» российских меньшинств, а на Западе находились глупцы и продажные корреспонденты, которые воспевали это «освобождение народов».

Неизбежен вопрос: после отчленения этих племён от России — кто завладеет ими? Какая иностранная держава будет разыгрывать их и тянуть из них жизненные соки?

7. С тех пор протекли десятилетия большевистского произвола, голода и террора. С тех пор пронесся ураган Второй [мировой] войны и была проведена послевоенная «национальная чистка». <...> Вторая мировая война сдвинула с места всю западную половину Европейской России, уводя одних («украинцев», немецких колонистов, евреев) на восток к Уралу и за Урал, а других на запад, в качестве пленных «остарбейтеров», или беженцев <...>. Немцы заняли тогда русскую территорию с населением около 85 миллионов людей, массами расстреливали заложников и истребили около полутора миллионов евреев. Этот режим расстрелов и передвижений продолжался затем при большевиках после обратного занятия ими отвоёванных у них территорий. <...>

Всё это означает, что процесс вымирания, национальной перетасовки и племенного смешения достиг в России

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

за время революции небывалых размеров. Целые племена исчезли совсем или сведены к ничтожеству; целые губернии и области очнутся после революции с новым составом населения; целые уезды окажутся запустевшими. Все прежние планы и расчёты господ расчленивателей окажутся беспочвенными и несостоятельными. <...>

8. И тем не менее мы должны быть готовы к тому, что расчленители России попытаются провести свой враждебный и нелепый опыт даже и в послебольшевистском хаосе, обманно выдавая его за высшее торжество «свободы», «демократии» и «федерализма» — российским народам и племенам на погибель, авантюристам, жаждущим политической карьеры, на «процветание», врагам России на торжество. Мы должны быть готовы к этому, во-первых, потому, что германская пропаганда вложила стешком много денег и усилий в украинский (а может быть, и не только в украинский) сепаратизм; во-вторых, потому, что психоз мнимой «демократии» и мнимого «федерализма» охватил широкие круги пореволюционных честолюбцев и карьеристов; в-третьих, потому, что мировая закулиса, решившая расчленивать Россию, отступит от своего решения только тогда, когда её планы потерпят полное крушение.

IV

9. И вот когда после падения большевиков мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос лозунг «Народы бывшей России, расчленийтесь!», то откроются две возможности:

или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмёт в свои крепкие руки «бразды правления», погасит этот гибельный лозунг и поведёт Россию к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране;

или же такая диктатура не сложится, и в стране начнётся непредставимый хаос передвижений, возвращений, отмищений, погромов, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия.

Тогда Россия будет охвачена анархией и выдаст себя с головой своим национальным, военным, политическим и вероисповедным врагам. В ней сложится тот водоворот погромов и смуты, тот «Мальстрем нечисти», на который мы указали в пункте 1; тогда отдельные части её начнут искать спасения в «бытии о себе», то есть в расчленении.

Само собой разумеется, что этим состоянием анархии захотят воспользоваться все наши «добрые соседи»; начнутся всевозможные военные вмешательства под предлогом «самоограждения», «замирения», «водворения порядка» и так далее. Вспомнить 1917—1919 гг., когда только ленивый не брал плохо лежащее русское добро; когда Англия топила союзно-русские корабли под предлогом, что они стали «революционно опасными», а Германия захватила Украину и докатилась до Дона и Волги. И вот «добрые соседи» снова пустят в ход все виды интервенции: дипломатическую угрозу, военную оккупацию, захват сырья, присвоение «концессий», расхищение военных запасов, одиночный, партийный и массовый подкуп, организацию наёмных сепаратистских банд (под названием «национально-федеративных армий»), создание марионеточных правительств, разжигание и углубление гражданских войн по китайскому образцу. А новая Лига Наций попытается установить «новый порядок» посредством заочных (Парижских, Берлинских или Женевских) резолюций, направленных на подавление и расчленение национальной России.

Допустим на момент, что все эти «свободолюбивые и демократические» усилия временно увенчаются успехом и Россия будет расчленена. Что же даст этот опыт российским народам и соседним державам?

10. При самом скромном подсчёте — до двадцати отдельных «государств», не имеющих ни бесспорной территории, ни авторитетных правительств, ни законов, ни суда, ни армий, ни бесспорно национального населения. До двадцати пустых названий. Но природа не терпит пустоты. И в эти образовавшиеся политические ямы, в эти водовороты сепаратистской анархии хлынет человеческая порочность:

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

во-первых, вышколенные революцией авантюристы под новыми фамилиями; во-вторых, наймиты соседних держав (из русской эмиграции); в-третьих, иностранные искатели приключений, кондотьеры, спекулянты и «миссионеры» (перечитайте «Бориса Годунова» Пушкина и «Исторические хроники» Шекспира). Всё это будет заинтересовано в затягивании хаоса, в противорусской агитации и пропаганде, в политической и религиозной коррупции.

Медленно, десятилетиями будут слагаться новые, отпавшие или отчленённые государства. Каждое поведёт с каждым соседним длительную борьбу за территорию и за население, что будет равносильно бесконечным гражданским войнам в пределах России.

Будут появляться все новые жадные, жестокие и бессовестные «псевдогенералы», добывать себе «субсидии» за границей и начинать новую резню. Двадцать государств будут содержать 20 министерств (20x10, по меньшей мере 200 министров), двадцать парламентов (20x200, минимум 4000 парламентариев), двадцать армий, двадцать штабов, двадцать военных промышленности, двадцать разведок и контрразведок, двадцать полиций, двадцать таможенных и запретительных систем и двадцать всемирно разбросанных дипломатических и консульских представительств. Двадцать расстроенных бюджетов и монетных единиц потребуют бесчисленных валютных займов; займы будут даваться «державами» под гарантии — «демократического», «концессионного», «торгово-промышленного» и «военного» рода. **Новые государства окажутся через несколько лет сателлитами соседних держав, иностранными колониями или «протекторатами».** Известная нам из истории федеративная способность русского населения и столь же исторически доказанная тяга его к «самостоятельному фигурированию» — довершат дело: о федерации никто и не вспомнит, а взаимное ожесточение российских соседей заставит их предпочитать иноземное рабство всерусскому единению.

11. Чтобы наглядно вообразить Россию в состоянии этого длительного безумия, достаточно представить себе судьбу «Самостийной Украины».

Этому «государству» придётся прежде всего создать новую оборонительную линию от Овруча до Курска и далее через Харьков на Бахмут и Мариуполь. Соответственно должны будут «ощетиниться» фронтом против Украины и Великороссия, Донское Войско. Оба соседних государства будут знать, что Украина опирается на Германию и является её сателлитом; и что в случае новой войны между Германией и Россией немецкое наступление пойдёт с самого начала от Курска на Москву, от Харькова на Волгу и от Бахмута и Мариуполя на Кавказ. Это будет новая стратегическая ситуация, в которой пункты максимального донныне продвижения германцев окажутся их исходными пунктами. <...>

V

12. Из всего этого явствует, что план расчленения России имеет свой предел в реальных интересах России и всего человечества. Доколе ведутся отвлечённые разговоры, доколе политические доктринёры выдвигают «соблазнительные» лозунги, делают ставку из русских изменников и забывают империалистическую похоть предприимчивых соседей; доколе они считают Россию конченою и похороненною, а потому беззащитною, — дело её расчленения может представляться решённым и лёгким. Но однажды великие державы реализуют в воображении неизбежные последствия этого расчленения, и однажды Россия очнётся и заговорит; тогда решённое окажется проблематичным и лёгкое — трудным.

Россия как добыча, брошенная на расхищение, есть величина, которую никто не осилит, на которой все пересорятся, которая вызовет к жизни невероятные и неприемлемые опасности для всего человечества. <...>

Легкомысленно и неумно поступают враги России, «впрыскивая» российским племенам политически безумную идею расчленения. Эта идея расчленения европейских держав была однажды выдвинута на Версальском конгрессе (1918). Тогда она была принята и осуществлена.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

И что же?

В Европе появился ряд небольших и в самоотстаивании слабосильных государств: Эстония, Латвия и Литва; многоземельная, но неудобозащитимая Польша; стратегически безнадёжная, ибо всюду удобопроломимая и внутренне разъединённая Чехословакия; маленькая и разоружённая Австрия; урезанная, обиженная и обессиленная Венгрия; до смешного раздувшаяся и стратегически ничего не стоящая Румыния, — и не по-прежнему обширная, но по-новому оскорблённая, мечтающая о реванше Германия. С тех пор прошло тридцать лет, и когда мы теперь оглядываемся на ход событий, то невольно спрашиваем себя: может быть, версальские политики хотели приготовить для воинственной Германии обильную и незащищённую добычу — от Нарвы до Варны и от Брегенца до Барановичей? Ведь они превратили всю эту европейскую область в какой-то «детский сад» и оставили этих беззащитных «красных шапочек» наедине с голодным и обозлённым волком... Были ли они столь наивны, что надеялись на французскую «гувернантку», которая «воспитает» волка? Или они недооценили жизненную энергию и горделивые замыслы немцев? Или они думали, что Россия по-прежнему спасёт европейское равновесие, ибо воображали и уверяли себя, что Советское государство и есть Россия? Что ни вопрос, то нелепость...

Трудно теперь сказать, о чём именно эти господа тогда думали и о чём не думали. Ясно только, что приготовленное ими расчленение Европы, заключённой между германским и советским империализмом, было величайшей глупостью двадцатого века. К сожалению, эта глупость их ничему не научила и рецепт расчленения опять извлечён из дипломатических портфелей.

Но для нас поучительно, что европейские политики заговорили одновременно — о панъевропейском объединении и о всероссийском расчленении! Мы давно прислушиваемся к этим голосам. Ещё в двадцатых годах в Праге видные социалисты-революционеры публично проболтались об этом замысле, избегая слова «Россия» и заменяя

его описательным выражением «страны, расположенные к востоку от линии Керзона». Мы тогда же отметили эту многообещающую и, в сущности, изменническую терминологию и сделали соответствующий вывод: мировая закулиса хоронит единую национальную Россию...

Не умно это. Не дальновидно. Торопливо в ненависти и безнадёжно на века. Россия — не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своём призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно! Придёт исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!

Часть IV

НАРОД И ОБЩЕСТВО,
ВЛАСТЬ И ПРАВО

ЦИТАТЫ: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

...Если не верить силам государства и силам государственности, то тогда, господа, конечно, нельзя ни законодательствовать, ни управлять.

П.А. Столыпин

Довольно с нас лжепрогресса, лжепросвещения, лжекультуры; не дай нам Бог дожить до лжесвободы и лжеконституции. Последняя ложь была бы горше первых.

*

Все современные недуги Русской земли сводятся к одному: наш государственный строй нам не по силам и не по возрасту; государство потребляет больше, чем вырабатывает земля, и мало-помалу заедает землю. <...> Мы знаем по опыту, что где конституционная форма возникает не как самородный плод свободного развития народной жизни, а заимствуется извне, как готовая форма, как покрой платья, — там прямое и неизбежное её последствие: усиление централизации, не только административной, — в области правительственной, но и умственной — в развитии народного просвещения. Одна точка, один город делается самодержавным властелином целой земли. Туда, к этому средоточию политического движения, устремляются массы народа, капиталов, способностей, привлечённых заманчивой деятельностью на видном поприще; а между тем областная жизнь замирает, самодеятель-

ность оскудевает, и мало-помалу всё подпадает общей зависимости от направления, дайного свыше. Первоначально централизация устанавливается вследствие этого сильного прилива народных сил к одному средоточию; потом она усиливается поневоле, вследствие постепенного истощения всего организма, как единственное средство восполнить пустоту и мертвенность в его оконечностях.

Ю. Ф. Самарин

Горький исторический опыт показывает, что демократы, как скоро получают власть в свои руки, превращаются в тех же бюрократов, на коих прежде столь сильно негодовали, становятся тоже властными распорядителями народной жизни, отрешёнными от жизни народной, не только не лучше, но иногда ещё и хуже прежних чиновников.

*

Власть *не для себя* существует, но ради Бога, и есть *служение*, на которое *обречён* человек... Дело власти есть дело непрерывного служения, а потому, в сущности, — дело *самопожертвования*.

*

Если б они понимали, что значит быть государственным человеком, они никогда не приняли бы на себя страшного звания: везде оно страшно, а особенно у нас в России. Ведь это значит — не утешаться своим величием, не веселиться удобством, а приносить себя в *жертву* тому делу, которому служишь, отдать себя работе, которая сжигает человека, отдавать каждый час свой и с утра до ночи быть в живом общении с живыми людьми, а не с бумагами только.

К. П. Победоносцев

Русские подданные имеют нечто более чем политические права: они имеют политические обязанности.

М. Н. Катков

На заседании Совета министров, когда была одобрена земская реформа (29 июня 1862 г.): «Я противлюсь установлению конституции не потому, что дорожу своей властью, но потому, что убеждён, что это было бы несчастьем для России и привело бы её к распаду».

Лидеру московского дворянства П.Д. Голохвастову (сентябрь 1865 г.): «Я даю тебе слово, что сейчас на этом столе я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убеждён, что это полезно для России. Но я знаю, что сделай я это сегодня, и завтра Россия распадётся на куски».

Император Александр II

Закон связывает всех: и государя, и министра, и полицейских, и судью, и рядового гражданина. От закона есть только одно «отступление»: по совести, в сторону справедливости, с принятием на себя всей ответственности. Формально-буквенное, педантически-мертвенное применение закона есть не законность, а карикатура на неё. «Крайняя законность» никогда не должна превращаться в «крайнюю несправедливость». Или, по русским пословицам: «Не всякий прут по закону гнут», а «милость творить — с Богом говорить».

И.А. Ильин

Какая же может быть роль правительства в делах промышленности, по существу определяемых личными побуждениями? По мне, та роль весьма важна и должна состоять в разумном содействии, в предвидении и в прямом материальном участии при добыче капиталов, для промышленности совершенно необходимых.

*

Как достичь того, чтобы между членами Государственной думы преобладали по возможности люди, любящие Россию, в её будущее верящие и способные эту любовь отстаивать явно? Задача та сложна и опытным путём — по примерам других народов, — мне кажется, ещё далеко не решённая с ясностью.

Д.И. Менделеев

Постоянная оппозиция неизбежно делает человека узким и ограниченным. Поэтому, когда наконец открывается поприще для деятельности, предводители оппозиции нередко оказываются неспособными к правлению, а либеральная партия, по старой привычке, начинает противодействовать своим собственным вождям, как скоро они стали министрами.

Б.Н. Чичерин

Государственная власть имеет свои пределы, обозначаемые именно тем, что она есть власть, извне подходящая к человеку, предписывающая и воспрещающая ему независимо от его согласия или несогласия и угрожающая ему наказанием. Это означает, что все творческие состояния души и духа, предполагающие любовь, свободу и добрую волю, не подлежат ведению государственной власти и не могут ею предписываться.

Государство не может требовать от граждан веры, молитвы, любви, доброты и убеждений. Оно не смеет регулировать научное, религиозное и художественное творчество. Оно не может предписывать оказательства чувств или воззрений. Оно не должно вторгаться в нравственный, семейный и повседневный быт. Оно не должно без крайней надобности стеснять хозяйственную инициативу и хозяйственное творчество людей.

И.А. Ильин

За что дорожит Россия правительством, чем правительство сильно, тем самым определяется его историческое призвание, характер его действий, пределы его власти; пределы, полагаемые не хартиєю, не буквою конституции, но самым существом его, которое глубоко и живо сознаётся духом народным. Россия и правительство тесно сплелись, потому что растут на одном корню, оторвать корень правительства от корня народного и пересадить его на другую, искусственно созданную почву, — об этом могут помышлять только или враги правительства и России, или те близорукые друзья его,

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

для которых наше прошедшее непонятно, настоящее
мертво, а будущее страшно.

Ю.Ф. Самарин

Народ имеет несомненное право на власть, но хочет
народ — не власти (жажда её свойственна лишь процен-
там двум), а хочет прежде всего устойчивого порядка.

*

«Права человека» — это очень хорошо, но как бы нам
самим следить, чтобы наши права не поширились за
счёт прав других? Общество необузданных прав не
может устоять в испытаниях.

*

Наши обязательства всегда должны превышать предо-
ставленную нам свободу.

*

Все приёмы предвыборной борьбы требуют от человека
одних качеств, а для государственного водительства —
совершенно других, ничего общего с первыми. Редок
случай, когда у человека есть и те и другие, вторые
мешали бы ему в предвыборном состязании.

А.И. Солженицын

М.М. СПЕРАНСКИЙ (1772—1839)

О силе правительства

Часто рассуждают о силе правительства; все утверждают, что сила сия необходима, все желают видеть её в действии, но не все, и, может быть, редкие, знают, в чём именно состоит сия сила и какими средствами она приобретается.

Люди <...> думают, что сила сия состоит в великопении двора, в пышности государских титулов, в таинственном слове самодержавия. Они приписывают магическому действию воображения то, чего изъяснить естественными причинами не умеют.

Другие силу правительства полагают в строгости взысканий и в щедрости наград. Страхом и удовольствием, говорят они, управляется род человеческий. Скорая казнь и обильные награды: вот всё таинство сильного управления.

Любовью, твердят другие, привлекайте сердца. Взгляните часто и на самые проступки со снисхождением, и вы будете сильны.

Разум, уверяют иные, есть начало силы. Надобно, чтоб правительство всегда действовало убеждением, и тогда веления его с точностью будут исполняемы.

Все сии причины, коим приписывают силу правительства, суть или ложны, или, по крайней мере, в действии своём весьма ограничены.

Чтоб определить истинные причины, от коих происходит сила правительства, должно прежде определить, в чём состоит сия сила.

Сила правительства состоит в точном подчинении всех моральных и физических сил одному движущему верховному началу власти и в самом деятельном и единообразном исполнении всех её определений.

Должно различать силу правительства от силы государства. Хотя силы сии одна без другой стоять не могут, но в данной эпохе может быть, что государство будет сильно, а правительство слабо.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Сила государства есть масса всех его сил моральных и физических.

Сила правительства есть соединение и направление сих самых сил государственных к известной и определённой цели.

Сколько бы государство в самом себе ни было сильно, но в настоящем положении Европы, без силы правительства, оно двигаться и долго сохранить себя не может.

Истинные причины, производящие силу правительства, суть следующие.

I. Законы

Первый источник силы правительства суть законы.

Если законы так устроены, что они оставляют правительству довольно власти, чтоб действовать всегда во благо, а в случаях нужды принимать даже скорые и сильные меры, то правительство будет иметь в законах истинную силу.

Но власть должно различать от самовластия. Власть даёт силу правительству, а самовластие её разрушает, ибо самовластие даже и тогда, когда оно поступает справедливо, имеет вид притеснения и, следовательно, действует без доверия и всегда принуждённо.

Из сего следует, что правильное законодательство даёт более истинной силы правительству, нежели неограниченное самовластие.

В Англии закон даёт правительству власть, и потому оно может быть там сильно; в Турции закон даёт правительству самовластие, и потому оно там всегда должно быть слабо.

Известно, что в России власть правительства в законе не ограничена, а потому истинная сила правительства в сём отношении всегда у нас была весьма слаба и пребудет таковою, доколе закон не установит её в истинных её отношениях.

II. Образ правления

Образ правления даёт правительству истинную силу: 1) правильным дел разделением, 2) единством управления, 3) выбором исполнителей.

Правильное разделение дел умножает силу правительства потому, что приводит все предметы в ясность, облегчает надзор и исполнение.

Единство управления умножает силу правительства потому, что все части подчиняет одному началу, одинаковым соображениям и объемлет одним надзором.

Нет нужды доказывать, что выбор исполнителей есть одна из главных причин, производящих силу правительства.

Прилагая сии понятия к России, легко можно удостовериться, что и в сём отношении сила правительства у нас всегда была слаба. Мало есть государств, где бы управление, собственно так называемое (администрация), менее было устроено.

III. Воспитание

Не довольно, чтоб правительство имело в данной какой-либо эпохе добрых исполнителей; надлежит, чтоб оно удостоверило себе навсегда непрерывное их продолжение.

Сего иначе достигнуть невозможно, как общественным воспитанием. Правительство должно совершенно обладать сею частию, дабы подчинить, так сказать, себе и ввести в виды свои целое рождение.

Всем известно, что в России нет почти общественного воспитания, ибо нет ни целости в плане, ни единообразия в исполнении. Великие издержки, сделанные на сию часть правительством, есть совершенная потеря и времени и денег.

IV. Войско

Воинская сила есть верх и утверждение всех других сил государственных. И сие не только в отношении к внешней безопасности, но и в отношении к внутренней силе правительства. Без воинской силы ни законы, ни управление действовать не могут.

Хотя экономическое устройство наших войск и разные учреждения имеют некоторые недостатки, но с основа-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

тельностью можно утверждать, что сей род силы правительства наше имеет в весьма нарочитой степени совершенства.

V. Финансы

Все соглашаются, что обилие государственных доходов составляет силу правительства.

Но в приложении сей истины к делу те же самые люди, кои на *словах* столь преданы престолу, столь привязаны к монарху, столь жарко защищают права и преимущества самодержавной его власти, *на деле* переменяют и речь свою, и рассуждения; при первом вопросе об умножении государственных доходов вдруг нападает на них безмерная нежность и чувствительность к нуждам народным, страх отягощения, опасность потерять любовь и преданность народа и множество других подобных сему призраков, коими лесть и невежество часто оглушают внимание государей.

Здесь-то, в сих опасных совещаниях полагается первое начало ослабления силы правительства. Здесь зарождаются сии бедственные ассигнационные и им подобные системы, коими под видом лёгкого и удобного исправления финансов истощаются его доходы и подтачивается власть его в самом её корне.

Советы сии, во всех времена вредные, в настоящем положении всех европейских держав суть совершенно пагубны, и если бы у нас не происходили они от явного неразумения, то можно бы было назвать их государственным преступлением. Во всех временах первое правило правительства есть быть *справедливым*, но в наше время первая нужда есть быть *сильным и богатым*.

Есть в свойстве нашего народа ожидать и всем жертвовать в крайности, но предвидеть сию крайность заранее, исчислить её приближение и принять сильные и благовременные против неё меры нет у нас ни в нравах, ни в обычаях.

История наших финансов и самый образ их исправления доказывают сие неоспоримо.

В 1787 г. доходы наши составляли до 100 м[иллионов] серебром. В 1809 г., через двадцать два года, в течение коих присоединено к России семь губерний и более 10 м[иллионов] народа, доходы составляли около 60 м[иллионов] серебром, 125 м[иллионов] ассигнациями.

Когда приступили к их исправлению, сколько споров, сколько пререканий о том, чтоб в наполнение истинных государственных нужд уделить от доходов помещичьих пять миллионов рублей.

Но чего требует правительство, возвышая свои доходы?

Требует, чтоб возвращено ему было то, что ложными советами было от него отторгнуто и в частные руки захвачено; требует, чтоб даны были ему способы защищать и покровительствовать ту же самую частную собственность, которая сама не может защищать себя.

Заключение. **Истинная сила правительства состоит: 1) в законе, 2) в образе управления, 3) в воспитании, 4) в военной силе, 5) в финансах.**

Из сих пяти элементов три первых у нас почти не существуют.

Сим изъясняется, почему в России всё предписывается и ничто почти не исполняется.

Из двух последних воинская сила одна почти составляет всю силу правительства.

Финансы начинают поправляться и могут быть приведены в твёрдое положение, если малодушные совещания, всегда лёгкие, удобные, не превозмогут над предположениями здравыми, хотя и трудными.

1810

Русская старина. 1902. № 12. С. 495—499

К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВ (1827—1907)

Власть и начальство

Есть в душах человеческих сила нравственного тяготения, привлекающая одну душу к другой; есть глубокая потребность воздействия одной души на другую. Без этой

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

силы люди представлялись бы кучей песчинок, ничем не связанных и носимых ветром во все стороны. Сила эта естественно, без предварительного соглашения, соединяет людей в общество. Она заставляет в среде людской искать другого человека, <...> кого слушать, кем руководствоваться. Одушевляемая нравственным началом, она получает значение силы творческой, совокупляя и поднимая массы на великие дела, на великие подвиги.

Но для общества гражданского недостаточно этого вольного и случайного взаимного воздействия... Естественно, как бы инстинктивное стремление к нему, огустевая и сосредоточиваясь, ищет властного, непререкаемого воздействия, которым объединялась бы, которому подчинялась бы масса со всеми разнообразными потребностями, вожделениями и страстями, в котором обретала бы возбуждение деятельности и начало порядка, в котором находила бы посреди всяких извращений своеволия мерило правды. Итак, на правде основана по идее своей всякая власть, и поелику правда имеет своим источником и основанием Всевышнего Бога и закон Его, в душе и совести каждого естественно написанный, — то и оправдывается в своём глубоком смысле слово: несть власть, аще не от Бога.

Слово это обращено подвластным, но оно относится столь же внушительно и к самой власти, и о, когда бы сознавала вся власть всё его значение! Великое и страшное дело власть, потому что это дело священное. Слово «священный» в первоначальном своём смысле значит отделённый, на службу Богу обречённый. Итак, власть не для себя существует, но ради Бога, и есть служение, на которое обречён человек. Отсюда и безграничная страшная сила власти и безграничная, страшная тягота её.

Сила её безгранична, и не в материальном смысле, а в смысле духовном, ибо это сила рассуждения и творчества. Первый момент мироздания есть появление света и отделение его от тьмы. Подобно тому и первое отправление власти есть обличение правды и различение неправды: на этом основана вера во власть и неудержимое тяготение к ней всего человечества. Сколько раз и повсюду вера эта обманыва-

лась, и всё-таки источник её остаётся цел и не иссякает, потому что без правды жить не может человек. Отсюда происходит и творческая сила власти — сила привлекать для добра, правды и разума, возбуждать и одушевлять их на дела и подвиги. Власти принадлежит и первое и последнее слово — альфа и омега в делах человеческой деятельности.

Сколько ни живёт человечество, не перестаёт страдать то от власти, то от безвластия. Насилие, злоупотребление, безумие, своекорыстные власти поднимает мятеж. Изверившись в идеале власти, люди мечтают обойтись без власти и поставить на место её слово закона. Напрасное мечтание: во имя закона возникающие во множестве самовластные союзы поднимают борьбу о власти, и раздробление властей ведёт к насилиям, ещё тяжелее прежних. Бедное человечество в искании лучшего устройства носится точно по волнам безбрежного океана, в коем бездна призывает бездну, кормила нет — и не видать пристани...

И всё-таки без власти жить ему невозможно. В душевной природе человека за потребностью взаимного общения глубоко таится потребность власти. С тех пор как раздвоилась его природа, явилось различие добра и зла, и тяга к добру и правде вступила в душе его в непрестающую борьбу с тягою к злу и неправде, не осталось иного спасения, как искать примирения и опоры в верховном судье этой борьбы, в живом воплощении властного начала порядка и правды. Итак, сколько бы ни было разочарований, обольщений, мучений от власти, человечество, доколе жива ещё в нём тяга к добру и правде, с сознанием своего раздвоения и бессилия, не перестанет верить в идеал власти и повторять попытки к его осуществлению. Издревле и до наших дней безумцы говорили и говорят в сердце своём: нет Бога, нет правды, нет добра и зла, привлекая к себе других безумцев и проповедуя безбожие и анархию. Но масса человечества хранит в себе веру в высшее начало жизни, и посреди слёз и крови, подобно слепцу, ищущему вождя, ищет для себя власти и призывает её с непрестанной надеждой, и эта надежда жива, несмотря на вековые разочарования и обольщения.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Итак, дело власти есть дело непрерывного служения, а потому, в сущности, — дело самопожертвования. Как странно звучит, однако, это слово в ходячих понятиях о власти. Казалось бы, естественно людям бежать и уклоняться от жертв. Напротив того, все ищут власти, все стремятся к ней, из-за власти борются, злодействуют, уничтожают друг друга, а достигнув власти, радуются и торжествуют. Власть стремится величаться и, величаясь, впадает в странное мечтательное состояние — как будто она сама для себя существует, а не для служения. А между тем непрекаемый, единый истинный идеал власти — в слове Христа Спасителя: «Кто хочет быть между вами первым, да будет всем слуга». Слово это мимо ушей у нас проходит, как нечто не до нас относящееся, а до какого-то иного, особого, в Палестине бывшего сообщества; но поистине какая власть как бы ни была высока, какая в глубине своей совести не сознается, что чем выше её величие, тем больший объемлет круг деятельности, тем тягостнее становятся её узы, тем глубже раскрывается перед нею свиток язв общественных, в коих написано столько «рыдания и жалости и горя», тем громче раздаются крики и вопли о неправде, проникающие душу и её обязывающие. **Первое условие власти есть вера в себя, т.е. в своё призвание: благо власти, когда эта вера сливается с сознанием долга и нравственной ответственности.** Беда для власти, когда она отделяется от этого сознания и без него себя ощущает и в себя верит. Тогда начинается падение власти, доходящее до утраты этой веры в себя, т.е. до унижения и разложения.

Власть как носительница правды нуждается более всего в людях правды, в людях твёрдой мысли, крепкого разума и правого слова, у коих «да» и «нет» не соприкасаются и не сливаются, но самостоятельно и раздельно возникают в духе и в слове выражаются. Только такие люди могут быть твёрдой опорой власти и верными её руководителями. Счастлива власть, умеющая различать таких людей и ценить их по достоинству и неуклонно держаться их. Горе той власти, которая такими людьми тяготится и предпочитает людей склонного нрава, уклончивого мнения и языка льстивого.

Правый человек есть человек цельный — не терпящий раздвоения. Он смотрит прямо очами в очи, и в очах его видится один образ, одна мысль и чувство единое. Вид его спокоен и бесстрашен, и язык его не колеблется направо и налево. Мысль его сама с собою согласна и высказывается, не допытываясь, с чьим мнением согласна она, кому приятна, чьему желанию или чьей похоти соответствует. Слово его просто и не ищет кривых путей и лукавых способов убедить в том, в чём мысль, порождающая слово, утвердилась в правду.

Не таков человек, не утверждённый в мысли, двоедушный, лживый. Он глядит вам в очи, но в его очах вы не его одного видите, — но кто-то другой ещё стоит сзади и выглядывает на Вас — и не знаешь, кому верить — этому или тому, другому? Говорит, и хотя бы красна и горяча была речь его, на уме у него — какое она произвела на вас впечатление, согласна ли она с вашим желанием или прихотью, и, если вы на неё отзовётесь, он обернет её к вам и скажет, что вы её создатель, что он от вас её заимствовал. Мимолётное слово ваше он схватит на лету, облечёт в форму и понесёт в виде твёрдой мысли, в виде решительного мнения. Чем способнее такой человек, тем искуснее успеет пользоваться вами и направлять вас. Вы затрудняетесь или сомневаетесь — у него готово решение, которое выведет вас из затруднения, из беспокойства в покой самодовольствия. Вы колеблетесь распознать, на которой стороне правда, — у него готовы аргументы и формулы, способные убедить вас в том, что казавшееся вам сомнительным есть сущая правда.

Бумага всё терпит — такова старинная пословица, образовавшаяся в то время, когда грамотейство было почти исключительно бумажное, и одна бумага служила материалом и орудием крючкотворства. Наступило другое время — бумага осталась, но над нею стала господствовать устная речь, и пришлось дивиться новейшему крючкотворству в речах бесчисленных ораторов. Возникла новая школа, в которой и невежды одинаково с умными и учёными обучаются искусству красно говорить о чём бы то ни

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

было, красно доказывать истину чего угодно и вести искусную игру, рассчитанную на впечатлительность слушателей. Образовалась новая порода людей, из среды коих пополняются нередко ряды практических деятелей, администраторов, судей, педагогов. Счастлив, кто, пройдя эту школу, успел ещё сохранить в себе твёрдую мысль, добросовестность суждения и способность опознаться в истине посреди тучи общих взглядов и формул новейшей софистики; словом сказать, кто, пройдя училище двоедушия, успел остаться прямодушным.

Начальнику должно быть присуще сознание достоинства власти. Забывая о нём и не соблюдая его, власть роняет себя и извращает свои отношения к подчинённым. С достоинством совместна и должна быть неразлучна с ним простота обращения с людьми, необходимая для возбуждения их к делу и для оживления интереса к делу, и для поддержания искренности в отношениях. Сознание достоинства воспитывает и свободу в обращении с людьми. Власть должна быть свободна в законных своих пределах, ибо при сознании достоинства ей нечего смущаться и тревожиться о том, как она покажется, какое произведёт впечатление и какой имеет ей приступ к подступающим людям. Но сознание достоинства должно быть неразлучно с сознанием долга: по мере того как бледнеет сознание долга, сознание достоинства, расширяясь и возвышаясь не в меру, производит болезнь, которую можно назвать гипертрофией власти. По мере усиления этой болезни власть может впасть в состояние нравственного помрачения, в коем она представляется сама по себе и сама для себя существующей. Это уже будет начало разложения власти.

Сознавая достоинство власти, начальник не может забыть, что он служит зеркалом и примером для всех подвластных. Как он станет держать себя, так за ним приучаются держать себя и другие — в приёмах, в обращении с людьми, в способах работы, в отношении к делу, во вкусах, в формах приличия и неприличия. Напрасно было бы воображать, что власть, в те минуты, когда снимает с себя

начальственную тогу, может безопасно смешаться с толпою в ежедневной жизни толпы, на рынке суеты житейской.

Однако, соблюдая своё достоинство, начальник должен столь же твёрдо соблюдать и достоинство своих подвластных. Отношения его к ним должны быть основаны на доверии, ибо в отсутствии доверия нет нравственной связи между начальником и подчинённым. Беда начальнику, если он вообразит, что всё может знать и обо всём рассудить непосредственно, независимо от знаний и опытности подчинённых, и захочет решить все вопросы одним своим властным словом и приказанием <...>. В таком случае он скоро почувствует своё бессилие перед знанием и опытностью подчинённых и кончит тем, что попадёт в совершенную от них зависимость. Пуцая беда ему, если он впадает в пагубную привычку не терпеть и не допускать возражений и противоречий: это свойство не одних только умов ограниченных, но встречается нередко у самых умных и энергических, но не в меру самолюбивых и самоуверенных деятелей. Добросовестного деятеля должна страшить привычка к произволу и самовластию в решениях: ею воспитывается равнодушие, язва бюрократии. Власть не должна забывать, что за каждой бумагой стоит или живой человек, или живое дело и что сама жизнь настоятельно требует и ждёт соответственного с нею решения и направления. В нём должна быть правда — личная — в прямом добросовестном и точном воззрении на дело, и ещё правда в соответствии распоряжения с живыми социальными, нравственными экономическими условиями народного быта и народной истории. Этой правды нет, если руководящим началом для власти служит отвлечённая теория или доктрина, отрешённая от жизни особливými многообразными её условиями и потребностями.

Чем шире круг деятельности властного лица, чем сложнее механизм управления, тем нужнее для него подначальные люди, способные к делу, способные объединить себя с общим направлением деятельности к общей цели. Люди нужны во всякое время и для всякого правительства, а в наше время едва ли не нужнее, чем когда-либо: в наше вре-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

мя правительству приходится считаться с множеством вновь возникших и утвердившихся сил — в науке, литературе, в критике общественного мнения, в общественных учреждениях с их самостоятельными интересами. Умение найти выбрать людей — первое искусство власти; другое умение — направить их и ввести в должную дисциплину деятельности.

Выбор людей — дело труда и приобретаемого трудом искусств распознавать качества людей. Но власть нередко склоняется устранять себя от этого труда и заменяет его внешними или формальными признаками качеств. Самыми обычными признаками этого рода считаются патенты окончания курсов высшего образования, патенты, приобретаемые посредством экзаменов. Мера эта, известно, весьма неверная и зависит от множества случайностей, стало быть, сама по себе не удостоверяет на самом деле ни знания, ни тем менее способности кандидата к тому делу, для коего он требуется. Но она служит к избавлению власти от труда всматриваться в людей и опознавать их. Руководствуясь одной этой мерой, власть впадает в ошибки, вредные для дела. Не только способность и умение, но и самое образование человека не зависит от выполнения учебных программ по множеству предметов, входящих в состав учебного курса. Бесчисленные примеры лучших учеников, ни какое дело не годных, и худших, оказавшихся замечательными деятелями, доказывают противное. Весьма часто случается, что способность людей открывается лишь с той минуты, когда они прикоснулись к живой реальности дела: до тех пор наука в виде уроков и лекций оставляла их равнодушными, потому что они не чуяли в ней реального интереса: такова была история развития многих великих общественных деятелей.

Начальник обширного управления с обширным кругом действий не может действовать с успехом, если захочет без должной меры простираť свою власть непосредственно на все отдельные части своего управления, вступаясь во все подробности делопроизводства[а]. Самый энергический и опытный деятель может даром растратить свои силы и

запутать ход дела в подчинённых местах, если с одинаковою ревностью станет заниматься и существенными вопросами, в коих надлежит ему давать общее направление, и мелкими делами текущего производства. Место его на вершине дела, откуда может он обозревать весь круг подчинённой деятельности: спускаясь непосредственно во все углы и закоулки управления, он потеряет меру труда своего и своей силы и способность широкого кругозора, расстроит необходимое во всяком практическом деле разделение труда и ослабит в подчинённых нравственный интерес деятельности и сознание нравственной ответственности каждого за порученное ему дело. С другой стороны, ошибётся главный начальник, если предоставит себе лично выбор не только лиц, непосредственно от него зависящих, но и всех второстепенных деятелей и работников, подчинённых начальникам отдельных частей управления: в таком случае он взял бы на себя дело свыше сил своих и не на пользу дела, а лишь в угоду личному произволу своему и самовластию. Начальник каждой отдельной части несёт на себе ответственность за успех порученного ему дела, и отнять у него право избирать по усмотрению своему сотрудников себе и работников — значит снять с него ответственность за успешный ход дела, ослабить его авторитет и стеснить его свободу в законном круге его деятельности.

К несчастью, по мере ослабления нравственного начала власти в начальнике им овладевает пагубная страсть патронатства, страсть покровительствовать и раздавать места и должности высшего и низшего разряда. Великая беда от распространения этой страсти, лицемерно прикрываемой видом добродушия и благодеяния нуждающимся людям. Побуждения этой благодеятельности нередко смешиваются с побуждениями угодничества перед другими сильными мира, желающими облагодетельствовать своих клиентов. Увы! благодеяния этого рода раздаются часто на счёт блага общественного, на счёт благоустройства служебных отправлений, наконец на счёт казённой или общественной кассы. Стоит власти забыть, и она уже отреша-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ется от мысли о правде своего служения и о благе общественном, которому служить призвана.

А казна! Равнодушной власти она представляется каким-то свыше, в неведомой стране поставленным, неисчерпаемым рогом изобилия, откуда сыплются блага и милости всякого рода, куда можно обращаться с твёрдой надеждой на исполнение какой-то заповеди: просите, и дастся вам; где всякую нужду, облечённую в привычные формы, милостиво и благодушно приемлют. Мудрено ли забыть, и всё более или менее забывают, из каких источников питается этот рог изобилия, откуда, от кого и какими путями, иногда тяжкими и болезненными, собираются рубли и гроши в сокровищницу государственной казны и кому и чему она служить предназначена. Мало-помалу это забвение может распространиться на всех, сверху донизу, — и обратиться в общую деморализацию — как облагающих властей, так и облагаемых обывателей: и ими, невзирая на ропот и жалобы, овладевает какое-то бессмысленное чаяние благ и милостей от казны и государства. Возрастают ряды чиновников, плодятся учреждения, удвояются оклады; вместе с теми возрастает обложение, и государственный бюджет принимает чудовищные размеры, вбирая в себя несущиеся отовсюду изобретения, претензии и требования частных интересов и социальных фантазий. Бюджет нынешней французской демократии представляет ужасающую картину деморализации правительства, утратившего сознание нравственного достоинства власти.

Одним из главных двигателей фаворитизма служит льсть, исконный источник соблазна, действующий не только на слабые, но и на крепкие натуры, ибо искусство льстить неистоимо в разнообразии и в оттенках своих приёмов. Один из самых тонких приёмов состоит в искусном внушении начальствующему лицу, что всякая творческая мысль от него исходит, что всякое новое изобретение, ему подсказанное, им внушено, что всякий труд подчинённых им одушевляется. Так мало-помалу льстец становится приятен, заявляет себя способным и производит ощущение человека преданного. А когда стало заметно располо-

жение начальника к такому приятному обращению, ловля его благосклонного и доброго мнения входит уже в обычную политику внутренней экономии управления.

Человек с определённым взглядом на жизнь, воспитавший и волю свою на разумном труде, ясно сознающий, к чему стремится и чего хочет, по долгу своего знания, свободен в отношениях своих к людям и в этой свободе отношений почерпает умение судить о людях. Встречая на пути своём людей сильных духом и способных, он умеет различать их, ибо не смущается нимало мыслью о том, что его достоинство в чём-либо потерпит ущерб от достоинства другого человека. Вступая во власть, он не теряет своей свободы.

Но человек, не приготовленный к власти дисциплиною труда и воли, чувствует себя несвободным в обращении с людьми. Одно внешнее достоинство власти ослепляет его, но и обессиливает, не соединяется в нём с достоинством духа и разума, и потому не умеет он ценить и в других духовное достоинство: оно лишь обличает и смущает его. Напротив того, чувствует он себя свободно с людьми невысокого духа и житейских наклонностей, которые льстят ему, применяясь к праву его и наклонностям. Так образуется около начальника сеть ближних людей и фаворитов, из коих он способен произвольно, без дальнего рассуждения, выбирать людей для дел своего управления. Сам не воспитанный на труде, он не имеет ясного представления о том, что значит работать и чего стоит работа: ему подносят готовой чужую мысль, которую принимает за собственную, чужое произведение, которое он признаёт своим и пускает от своего имени.

К этим двигателям фаворитизма присоединяется ещё товарищество. Бессознательные близкие отношения, установившиеся в ранней молодости с товарищами учения, юношеских забав и развлечений или боевой жизни, образуют между людьми связь, основанную не столько на взаимном сочувствии духовного свойства, сколько на привычке близкого обхождения. А привычка у иных людей становится главным руководственным началом ежеднев-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ного быта и деятельности и в личных и в общественных отношениях. И когда товарищ является искателем мест и назначений, выбор определяется личной благосклонностью или заботой об устройстве человека со скудными или расстроенными средствами, иногда без всякого соображения о том, способен ли человек к тому делу, на которое идёт, в состоянии ли он право править многими вверяемыми ему интересами частными и общественными. Ещё ближе товарищей к благоволению начальника его родные, иногда многочисленные, ищущие устроить судьбу свою на служебном кормлении и считающие заботу об этом устройстве нравственным долгом властного родственника.

Остаётся ли при этом и какое место заботе о благе общественном, ради коего власть вверяется начальственному лицу? Остаётся лишь одно имя общественного блага, лицемерно начертанное на знамени того сана, который начальник носит, той должности, которую он занимает.

И нетрудно забыть, когда все свои побуждения и образцы и формы деятельности человек почерпает не изнутри, а извне, из той среды, в которой вращается и где сосредоточены его интересы. Если он исправен и исполнителен в своём деле, что пользы, когда всё дело его бумажное и из-за бумаги не видит он человека с его нуждами, с его законными ожиданиями, с его жаждой удовлетворения и помощи? Что пользы, когда, услышав о неправде, о насилии, не загорается он ревностью исправить зло, дать управу, восстановить нарушенное, но безмятежно приказывает написать бумагу и безмятежно её подписывает?

У равнодушного начальника все его подчинённые становятся лишь механическими орудиями производства, бездушными колёсами сложной машины, в которой половина силы поглощается трением, потому что нет духа жизни в движении колёс, нет одушевления сверху. Интерес дела мало-помалу истощается, поглощаясь интересом службы, интересом повышения, наград, высших окладов — словом, личным интересом потребности и выгоды каждого. И тот, кто приступает к делу вначале с идеалом

деятельности, не находя себе ни руководства, ни опоры, мало-помалу втягивается в механику общего равнодушия.

Но как быстро может измениться картина, когда появится во главе учреждения живое лицо с сознанием долга и нравственной ответственности, со знанием дела, коим должно управлять, с сердцем, желающим водворить порядок и правду посреди бесчиния и несправедливости, с волею, которою правит ясная, сознательная мысль. Тут открывается, какую силою возбуждения обладает разумная власть, когда обращается не к бумаге, а к живому человеку, распознавая в каждом и способность к делу, и охоту делать живое дело. Тогда и подчинённые работники из бездушных колёс бездушной машины становятся членами органического тела, действующими по внушению одушевлённого средоточия нервной системы.

Лишь бы только появление живого лица во главе учреждения было не случайным, а сознательным проявлением разумной государственной мысли и обдуманного выбора. Благо тому государству, в коем государственная мысль руководит выбором надлежащих людей на разных степенях управления, где в смене поколений одно передаёт другому запас людей, готовых к делу, окрепших в школе практической деятельности. Но где пресекалась эта умственная нравственная связь старших деятелей с младшими, исчезает запас людей, воспитанных самым делом под руководством знания и авторитета, а на место их являются люди случайные, искатели карьеры, стремящиеся к власти без мысли о долге власти и об ответе за власть, ни для какого дела не воспитанные, но готовые взяться за всякое. Поднимаясь вверх с одной опроставшейся ступени на другую, становятся и они распределителями власти... И тут являются признаки нравственного падения власти.

Самая драгоценная способность правителя — способность организаторская. Это талант не часто встречаемый, талант, не приобретаемый какою-либо школою, но прирождённый. О людях этого качества можно сказать, что сказано о поэтах, что они рождаются, а не делаются. Стоит

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

представить себе, какое совокупление различных качеств требуется для организаторского таланта. В таком человеке сила воображения соединяется со способностью быстро избирать способы практической деятельности. Он должен быть крайне сообразителен, предусмотрителен и вместе с тем решителен при действии, угадывая для него потребную минуту; быстро проникать во все подробности дела, не теряя из виду руководящих начал его; должен быть тонким наблюдателем людей и характеров, уметь доверяться людям и в то же время не забывать, что и лучшие люди не свободны от низменных инстинктов и своекорыстных побуждений.

Счастлив государственный правитель, когда ему удастся опознать такой талант и не ошибиться в выборе. Ошибка возможна, и нередки случаи, когда организаторский талант думают усмотреть в человеке великого ума и красноречия. Но оба этих таланта не только различные, но и совершенно противоположные. Логическое развитие мысли, способность к диалектической аргументации почти никогда не сходятся с организаторской способностью. Напротив того, человек, способный соображать способы действия и соиздать план его, весьма часто бывает совсем не способен изложить доказательно то, что сложилось в уме его для действия. Но этот талант открывается лишь на деле, а красноречие, действуя на умы логикой своих доводов и критикой чужих мнений, быстро увлекает людей, вызывает сразу восторг и удивление.

Народ ищет наверху, у власти, защиты от неправды и насилий и стремится там найти нравственный авторитет в лице лучших людей, представителей правды, разума и нравственности. Благо народу, когда есть у него такие люди в числе его правителей, судей, духовных пастырей и учителей возрастающего поколения. Горе народу, когда в верхних, властных слоях общества не находит он нравственного примера и руководства: тогда и народ поникает духом и развращается.

В социальном и экономическом быте прежнего времени история показывает нам благородное сословие людей,

из рода в род призванных быть не только носителями власти, но и попечителями о нуждах народных и хранителями добрых преданий и обычаев.

Если суждено такому сословию возродиться в нашем веке, вот в чём должны состоять основы бытия его и сущность его признания:

- служить государству лицом своим и достоянием;
- быть в слове и деле хранителем народных добрых преданий и обычаев;
- быть ходатаем и попечителем народа в его нуждах и защитником от обиды и насилий;
- советом и примером поддерживать добрые нравы в семье и в обществе;
- не увлекаться господствующей в обществе страстью к приобретению и обогащению и чуждаться предприятий, обычных для удовлетворения этой страсти.

Возможно ли осуществление такого идеала? Возможно ли бремя такого призвания? А без этого как быть особливому сословию, призванному к власти?

Велико и свято значение власти. Власть, достойная своего призвания, вдохновляет людей и окрыляет их деятельность: она служит для всех зеркалом правды, достоинства, энергии. Видеть такую власть, ощущать её вдохновительное действие — великое счастье для всякого человека, любящего правду, ищущего света и добра. Великое бедствие — искать власть и не находить её или вместо неё находить мнимую власть большинства, власть толпы, произвол в призраке свободы. Не менее, если ещё не более печально видеть власть, лишённую сознания своего долга, самой мысли о своём призвании, власть, совершающую дело своё бессознательно и формально, под покровом начальственного величия. Стоит ей забыться, как уже начинается её разложение. Остаются те же формы производства, движутся по-прежнему колёса механизма, но духа жизни в них нет. Мало-помалу ослабевает самое желание избирать людей приготовленных и способных на каждое дело, и люди уже не избираются, но назначаются как попало, по случайным побуждениям и интересам, не имеющим ничего общего с

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

делом. Тогда начинает исчезать в производствах предание, охраняемое опытными и привязанными к делу деятелями, разрушается школа, воспитывающая на деле новых деятелей опытностью старых, и люди, приступающие к делу ради различного интереса и служебной карьеры, сменяясь непрестанно в погоне за лучшим, не оставляют прочного следа трудов своих.

Для всякой практической деятельности потребно искусство, оживляющее эту деятельность, а искусство приобретает трудом разумным и добросовестным, для чего необходимо руководство. Итак, всякое учреждение, назначенное для практической деятельности, должно быть вместе с тем школой, в которой поколение новых деятелей приучается к искусству дела под руководством старых деятелей. На этом утверждается внутренний интерес каждого дела и нравственная сила, долженствующая оживлять его. При этих условиях учреждение может возрастать и совершенствоваться, имея перед собой открытые горизонты: есть чего ожидать и надеяться, есть путь, куда идти вперёд. Но когда учреждение немеет и мертвеет, замыкаясь в пошлых путях текущей формальности, оно перестаёт быть школой искусства, превращаясь в машину, около коей сменяются наёмные работники. Горизонты замыкаются, некуда смотреть, и нет стремления и движения вперёд. Такова может быть судьба новых учреждений, разрастающихся с усложнением общественного и гражданского быта. Такой становится школа при множестве учеников, учителей и предметов обучения, когда приходится наполнять её кадры учителями, не подготовленными и не способными, учительствующими по ремеслу, ради хлеба: дух жизни пропадает в ней, и она становится не способна образовать и воспитывать юное поколение. Таков становится суд, как бы ни были в нём усложнены и усовершенствованы формы производства, когда он перестаёт быть школой для образования крепкого знанием, опытом и искусством судебного сословия: формы застывают и мертвеют, а дух жизни исчезает в них, и сам суд может стать такой же машиной, около которой сменяются лишь наёмные работники.

Представления о власти людей, желающих и ищущих власти, столь же разнообразны, как страсти и желания человеческие. В массе людей, коих помышления сосредоточены на ежедневной жизни, преобладает стремление к улучшению своего быта без всяких дальнейших соображений. Затем преобладающим побуждением к власти служит честолюбие. В каждом человеке своё, как бы ни было мелко и ничтожно, способно к быстрому и безграничному возрастанию, доходящему у иных до чудовищных размеров: каждый, как бы ни был мал, осматриваясь, видит около себя ещё меньшие величины, успевшие при благоприятных обстоятельствах взобраться на крышу того или другого здания и благополучно взирающие с крыши вниз на ходящее по земле человечество. Принадлежность к сонму хотя бы к «*Deorum minorum gentium*» [второстепенным богам (лат.)] соблазнительна для маленького человека, а затем — сколько видится на горизонте зданий всякой величины, с маленького здания приятно высмотреть другую крышу повыше и на неё перебраться и вглядываться в дальние горизонты, на которых красуются «*dii minorum gentium*» [второстепенные боги (лат.)]: бывали, ведь примеры и такого восхождения!

Таковы пошлые пути и течения, по коим ходит и стремится воображение малых и средних людей. Из них редкий спрашивает себя: кто я, и способен ли на то дело, которое падёт на меня с моим возвышением? справлюсь ли я с ним и как буду отвечать за него? И кто ставит себе такие вопросы, у того они немедленно потухают в сиянии воображаемой славы, и вопрошающему стоит только сравнить себя со многими вокруг его сидящими на кровлях, чтобы тотчас же успокоиться.

<...> Два знания существенно необходимы для посвящения человека во власть. Одно — вековечное правило: «Познай самого себя», другое — «Познай окружающую тебя среду». То и другое необходимо для того, чтобы человек мог сознательно определять волю свою и действовать — действовать на воли человеческие и двигать события в какой бы то ни было обширной или тесной сфере.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Действование совершается в мире реальностей; законы разума суть в то же время законы природы и жизни. Кто не знает этих законов, не обращает на них внимания, не применяется к ним, тот не способен действовать.

Но воображение человека, воспитанное лишь на отвлечённых стремлениях души, хотя бы самых возвышенных, но не воспитанное на реальностях, возводя на высоту дух человеческий, побуждает человека представлять себя способным на действие, рисуя перед ним заманчивые картины правды и блага. Так вырастает в человеке обманчивая уверенность в себе, и мало-помалу может вырасти в уверенность в своё призвание. А когда с этим соединяется ещё вера в некоторые общие положения и аксиомы, которые, действуя будто бы сами по себе, требуют только применения к отношениям человеческим и сами по себе способны устроить в них порядок и правду, тогда эта уверенность принимает характер догматизма и, раздражая душу, порождает в ней страстное стремление к власти, во имя высшего начала правды и блага, а в сущности всё-таки во имя своего разросшегося «я».

Я буду приказывать — мечтает иной искатель власти, и слово моё будет творить чудеса, — мечтает, воображая, что одно властное слово, подобно магическому жезлу, само собой действует. Но бедный человек! прежде чем приказывать, научился ли ты повиноваться? Прежде чем изрекать слово власти, умеешь ли ты выслушивать и слово приказания и слово возражения? Прошёл ли ты школу служебного долга, в которой каждый человек на известном месте, к известному времени должен исполнить верно и точно известное дело в связи с сетью множества дел, другим порученных? Научился ли ты понимать, что приказ — это не Минерва, вдруг вышедшая из головы Юпитера, каким ты воображаешь себя, а крайнее звено, разумно связанное с цепью других звеньев, логическою цепью причины и последствия?

Иному благожелательному человеку воображение представляет картину благодетельных; ему так хочется творить добро и служить орудием добра. Увы! для того что-

бы уметь делать добро, мало быть добрым человеком. И тот, кто благодетельствует, по Евангельской заповеди, из своего имущества, и тот наконец удостоверяется собственным опытом, что делать добро человеку — добро, в истинном значении этого слова, — очень мудрёная и тягостная наука. Во сколько раз труднее она, когда приходится творить добро из фонда власти, которой облечён человек. Хорошо, когда, думая о себе и о своей власти, он ни на минуту не забывает, что власть принадлежит ему ради общественного блага и для дела государственного; что в сфере его властного действия запас данной ему силы не может и не должен обращаться в рог изобилия, из которого сыплются во все стороны щедрые дары, многообразные награды, и что данное ему от государства право судить о достоинстве лиц, о правоте дел и о нуждах требующих помощи и содействия не может и не должно превращаться в руках его в право патронатства.

Но соблазн велик и для доброго. и, прибавим, для тщеславного человека, а оба этих качества нередко соединяются: как сладко быть патроном, встречать со всех сторон приветливые и благодарные взгляды! Увлечение этою слабостью может довести власть до крайнего расслабления, до смешения достоинства и способности с тупостью и низостью побуждений, до развращения подчинённых общей погоней за местами, общею похотью к почестям, наградам и денежным раздачам.

Первый закон власти: «Мерило праведное». Оно даёт силу судить каждого по достоинству и воздавать каждому должное, не ниже и не выше его меры. Оно научает соблюдать достоинство человеческое в себе и в других и различать порок, которого терпеть нельзя, от слабости человеческой, требующей снисхождения и заботы. Оно держит власть на высоте её призвания, побуждая вдумываться и в людей и в дела, им порученные. Оно даёт крепость велью, исходящему от власти, и властному слову присваивает творческую силу. Кто утратил это мерило своим равнодушием и леностью, тот забыл, что творит дело Божие и творит его с небрежением.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Великая ложь нашего времени

В основу этой знаменитой статьи К.П. Победоносцева положена книга немецко-еврейского писателя и общественного деятеля Макса Нордау (1849—1923) «Условная ложь культурного человечества» (1883; в русском переводе — под названием «Ложь предсоциалистической культуры», 1907). Авторизованный перевод фрагментов этой книги (без указания авторства) К.П. Победоносцев опубликовал в еженедельнике «Гражданин» (1884), затем в «Московском сборнике» (1896; выдержал 5 изданий).

1

Что основано на лжи, не может быть право. Учреждение, основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое. Вот истина, которая оправдывается горьким опытом веков и поколений.

Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени Французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции — и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Она продолжает ещё держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь её с каждым днем изобличается всё явственнее перед целым миром.

В чём состоит теория парламентаризма? Предполагается, что весь народ в народных собраниях творит себе законы, избирает должностные лица, стало быть, изъявляет непосредственно свою волю и приводит её в действие. Это идеальное представление. Прямое осуществление его невозможно: историческое развитие общества приводит к тому, что местные союзы умножаются и усложняются, отдельные племена сливаются в целый народ или группируются в разноязычии под одним государственным знаменем; наконец, разрастается без конца государственная территория, непосредственное народоправление при таких условиях немислимо. Итак, народ должен переносить своё

право властительства на некоторое число выборных людей и облекать их правительственной автономией. Эти выборные люди, в свою очередь, не могут править непосредственно, но принуждены выбирать ещё меньшее число доверенных лиц — министров, коим предоставляется изготовление и применение законов, раскладка и собирание податей, назначение подчинённых должностных лиц, распоряжение военною силою.

Механизм — в идее своей стройный; но для того чтобы он действовал, необходимы некоторые существенные условия. Машинное производство имеет в основании своём расчёт на непрерывно действующие и совершенно ровные, следовательно, безличныя силы. И этот механизм мог бы успешно действовать, когда бы доверенные от народа лица устранились вовсе от своей личности; когда бы на парламентских скамьях сидели механические исполнители данного им наказа; когда бы министры явились тоже безличными, механическими исполнителями воли большинства; когда бы притом представителями народа избираемы были всегда лица, способные уразуметь в точности и исполнять добросовестно данную им и математически точно выраженную программу действий. Вот при таких условиях действительно машина работала бы исправно и достигала бы цели. Закон действительно выражал бы волю народа; управление действительно исходило бы от парламента; опорная точка государственного здания лежала бы действительно в собраниях избирателей, а каждый гражданин явно и сознательно участвовал бы в управлении общественными делами.

Такова теория. Но посмотрим на практику. В самых классических странах парламентаризма — он не удовлетворяет ни одному из вышешоказанных условий. Выборы никоим образом не выражают волю избирателей. Представители народные не стесняются нисколько взглядами и мнениями избирателей, но руководят собственным произвольным усмотрением или расчётом, соображаемым с тактикою противной партии. Министры в действительности самовластны; и скорее они насилуют парламент, нежели

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

парламент их насилует. Они вступают во власть и оставляют власть не в силу воли народной, но потому, что их ставит к власти или устраняет от неё — могущественное личное влияние или влияние сильной партии. Они располагают всеми силами и достоинствами нации по своему усмотрению, раздают льготы и милости, содержат множество праздных людей на счёт народа, — и притом не боятся никакого порицания, если располагают большинством в парламенте, а большинство поддерживают — раздачей всякой благодости с обильной трапезы, которую государство отдало им в распоряжение. В действительности министры столь же безответственны, как и народные представители. Ошибки, злоупотребления, произвольные действия — ежедневное явление в министерском управлении, а часто ли слышим мы о серьёзной ответственности министра? Разве, может быть, раз в пятьдесят лет приходится слышать, что над министром суд, и всего чаще результат суда выходит ничтожный — сравнительно с шумом торжественного производства.

Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей. Учреждение это служит не последним доказательством самообольщения ума человеческого. Испытывая в течение веков гнёт самовластия в единоличном и олигархическом правлении и не замечая, что пороки единовластия суть пороки самого общества, которое живёт под ним, — люди разума и науки возложили всю вину действия на своих властителей и на форму правления и представили себе, что с переменою этой формы на форму народовластия или представительного правления — общество избавится от своих бедствий и от терпимого насилия. Что же вышло в результате? Вышло то, что *mutato nomine* [под другим именем (*лат.*)] всё осталось в сущности по-прежнему, и люди, оставаясь при слабостях и пороках своей натуры, перенесли в новую форму все прежние свои привычки и склонности. Как прежде, правит ими личная воля и интерес привилегиро-

ванных лиц; только эта личная воля осуществляется уже не в лице монарха, а в лице предводителя партии, и привилегированное положение принадлежит не родовым аристократам, а господствующему в парламенте и правлении большинству.

На фронте этого здания красуется надпись: «Всё для общественного блага». Но это не что иное, как самая лживая формула; парламентаризм есть торжество эгоизма, высшее его выражение. Всё здесь рассчитано на служение своему «я». По смыслу парламентской фикции представитель отказывается в своём звании от личности и должен служить выражением воли и мысли своих избирателей; а в действительности избиратели — в самом акте избрания отказываются от всех своих прав в пользу избранного представителя. Перед выборами кандидат в своей программе и в речах своих ссылается постоянно на вышеупомянутую фикцию: он твердит всё о благе общественном, он не что иное, как слуга и печальник народа, он о себе не думает и забудет себя и свои интересы ради интереса общественного. И всё это — слова, слова, одни слова, временные ступеньки лестницы, которые он строит, чтобы взойти, куда нужно, и потом сбросить ненужные ступени. Тут уже не он станет работать на общество, а общество станет орудием для его целей. Избиратели являются для него стадом — для сбора голосов, и владельцы этих стад подлинно уподобляются богатым кочевникам, для коих стадо составляет капитал, основание могущества и знатности в обществе. Так развивается, совершенствуясь, целое искусство играть инстинктами и страстями массы для того, чтобы достигнуть личных целей честолюбия и власти. Затем уже эта масса теряет всякое значение для выбранного ею представителя до тех пор, пока понадобится снова на неё действовать: тогда пускаются в ход снова льстивые и лживые фразы, — одним в угоду, в угрозу другим: длинная, нескончаемая цепь однородных маневров, образующая механику парламентаризма. И такая-то комедия выборов продолжается до сих пор обманывать человечество и считаться учреждением, венчающим государственное здание... <...>

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Вот как практикуется выборное начало. Честолюбивый искатель сам выступает перед согражданами и старается всячески уверить их, что он более, чем всякий иной, достоин их доверия. Из каких побуждений выступает он на это искательство? Трудно поверить, что из бескорыстного усердия к общественному благу. Вообще, в наше время редки люди, проникнутые чувством солидарности с народом, готовые на труд и самопожертвование для общего блага; это натуры идеальные; а такие натуры не склонны к соприкосновению с пошлостью житейского быта. Кто по натуре своей способен к бескорыстному служению общественной пользе в сознании долга, тот не пойдёт заискивать голоса, не станет воспевать хвалу себе на выборных собраниях, нанизывая громкие и пошлые фразы.

Такой человек раскрывает себя и силы свои в рабочем углу своём или в тесном кругу единомышленных людей, но не пойдёт искать популярности на шумном рынке. Такие люди если идут в толпу людскую, то не затем, чтоб льстить ей и подлаживаться под пошлые её влечения и инстинкты, а разве затем, чтобы обличать пороки людского быта и ложь людских обычаев. Лучшим людям, людям долга и чести, противна выборная процедура: от неё не отвращаются лишь своекорыстные, эгоистические натуры, желающие достигнуть личных своих целей. Такому человеку не стоит труда надеть на себя маску стремления к общественному благу, лишь бы приобрести популярность. Он не может и не должен быть скромн, — ибо при скромности его не заметят, не станут говорить о нём. Своим положением и тою ролью, которую берёт на себя, — он вынуждается — лицемерить и лгать с людьми, которые противны ему, он поневоле должен сходитьсь, брататься, любезничать, чтобы приобрести их расположение, — должен раздавать обещания, зная, что потом не выполнит их, должен подлаживаться под самые пошлые наклонности и предрассудки массы, для того чтоб иметь большинство за себя. Какая честная натура решится принять на себя такую роль? Изобразите её в романе: читателю противно станет; но тот

же читатель отдаст свой голос на выборах живому артисту в той же самой роли.

Выборы — дело искусства, имеющего, подобно военному искусству, свою стратегию и тактику. Кандидат не состоит в прямом отношении к своим избирателям. Между ним и избирателями посредствует комитет, самоличное учреждение, коего главною силою служит — нахальство. Искатель представительства, если не имеет ещё сам по себе известного имени, начинает с того, что подбирает себе кружок приятелей и споспешников; затем все вместе производят около себя ловлю, т.е. приискивают в местной аристократии богатых и некрепких разумом обывателей и успевают уверить их, что это их дело, их право и преимущество стать во главе — руководителями общественного мнения. Всегда находится достаточно глупых или наивных людей, поддающихся на эту удочку, — и вот, за подписью их, появляется в газетах и наклеивается на столбах объявление, привлекающее массу, всегда падкую на следование за именами, титулами и капиталами. Вот каким путём образуется комитет, руководящий и овладевающий выборами, — это своего рода компания на акциях, вызванная к жизни учредителями. Состав комитета подбирается с обдуманым искусством: в нём одни служат действующею силой — люди энергические, преследующие во что бы то ни стало материальную или тенденциозную цель; другие — наивные и легкомысленные статисты — составляют балласт. Организуются собрания, произносятся речи: здесь тот, кто обладает крепким голосом и умеет быстро и ловко нанизывать фразы, производит всегда впечатление на массу, получает известность, нарождается кандидатом для будущих выборов или, при благоприятных условиях, сам становится кандидатом, сталкивая того, за кого пришёл вначале работать языком своим. Фраза — и не что иное, как фраза, — господствует в этих собраниях. Толпа слушает лишь того, кто громче кричит и искуснее подделывается пошлостью и лестью под ходячие в массе понятия и наклонности.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

В день окончательного выбора лишь немногие подают голоса свои сознательно: это отдельные влиятельные избиратели, коих стоило уговаривать поодиночке. Большинство, т.е. масса избирателей, даёт свой голос стадным обычаем, за одного из кандидатов, выставленных комитетом. На билетах пишется то имя, которое всего громче натвержено и звенело в ушах у всех в последнее время. Никто почти не знает человека, не даёт себе отчёта ни о характере его, ни о способностях, ни о направлении: выбирают потому, что много наслышаны об его имени. Напрасно было бы вступать в борьбу с этим стадным порывом. Положим, какой-нибудь добросовестный избиратель пожелал бы действовать сознательно в таком важном деле, не захотел бы подчиниться насильственному давлению комитета. Ему остаётся — или уклониться вовсе в день выбора, или подать голос за своего кандидата по своему разумению. Как бы ни поступил он, — всё-таки выбран будет тот, кого провозгласила масса легкомысленных, равнодушных или уговоренных избирателей.

По теории, избранный должен быть излюбленным человеком большинства, а на самом деле избирается излюбленный меньшинства, иногда очень скудного, только это меньшинство представляет организованную силу, тогда как большинство, как песок, ничем не связано и потому бесильно перед кружком или партией. Выбор должен бы падать на разумного и способного, а в действительности падает на того, кто нахальнее суётся вперёд. Казалось бы, для кандидата существенно требуется — образование, опытность, добросовестность в работе: а в действительности все эти качества могут быть и не быть: они не требуются в избирательной борьбе, тут важнее всего — смелость, самоуверенность в соединении с ораторством и даже с некоторою пошлостью, нередко действующею на массу. Скромность, соединённая с тонкостью чувства и мысли, — для этого никуда не годится. <...>

К.П. Победоносцев: pro et contra. СПб., 1996

К.Д. КАВЕЛИН (1818—1885)

Мысли о выборном начале

I

Вопрос о представительстве у нас один из самых старинных. Многим это покажется невероятным, но факты говорят в пользу такого мнения. Есть указание, что о представительстве думали Пётр Великий и император Александр I; а обстоятельства, сопровождавшие вступление на престол Анны Ивановны, и ряд внутренних событий в Русском государстве, начиная с царствования императрицы Екатерины II до нашего времени, доказывает, что оно давно уже занимает и русское общество. Интерес к этому вопросу постепенно усиливался. <...> Большинство образованного русского общества в столицах и провинции убеждено, что только в представительстве заключается верное средство против разных наших общественных недугов. <...> Оказывается, что русские государи и разные слои русского общества понимали его совсем иначе; что в разные эпохи взгляды на представительство существенно изменялись; что и теперь в разных кружках русского общества его понимают далеко не одинаково, несмотря на то что интерес к вопросу значительно усилился и занимает гораздо больше умы, чем когда-либо прежде.

Взгляды на представительство у нас в настоящее время до того различны, противоречивы и сбивчивы, что оно больше служит поводом к разногласию, чем к сближению и соединению мнений. <...> Каждый решает его <...>, как умеет; а знаниями и практической опытностью в общественных делах мы, вообще говоря, не особенно богаты: оттого у нас и не могло образоваться ясного, определённого взгляда на этот предмет. <...>

Что такое представительство по своему существу, помимо ближайших применений и осложнений, с какими оно является в действительной жизни? — вот что необходимо установить прежде всего. <...>

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

То, что в ежедневной жизни есть взгляд, оценка, суждение, то в области юридических отношений становится правами и обязанностями. Представитель в юридическом смысле есть тот, кто имеет право от имени другого что-либо требовать или обязан за другого исполнить предъявленные законные требования. Так, уполномоченный, поверенный в качестве представителя истца или ответчика имеет право предъявлять его иск или отвечать за него в суде; так, управляющий домом или приказчик имения, получивший доверенность от домохозяина или землевладельца, вступает вместо него в договоры и сделки; к нему вместо хозяина предъявляются требования по имению или дому, он получает за хозяина платежи и т.п. <...>

По мере того как мы поднимаемся из частной жизни к жизни общественной и государственной, представительство, в изложенном смысле, появляется все чаще и чаще; наконец, непосредственно за себя действующие живые лица совершенно исчезают; остаются только представители отвлечённых начал и воображаемых, фиктивных лиц. Рядом с тем представительство получает обязательный характер и становится независимым от частного усмотрения и произвола. Это и естественно. В общественной и государственной сфере действуют уже не непосредственные лица, а принципы, начала, представляемые живыми людьми. В государственном управлении, областном и центральном, всё совершается чрез представителей. Каждое должностное лицо не только представляет должность, сан, в которые облечён, но и ту власть, которой подчинён в порядке правительственной и служебной иерархии. Каждый чиновник действует в делах управления не своим лицом, а во имя должности, которую занимает; каждый есть в то же время орган власти и в этом смысле её представитель.

II

Сказанное <...> составляет азбуку в учении о представительстве вообще. <...> под представительством почти всегда подразумевается только один из многих его видов,

именно представительство государственное, и притом только выборное. Рассуждая о нём, мы редко обращаем должное внимание на те видоизменения, которым представительство подвергается, становясь государственным учреждением, и, сами того не замечая, подводим последнее под начало первого. Постараемся в немногих словах пояснить, к каким ошибкам это ведёт.

В частной жизни, в устройстве обществ, корпораций и общественных союзов, образовавшихся по свободному почину частных людей, формы юридических отношений и порядок общежития определяются доброй волей и взаимным соглашением заинтересованных лиц. Целые государства основаны и устроены на таких началах, например Северо-Американские Соединённые Штаты, зерном и прототипом которых были свободные союзы сектантов, выселившихся в Новый Свет. Вообще добровольные поселенцы в новые страны вдалеке от отечества всего чаще устраивались по типу свободных ассоциаций, в которых на первом плане стоит личная инициатива и добровольное соглашение.

Рядом с этими элементами общественного и государственного быта существуют другие, определяющие формы общежития и государственное устройство помимо усмотрения частных лиц. Везде и всюду, даже в государствах, возникших из свободных ассоциаций, религия, национальность, территория, отношения к соседним народам и державам, наконец, разные обстоятельства и случайности и установившиеся под влиянием этих данных, вследствие продолжительной оседлости на одних местах, предания и нравы образуют тот не зависящий от воли отдельных лиц элемент, которого они не могут не признавать, с которым волей-неволей должны считаться. Смотреть на этот элемент только как на исторический, преходящий невозможно; он входит в жизнь государств как постоянное <...> условие, хотя и изменяется в своих формах. Такие его изменения всегда результат продолжительного и притом совокупного действия всех элементов народной и государственной жизни, а не одного желания и усилия лиц, входя-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

щих в состав государства. Этот не зависящий от личного произвола элемент лежит, как мы сказали, в самих условиях устроенного общежития и играет огромную роковую роль в определении формы и устройства не только государственного, но и частного быта. Под его влиянием как в публичное, так и в частное представительство вносятся новые условия, существенно изменяющие его значение.

Мы видели, что в частном быту, в устройстве добровольных обществ, союзов и корпораций представительство зависит от усмотрения и произвола частных людей; но в известных случаях при известных обстоятельствах оно устанавливается и тут помимо воли лиц, силою закона и распоряжением правительства, с подчинением действий представителя правительственному контролю. <...> Так, многие учреждения, имеющие характер юридических лиц, находятся в заведовании органов правительства, которые их представляют.

Особенно обширное применение имеет недобровольное, обязательное представительство в жизни государства и в правительственной организации. Как сказано выше, всякий сан, всякая должность, всякая власть, от главы государства до низшего чина, представляются живыми лицами, из которых наибольшая часть суть представители не по воле и усмотрению частных людей, а по закону или назначению высшей власти. Вместе взятые, они образуют правительственную организацию, которая представляет государство в делах внутренних и внешних. Представительство этого рода существенно отличается от частного. Государственное устройство, политические формы — произведение не одной воли и деятельности лиц, но вместе, как мы видели, и множества других условий, не зависящих от личного произвола.

Уже по одному этому начала частного представительства неприменимы вполне к государственному быту. Но есть этому, кроме того, и другая, более глубокая причина. Как только мы из сферы частной жизни и частных интересов подыдемся в сферу организованной общественности,

а тем более в высшую её форму, в жизнь государства, мы имеем уже дело не с отдельными лицами, а с отвлечёнными началами. Здесь лицо в непосредственном своём значении уже не существует и является лишь как выражение того или другого начала, той или другой государственной функции. Этим объясняется, почему все попытки перенести в государственную жизнь начала частного представительства оказывались неудачными; почему нигде и никогда они не могли быть выдержаны вполне в государственном устройстве. Так, выбор представителей решается большинством, приговору которого меньшинство должно подчиниться. Это начало пришлось принять даже в уставы акционерных компаний, несмотря на то что оно противоречит коренному условию прав частных лиц. Теперь стараются придумать такую комбинацию, которая бы обеспечивала меньшинству своё представительство в государственном устройстве. Такие комбинации, если б они и удались, приблизили бы несколько публичное представительство к частному, но далеко не сделали бы их тождественными. Далее: в старину инструкции <...> избирателей своим уполномоченным были для последних обязательны и этим сближали частное представительство с публичным; но в самом начале первой французской революции обязательный характер инструкций объявлен несовместимым с государственным представительством. Эти факты доказывают, что представительство частное, перенесённое в государственную жизнь, не может удержать своего характера. Мы видим это даже на республиках, где представительство положено в основание государственного устройства; что же сказать о государствах, в которых частный почин не имеет никакого участия в установлении государственных форм и где весь правительственный механизм существует в силу закона и государственной власти? Относительно таких государств единственно возникают вопросы: может ли у них рядом с данным государственным представительством существовать основанное на выборе? Есть ли в последнем виде представительства существенная надобность? Наконец, если такое представительство возможно и нуж-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

но, то в каких отношениях должно оно находиться к данной правительственной организации? Эти вопросы необходимо рассмотреть.

III

Многие убеждены, что выборное государственное представительство, рядом с данным правительственным механизмом, который тоже представляет государство, или положительно вредно, или, по крайней мере, совершенно излишне. Раз правительство есть, оно по силе своей непременно старается выработаться, приспособиться к нуждам страны и по возможности удовлетворять им — словом, стать в уровень с своим положением и задачами. Частные изъятия из этого общего правила были, есть и, без сомнения, всегда будут; но они неизбежны и не ослабляют общего правила. Всюду замечается постоянное совершенствование правительственного механизма, а это несомненно доказывает, что с развитием культуры и распространением просвещения представительство по закону и по назначению государственной власти может вполне удовлетворять всем потребностям государства. <...> К чему же может послужить выборное представительство? Ничего не улучшая, не отвечая практической потребности, оно только осложнит и без того сложный правительственный состав и, вдобавок, искусственно возбудит трудный вопрос об отношениях этой ненужной приставки к существующей правительственной организации. Опыт почти всех государств показывает, что введение выборного представительства сопровождалось важными затруднениями, нередко народными волнениями, и много времени проходило, пока, наконец, этот бесполезный придаток прилаживался к правительственному отправлению правительственных дел и становился по возможности безвредным.

Так рассуждают многие знающие и просвещённые люди, и было бы несправедливо приписывать их взгляд одной лишь отсталости или предубеждениям, внушённым теми или другими задними мыслями. Рассмотрим же, в какой мере они правы.

Противники выборного административного представительства особенно налегают на неудобства, трудности и опасности, неминуемые, по их мнению, при его установлении. Не умаляя важности этих опасений, мы позволим себе, однако, спросить: разве они не относятся в одинаковой мере ко всяким вообще существенным государственным преобразованиям, бывшим и будущим? Большие неудобства, трудности и своего рода опасности представляли и <...> установление земского самоуправления, и судебная реформа, и введение всеобщей воинской повинности. Всего более неудобств, трудностей и серьёзных опасностей представляла отмена крепостного права. Однако оттого преобразования не остановились и совершены <...> с необходимыми во всяком важном деле осмотрительностью и осторожностью. Нам скажут, что иное и в них не было <...> рассчитано наперёд; что вместе с дурным отменено и кое-что хорошее, о чём стоит пожалеть. <...> но вопрос в том, были ли преобразования необходимы и своевременны или без них можно было обойтись?

Если, как думает вместе с нами огромное большинство, они были необходимы и своевременны, удовлетворили настоятельным потребностям государства и народа, то некоторые их неудобства не могут идти в расчёт, хотя бы и было доказано, что они отчасти неустранимы и обуславливаются самым свойством новых учреждений. Какой бы совершенный, образцовый порядок вещей ни существовал в стране, он непременно будет иметь свои слабые стороны; законодательство вынуждено силою вещей выбирать относительно лучшее, и если оно это делает, то исполняет своё назначение.

Итак, вся сила в том, нужно и полезно ли выборное государственное представительство, когда существует правильная государственная организация по закону и назначению власти?

В ответ на этот вопрос мы не станем ссылаться на общественное мнение, ибо одни думают об этом предмете так, другие иначе. Поэтому обратимся лучше к истории — этому совершенно достоверному свидетелю в практических

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

вопросах <...>. Что же она говорит? Она самым определённым образом доказывает, что у всех древних и новых народов, в жизни которых замечается какое-нибудь движение и стремление к улучшению общественных и политических форм, рано или поздно непременно вводится в том или другом виде выборное государственное представительство, заменяя и исключая у одних народов существующую государственную организацию, у других только дополняя её новым элементом. Это показывает, что введение выборного <...> представительства не есть прихоть отдельных личностей, а вызывается потребностями государственной жизни. Не будь их, и оно не было бы таким распространённым, всеобщим явлением. Стало быть, нельзя считать его излишним и бесполезным, а того менее вредным и опасным. Когда вопрос о нём становится на очередь в мнении образованных слоёв общества, когда он делается предметом обсуждения и большинство мыслящих людей указывает на него как на действительное средство положить конец разным неустройствам в ходе государственных и общественных дел, то это служит несомненным признаком, что в жизни государства потребность в нём уже народилась. Остаётся объяснить, что её вызывает и в чём именно она заключается.

<...> Во всяком организме, пока он живёт и развивается, происходит постепенное расчленение его органов и отправлений и постепенная выработка, возможное усовершенствование тех и других. Закон расчленения или дифференциации есть один из основных <...> законов органической жизни, и то, что мы называем прогрессом, есть лишь неточное его название. В естественных науках он подмечен и исследован не только в жизни отдельных организмов, но и в развитии всей организованной жизни, от первых её зачатков до высших проявлений <...>. В каждом организме слитное, безразличное, бесформенное <...> мало-помалу выделяется, получает своё определённое существование, свою особливую <...> форму и деятельность. Стоит сравнить зерно с развившимся из него растением, развитое животное высшей породы с его зародышем, организацию

низших животных с организацией человека, чтобы удостоверить, какую важную роль закон расчленения играет в жизни организованной природы.

Тот же закон и с таким же значением нетрудно подметить и проследить и в развитии организованного человеческого общежития. Каждое устроенное общество и государство есть тоже организм, составленный из живых людей. По мере того как он живёт, он получает всё более и более сложные и вместе с тем более и более определённые и выработанные формы. Чем общественный или государственный организм развитей, тем явственнее выступают все его органы, тем деятельность каждого из них заметнее обособляется от деятельности других. Как в живом, развитом теле каждый орган, каждая точка живут, кроме общей, ещё и своей особой жизнью, так и в развитом государственном организме.

В законе расчленения — источник полноты жизни, тонкости и выработанности органов и совершенства их деятельности, но в нём же и причина разных ненормальных, болезненных явлений и ослабления организма. Расчленение выражает стремление каждого организма, каждой составной части организма к обособлению и самостоятельной жизни и деятельности. Но, выработываясь и обособляясь более и более, они грозят, наконец, потерять между собою связь и начать жить только своею независимою друг от друга жизнью. С наступлением полной их разрозненности организм разрушается <...>. Вот почему для целости и сохранности последнего необходимо, чтобы расчленение его органов и составных частей не переходило известных границ, чтобы связь их между собою и взаимодействие не прекращалось, чтобы ни одна составная часть и ни один орган, живя своею, собственной жизнью, не переставали в то же время жить и общей жизнью всего организма.

Последствия чрезмерного расчленения можно наблюдать и в жизни обществ и государств. Эгоизм, равнодушие к общественным делам, крестьянские разделы, распадение общинного землевладения и все подобные им характерные

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

явления суть факты расчленения и индивидуализации. Противопоставление правительства народу и народа правительству, сословные привилегии, обособление суда, казны, администрации, различных ведомств до забвения их единства и солидарности между собою и с тою средою, в которой призваны действовать; борьба сословий, церкви с государством и т.п. — суть последствия дифференциации органов и составных элементов государства, доведённой до прискорбных крайностей. В небольших и несложных обществах, где общность интересов и выгоды единения близки и понятны каждому, обособление редко, только в исключительных случаях принимает размеры, вредные для единства и целостности политического тела. В больших государствах, напротив, всё ему благоприятствует. Непосредственное единение людей затрудняется обширностью территории, разноплемённостью, разноверием населения и различием исторических судеб провинций; правительственный механизм по необходимости сложен и имеет многочисленный личный состав; ведомства, соответственно потребностям обширного государства и его управления, принимают большие размеры, что и способствует их выделению, обособлению и стремлению жить самостоятельной жизнью, превратиться в особые организмы, разобщённые от жизни страны и государства. Благодаря всем этим обстоятельствам наклонность к дифференциации обнаруживается с большею или меньшею силою не только в составных частях государства, но и в правительственной сфере между учреждениями и ведомствами, служащими органами государственной власти, следовательно, именно в тех сторонах государственной жизни, которые всего необходимее предохранить от излишеств расчленения, так как здесь-то оно и приносит наиболее вреда правильному развитию государственного организма. Чтоб умерить этот процесс, сначала везде прибегают к различным административным мерам: учреждают многие инстанции, производят более или менее частые ревизии, устанавливают подробный контроль высших установлений над низшими, облакают первые огромной властью над

последними и над должностными лицами, вводят сильную централизацию дел и т.п. Но все эти меры оказываются бессильными и только замедляют и запутывают ход правительственных дел, усложняя его лишними установлениями и должностями: остановить чрезмерное расчленение правительственного механизма они не в состоянии. Для этого есть только одно верное и действительное средство — установить живую, непосредственную связь между ним и общей жизнью государства. Таким средством является выборное государственное представительство. Оно, как кровь в теле, объединяет все составные части государственного организма, устанавливает между ними непрерывное взаимодействие, периодически обновляет государственный механизм притоком свежих сил и тем разлагает все вредные застои.

Таким образом, потребность в выборном государственном представительстве зарождается, если можно так выразиться, в физиологических условиях государственной жизни. Рост и развитие каждого государства, в особенности обширного, необходимо вызывают на очередь вопрос о представительстве. Он не есть признак ослабления или упадка, а служит признаком мощи и здоровья государственного тела, ибо появляется при правильном ходе государственной жизни, когда правительственный механизм вполне сложился и окончательно выработался.

IV

Выборное государственное представительство, как мы видели, предназначено в жизни государства ослаблять и умирять выделение и обособление его органов, составных частей и их отправлений. Мы говорим: правительство и народ, не всегда отдавая себе ясный отчёт в том, что этими названиями мы обозначаем лишь две стороны одного и того же государственного организма, две расчленённые его функции. Выборное представительство, изменяющееся периодически в своём составе, устанавливая между ними прямой обмен, отнимает всякий повод к ложному и опас-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ному мнению, будто между этими, теснейшим образом связанными сторонами, немислимыми одна без другой, может существовать противоположность. Представительство вносит в правительственный механизм живое, непосредственное знание тех потребностей, общих и местных, которые назрели в государстве в данное время, и вместе знакомит частные лица, попавшие в число выборных представителей, с ходом государственных дел, с потребностями и условиями государственного механизма, далеко не похожими на требования и условия местной, корпоративной, сословной и частной жизни. Этим оно даёт правительству желанную возможность <...> для разрешения своих задач и достижения своих целей лучшими силами и способностями страны, выказавшими на практике свою пригодность для ведения государственных дел. <...>

<...> Вопреки очень распространённому мнению <...> совпадение установления выборного государственного представительства в теперешних формах с политическими переворотами и умалением прав короны есть явление случайное, а не результат органической связи между тем и другим. Теория государственного устройства, господствующая теперь в Европе, основанная на противоположении правительства народу, на ограничении прав короны народными представителями и на уравновешении властей, не есть выражение нормальных условий политического быта, а возведение в принцип и систему восстания народа против исторически сложившейся государственной власти и междоусобной войны. Такие драмы и трагедии, к несчастью народов, иногда разыгрываются. Они, конечно, имеют свои причины; но их нельзя возводить в теорию, как нельзя считать нормальными чрезвычайные суды, военное положение и другие экстренные меры, вызываемые чрезвычайными обстоятельствами и исчезающие вместе с ними. Самодержавие народа, в противоположность правительственной власти, разделение власти между народом и правительством, ограничение его народными представителями — все эти начала конституционных монархий непонятны без исторического комментария. Выборное госу-

дарственное представительство, напротив, — учреждение <...> старинное, вытекающее из существа государственной жизни, объясняемое её общими законами и совершенно понятное без помощи исторических воспоминаний <...>.

Европейские теории государственного быта, построенные на соглашениях и уравновешении борющихся между собою элементов, служат наглядным доказательством, к чему ведёт расчленение органов и составных частей государственного организма, когда оно переступает известные границы. Введение выборного государственного представительства посреди политических переворотов указывает не на причинную связь последних с первым, а, совсем напротив, только подтверждает, что представительство <...> самое верное средство против чрезмерного выделения и обособления органов и элементов государственного организма. Осложнение выборного представительства политическими правами, стесняющими государственную власть, произошло только оттого, что в тот момент, когда <...> европейские народы прибегли к представительству, или, говоря точнее, восстановили его, политический кризис и междоусобная война были в полном разгаре.

Чтобы пояснить нашу мысль, напомним факты, известные всем.

Западноевропейские континентальные государства от самого основания и до конца минувшего столетия представляли внутри себя не организованные политически тела или единицы, а нагромождение сословий, корпораций, общин, учреждений, из которых каждая жила самостоятельной жизнью и стремилась господствовать над другими. Феодалы, аристократии, рыцарские ордена, церковь, духовные власти и города — медленно и слабо объединялись королевскою властью, которая долго была не в состоянии сдерживать вкупе, хотя бы только внешним образом, ползущие врозь элементы государства. При таком положении вещей об органическом государственном единстве не было и не могло быть речи. Оно возникло впоследствии и было плодом долговременных усилий переломных умов и хода событий, который неудержимо вёл к

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

постепенному объединению разрозненных и отлучённых друг от друга элементов. Неспетость их и господство одних над другими и произвели коренные перевороты, переменявшие вид Европы. С ними впервые государства стали органическими телами; сословия, корпорации сплотились в это время в целое и из самостоятельных единиц обратились в члены и органы высших политических организаций. Тогда-то и родилось всеобщее выборное государственное представительство, заменившее собою сословное и корпоративное. Выходит, что создание новых форм выборного представительства совпало в Европе с укреплением и усилением государства и государственной власти, шло с ним рука об руку. Такое совпадение не было случайным и только подтверждает мысль, что выборное представительство есть могучее средство объединения, сплочения и усиления государства и государственной власти <...>. Взрыв произошёл оттого, что перед началом революции разрозненность и обособленность общественных и государственных элементов и господство одних сословий и классов над другими достигли крайних своих пределов <...>. Это, а не выборное представительство ослабило королевскую власть и создало господствующие теперь в Европе начала государственного устройства. **Уроки истории — великое дело. Они — источник политической мудрости, собрание опытов, которыми нельзя безнаказанно пренебрегать; но надо уметь делать исторические справки и выучиться понимать их; мы же, по примеру плохих чиновников, не даём себе труда пересмотреть весь архив, а берём на справку последнюю бумагу и из неё делаем посылки и заключения, которые оттого нам ничего не объясняют, а только спутывают наши понятия. Одно и то же явление при различной обстановке и различных условиях имеет различное значение и разные последствия; одна и та же мера, принятая вовремя, при известных обстоятельствах, устраняет опасность; но та же мера, введённая слишком поздно, в половину, без ясного понимания её назначения и действия, может совпасть с событиями, не имеющими с нею ничего общего. Поверхностные умы, пустоголовые обозреватели**

политических событий зачастую выводят из них заключения, прямо противоположные тому, что действительно было. Такими выводами переполнены до сих пор политические науки <...>; а мы, не давая себе труда критической проверки, пробавляемся по преданию непосредственными, наивными впечатлениями наших предков и по ним судим о нуждах и потребностях отечества. Где <...> нет исторически, веками сложившихся застоев, где государственное единство <...> не затрудняется чрезмерным, уродливым расчленением и обособлением элементов, где нет политического господства одних сословий и классов над другими и, следовательно, нет накопления горючих материалов, готовых ежеминутно вспыхнуть, там выборное государственное представительство может только послужить к большему сосредоточению государственной жизни и деятельности и к усилению государственной власти. <...>

И.С. АКСАКОВ (1823—1886)

О взаимном отношении народа, государства и общества

I

Либерал и кавалер — назовем его хоть Семён Иванович — один из наших старых знакомых, говаривал обыкновенно: «Дали бы мне *власть*, я создал бы тотчас общественное мнение!» А его превосходительство либерал Иван Семёныч, также наш старинный приятель, постоянно возмущавшийся «косностью, смирением и раболепством» русского народа, о котором вообще изволил отзываться с просвещённым негодованием, — <...> разрешал обыкновенно всякой гордиев узел общественных и административных недоумений и затруднений проектами разных законодательных мер и строгих либеральных указов. К счастью, ни тот ни другой не достигли столь желанной ими, для пользы общества, власти. Мы сказали: к счастью.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

И действительно, будь у Ивана Семёныча и Семёна Иваныча право и возмущаться и распоряжаться отечеством по своему вольнодумному благоусмотрению, они бы предписали указом либеральничать в известном, *опробованном*, а не в другом каком-либо направлении; они бы заставили умолкнуть всякий голос, противоречащий их «благонамеренным либеральным видам»; они бы проповедовали в *официальных* газетах необходимость, важность и прелесть свободы и свободного общественного мнения, а литературу пригласили бы разыгрывать мелодии в «мажорном или минорном тоне», согласно *их собственному* камертону; они бы принудили общество с покорностью идти к той свободе, которую они для него и за него придумали, или безмолвно и послушно выжидать, пока изготоятся ими, на их кухне, разные благополезные, благопригодные и благовременные либеральные гостинцы и сюрпризы!

Таких людей много, и очень много, в нашем обществе, — но не спешите осуждать их, читатель! Если мы все, без исключения, беспристрастно и пристально вникнем в самих себя, подсмотрим наши внутренние движения, подслушаем наши собственные, невольно вырывающиеся первые, необдуманнные восклицания и речи, мы должны будем сознаться, что *в каждом* из нас, более или менее, обитает такой же Иван Семёныч или Семён Иваныч. «Я бы *указом*», «будь я министр, я бы дал *предписание*», «надо бы издать *закон, распорядиться, принять энергические меры, приказать*», «чего смотрит правительство или начальство!» и пр. и пр. в таком же роде: все эти выражения каждый из нас может частёхонько подловить на собственных устах, и все эти выражения свидетельствуют только о том, что мы привыкли всего ожидать сверху, всякое спасение полагать в законодательной мере или учреждении, в форме внешнего принуждения, — а не во внутреннем побуждении, не в собственном начинании или инициативе, не в самостоятельной деятельности личной или общественной.

Справедливо <...>, что «недобросовестно слагать вину на правительство в таком деле, в котором могут действовать только такие усилия общественные, на которые недо-

станет средств ни у какого правительства». В самом деле, есть целые области общественных отношений и общественной деятельности, куда не в силах достать сверху, распоряжением, никакая самая отважная благонамеренность начальства; есть многочисленные явления духа, которые не могут быть вызваны на свет Божий указом и которые не терпят никакой, извне налагаемой формулы. Наконец, мы знаем и по теории, и уже достаточно научены опытом, что всякие внешние, принудительного характера, попытки: создать духовную жизнь, деятельность, нравственную силу — производят только одно подобие жизни, деятельности и силы, лишённое, разумеется, всякой внутренней энергии, и не только не плодотворное, но и положительно вредное, как всякая ложь, внесённая в нравственную жизнь общества. Мы убеждены, что органические силы человеческого общества не могут быть заменены никаким искусственно придуманным механическим снарядами, что правительство не может брать на себя или «исправлять должность» организма и жизни, — и тем не менее мы сами, собственным бездействием, собственной слабостью хотенья и убежденья, собственной леностью мысли и воли, постоянно обращаясь кверху, вызываем правительство на ненужное и бесплодное вмешательство, часто вопреки его собственному желанию и воле!

За примерами ходить не далеко. В 1861 году *двенадцать* губернских присутствий по крестьянскому делу «входили куда следует» <...>, чтобы дозволено было стеснить, — допущенный Положением 19 февраля, — свободный самосуд волостных судов разными формальностями <...>. Такое административное усердие со стороны лиц, <...> приглашённых большею частью к «почётно либеральной» деятельности из среды самого образованного общества, усердие, к тому же и несогласное с духом либерализма <...>, — вынудило правительство к ответу, опубликованному во всех газетах, что, предоставив волостным судам свободу руководствоваться совестью и местными обычаями, оно находит такое требование присутствий <...> для крестьян стеснительным. Конечно, такой пример

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

составляет редкое исключение, но в большей части случаев мы только недодумываем или недоговариваем последнего слова, или же вносим то же административное, государственное, внешне принудительное начало в собственную деятельность.

Проникнуты ли мы чувствами сострадания и желания помощи ближнему — и у нас как раз заведётся чуть-чуть не целое министерство благотворительности, со всеми бюрократическими порядками! Честным человеком когда-то было высказано негодование на то, что ради доброго дела употребляется нередко соблазнительный способ собирания денег посредством лотерей и маскарадов, <...> — тотчас же многие пожелали и добились-таки запрещения этих увеселений, впоследствии отменённых! Путём разных умо-заключений доходим мы, например, до сознания необходимости живой миссионерской проповеди между раскольниками или иноверцами, — но не обретая внимательного слуха в сонном обществе, — делать нечего, пишем проект, который и представляем по порядку службы. Живая мысль, которой бы следовало тотчас же, свободно, перейти в живое дело, — проходит, зашнурованная, занумерованная, чрез всевозможные канцелярские мытарства и, утратив всё живое и животворящее, становится бумагой, требующей очистки, и наконец преобразуется в какой-нибудь *итат* апостолов или миссионеров. И, скажем откровенно, было бы недобросовестно и несправедливо обвинять правительство в неуспехе такого миссионерства. Государство, какое бы оно ни было, самодержавное, конституционное или республиканское, не может, по самому существу своему, действовать и совершать свои отправления иначе как посредством разных бюрократических форм и порядков, захватывая область внешней правды, внешнего действия и внешних отношений, и никакой указ императорский, конституционного короля, парламента или законодательного собрания республики не в силах создать апостола или проповедника! Мы сильно хлопочем в настоящее время о народном и общественном образовании, придумываем тот или другой способ устрой-

ства народных школ и высших учебных учреждений, — и не находим других причин осуществить наше предположение, как чрез принудительное распоряжение правительства, тогда как сами убеждены, что принудительное распоряжение не даёт жизни и легко порождает официальную ложь!.. Но как иначе достигнуть нашей цели, мы не знаем, не умеем, не видим ни путей, ни способов, ни средств! Мы так вжились в официальные привычки и приёмы, что почти всякое наше предположение и рассуждение ложится в форму проекта законодательной меры, просит параграфов и пунктов, удобоутверждаемых, и редко походит на живое слово убеждения, обращённое к живым силам самого общества.

Какое печальное и, по-видимому, безвыходное положение! С одной стороны, жизнь даёт смутно чувствовать потребности каких-то улучшений и преобразований, непрерывно встают вопросы, вызываемые или действительною надобностью, или отвлечёнными соображениями, — но сама жизнь упорно, безответно молчит, не даёт разрешения, не облегчает труда положительным указанием! С другой — постоянное, искусственное разрешение, налагаемое извне, — искажение, часто невольное, государственным началом свободных отправлениях этой безмолвной общественной жизни, постоянные противоречия, разлад с жизнью и болезненное чувство всеобщей неудовлетворённости! С одной стороны, бездействие или испорченность, инерция организма, с другой — невозможность его исправления и оживления — мерами принудительными, силою официальною, единою, действующею неослабно и на просторе! С одной стороны, бессилие, умеющее только раздражаться, отрицательно, пассивно противодействовать или же проявлять своё противодействие в бесплодности, непроизводительности и безобразии жизни; с другой — сила, сила положительная, но неспособная по существу своему творить и созидать в области духа, осуждённая на производительность чисто внешнюю и на невольное искажение внутреннего и живого!

Мы полагаем, что в более ясном истолковании слова наши не нуждаются и что читатели сами могут дополнить картину нашего современного положения...

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Нам недостаёт внутренней, общественной жизни, недостаёт глубоких убеждений, недостаёт самодеятельности, недостаёт силы, силы общественной, той силы, которая есть единственная могучая, нравственная, человеческая сила, достойная человеческого общества, животворящая, всепобеждающая, ведущая народы к совершению предназначенного им подвига в истории человечества! Проснуться, её, эту силу, вызвать, ею поработать, её созидать — вот к чему мы должны стремиться, все, всем обществом, от мала до велика, вот в чём наше спасение и охрана, вот единственное условие нашего развития и преуспеяния!..

Но каким образом? И почему недостаёт нашему обществу этой силы? И что такое общество? И какое его значение у нас, в России, между землёю и государством?.. <...>

II

<...> Чтобы яснее выразить нашу мысль, нам придётся повести речь издалека, обратиться к свидетельству истории и к отвлечённым, теоретическим построениям.

Было ли у нас общество до Петра? Не было, отвечаем мы, точно так же, как не было и литературы, без которой в позднейшие времена немислимо никакое общество, — а почему так — вот наши доводы.

Говоря: *общество*, мы разумеем здесь не то юридическое определение, которое прилагается ко всякому соединению людей: случайному ли, для какой-либо цели, как, например, торговля компании; по образу ли жизни или занятиям, как, например, цехи, гильдии; или в самом широком смысле, в смысле *народа*, противоположаемого государству. В последнем случае нередко вместо *общества* употребляется слово *народ*, и вместо *народа* — *общество*. <...> То общество или, вернее, то, что мы разумеем под словом *общество*, ускользает от всякого юридического определения, не укладывается ни в какую юридическую рамку, ненаделимо и неограничимо или, другими словами, не способно быть наделяемо или ограничиваемо никакими юридическими «правами, преимуществами и обязанностями».

А между тем оно имеет жизнь, и жизнь действительную; оно не фикция, не мечта, а реальность, явление положительное; оно наделено страшною силою, существующею вне всякого формального закона, — силою общественно-го мнения. Но эта сила есть сила нравственная, это положительное явление есть явление нравственного мира.

В этом смысле слово *общество* часто употребляется и в нашем разговорном языке, но большею частью безотчётно, и, по недостатку строгого определения, беспрестанно смешивается с другими, часто противоречащими понятиями. Французское слово *societe* и английское *society* хотя и соответствуют нашему *обществу*, но в смысле более узком или, по крайней мере, не столь широком. Замечательно, что у немцев нет слова для идеи общества: *Gesellschaft* значит собственно *товарищество*, — и для выражения понятий об обществе в широком смысле вы должны прибегнуть не к немецкому слову <...>. Любопытно видеть, как выражается идея *общественного* мнения на трёх главных языках Европы: *l'opinion publique*, *public opinion*, *offentliche Meinung*. Нельзя не сказать, что русское слово всего вернее и точнее соответствует этому явлению общественной жизни и передаёт идею общности, — и это недаром, точно так же, как и не случайно отсутствие у немцев слова: общество. <...>

Ознакомив <...> читателей с самою областью вопроса, попытаемся теперь определить и самое понятие: *общество*. Общество, по нашему мнению, есть та среда, в которой совершается сознательная, умственная деятельность известного народа; которая создаётся всеми духовными силами народными, разрабатывающими народное самосознание. Другими словами: общество *есть* народ во втором моменте, на второй ступени своего развития, народ самосознающий. Постараемся разъяснить читателям это определение.

Что же такое *народ*?

Всё, в каждой стране, граждански живущей, существует *из* народа, *народом*, *ради* народа, — и *вне* народа, вне его участия, прямого или косвенного, положительного или

отрицательного, не могло бы и существовать то, что существует. В обширном смысле, народом называется всё население известной страны, представляющее цельность нравственную и физическую, единство происхождения и предания, единый общий тип физический и духовный. Такое определение объемлет все сословия, все ступени общественные, от царя до последнего крестьянина: <...> говоря: *дерево*, мы разумеем и корень, и семя, и ствол, и ветви, и листья. Но в тесном смысле и более строгом, народом называется *простой* народ, то народное множество, которое живёт жизнью непосредственной и, как зерно, сосредоточивает в себе всю органическую силу, всё развитие организма. В самом деле: как семя хранит в себе всю будущность дерева, с красотой, шумом и зеленью листьев, — и дерева именно этого, а не какого-либо другого, так что семя дуба родит дуб, а не берёзу, — так и народ, в тесном смысле, хранит в себе всю будущность предстоящего ему подвига, развития своей духовной особенности, своего типа. Но этот тип, эта особенность являются в нём на ступени и с характером силы стихийной, — разумеется, не в физическом, а в духовном смысле, силы духовной, но ещё не покоренной личному сознанию, не ставшей предметом сознания. Народ состоит из отдельных единиц, носящих каждая свою личную разумную жизнь, деятельность и свободу; каждая из них, отдельно взятая, не есть народ, — но все вместе составляют то цельное явление, то новое лицо, которое называется народом и в котором исчезают все отдельные личности. Поэтому народ не есть агрегация или совокупность лиц с их совокупною деятельностью, а живой, цельный, духовный организм, живущий и действующий самостоятельно и независимо от лиц, составляющих народное множество. Процесс мысли, сознания, творчества в *этом* организме, его физиологические и психические законы составляют такую же тайну, как и самая тайна жизни. Возьмите, например, язык в народе, хоть наш русский. По свидетельству филологов, он поражает мудростью, стройностью, логичною последовательностью своих законов; он являет как бы работу мысли, раскрытие кото-

рой и составляет задачу филологии, почти неисчерпаемую. Между тем *ни одна* отдельная личность в народе не мыслила, не работала над языком. Предположить, что вот люди подумали-подумали да и решились принять тот или другой закон в языке, <...> разумеется, невозможно. Каким же образом, когда ни одно отдельное лицо не обдумывало системы языка и все вместе не условливались в её строении, создаётся, однако, язык, весь как бы проникнутый сознанием? Очевидно, что те же самые лица, как *народ*, составляют особый цельный организм, в котором духовные отправления и процесс сознания совершаются иным путём и иным порядком, нежели в отдельном человеке.

Собственно говоря, это и не есть сознание в обыкновенном смысле: здесь совершается бессознательное *творчество* народного разума и воли. Народные единицы не замечают здесь участия своей личной мысли, участия, однако, несомненного <...>. Как самое народное творчество принадлежит всему народу, а не отдельным лицам, так всему же народу принадлежит пока и сознание этого творчества. Отдельные лица уже особым, новым действием пересознания постигают мысль, вырабатываемую народным творчеством. Это постижение народной мысли личным сознанием есть уже новая ступень в жизни народной — народное *самосознание*. Это самосознание совершается в *обществе*.

Итак, народ не есть *сосуд*, <...> ибо сосуд безучастен к своему содержанию; не есть *масса*, <...> ибо масса бессознательна и не имеет в себе ничего органического; не есть и *материал*, потому что этому материалу нельзя давать произвольного назначения извне и подчинять его своей личной воле, а напротив, он подчиняет себе чужую волю, развиваясь <...> по своим внутренним органическим законам.

Народное самосознание есть новое движение в бытии народном, новая ступень народной жизни; но не следует думать, чтобы чрез это непосредственная народная жизнь или тот особенный процесс народной мысли, о котором мы выше говорили, становились излишними. Как семени

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

для исполнения своего назначения необходимо проявить свою жизнь в корнях, стебле, стволе, ветвях и листьях, так и народ не может оставаться при одном непосредственном творчестве в жизни духовной, при первоначальном виде внешнего бытия в жизни вещественной. Но как внутренняя жизнь корней не прекращается оттого, что выросло, цветёт и зеленеет дерево, так и акт непосредственного творчества не может быть однажды завершён и покончен оттого, что он сознаётся. Напротив, точно так, как сохнет дерево вместе с прекращением деятельности корней, как скоро исчезла деятельность непосредственной силы, — гибнут и исчезают народы.

Обращаясь к истории, мы видим, что, как птица прежде всего свивает себе гнездо, так и первым действием всех народов было: создать себе внешнюю государственную форму, форму, в которой бы они могли свободно совершать своё развитие и таким образом исполнить своё назначение в человечестве. *Общества* ещё нет, а уже возникает *государство* над народом, продолжающим жить жизнью непосредственной. Но не выражает ли государство народного самосознания? Нет, оно есть только внешнее определение, данное себе народом; деятельность его, то есть государства, и сфера его деятельности чисто внешние. Государство является как органический покров, или, по сравнению К.С. Аксакова, как кора на дереве, которая должна подаваться, растягиваться, видоизменяться, согласно с внутренним развитием и деятельностью сердцевинны. «Беда, — говорит К.С. Аксаков, — если вся сила дерева пойдёт в кору: растёт и толстеет кора, сжимается и слабеет сердцевина, а чем слабее сердцевина, тем ближе и гибель дерева, которую никакая толщина коры отворотить не может: не в том дело, крепка ли кора, а в том, здорова ли сердцевина». В человеческом организме есть также болезнь: отолщение кожи. Кожа, разумеется, есть часть того же организма, как и государство, по отношению к народу, — но при слабой деятельности организма или при неправильности его отправления всё обращается в кожу, которая <...> становится как бы во враждебное отношение к организму,

будучи сама его частью. В этой болезни нет другого лекарства, как противодействовать уродливому развитию, такому мятежническому поведению кожи возбуждением жизни и деятельности в прочих органах.

Эта деятельность в народном организме выражается деятельностью общества, или, лучше сказать: общество есть не что иное, как народный организм в деятельном развитии, не что иное, как *сам народ*, в его поступательном движении. Здесь уже не бессознательный процесс народного сознания и творчества, которого пример мы видели на народном языке, не непосредственное бытие и пребывание в нём, а деятельность самого народа на второй ступени своего бытия, деятельность самосознания. Личность, поглощаемая *в народе*, существующая и действующая в нём не сама по себе, а как часть, атом народного организма, получает вновь своё значение *в обществе*, но с тем, чтобы путём личного подвига и личного сознания утвердить свою связь с народом и воссоздать новую высшую, духовную цельность народного организма. <...>

Итак, мы имеем: с одной стороны, народ в его непосредственном бытии; с другой — государство как внешнее определение народа, заимствующее свою силу от народа — и усиливающееся на его счёт, при бездействии его внутренней жизни, при долговременном его пребывании в непосредственном бытии; наконец, между государством и народом — *общество*, т.е. тот же народ, но в высшем своём человеческом значении, не пребывающий только в известных началах своей народности, но сознающий их, сознательно развивающий и обособляющий их в явлениях, постоянно действующий и совершающий свой земной исторический подвиг. Государство есть начало внешней деятельности внутренней, нравственной, умеряющей деятельность внешнюю, полагающей ей нравственные пределы. При отсутствии общества, при бездействии его государственное начало, захватывая всё шире и шире круг своей деятельности, внутри государства, может наконец, как кора — сердцевину, сдавить и почти заглушить жизнь народа, находящегося на степени непосредственного бытия;

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

народность, не вооружённая сознанием, не всегда надёжный оплот против врагов внутренних и внешних. Только сознание народных начал, только общество, служащее истинным выражением народности, являющее высшую сознательную деятельность народного духа, может спасти народ и остановить растущее внутри государство.

Теперь посмотрим поближе, что такое общество.

Во-первых, имеет ли оно какую-либо политическую, внешнюю организацию? Никакой. Это не есть ни сословие, ни цех, ни корпорация, ни кружок, ни какое-либо иное, условленное соединение людей. Это даже не собрание, а совокупная деятельность живых сил, выделяемых из себя народом, деятельность людей, которые вышли из народа, но не состоят уже под законом непосредственного быта, не поглощаются в народе, а, напротив, делают непосредственное творчество народное и самый народ предметом своего сознания и деятельности, получая в то же время от народа жизнь, питание и силу. Разумеется, мы говорим не про то, что есть, а что должно быть. Выделяться из народа, в нравственном смысле, даёт право только образование, и притом не в значении известного количества познаний и даже не в значении одного умственного образования, а в значении личного духовного развития вообще, такого развития, которым нарушается однообразие и безличность непосредственного народного бытия, но нарушается именно тем, что дух народа сознаётся и самое единство народное ощущается яснее и живее. Такое развитие есть расширение умственного взора, а по тому самому и усиление нравственного сочувствия к народу. Тут не может быть ни определённого числа лиц, ни патентов, ни других примет на принадлежность к обществу; оно образуется из людей всех сословий и состояний — аристократов самых кровных и крестьян самой обыкновенной породы, соединённых известным общим уровнем образования. Чем выше умственный и нравственный уровень, тем сильнее и общество.

Во-вторых, общество <...> не должно кристаллизироваться, костенеть, мертветь, а должно постоянно освежать-

ся, обновляться новым притоком сил из народа, одним словом, состоять к нему в таком же-отношении, как дерево к корню. <...>

В-третьих, общество, разумеется, существует только там, где есть цельное народное тело, цельный организм с соответствующим ему цельным органическим покровом, то есть внешней, государственной формой. <...>

В-четвёртых, сила общества, как явления неполитического, есть сила нравственная, сила «общественного мнения». Орудие деятельности общества есть слово, и по преимуществу печатное слово, разумеется, свободное. Напрасно воображают некоторые, что свобода слова, устного или печатного, есть *политическая* свобода. После этого и свобода есть, пить, спать, дышать воздухом, двигать руками и ногами есть также политическая «прерогатива»! Между тем свобода слова, свободный обмен мыслей, чувств, мнений, необходимый для нравственной деятельности, относится точно так же к стороне нравственной человека, как свобода спать, есть к стороне физической. Злоупотребление слова так же возможно, как и злоупотребление рук, но если бы в предупреждение зол, которые можно учинить руками, связать всем людям руки за спину, то уничтожилась бы всякая возможность деятельности, следовательно, и существования как связываемых, так и вяжущих. <...>

III

<...> Мы решаемся даже утверждать, что где нет деятельности слова, там нет и общества (разумеется, если отсутствие таковой деятельности происходит не от внешних, случайных причин), или иначе: в истории позднейших времён *без литературы* немислимо никакое общество. <...> Дело в том, что общество есть та среда, в которой совершается сознательная, умственная деятельность народа, которая создаётся всеми духовными силами народными, разрабатывающими народное самосознание. Другими словами: общество есть народ на второй степени своего развития, народ самосознающий. Но для того чтоб стать

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

на эту ступень, чтоб от непосредственности двинуться к самосознанию, от безличности народного бытия перейти к совокупной деятельности лиц, воссоздающих новую высшую духовную цельность народного организма, — необходимо *образование*. <...> Оно принимается нами не в смысле известного количества познаний, не в смысле одного умственного образования, а в значении личного духовного развития, такого развития, при котором личность, поглощаемая до сих пор в народе и не существующая в нём *сама по себе*, обретает себя вновь, ощущает себя как *единицу* народную, разрешает плен непосредственного бытия (подобно тому, как пускаемый зерном росток пробивает поверхность зерна) и получает возможность постижения мысли народной личным сознанием. Это постижение народной мысли, народного непосредственного творчества, личным сознанием единиц, народ составляющих, есть уже народное самосознание, которое и совершается в *обществе*. Следовательно, только образование, в том значении, как мы его объяснили, полагает начало народному самосознанию, или другими словами: только образование даёт бытие обществу. Поэтому-то общество необходимо предполагает известный общий уровень образования, и чем выше уровень, тем сильнее и общество.

Но как определить этот уровень образования? Как обозначить границу, где кончается непосредственность бытия и начинается деятельность народного самосознания в единицах? Как указать ту ступень личного развития, на которой действие личного сознания получает значение народного самосознания? Как определить: когда личная деятельность единиц имеет право назваться *общественною*, когда именно народные единицы являются обществом?

Как провести в истории черту, откуда деятелем (фактором) истории становится общество?

Определить этот уровень и обозначить его пределы нет никакой возможности, да нет в том и надобности. Область нравственного мира не терпит никаких внешних рубрик и формул, никаких сигнатур и штемпелей, не поддаётся ни весам, ни мерам, ни горнилу, и все подобные попытки

были бы не только тщетны, но и положительно вредны для свободного проявления его внутренней деятельности. Общество даёт знать о своём существовании тем, что оно существует и действует; деятельность общественная есть <...> деятельность народного самосознания; деятельность народного самосознания выражает себя в *слове*, которое есть плоть сознания, плоть человеческой мысли; стало быть, выражение общественного сознания есть общественное слово; следовательно, только там, где есть *общественное слово*, есть и общество, и наоборот — нет и общества там, где нет общественного слова. Постоянная деятельность общественного слова есть то, что называется словесностью или литературою.

Мы можем предположить себе весь народ умеющим читать и писать. Будет ли это общество? Нет; грамота есть только орудие слова, но самой деятельности личной мысли может ещё и не быть. Предположим, наоборот, простой народ погружённым в невежество, — а над ним другие верхние классы, досужие, отличающиеся от народа бытом, образом жизни и даже более развитые. Составляют ли эти верхние классы общество? Опять нет, если им недостаёт деятельности мысли, если они заключены в тесных границах сословного быта, если они только *чувствуют* себя как народ, в силу своего естественного сродства с остальными народными классами, а не *сознают* себя как народ, не зарабатывают народного самосознания. Ни рыцари Средних веков, ни купцы в России, в нашем XIX веке (мы говорим про большинство, а не про частные явления), не составляли и не составляют общества. В <...> том-то и сила, что общество создаётся не верхним и не средним сословием, не мужиками и не дворянами, а создают его только *образованные* люди или, вернее, люди *всех* сословий и состояний *безразлично*, — связанные между собою тем уровнем образования, при котором становится возможною деятельность общественная, выражающаяся в наше время в литературе.

Само собою разумеется, что чем больше живых сил, выделяемых из себя народом, тем сильнее и деятельность

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

общества, которая, идеально понимаемая, должна обхватить свою совокупность единиц, народ составляющих, не уничтожая через это нисколько ни непосредственной силы народного творчества, ни цельности народного организма, но воссоздавая (как мы уже сказали) его новую высшую духовную цельность. Чем больше образованных людей в какой-либо стране, тем скорее возникает в ней общество, но определить потребное для того число образованных людей так же невозможно, как невозможно при учислении долей веса указать, где начинается тяжесть и кончается легковесность. Как скоро раздаётся общественное слово, как скоро оно является как *власть имеющее*, — мы познаём существование общества.

Не забудем также, что общество ни в какой данный момент не может назваться полным выражением народного самосознания. Оно есть *деятельность* народного самосознания, оно есть *самосо-знавание*, которое, постоянно возрастая и усиливаясь, приближает народ в его конечной цели, к самосознанию.

Чтобы ещё яснее выразить нашу мысль о значении слова вообще и *печатного слова* как общественной силы, обратимся к истории. В Риме и Греции было общественное слово, было и общество, которое и дало человечеству всё, что мог дать ему мир языческий; но Рим и Греция находились в других условиях, не существующих для мира новейшей эры. Возьмём Западную Европу, Германию, Францию, Англию. Можем ли мы признать в них существование общества в первые тринадцать или четырнадцать, или даже пятнадцать веков по Рождестве Христовом? Мы видим власть королевскую, правителей — даже мудрых, деятельность правительственную... Но это не общество. Деятельность государственная есть деятельность внешнего строения, это не есть деятельность общественная, сознательная деятельность духа и мысли народной. Вообще можно сказать, что деятельность народов в первые четырнадцать или даже пятнадцать веков истории Европы поглощается работою над внешнею формою, над внешним определением, которое давал себе каждый народ. Тогда

только и начинается возможность общественной деятельности, когда сложилась уже сколько-нибудь внешняя форма, что, конечно, ещё не значит, чтобы эта форма не могла впоследствии видоизменяться. Итак, с одной стороны мы видим в Средние века в Европе — королей, герцогов, всяких властителей с их дружинами военными и гражданскими; мы видим начало государственное и его деятельность заменяющими всякую другую жизнь в общем организме страны — вне среды непосредственной жизни самого народа. Это не общество. С другой стороны представляется нам сословие рыцарей, аристократических владельцев, которых вся жизнь и деятельность были чисто внешние. Их, конечно, никто не назовет *обществом*; никто не скажет, что они составляли тогда *общественное мнение*! С этим едва ли кто станет спорить. Простой народ, порабощённый и угнетённый, находился на самой низшей ступени безличного бытия; следовательно, об нём не может быть и речи. Городские общины жили жизнью замкнутою, поглощённую интересами преимущественно вещественными и заботами об ограждении себя от всяких грубых сил, бродивших и ещё не перебродивших тогда в организуемых государствах. Они ещё не составляли тогда общества, не предьявляли своего мнения как мнения общественного. Заметим кстате, что при существовании резкого разделения сословий, бытового и юридического, с великим трудом вырабатывается среда для совокупной умственной деятельности народных единиц как общества. Кроме названных сословий, существовало в Средние века единственное *образованное сословие* — духовенство. Оно сберегло, без сомнения, умственное наследие мира древнего для мира нового; оно было хранителем того просветительного начала, которое дало смысл, направление и характер всему просвещению, всему духовному развитию, следовательно, всей последующей деятельности общества на Западе, но это просветительное начало являлось как данное извне, усвоенное бытом, но не усвоенное народным самосознанием; оно, конечно, способно было возбудить и возбуждало деятельность народного духа, но ещё не как на-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

родное сознание, а как деятельность человеческого духа вообще. Одним словом, учёные монахи и схоластики Средних веков не были обществом. Была ли Сорбонна выражением общества? Нисколько. Даже университеты того времени устремляли всю свою деятельность на внешнее одоление того готового материала просвещения, который завещан был Римом и Грецией христианскому миру, и были отрешены от действительной жизни. Без всякого сомнения, на Западе, в течение этого времени, подготавливались все материалы для будущего здания, все внешние орудия деятельности, расширялся круг познаний, личная мысль не дремала, но она являлась одиноко-личною, не общественною, и резкая, неприязненная разделённость сословий <...> ещё препятствовала сложиться той *среде*, которая потом явилась как общество, тому простору, в котором бы оно могло действовать. Мы не пишем истории западного общества. Мы предоставляем нашим читателям поверить нашу мысль и наш вывод более подробным сопоставлением фактов, но едва ли они не согласятся с нами, что общества на Западе не было до того времени, как изобретение книгопечатания дало возможность возникнуть деятельности *общественного слова*. Это не значит, что случайное изобретение Гутенберга <...> породило общественную деятельность: наоборот, необходимость общественной деятельности, <...> сознание которой было подготовлено одиноко личною деятельностью учёных, ещё не составлявших общества, но выразивших собою стремление и требование народного духа, вызвала изобретение печати. Только с того времени и возникает литература в собственном смысле слова, литература как выражение общественной жизни.

Печать есть единственная арена, где, при современном внешнем устройстве народного организма, может раздаваться общественное слово. На площадях Рима оно не нуждалось в печати, ибо исчерпывалось вполне в совещаниях, на форуме, в речах, в публичных преподаваниях, в письменной литературе, ибо для Рима не было римского народа вне Рима; но история нашей эры создала иную

формацию государств и призвала к жизни самые *народы*. Никакие парламенты <...>, собрания государственных чинов не выскажут настоящей мысли всенародной; они составляют меньшинство по отношению к тому множеству, которого думают быть представителями и которого мысль, со всем разнообразием личной деятельности единиц, составляющих это множество, никогда не может быть вполне передана необходимо ограниченным числом народных представителей. Английский парламент не был бы тем, что он есть, без английской прессы. При всём том часто случается, что решение народных представительных собраний на Западе не выражает мнения народа, находится в противоречии с ним. Выше народных, ограниченных в числе и во времени и в пространстве представительных собраний стоит сам народ, или общество, как тот же народ, несамосознающий и развивающийся; верховный контроль над всеми этими собраниями принадлежит обществу, общественному мнению, для него узка арена законодательных или каких бы то ни было представительных собраний, ему надо поле пошире, и такое вполне соответственное поле для общественного слова есть печать.

Поэтому стеснение печатного слова, когда явилась в нём потребность, когда, стало быть, в народе возникло общество, есть нарушение правильных отправления общественного организма, есть умерщвление жизни общества и, следовательно, опасно для самого государства, допускающего это стеснение. Как дерево может существовать только до тех пор, пока в нём есть жизнь сердцевины; как с прекращением этой жизни сохнет и каменеет кора, — так и государство, когда уже раз возникло общество, когда уже раз совершилось это новое движение в бытии народном, может существовать только до тех пор, пока живёт общество. Зерно способно долго сохраняться как зерно, но, если оно раз начало жить как дерево, в корнях, стволе и листьях, дерево уже не может быть лишено воздуха, света, тепла, — иначе оно погибнет. Никакие в мире либеральные учреждения не заменят свободы общественного слова, никакие консервативные охраны не заменят охраня-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

тельной силы свободного слова (если только есть что достойное охранения), никакие законы не имеют прочности и живительного действия без помощи общественного сознания, следовательно, без его деятельности и жизни в свободном слове. Как против отолщения кожи нет другого лекарства, кроме возбуждения деятельности прочих органов, так и государство, против его болезненного роста внутрь, может спасти только общество с своею свободою деятельности, свободою критики, свободою слова.

Общество не есть явление политическое, говорили мы не раз, и деятельность его не должна быть политическою, в смысле деятельной, политически организованной власти. В противном случае оно перестаёт быть обществом — и жизнь или находит себе другой, часто неправильный исход, или же уходит в корни, или же совсем замирает. <...> Вообразим себе <...>, что, желая остановить возрастающую толщину коры на дереве, желая спасти сердцевину, мы наставим перегородки внутри, между корой и сердцевиной. Что выйдет? Сердцевина ещё более стеснится, объём её простора уменьшится, её будет давить перегородка, вгоняемая внутрь внешним напором коры. Делать нечего: вы подпираете перегородку какой-нибудь новою подпоркою и ещё более сжали сердцевину! Но и это не помогает: новая подпорка не может устоять против общего давления коры и перегородки; вам приходится утверждать подпорку новою подставкой, но опять бесполезно, и т.д. до бесконечности, т.е. до того, что вы сами этими же ограждениями от болезненного роста коры убьёте сердцевину. Так и общество, ставя себе ограждения от болезненного роста государства во внешних учреждениях, основанных на начале *государственном*, то есть политическом, изменяет характеру своей деятельности, стесняет свою свободу, вносит начало принуждения в свою собственную жизнь. Это начало будет тем тяжелее и болезненнее для общества, что оно не налагается извне, внешнею, чужеродною силою, а исходит от самого общества. Общество в таком случае заражается болезнью государственности, убивающею его внутреннюю свободу, его обществен-

ную жизнь. Нет ничего опаснее и вреднее политического элемента, к которому так влекутся наши публицисты. Мы говорим здесь не о критике явлений политического мира, которая есть неотъемлемое право общества, но о политическом элементе как начале внешнего принуждения, внешней условной правды, внешней организации, какой бы формы последняя ни была. Так, например, Америка, по замечанию К.С. Аксакова, можно сказать, отравилась духом государственности, который, внедрившись там в душу и плоть человека, обратил каждого человека в квартально-го самого себя, заглушая полицейским принципом принцип совести. Государство и государственное начало должны быть отвлечены от жизни народа и общества на поверхность и оставаться в тех скромных пределах, какие полагает им духовная и нравственная деятельность самого общества. <...>

IV

<...> Просим читателей не забывать, что, по нашему определению, ни простой народ, ни верхние сословия, ни государство с своими чиновниками, отдельно взятые, не составляют общества, и наоборот — общество не есть ни сословие, ни цех, ни корпорация, ни *государственный политический орган*. Напротив, всякая попытка организовать общество политически противоречила бы самому существу общества, убила бы внутреннюю свободу его развития, внесла бы в стихию его духовной деятельности начало *внешнего принуждения*. При всём том общество такое имеет значение в организме народа, граждански живущего, что без него бессилён народ и несостоятельно государство. Сословия могут меняться и исчезать, дворянство может быть и *не быть* — общество само от того несколько не уничтожается, ибо его сила не в том или другом *сословии*, а в сумме образования всех сословий. Но там, где *нет* общества, там народ лишён возможности деятельного поступательного движения, деятельной, активной силы; он беззащитен против государства и может противопоста-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

вить ему только силу пассивную, силу в охранении, в сбережении своих начал, существенных элементов своей народности. Если, при отсутствии или бездействии общества, эта пассивная непосредственная сила переходит в активную, как это случалось в истории, то она является всегда внешнею силою, иногда благодетельною, иногда губительною, но никогда ничего прочно не созидающею. Такого рода разлив народной силы, такая внешняя деятельность народа есть явление само по себе аномальное. Оно никогда не бывает продолжительным, и только крайняя историческая необходимость, после долгого сопротивления со стороны самого народа, способна вызвать его к такой несвойственной ему деятельности. Но если, в обеспечение народу, не возникает деятельность общественная, как деятельность народного самосознания, то такой разлив силы нисколько не уберегает народ от новых посягательств государства на его жизнь и самостоятельное развитие. Даже наше разумное народное движение в 1612 году не только не ослабило значения государственной стихии в России, но напротив, — после того, как народ, посадив на престол Михаила, удалился, вошёл в берега, государство стало расти и выросло до ужасающих размеров...

В Англии с XIII века была и конституция, и парламент, и независимое *политическое* сословие <...>, была и революция 1649 года: однако ж начало английской свободы считается с революции 1688 года, <...> которая была скорее общественным движением, чем народною революциею в обыкновенном смысле этого слова. В самом деле, не перемена династии Стюартов на Оранскую, не перемена законов (никакие органические законы не были изменены), не создание аристократии (она была и прежде) дали силу парламенту, конституции и всем прежним формам и положили начало истинной свободе, а нравственное усиление *общества*, общественное *самосознание*, выразившееся в знаменитом акте «Декларации прав» («Declaration of Right») <...>, и потом издание закона о свободе печати.

С другой стороны, там, где нет общества, государство рано или поздно оказывается несостоятельным. Оно

ощущает для своих действий потребность в *сознательной* опоре народной, которой не может дать народ, находящийся на ступени непосредственного бытия; потребность в проверке и критике, в том разуме народном, который выражается в постоянной деятельности общественной, а не в одном представительном собрании. <...> Состав парламента внешний был в Англии с немногими изменениями тот же в XIV веке, что и в XVII, но деятельность государственной власти, вследствие слабости, вследствие неприготовленности общества, была несравненно сильнее, почти захватила среду, теперь предоставленную деятельности общественной, и, оказавшись несостоятельною, вызвала переворот 1688 года. Стало быть, представительное собрание само по себе ещё не заменяет общества ни для народа, ни для государства, ещё не способно, *само по себе*, сдержать рывок государственной стихии: была даже опасность в английской истории, по замечанию Маколея, чтобы сам парламент не обратился в деспотическое правительство. Истинные пределы государственной власти положены были в Англии не парламентом, а обществом.

Далее: есть целая область отношений, на которую не может простираться чисто внешняя, <...> ограниченная в своих средствах деятельность государственная, такая область, куда <...> не в силах достать сверху распоряжением никакая самая отважная благонамеренность начальства; есть многочисленные явления духа, которые не могут быть вызваны на свет Божий указом и которые не терпят никакой извне налагаемой формулы. Между тем участие таких явлений, жизненная деятельность таких отношений необходимы в общей государственной жизни, и, если общества нет, если оно бездействует, если оно задавлено, — правительству приходится разыгрывать роль самой жизни, исправлять должность самой органической силы. Мы уже достаточно показали <...>, что все подобные попытки со стороны правительства производят только одно *подобие* жизни, деятельности, силы, обрекая действительную жизнь новыми оковами и тяжеловесною ложью; мы

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

объяснили это примером казённых миссионеров и многими другими. Мало этого, там, где само общество бессильно или его нет вовсе, правительство нередко создаёт *подобие самого общества*, точно так же, как и *подобие свободы*, *подобие независимости от правительства*, подобие вольной общественной деятельности, одним словом, старается обзавестись обществом. Разумеется, все такие старания тщетны, потому что правительство в таких случаях пытается в то же время дать *направление* общественному развитию, создать общество в *известном* духе и на *известных* началах согласно с *своими* целями. Большею частью выходит так, что создаваемое правительством общество, лишённое внутренних залогов самостоятельной жизни и положительной деятельности, обретает себе жизнь и деятельность в *отрицании* себя самого и создавшего его правительства, <...> там, где общества нет или где оно подавлено, правительство ожидает неминуемая несостоятельность, хотя бы оно было окружено всевозможными политическими условиями и учреждениями. Как мало значат последние, видим мы примеры в нашей собственной истории. Так, назначив в уездные суды представителей от крестьян (сельских заседателей), заставивши их восседать рядом с представителями аристократии — простых мужиков с потомками Рюрика, — Екатерина II могла, пожалуй, пред всей Европой похвастаться такой либеральной мерой, которой ничего подобного не представляет сама свободная Англия, — но этот либерализм не прибавил ни на волос ни свободы народной, ни правды в судах и служит только ярким доказательством, что сила и свобода даются не одними учреждениями!

<...> Никакие учреждения, как бы свободны они ни были, никакие представительства, никакие *политические сословия*, никакие аристократии и демократии не могут заменить *общества* и своею деятельностью восполнить недостаток деятельности *общественной*; отсутствие общественной деятельности или бездействие общественной жизни как жизни народного самосознания делает народ бессильным и беззащитным, а государство несостоятель-

ным, хотя бы и существовали политические сословия и даже представительные учреждения. Следовательно, без общества все эти политические обеспечения силы и свободы служат ненадёжной опорой государства и слабой гарантией для народа; следовательно, истинное обеспечение силы и свободы лежит в существовании общества, в общественной силе и в общественной деятельности. Другими словами: *вне* нравственной, неполитической силы того неполитического явления, которое мы называем обществом, *бессильна сила политических учреждений; вне* свободы нравственной, неполитической, *вне* свободы духовной общественной жизни — нет истинной свободы, ничтожна всякая политическая свобода. И так как государство, государственные формы создаются народом ранее общества, ранее, чем начинается деятельность народного самосознания, то подтверждение наших слов читатели могут найти в истории любого из западных государств и даже нашего русского.

<...> Мы поймём необходимость иной опоры и найдем её не в политической только деятельности, не в том или другом сословии, а в обществе с его общественною деятельностью и силою общественного мнения, — обществе, образуемом независимо от всяких сословий. Напротив того, резко разделённое существование сословий только препятствует свободному образованию той среды, в которой совершается общественная деятельность; мы видим из истории, что общество везде возникает и развивается, так сказать, *вопреки* сословности, *несмотря* на неё, поборая постепенно препятствия, полагаемые его деятельности всякими юридическими перегородками, сглаживая и уравнивая сословия своею победоносною силой! Чем меньше сословий, чем меньше перегородок, разделяющих людей между собою, тем легче их соединение, тем возможнее дружная деятельность единиц. Следовательно, не создавать вновь, а уничтожать по возможности всё разъединяющее — вот к чему мы должны стремиться, чтобы усилить общество, его значение, его силу — единую, могучую, нравственную, человеческую силу, вполне достойную че-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ловческих обществ, силу, без которой ничтожна сила политических учреждений и не свободна политическая свобода.

Общество по существу своему имеет всегда характер прогрессивный; мы сказали, определяя общество, что оно есть народ в его поступательном, то есть прогрессивном движении. Просим, однако же, читателей не понимать этого выражения в том пошлом смысле, который прилагается у нас словами: прогресс, прогрессивность, консерватизм, прогрессивные и охранительные начала. Все эти понятия, заимствованные целиком из области условной политической деятельности Запада и без толку применяемые к нашей общественной жизни, ровно ничего у нас не выражают, хотя и пользуются большим почетом со стороны некоторых наших публицистов. Что такое прогрессивное, что такое консервативное начала, разграничить которые так хочется одному русскому писателю — разграничить, а вместе с тем и рассортировать людей на две половины, повесив над каждой вывеску: партия прогрессивная, партия охранительная? По крайней мере в отношении к обществу и к деятельности чисто общественной подобный полицейский распорядок решительно неуместен.

Зерно пускает стебель, стебель пробивает землю, превращается в ствол, в дерево с ветвями и листьями. Как назвать это развитие зерна, этот рост стебля? Прогрессом? Но вы чувствуете, что это название не соответствует делу. Смотанный клубок разматывается длинной нитью... Эта разматываемая нить — прогресс или нет? Где искать тут охранительного начала? Точно то же и в обществе. Развитие народных начал, деятельность народного самосознания — это жизнь зерна, это разматываемая нить клубка народной непосредственной силы. Нельзя назвать это консерватизмом, потому что тут есть поступательное движение; нельзя назвать и прогрессом, потому что у нас под «прогрессом» разумеется не сама жизнь, не развитие свободное и естественное, не логический вывод из последующего, а неизвестно что, какая-то гоньба за всякою новизною, известие о которой привезено с последнею заграничною почтой.

Нельзя сказать: я состою по части охранительных начал, а я по части прогресса, потому нельзя, что вся задача общества есть именно жизнь, движение, сознание *основных* народных начал, следовательно, *прогресс* так называемых «охранительных» начал. Таких штемпелёванных основных начал, которые бы не способны были к *жизни*, к развитию, не допускали бы *прогресса* в своём практическом осуществлении, не имеется; точно так же, как и прогресс, как скоро он является извне, не в виде органического продукта или развития, а готового результата чужой жизни и истории. — безобразен и неживуч. Это всё равно, что назвать позолоченные деревянные яблоки, подвязанные к ветвям ели, — прогрессом ели! Мы хотели бы спросить наших публицистов, которые заботятся об образовании этих двух партий и заранее тешатся их взаимной игрой, что, собственно, они разумеют под охранительными началами? Если они скажут: начала народности, то тут и представляется вопрос: какие именно начала признают они народными? Например, начало общинное, которое всегда отвергалось одним из поклонников мнимого консерватизма, народное или нет? Таким образом возникает спор о самих началах. Но положим, что он решён; тогда придётся спросить: в каких отношениях состоит *существующий порядок* к народным началам? Если бы, по проверке, оказалось, что существующий порядок противоречит народным началам, так защитники существующего порядка, везде и всегда именуемые *консерваторами*, явились бы врагами «охранительных», то есть консервативных начал, то есть «прогрессистами», а защитники консервативных начал — врагами, разрушителями существующего порядка. Но тогда роли партий до такой степени перемешаются, что и сами публицисты не доберутся в них никакого толка. Очевидно, что все эти слова лишены у нас всякого значения и, перенесённые на русскую почву, способствуют только к затемнению, к большей путанице понятий, которою и без того страждет наше общество.

По нашему мнению, консервативно только то, что народно, то есть что действительно живёт и способно к жизни;

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

и только то, что народно (и потому консервативно), — только то и прогрессивно. Следовательно, вопрос не в том, что принадлежит к ведомству охранительному, что к прогрессивному, а в том, что народно и что не народно. Не потому должен являться человек последователем известного начала, что оно охранительно или прогрессивно, а потому единственно, что признаёт его за единое истинное и живое. Если же оно истинно, то оно и охранительно, и способно к прогрессу, и противоречия между этими словами нет. Повторяем: нельзя не пожелать, чтоб эта рутинная, чтоб эти пошлые понятия — охранительные начала, консерватизм и прогресс, в том смысле, как они употребляются у нас в России, были изгнаны из нашей литературы как решительно ничего не выражающие и только сбивающие с толку призраком какого-то смысла нашу читающую публику.

Итак, общество, правильно организовавшееся, есть среда, в которой совершается деятельность народного самосознания, развитие и жизнь народных начал. О консерватизме и прогрессе не может быть тут и речи, потому что развитие, чуждое основным началам народности, не есть прогресс, а искажение общественной деятельности, расстройство органических отправления, уродство, болезненное состояние, которое излечивается только возвращением к народным началам. Это возвращение разумеется не в смысле консерватизма, а в смысле восстановления правильного кровообращения, правильного развития, в смысле возвращения к живой истине, — хотя бы это возвращение и разрушило дорогой для «консерваторов» существующий порядок!

Конечно, такова деятельность общества, рассматриваемого как целое; но, состоя из единиц, оно представляет такое же разнообразие частной деятельности, какое существует и между единицами. Естественно, что образуются группы единиц, сходных в стремлениях и воззрениях, образуются свободно и свободно же уничтожаются, сливаются с другими или разбиваются на мельчайшие группы. Но эти группы нисколько не *партии*, как ошибочно дума-

ют некоторые, перенося готовое определённое понятие из западной политической жизни на нашу общественную почву. <...>

В самом деле, что такое *партия*! Партия в том смысле, как она понимается на Западе, есть союз людей, не просто *согласных* между собою в своих убеждениях, но *согласившихся*, сладивших, «скомпоновавших» свои действия для достижения известной определённой цели. Партия предполагает непременно вождя и условный план действий; в искреннем внутреннем согласии членов партии, даже ратующей за какой-либо принцип, вовсе нет надобности: нужно только одно *внешнее* согласие, признание всеми — общего способа действованиа; достаточно условиться чисто внешним образом, как поступать, как достигать предположенной цели. Очень может случиться, что все члены партии одушевлены одним убеждением, но самое *понятие* о партии не предъявляет такого нравственного требования. Она полагает свою силу, как партия, не во внутреннем содержании своего лозунга, а в его *соединительном внешнем* значении, не в истине своего принципа, а в своей числительности. На Западе это вполне объясняется характером политических учреждений, где истина познаётся по чисто внешнему признаку <...>: следовательно, количество голосов, которыми располагает партия, и их дружное действие при парламентских маневрах обуславливают успех и торжество партии. Так и у нас, например, на дворянских выборах ищущий звания предводителя набирает себе *партию*, потчует дворян шампанским и кулебякою.

Одним словом, партия есть явление западной политической жизни и предполагает: или чисто внешнюю цель, например успех лица в достижении известного звания, — или же, имея своим знаменем какой-либо нравственный или политический принцип, способ действия <...>. Очевидно, что нельзя применить название партии, например, к миссионерству, к вере; никто не скажет «партия христиан», если дело идёт о внутреннем отношении христиан к их вере и т.п.

Условность, неразрывно связанная с идеею партии, конечно, стесняет внутреннюю личную свободу лиц, к

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

партии принадлежащих, и несколько оскорбительна для самого убеждения, делая его искренность как бы ненужною, относясь к нему со стороны внешней. Таких партий не должно существовать *вне* сферы политической, в обществе, да и не существует, по крайней мере у нас, в России. Не посредством партий и их столкновения совершается деятельность народного самосознания. То, что у нас называется ложно *партиями*, может называться *направлениями*, или даже школами, учениями, но никак не партиями. Направление, свободно разрабатываясь, может видоизменяться в бесчисленных оттенках, жить своею внутреннею жизнью, приниматься другими не вполне, а отчасти; оно не предполагает никакой условности, не обязательно ни для кого, а требует только искренности от человека, становится его самостоятельным убеждением, его личною жизнью. Поэтому на вопрос, недавно возбуждённый в нашей литературе — к какой кто принадлежит *партии*, мы отвечали бы, что к партии мы не принадлежим никакой, но принадлежим к известному *направлению*.

<...> Говоря об обществе, об отношении его к сословиям, об его чисто нравственной деятельности, мы предполагали, стало быть, существование сословий, целый ряд особых отношений между ними и государством, целую область деятельности, не подходящей под наше определение деятельности общественной и которую, однако же, мы не называем и государственною? Действительно, мы это предполагали: сюда относится самоуправление, местная жизнь, участие в политических делах государства и своей местности и т.п. Какое имя всей области этих отношений? Мы не вправе назвать её *государством*, потому что она может быть и чужда элемента государственности, например жизнь общин; не можем назвать её только *народною*, потому что этому слову придаётся смысл совершенно особый: или смысл простонародности, или же такое широкое значение, которое объемлет собою и государство, и простой народ, и сословия; мы не назовем её *общественною*, потому что дали этому слову особое определение. На русском языке существует слово: *земля, земство, земщина, зем-*

ский, которым может назваться вея внешняя гражданская жизнь народа, без различия сословий, в противоположность правительству и правительственной среде. <...>

День. 1862. № 21 — 24 (3, 10, 17, 24 марта)

О деспотизме теории над жизнью

I

Деспотизм теории над жизнью есть самый худший из всех деспотизмов. Даже тогда, когда это явление совершается в судьбе отдельной человеческой личности, то есть когда даже сам человек, повинувшись какой-нибудь предвзятой отвлечённой теории, усвоенной его умом, налагает её извне и деспотически на свою личную жизнь и преждевременно насилует душу, не дождавшись, чтоб эта теория сама собой свободно обхватила все его нравственное бытие, — даже и тогда такой способ действия редко проходит даром для человека и искажает иногда вконец его нравственную природу. Но в этом, по крайней мере, он сам волен, это его личное дело, он за то сам и расплачивается. Когда же подобные операции совершаются над живым организмом целого народа, и не им самим над собой, а извне, — тогда происходит нередко такое расстройство органических отправления, такое извращение пути народного развития, от которого целые поколения гибнут бесплодною жертвой, и разве только после долгой череды лет успевают народная жизнь кое-как отправиться и наладиться снова. Само собою разумеется, что вред подобных операций обуславливается их внутреннею значимостью, важностью тех отправления организма или тех сторон жизни, которых они касаются, — большею или меньшею грубостью, неопытностью, неумелостью оператора, а также и степенью реактивных сил в самом организме народном. Первые три условия очень понятны и не требуют объяснений. Что же касается до степени живучести и упругости самих нравственных народных сил, до их способности к противодействию по добрым внешним поползновениям на

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

свободу и правильность внутреннего народного развития, — то нет никакого сомнения, что там, где народное самосознание живёт и выражает себя в обществе вполне свободно, где последнее действительно является сознательным разумом народным, — там подобные поползновения не опасны и сдерживаются вовремя общественной нравственной силой, да и самые операции едва ли могут иметь место. Там же, где общественной силы нет вовсе или где общество само чуждо народной жизни или является представителем народного разума (в чём, по преимуществу, и заключается причина бессилия), там, где народ привык к безмолвию и покорности, а самая операция, над ним производимая, не представляется вполне ясной его сознанию, — там эти операции иногда <...> совершаются, по-видимому, вполне благополучно, без помех и препятствий. Но <...> противодействие и здесь неминуемо. Это противодействие как протест самой жизни скажется непременно на расстройстве всего народного организма, или просто в бесплодности, в бессилии правительственных реформ, или в самых благонамеренных, — или же в безобразии того порождения, которое даёт всякая цельная почва, принявшая в себя несвойственные ей и только волею сеятеля вложенные в неё семена... У нас вошло в обычай, даже довольно легкомысленный, постоянно указывать на нелепость, уродливость, пошлость, безобразие, одним словом — многих и многих явлений нашей народной и общественной гражданской жизни; целая литература посвящена этому делу обличия, с которым мы даже до такой степени свыклись, что отделиваемся от производимых им на нас впечатлений одним смехом. Между тем, говоря по правде, тут не до смеха; тут не одна комическая, но и трагическая сторона.

Может быть, эта способность смеха над собственным безобразием свидетельствует о присутствии в нас некрушимой веры в свои силы, в способность исправления и исцеления, — но исправления и исцеления тем не менее всё ещё нет, или, по крайней мере, они почти незаметны, а смех привёл только к тому, что всё наивно-комическое в нашем безобразии исчезает, уступая место уже не смешному, а в

некотором смысле трагическому безобразию. Во всяком случае, теперь уже нам не до смеха. Пора добраться и до причины... <...>

Деспотизм теории над жизнью есть вовсе не тот деспотизм личного произвола, прихоти и страстей, который является иногда в юридическом лице, одарённом обширной властью над личностью других людей. Такой деспотизм, завися от нравственных качеств лица, дело большею частью случайное и временное и, сосредоточенный в одной личности, большею частью касается только поверхностных сторон жизни народной. Новейшая история проявляет пример деспотизма иного рода. Слишком медленное развитие масс и слишком быстрое прогрессивное движение отдельных единиц из народа и вообще тех досужих классов общества, которые по самому своему положению менее связаны с общей народной жизнью узами материальными и духовными и потому свободнее во всех отношениях могли, отрываясь от неё, вдаваться в отвлечённую деятельность мысли, — произвели, независимо от других причин, тот разрыв между жизнью и знанием, между практикой и теорией, которым особенно болеет наше время. Нам заметят, может быть, что этот разрыв существовал до некоторой степени и во все времена, что им обуславливается всякое развитие, что он выражается и во всяком отношении образованного к невежде <...>; мы говорим здесь <...> о том космополитическом, отвлечённом, отрешённом от жизни труде мысли, который, силясь постигнуть общие законы многосложных жизненных явлений, тем скорее считает их постигнутыми, тем легче строит целые теории и начертывает правила для самой жизни, чем отдалённее стоит сам от всех условий места и времени, от живой действительности явления.

История просвещения свидетельствует о том, как постепенно утрачивалось с ходом цивилизации непосредственное чувство и разумение самой жизни, как сфера мысли и знания постепенно отчуждалась от неё, от почвы народной, как постепенно, становясь все отвлечённее и отвлечённее, проникалась она, эта сфера, самонадеянно-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

тью, гордостью, презрением к так называемой практике, то есть к живому факту, как часто, считая непогрешимыми свои теории, она, в последовательном развитии, сама сменяла их новыми, считая эти новые, в свою очередь, непогрешимыми, какая, наконец, доля из этой деятельности поступала человечеству, тем не менее, в его неотъемлемое достояние, уделялась жизни в действительность, воспринималась ею и шла в её плоть и кровь.

Поэтому, как бы ни ошибалась эта деятельность, она была и остаётся вполне благотворною, но только до тех пор, пока пребывает в сфере чистого мышления, познаёт свои пределы и свою натуру и употребляет одни нравственные орудия, — пока, гордая и самонадеянная, не посягает на самую жизнь, на её свободу. Впрочем, чем разъярённее сфера этой деятельности с живой действительностью, чем отвлечённее мысль, тем искреннее её вера в себя, тем ошибочнее представляется ей действительность, тем оптический обман возможнее и вреднее, тем глаже и удобнее кажется ей поле жизни для практических опытов. В самых огромных размерах явила такое насильственное приложение теории к практике, такое заклятие жизни на алтаре отвлечённой теории — первая Французская революция, это была оргия теории, пирующей на развалинах сущего, живого, вакханалия деспотизма отвлечённой самоуверенной мысли отдельных единиц, приносившего в жертву теоретически понятому идеалу народному — народную совесть и нравственность, в жертву теоретически понятой свободе — действительную неполитическую, внутреннюю свободу быта, идеи народа, самый народ Франции <...> и до сих пор не может ещё понять всей меры зла подобного деспотизма. Она умеет распознавать деспотизм только в форме личного произвола, облечённого властью, под короной и багряницей, тогда как нет горше и ужаснее того деспотизма, который проявляет иная «теория свободы», вооружённая государственным мечом, венчанная вместо короны якобинским колпаком или аристократическим шлемом. Нет вообще ничего опаснее теории, обладающей такими *insignia regia* [царскими отличи-

ями (*лат.*)), опирающейся на власть, располагающей возможностью ломать жизнь по своему отвлечённому соображению о благе народном, месить её как тесто, лепить из неё, как из алебастровой массы, фигурки по своему вкусу. Эта опасность, как мы уже сказали, тем особенно сильнее, чем менее самая жизнь представляет отпора в сознании общества или народа.

Наша историческая жизнь вообще имеет немного сходства с жизнью Запада <...>. Но разобщение между жизнью и знанием, между практикою и теориею, между действительностью и представлением о действительности у нас, вследствие Петровского переворота, сильнее, чем где-либо. У нас легко получает право гражданства и довольно обширный простор для действия даже не своя какая-нибудь теория, хотя и ошибочная, но всё же органически выросшая на родной жизненной почве, а теория совершенно чужая, совсем готовая и построенная вовсе не для нашей жизни. Не имея ни времени, ни охоты трудиться над изучением и обобщением законов нашей русской действительности и выработать её собственную теорию, по возможности верную, — напротив того, имея в своём распоряжении, к нашим услугам, столько заграничных теорий, совсем законченных и готовых, самой новейшей отделки, мы невольно соблазняемся ими и, движимые самою искреннею любовью к благу народному, спешим навязать наши благодеяния бедной русской послушной жизни. Доступ же к этим теориям так удобен и лёгок! Стоит только отправиться двум-трём юношам-чиновникам, кандидатам на должности будущих государственных деятелей, за границу изучить ту или другую часть управления или общественного устройства — и вы скоро очутитесь в области целого Пандорова ящика с любимыми, разнообразнейшими теориями. Затем... затем стоит их только прикладывать к жизни помощью того снаряда, который называется бюрократией, и той силы, которою этот снаряд приводится в действие.

Мы бедны общественною деятельностью, общественною производительностью, но мы богаты теперь «просве-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

щёнными и благонамеренными» чиновниками. Это, конечно, великое счастье, и лучше иметь образованных чиновников, нежели невежд, хотя, по мнению некоторых, у этих невежд было иногда более, нежели теперь у образованных, связи с жизнью и если не уважения к ней, то какого-то страха перед нею и значительной доли лени. Наши новейшие чиновники совсем другого закала. Во-первых, они всё более или менее одушевлены самою ревностною благонамеренностью и жаждою деятельности; во-вторых, они теоретики; они, как образованные люди, числят себя в последователях той или другой европейской научной, экономической, политической, более или менее либеральной теории; в-третьих, они веруют в своё дело, в свой путь, в своё призвание или, вернее сказать, в призвание своего звания как чиновников. Они состоят на службе у правительства и доктрины в одно и то же время; они возводят принцип принудительной силы на степень благороднейшего орудия для достижения самых высоких и либеральных целей, указываемых доктриною. Между ними и народом нет почти никакой преграды, которая бы мешала их непосредственному действию на народ; нет почти никакой среды, о которую бы притуплялось их горячее усердие в приложении их теории. Та общественная среда, которая имеется, сама так неплотна, что сдерживать их не в состоянии, так <...> чужда истинного знания и разума народной жизни, что и подать доброго совета большею частью не умеет.

К тому же она-то сама и есть главный рассадник чиновных деятелей, которых тем не менее она так охотно критикует; она поставляет главный контингент той чиновничьей рати, над которою она так беспощадно глумится. Таким образом, просвещённые и благонамеренные чиновники обставлены самыми счастливыми для себя условиями. С одной стороны, побуждаемые благонамеренностью, обольщаемые блистательными, совсем готовыми теориями, которыми они запаслись из иностранных книжек, с другой — подталкиваемые жаждою деятельности и удобством <...>, доставляемым официальным их положением,

соблазняемые видимую мягкостью и послушностью живого материала, то есть народных масс, они не видят препятствий для осуществления своих благодетельных намерений и, очень понятно, увлекаются ими. Уважения к жизни, именно к русской жизни, к народу, как к живому организму, история в них не воспитала; народная жизнь представляется им издали какою-то *tabula rasa* [чистой доской (*лат.*)], на которой ничто не написано, а если что и написано, так из их «прекрасного далёка» и не разберёшь; они вращаются в кругу таких же подобных им — служащих, служивших или имеющих служить чиновников-теоретиков, из которых ведь, собственно, и состоят наши образованные классы! Народная жизнь безмолвствует, то есть ничего не говорит их слуху; кругом их бездействующее, бессильное общество, — в их руках сила, в их руках власть и простор для действия; и вот скрипит и ворочается жизнь народная на своих железных осях под их облачёнными в лайковые перчатки руками.

Ей, уж подлинно бывает тогда в чужом пиру похмелье, потому что пирует большею частью даже не своя доморощенная, хотя и искажённая теория, а чужая, заморская. Впрочем, мы не знаем, что лучше или что хуже! «Уважение к народу» может также, в свою очередь, явиться как теоретический принцип и выразиться у чиновников тем, что иной возьмёт какой-нибудь случайный признак народной жизни и, не поняв его сущности или случайности, возводит его в теорию, в правило и налагает на жизнь в то время как она двинулась дальше и шире. Другой, вообразив себя уразумевшим именно народную жизнь и схватив только её внешность, старается облагородить и «упорядочить» её в форме бюрократического регламента. В обоих случаях такого благонамеренного распоряжения с живым организмом жизнь ускользает из их рук, чувствуя себя не свободно, смущённую в своих отправлениях, и остаётся непроезводительною... Мы не можем строго винить этих деятелей. Соблазн теории в союзе с бюрократическою властью при бездействии общества — это такое искушение, против которого устоять трудно... Дело не только в теориях и на-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

чалах, которые сами по себе могут быть и правдивы и ложны, сколько в том пути, в том способе, которым проводятся они в действительность, в том элементе, через который они проходят и который приносят с собою в жизнь. Это тот элемент, который, как скоро переступает свои пределы <...>, тем самым уже невольно парализует то доброе, которое он желал бы насадить.

Так, например, элементу государственному доступна область только одного внешнего. Если бы он, хотя бы из самых высоких побуждений, вторгся в область церкви, общества, народной совести и внутренних народных жизненных отправления, если б он захотел или счёл бы себя вынужденным заменить собою творчество самой жизни, он не достиг бы никакой цели, он не создал бы ничего живого, он, напротив, умертвил бы всё живое. <...> При всей своей благонамеренности, государство не должно да и не может никогда заменить собою общества или исправлять его должность. Конечно, бывают такие обстоятельства, когда оно к тому вынуждено <...>, но об этих обстоятельствах можно только сожалеть и не следует никогда возводить подобное положение в систему.

Что нужно для всякого благонамеренного правительства, а, следовательно, и для нашего, — это той свободы жизни общественной и её отправления, в которой оно само находило бы себе указания для своей деятельности и для её пределов... Но если само общество проникнуто неуважением к жизни народной, если оно само чуждо народа, само готово подчиниться раболепно чуждой теории и наложить её деспотически, в виде благодеяния, на народную жизнь, — тогда оно само осуждает себя на бессилие бюрократическими вторжениями извне в его область. Если некоторые расположены видеть зло в чиновничестве, то мы, не пускаясь в спор, заметим им только, что чиновничье миросозерцание живёт не в одних чиновниках по званию и ремеслу, но, к сожалению, и в самом нашем обществе, которое развило в себе на жизнь и значение народного организма — государственную точку зрения, которое мечтает об его преобразовании с помощью власти же, которое ставит

принцип государства выше принципа народности. Всё это может быть прикрыто либерализмом, но в сущности это всё тот же сокрытый чиновнический принцип, на который оно нападает!

Наш современный русский недуг есть действительно казённость, но казённость во всех видах и проявлениях, не менее в общественной среде, как и в чиновнической, — казённость как принцип, как начало, проникшее во все отправления нашей жизни, в нас самих. Эта казённость может щеголять как в государственном, так и в общественном мундире. Хвататься за какую-нибудь искусственную организацию, чтобы избавиться от неё, ничему не поможет; это значило бы идти тем же ложным путём, строить только новый фасад, а Россия, по известному выражению иностранного путешественника, и без того богата фасадами всякого рода. Из всех фасадов самый худший есть фасад либерализма, когда он только что фасад. Нам нужна пуще всего правда жизни, правда слова, правда дела, следовательно, свобода жизненного развития, свобода слова, возможность дела; нам нужно сближение и общение с народом не только внешнее, но нравственное и духовное, нам нужно проникнуться нашим народным, не государственным только, самосознанием; нам нужно восстановить духовную цельность нашего народного организма, разорванную Петром, — и этому не пособит вдруг никакая организация, никакой проект; для этого требуется личный и вовсе не лёгкий нравственный подвиг от каждого из нас порознь и всех в совокупности. Чиновники же, теоретики-бюрократы и наше либеральное, хотя бы и англоманствующее общество, предлагающее, например, в одном из своих печатных органов совершить посягательство на древний народный быт разрушением общинного землевладения и обезземелить крестьян для создания класса рабочих в видах какой-то экономической свободы, — это всё ягоды одного поля, дети одной матки, порождения того же новейшего периода нашей истории, того же Петровского, прославленного, превознесённого ими переворота.

<...> Говоря об известных исторических условиях, мы имеем здесь в виду главным образом разрозненность высших народных классов с народом, разобщение общества, нравственное, духовное и историческое, с народными бытовыми основами и преданиями, — раздвоение, своего рода «бифуркацию» того пути развития, которым идут общество и народ. Как скоро органический ход жизни насильственно прерван, корни общества, лежащие в народной почве, подсечены или едва держатся, то интеллигенция этих оторванных классов, не оживляемая приливом новых почвенных соков, не руководимая ни историческим преданием, ни непосредственным чувством народности, ни знанием, ни разумением народного быта, осуждена на постоянное теоретизирование. «Только корнем основание крепко, — говорит одна наша старинная грамота XVII века. — Если корни не будет, к чему прилепиться?» Действительно, после знаменитого переворота Петра наше общество, сорвавшись с корня, не имея к чему прилепиться, валялось по духовению всяких ветров, слонялось из стороны в сторону от одного иноземного образца к другому и, можно сказать, не жило, а сочиняло жизнь... Не только простор господству теории открылся обширный, но ничего более, кроме теории, кроме отвлечённых сочинений на разные темы жизни, и не способна была породить общественная и служилая духовная производительность. Иначе и быть не может: вне народной почвы <...> нет основы, вне народного нет ничего реального, жизненного, и всякая мысль благая (хотя бы и либеральная), всякое учреждение, не связавшееся корнями с исторической почвой народной или не выросшее из неё органически, не даёт плода и обращается в ветошь. Всё, что не зачерпывает жизни, — скользит по её поверхности и тем самым уже осуждено на бессилие и становится ложью. И сколько накопили мы лжи в течение полутора столетнего разрыва с народом, и ещё продолжаем копить! Это не значит, чтоб до разрыва не было у нас ни зла, ни пороков, — обильно было того и

другого, — но было единство общей жизни, была правда жизни. Только после разрыва заводится у нас ложь: жизнь теряет цельность, её органическая сила убегает внутрь, в глубокий подземный слой народа, и вся поверхность земли населяется призраками и живёт, вместе с общественной и служилой средой, призрачную жизнью! Не призрачною была только власть, принадлежавшая этой среде и производившая опыты над живым телом народа... Действуя в безвоздушном пространстве, чего не творило наше образованное и в то же время служилое общество?! Как кот учёный на лукоморье, в поэме Пушкина, идёт направо — песнь заводит, налево — сказку говорит, так и оно, направляясь то в одну, то в другую сторону, то к стороне Германии, то Франции, заводило то ту, то другую гражданскую песнь или сказку...

По мере развития европейской цивилизации, без труда усваивая себе её последнее слово и несравненно легче, чем сама Европа, оно вслед затем спешило ломать у себя только что созиженное и принималось строить снова. Нашей общественной и служилой среде ничего не стоило примыкать к самому передовому движению европейцев и прилепиться к их новейшим теориям: ей нечем было жертвовать, не с чем было расставаться, она не несла у себя за плечами никакого исторического груза и только дивилась неуспеху своих созиданий! Забыв права жизни, думая внешним насилием заменить недостаток жизненного органического творчества, она — опираясь на власть и помощью власти — старалась благодетельствовать народу так, как она это понимала, и простодушно пыталась водворить в жизнь свободу и даже начала антигосударственные — посредством принуждения, посредством государственной же силы, не подозревая внутреннего противоречия <...> в собственном деле! Деспотизм перебивал на службе у всех возможных либеральных доктрин нашего общества, и потому неудивительно, что народная жизнь относилась к ним без сочувствия, испытывая на себе только одно: насиливание своей органической самобытности, теоретический либерализм общества испарялся, — оставляя осадок

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

практического деспотизма. К счастью общества, народ — как уже было замечено нами — продолжает хранить в себе свои коренные начала, не поддался никаким опасным искушениям и соблазнам, не освятил добровольным участием и согласием никакого существенного изменения своего внутреннего строя, не уложился ни в одну заготовленную форму заграничного изделия.

Можно было бы подумать, что та среда, которая живёт и действует в безвоздушном пространстве, видя постоянную безуспешность своих попыток, непрочность своих созидааний, неплодность своих посевов, наконец извернется сама в себе и поймёт, в своих либеральных вожделениях, что нет худшего деспотизма, как усилие заменить живой организм искусственным механизмом, хотя бы и превосходной заграничной работы, — что самым либеральным и самым плодотворным её делом было бы отказаться от всяких насильственных во имя либерализма посягательств на естественный рост и исторический строй народной жизни, с которой она давно разорвала живую связь, и, признав права народного организма, уразуметь то бессилие, на которое она непреложно осуждена в своём одиночестве... Но эта среда, в своих мечтаниях, только переносит на себя, конечно, несколько в видоизменённом виде, тот элемент, на который обычно нападает...

Продолжая стоять вне народа и народности, она, эта среда, каких бы усилий ни делала, никогда не создаст общественной силы, никогда не достигнет истинной свободы, пока будет понимать эту общественную силу в форме государственного же учреждения, пока будет разуметь свободу чисто внешним образом, пока не убедится, что дело в наивозможном очищении общественного элемента от всякой примеси внешних государственных целей. Теперешние же его попытки представляются нам в виде известного концерта Крылова: музыканты только пересаживают, но, как ни пересаживают, музыка выходит плохая. Общество толчётся всё на одной и той же толоке, не замечая, что время ему стать на иную почву. Оно как ребёнок, который, чувствуя боль, лишен ещё, однако, уменья рас-

познавать помещение боли, — не может ещё догадаться, где болит и что болит. А что оно чувствует боль, это вполне естественно <...>. Понятно, что оторванное от своей почвы, чуждое даже народных и исторических инстинктов, общество обращает взоры свои на пример и опыт Запада. Но что видит оно на Западе? <...> Англия? Но Англия-то именно и поучает, что сила её чисто органического свойства, а вовсе не в государственном механизме; из Англии даже и законов позаимствовать нельзя, потому что в английской практике они оказываются то недействительными, то видоизменёнными: известно, наконец, выражение, что Англия сильна не законами, а вопреки законов. Настоящая жизнь Англии сидит на таких исторических и индивидуально-народных основах, что вне этих основ она немыслима. <...> Самый ужасный деспотизм есть тот, когда «свобода» и «народ», <...> усваивают себе государственную власть и совершают свои отправления государственным порядком, то есть тем путём принуждения и насилия, который есть необходимая существенная принадлежность всякого государственного отправления, всякого внешнего положительного закона.

<...> Итак, мы показали картину жалкого положения нашего современного русского общества, пришедшего к сознанию своей совершенной несостоятельности, своего полнейшего нравственного и духовного бессилия. Ничто так не гнетёт душу, нет в мире ощущения более тягостного и мучительного, как это сознание своего бессилия, как это внутреннее безверие в свои силы! Такая неспособность, такая импотенция общества парализует, в свою очередь, добрые начинания и самого правительства, — истощающегося иногда, как мы не раз говорили, в бесплодных, хотя бы и благородных усилиях. Едва ли позволительно надеяться, что одни внешние и извне налагаемые на общество либеральные организации воскресят и оживят общество, когда для жизни самих этих организаций нужно присутствие жизни духа и духа жизни (по выражению поэта), которых именно и недостает нашей общественной среде! Едва ли самые благодетельные, по-видимому, реформы

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

принесут всю ту пользу, которую бы они могли дать, — при таком состоянии общества! (Мы не говорим об освобождении крестьян: коснувшись непосредственно народной жизни, эта реформа имеет полную жизненную правду <...>.) Ясно, что дело не во внешних только учреждениях, требующих для своего действия участия готовых сил общественного духа, — а преимущественно в том, что может оживить самый дух, возродить самые силы.

Как ни прекрасны в теории многие предположения, но для успеха самих предположений необходимы были бы, по нашему мнению, такие меры и средства, которые бы непосредственно действовали не на ту или другую внешнюю часть общественного организма, а на весь его внутренний строй, в его целостности, на общее начало органической жизни. Действие этих мер и средств преимущественно нравственное <...>. К таковым мерам относим мы: свободу мнения и выражения его в слове.

Мысль, слово — неотъемлемая принадлежность человека... Свободная жизнь разума и слова — такая свобода, которую, по-настоящему, даже странно формулировать юридически... Эта свобода вовсе не какая-либо политическая, а есть необходимое условие самого человеческого бытия; при нарушении этой свободы нельзя и требовать от человека никаких правильных отправлений человеческого духа, ни вменять что-либо ему в преступление!.. Человек, стеснённый в этой свободе, чувствует себя стеснённым во всех своих действиях, требующих участия мысли и воли, — не годится ни для какого общественного дела, плохой гражданин, плохой слуга государству и обществу. Всё это считается старыми избитыми истинами, а между тем странная судьба русского человека! У нас именно потому и не обращают внимания на эти истины, что они стары! Но без воплощения в нашу жизнь этих старых никакие новые истины не способны оплодотворить нас, как бы усердно о том ни хлопотали!.. Если требуются от человека содействие, помощь, услуга, разумная покорность и исполнительность, то необходимо, прежде всего, дать ему возможность и право свободно мыслить и говорить...

Всё, что здесь сказано про человека, относится точно так же, и ещё более, к человеческому обществу, которого живой естественный голос в наше время есть печать. Сколько-нибудь излишнее стеснение печати есть стеснение жизни общественного разума: оно парализует все духовные отправления общества, осуждает все его действия на бессилие, удерживает общество в вечной незрелости, обрекает на мертворождённость все исчадия его духовной производительности. Поэтому неудивительно, что во всякой стране общество остаётся безучастным ко всем либеральным нововведениям и встречает их с мёртвым равнодушием, — пока продолжает чувствовать, ощущать и слышать свою мысль и слово стеснёнными и скованными... Нововводимые учреждения нуждаются, для своей жизни, в полном искреннем сочувствии, любви, преданности, участии всех сил общественного разума и воли, — но возможны ли такие приношения духа со стороны общества, когда оно не имеет права высказать об этих учреждениях своё нестеснённое мнение?!

Наше правительство вполне, кажется, убедилось в этой мысли и готовит нам новый устав о печати; но есть мнение, ни на чём не основанное и повторяемое у нас с ветру людьми, пробавляющимися весь свой век готовыми чужими афоризмами, что настоящая свобода печати несовместна с существующим у нас порядком вещей. Это мнение совершенно ложно. Мы полагаем, что именно в России может существовать такая свобода печати, какая немыслима во Франции и других государствах европейского материка. Русский народ, образуя Русское государство, признал за последним, в лице царя, полнейшую свободу правительственного действия, неограниченную свободу государственной власти, — а сам, чуждаясь всяких властолюбивых притязаний, всякого властительного вмешательства в область государства или верховного правительствования — признал за землёю мысленно полную свободу бытовой и духовной жизни, свободу мнения, то есть мысли и слова. И тем крепче должен бы быть этот союз свободной власти и свободного мнения (как разумеется он русским наро-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

дом), что он утверждается не на контракте, где контрагенты стараются каждый оттягать что-либо друг у друга, как в западных конституциях, а на отчётливом народном сознании, создавшем Русское государство. Для нравственного достоинства самой власти необходимо, чтобы она граничила с полнотою и свободою целого мира нравственной жизни, самостоятельно развивающейся и самоопределяющейся, с полною свободою духовного и бытового народного существования в государстве. Свободное мнение в России есть надёжнейшая опора свободной власти — ибо в союзе этих двух свобод заключается обоюдная крепость земли и государства. Всякое стеснение области духа внешнею властью, всякое ограничение свободы нравственного развития — подрывает нравственные основы государства, нарушает взаимное доверие и то равновесие, ту взаимную равномерность обеих сил, которая есть необходимое условие благого и правильного хода народной и государственной жизни... Без свободной критики не может выработаться общественное сознание, — а без поддержки общественного сознания не может быть плодотворно никакое правительственное предприятие. Без внутреннего духа жизни самые мудрые законы останутся мёртвою буквою, а жизнь духа немыслима без свободы мнения и слова! С другой стороны, по нашему мнению, только полная свобода мнения обуславливает неограниченность свободы правительственного действия...

*День. 1865. № 5—6, 30 января, 6 февраля.
С. 97—100, 121—125*

Отчего безлюдье в России?

Обратимся снова к нашему гражданскому, не военному арсеналу, — арсеналу орудий для мирной борьбы и деятельности. Мы уже сказали, что **прежде всего поражает наше внимание недостаток в России гражданской честности в самом тесном или обыкновенном смысле этого слова.** Этот роковой недостаток лишает правительство возможности располагать надёжною исполнительною силою, то есть

иметь необходимое число честных и верных исполнителей низшего разряда. Мы говорим *низшего* разряда потому, что в деятелях разряда высшего честность, то есть отсутствие корыстолюбия, предполагается само собою; по крайней мере, образование, состояние и общественное положение представляют некоторое ручательство в том, что обладающий этими условиями менее склонен (выразимся прямо) к взяточничеству и лихоимству, нежели бедный, мелкий, полуобразованный чиновник. Конечно, бывают случаи, и у нас чаще, чем где-либо, что вся эта блестящая обстановка жизни не в силах воздержать не только чиновника, но и сановника от корыстолюбивых поползновений, но эти случаи, однако, не более как исключение. Жалуясь на «безлюдье» (эта жалоба раздаётся теперь отовсюду как в обществе, так и в административных сферах), разумеют обыкновенно под этим словом не один недостаток *честных* людей, но по преимуществу недостаток людей *умных*, способных. В самом деле, заглянув в арсенал и пересматривая те «ресурсы», которые имеет Россия в живых людях, перечитывая ярлыки с надписями свойств и качеств в тех деятелях высшего разряда, которые поставлены нашим обществом в распоряжение гражданской администрации, мы найдём «верность», «благонамеренность», «энергию», даже «честность», — всего реже встречаем мы «ум». Да, *ума* мало запасено в нашем арсенале, и мы, право, не знаем, чего меньше в России, *честных* ли людей или *умных*!.. Мы разумеем здесь, конечно, не высшие только сферы управления и не одну гражданскую иерархию, но и всё наше общество, а в обществе не ту или другую личность, а весь общественный умственный уровень.

Умные люди во всех сферах деятельности у нас наперечёт, а в некоторых, по преимуществу официальных, они являются какими-то одинокими блестящими исключениями. Что это, к несчастью, справедливо, о том свидетельствует самая эта жалоба на *безлюдье*, постоянно раздающаяся и в Петербурге, и Москве, и в министерских, и в частных гостиных. Конечно, с этим согласиться обидно, и даже очень обидно, но признайтесь, читатели, какой же другой

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

смысл может иметь эта жалоба? А отрицать подлинность этого факта, то есть *жалобы* на *безлюдье*, едва ли кто станет! Поезжайте в клуб, прислушайтесь к разговорам, и вы удостоверитесь, что, посудив и порядив об общественных и правительственных делах, перетасовав все должности и должностные лица, перебрав всех деятелей и даже кандидатов на звание деятелей, разговаривающие в заключение обыкновенно пожимают плечами и прибавляют: «Людей у нас нет, — безлюдье!» И этим заканчиваются беседы не в одних клубах, но и за зелёным, и за красным столом на Неве, на Москве, на Фонтанке, на Екатерининском канале и т.д. Стало быть, по свидетельству самого же общества и администрации — мы бедны умом, бедны способными, то есть умными людьми!.. А между тем теперь ходом истории выдвинут запрос не на энергию и даже не на другие качества души и сердца, а именно на ум, ни на что более, как на ум.

Требование на ум!.. Всполошились интенданты нашего арсенала, роют, шарят во всех углах, заглядывают во все щели — нет ли чего-либо похожего на ум и способность, хотя и не отвечающего всем кондициям интендантства, но сколько-нибудь близко к ним подходящего. Но ничего почти не находят, кроме недоброкачественного товара, слежавшегося, затхлого, выветрившегося и к употреблению негодного, поставленного казённым комиссариатом. Требование на ум! А где его взять? Занять?.. Но мы и без того уже постоянно жили чужим умом, и лёгкость, с которою производился этот заём, — одна из причин нашего собственного скудоумия. Мы долго жили чужим умом и платили за это дорогими процентами: нашею честью, нашею духовною независимостью, нашею нравственною самостоятельностью, но наконец убедились, что чужой ум всё-таки не может заменить нам *свой* и что события призывают теперь к действию и к ответу пред судом истории именно *наш* ум, а не заёмный; что самый заём стал нам обходиться слишком дорого, что проценты, требуемые заимодателями, возросли до чудовищного размера. Конечно, Россия не без умных людей, но количество их нич-

тожно в сравнении с потребностью в умных людях, предъявляемой всеми отраслями управления. Если б дело шло только о войне, то, конечно, можно было бы обойтись одним пожертвованием жизни и достояния, но теперь, как нарочно, ни жизни, ни достояния не требуется, а требуется только ум, ум и ум, — и на это-то требование и сверху и снизу, и со всех сторон слышится одно: «Людей нет, безлюдье!»

Что же это значит? Откуда эти отчаянные вопли о безлюдье? Отчего так редок у нас ум и, напротив, в самых образованных и высших слоях общества так много глупости и пошлости? Неужели и в самом деле Россия так обмелела, так оскудела умом? Куда же он девался, куда запропастился, что с ним случилось? Неужели действительно мы обделены этим Божьим даром? Внутреннее сознание говорит, что *нет*, но в то же время в арсенале, за немногими исключениями, мы находим только благонамеренность и малоумие, энергию и малоумие, честность и малоумие, бесчестность и опять малоумие или даже тупоумие...

А между тем, по общему единогласному свидетельству иностранцев, русский простой народ *умнее и даровитее* простого народа *всех* стран Европы; русский мужик стоит по своему *природному* уму несравненно выше французского, немецкого, итальянского мужика. Никто за эти слова не вправе упрекнуть нас в пристрастии; повторяем, этот отзыв о русском народе *принадлежит не нам, а самим иностранцам*. Да, наша природная умственная почва несравненно здоровее, доброкачественнее и восприимчивее *природной* же почвы других образованных европейских народов; умственный и душевный кругозор нашего народа при известной степени его развития шире кругозора других народов при той же степени развития. Отчего же такая несообразность и несоответственность между почвой и её продуктами? Как объяснить это явление, как согласить это богатство ума снизу и малоумие сверху? Куда девается, куда испаряется этот ум, спросим мы опять?

Отвечать на этот вопрос не трудно. Это явление объясняется тем особенным путём развития, который проходит

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

у нас ум, переставая быть непосредственною народною силою, тою постепенною отчуждённостью от живых источников питания, хранящихся в народном материке, которая становится уделом ума по мере изменения его жизненной обстановки на высшую. Оно объясняется, наконец, духовною разобщённостью с народом нашего общества, ненародностью, искусственностью нашей образованной среды и множеством разнообразнейших условий нашего общественного, гражданского и политического устройства. У всех прочих образованных народов отношение простого народа к своим высшим классам есть отношение невежественной и неразвитой силы духа к силе того же духа, но просвещённой и развитой. Общество представляет там народ на высшей ступени его развития; там развитие есть действительно прогресс и сила. У нас развитие есть большею частью оскудение и ослабление, у нас вся жизненная и творческая сила сосредоточена в неразвитости и, развиваясь, слабеет и оскудевает. Очевидно, что всё зло в неправильности, в противоестественности развития, которому подвергается у нас всё — вне первичной простонародной формации.

Мы удивляемся, что до сих пор ни одному художнику не пришло в голову представить в живых образах судьбы ума,хождение ума в России. Было бы в высшей степени любопытно последить, как этот русский ум, выходя из почвы, постепенно вянет в неблагоприятном воздухе общественной среды, мутится, слабеет, никнет, чахнет, искривляется и кончает тем, что или совсем гибнет, или же находит себе примирение в односторонности, суживается в меру, необходимую для спокойного и благополучного существования, выветривается, разменивается на мелочь, — пошлеет, пошлеет до отвратительности. Было бы чрезвычайно поучительно наблюдать этот процесс постепенного превращения русского народного, всеми признанного ума в ум наших гостиных, наших клубов (упоминаемых нами здесь только потому, что они сами себя считают представителями общественного мнения), наших дворянских собраний, нашей общественной и официальной среды. Если

бы можно было хоть на миг забыть, стать свежим человеком и перенестись в любое село, то, всматриваясь в русских мужиков, трудно было бы понять, трудно было бы поверить, что возможны в России жалобы на безлюдье, что мы и в самом деле страдаем безлюдьем. На кого же падает вина в безлюдье, кого осуждает, кого бранит общество, жалуясь на безлюдье? Само себя безлюдным именуется общество, другими словами, само себя объявляет малоспособным и малоумным!

Да и в отношении к одному ли уму представляется такая противоположность между русским народом и русским обществом? Умный народ — малоумное общество; бодрый, трудолюбивый народ — ленивое, вялое общество; народ, способный к самоуправлению, тысячу лет доказавший эту способность и доказывающий её поныне, — и общество, только болтающее о самоуправлении, но до сих пор решительно ничем не доказавшее своей способности к самоуправлению или, скорее, доказавшее свою неспособность. <...> Итак, мы сказали, что в нашем арсенале орудий для мирного гражданского дела крайний недостаток в людях *честных* и *умных*. Это не наша выдумка, а это доказывается всеобщими жалобами на безлюдье. Стоит только оглядеться кругом, чтобы убедиться в справедливости этих жалоб. Теперь представляется запрос на честность — качество необходимое в деятелях низшего разряда, и на ум — качество, необходимое для деятелей разряда высшего (предполагая, что честность в них уже имеется); а этими-то качествами мы и бедны.

При этом возникает вопрос: действительно ли мы бедны умом, или же только беден наш арсенал и виноваты интенданты, которые не умели запасть вовремя даже тем количеством ума, которым всё же располагает наше общество? Одним словом, можно ли судить по состоянию нашего арсенала об умственном состоянии нашего общества и воспользовался ли арсенал всеми теми средствами, какие представляет наша общественная среда? Собрал ли и привлёк ли он к себе все, какие есть, «способности» <...> нашего общества, или же остаётся немало праздных и непризванных?

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Наконец, по состоянию нашего арсенала и нашей общественной среды или, лучше сказать, по степени её духовной производительности вправе ли мы заключать вообще о нашем народе, об умственной силе России?

На этот последний вопрос мы уже отвечали. Мы уже указали на ту неизмеримую разницу, ту поразительную противоположность, которая существует между умом нашего народа и скудным умом общества, между нашею народною силою и общественным бессилием, между гением неразвитых масс и бездарностью образованных единиц. Но, всматриваясь ближе, мы находим здесь ещё два вопроса, две стороны дела: отношение народа к обществу и отношение общества к арсеналу общественных орудий гражданской и преимущественно официальной деятельности. Если наш общественный умственный и духовный уровень вообще невысок и стоит ниже народного духовного и умственного уровня или, вернее сказать, ниже того уровня, который должен был бы возноситься над уровнем народных масс, невежественных и неразвитых, но так богато наделённых всеми духовными дарами, — то, с другой стороны, нельзя не сознаться, что, каково бы ни было умственное развитие нашего общества, оно всё-таки богаче нашего арсенала. Оно всё же обладает в своей среде способностями, которые не принадлежат к официальному списку ресурсов, состоящих в распоряжении нашего гражданского арсенала.

Итак, наш органический умственный прогресс совершается в обратном движении: чем выше, тем ниже и слабее; чем ниже к почве, тем выше, тем плодотворнее и крепче; постепенность этого обратного прогресса выражается простым народом, обществом, чиновничеством всех разрядов. Наше чиновничество, разумея тут вообще гражданских деятелей, стоит, за немногими исключениями, вообще ниже нашего общества, жалующегося на безлюдье. Если б оно стояло выше, не было бы места и жалобам; общество, в свою очередь, стоит ниже того рода, которому должно служить выражением и которого почти вовсе не выражает.

<...> Обращаясь затем к отношению общества к нашему гражданскому арсеналу и изыскивая причины безлюдья в наших административных сферах, мы должны указать сперва на безлюдье самого общества вообще, во-вторых, на те препятствия, которые мешают администрации пользоваться даже теми немногими ресурсами, которые имеются в обществе; в-третьих, наконец, на то странное перерождение, которое совершается в деятелях, поставляемых от общества, по мере их сближения с официальной сферою.

Очевидно, что общество, находящееся к народу в тех отношениях, на какие мы указывали, не в состоянии, кроме немногих исключений, воспитать вполне доблестных и разумных граждан. За всем тем есть и исключения, есть, наконец, люди, если и не вполне отвечающие нашему народному идеалу, но всё же и умные, и способные. Но они нередко, и даже большею частью, не находят себе доступа в сферы высшей гражданской деятельности, благодаря табели о рангах и некоторым административным предрассудкам. Нет сомнения, что табель о рангах и эти предрассудки уступят со временем место более разумному воззрению на способ удовлетворения административной потребности в людях, — и тогда, конечно, окажется способных людей более, чем ныне, но куда все эти предрассудки продолжают существовать, хотя и не с прежнею силой. К числу их принадлежит, например, понятие о нравственном преимуществе военных чиновников пред штатскими или о всесторонней способности к занятиям по всем отраслям администрации людей, носящих военный мундир и эполеты. <...> Вообще гораздо выгоднее, гораздо легче было сделаться участником высшего государственного управления ловкому, хотя и ничему не учившемуся гвардейскому офицеру, нежели учёному кандидату или магистру университета, трудящемуся на штатской службе. Если, жалуясь на безлюдье, мы проследим карьеру людей, у нас действующих, то окажется, что мы несколько не преувеличили и эти чисто теоретические замечания имеют важность практическую немалую.

Но нельзя не сознаться затем, что официальная среда имеет у нас странное свойство до такой степени отрешать людей от живой действительности и от самой общественной среды, что они теряют нередко и ту способность, ради которой их выдвинуло вперёд само общество. Живая струя народности всё же проникает, хотя и слабо, в жизнь нашего общества, но при переходе из общественной в официальную сферу даже и эта струя большею частью оскудевает. Всякий из нас замечал то странное явление, что человек, живший, так сказать, под одним кровом со всеми прочими, неслужащими смертными, знакомый с их потребностями, а также со всеми видными снизу, но невидными сверху недостатками администрации, наконец, точно также порицавший администрацию за «незнание России», за неведение практической жизни и «народного духа», — что этот человек, поступив на службу и подвигаясь выше в гражданской иерархии, точно так же теряет смысл действительности, становится если не во враждебное, то в постороннее отношение к обществу и как будто тупеет. Говоря о безлюдье, мы не можем не вспомнить, что ведь не безлюдьем же была вся эта масса служащих людей при начале своей деятельности или в свои молодые годы. Что же с ними сделалось, куда девался, куда девается, спросим мы опять, ум в России, доходя до тех пределов, где именно он-то и нужен? Это, как мы уже сказали, свойство самой среды, — её бюрократической, отрешённой от жизни атмосферы и полнейшей безответственности деятелей пред обществом. Общество и администрация у нас как два лагеря, как два разобщённых мира, из которых первый находится к другому в каком-то подчинённом, если не во враждебном отношении. Нельзя сказать, чтобы люди, переходящие из одного мира в другой, из общества в среду официальную, непременно беднели умом и смыслом, — хотя и это случается от разобщения с живою действительностью, — но у них переменяется оптика, и предметы представляются им уже иначе, чем прежде.

С которого чина совершается эта метаморфоза или с которого места? С чина большею частью генеральского

и с места большею частью такого, которое даёт в руки власть, налагая вместе и ответственность пред высшим начальством за употребление власти. Обращаем внимание наших читателей на это постепенное превращение, постигающее наших лучших людей в их служебной карьере. Часто, слушая жалобы на недостаток людей или на неспособность наших деятелей, нам приходит в голову, что если бы жалующийся сам вступил в круг этой деятельности, то через несколько лет он подвергся бы общему со всеми упреку в неспособности, в непонимании России и народного духа, в незнании жизни и был бы отчислен к безлюдью!

<...> Богатство ума и духовной силы, невиданное миром богатство, дано от Бога русскому народу; это признают все... Как же сделать, чтоб ум народный не пропал даром, чтоб общество было умно умом народным и, в свою очередь, снабжало администрацию, в лице своих деятелей, этим умом, возведённым на высшую степень развития, образованным и просвещённым народным умом? Что этому мешает? Какие препятствия? Возможно ли исправление для этого нашего общественного недуга? Есть ли исход из нашего печального, рокового положения? Вопросы важные, жизнь требует ответа, время не ждёт.

День. 1863. № 40, 5 октября. С. 1—4

Ошибочность взгляда, будто свобода слова несовместна с существующею у нас политической формою правления

<...> Едва ли позволительно надеяться, что внешние и извне налагаемые на общество либеральные учреждения воскресят и оживят общество, когда для жизни самих этих учреждений — нужно присутствие жизни духа и духа жизни (по выражению поэта), которых именно недостаёт нашему обществу! Никакие реформы — ни преобразование судов, ни земские учреждения, ни новое городское «самоуправление», не принесут даже и той пользы, которую бы они могли дать (независимо от своих собственных внут-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ренных недостатков), при таком нравственном, или — лучше — безнравственном состоянии общества! Впрочем <...>, кажется ясно, что дело не во внешних учреждениях, требующих для своего действия — участия готовых сил общественного духа, — а в том, что может оживить самый дух, возродить самые силы. <...> Если человек поражён слепотой, болен катарактой на глазах, то напрасно будете вы вооружать его доспехами и давать палицу в руки, чтобы он мог защищаться от врагов, когда прежде всего нужно бы <...> вернуть ему зрение! Если узник чахнет от недостатка свежего чистого воздуха, то никакое благодетельное разрешение самоуправляться внутри своего смрадного жилища не даст ему здоровья, ни сил для ходьбы и движения, пока он не дохнет свежим и чистым воздухом!

Как ни благодетельны многие реформы, но для успеха самих реформ необходимы были бы, по нашему мнению, такие меры и средства, которые бы непосредственно действовали — не на ту или другую внешнюю часть общественного организма, а на весь его внутренний строй, в его целостности, на общее начало органической жизни. <...>

Мысль, слово! Это та неотъемлемая принадлежность человека, без которой он не человек, а животное. Бессмысленны и бессловесны только скоты, — и только разум, иначе, слово — уподобляет человека Богу. Мы, христиане, называем самого Бога — словом. Посвятить на жизнь разума и слова в человеке — значит не только совершать святотатство Божьих даров, но посягать на божественную сторону человека, на самый дух Божий, пребывающий в человеке, на то, чем человек — человек! Свобода жизни разума и слова — такая свобода, которую, по-настоящему, даже смешно и странно формулировать юридически или называть правом: это такое же право, как право быть человеком, дышать воздухом, двигать руками и ногами. Эта свобода вовсе не какая-либо политическая, а есть необходимое условие самого человеческого бытия; при нарушении этой свободы нельзя и требовать от человека никаких правильных отпращиваний чело-

веческого духа, ни вменять что-либо ему в преступление; умерщвление жизни мысли и слова — самое страшнейшее из всех душегубств! <...>.

Есть мнение, ни на чём не основанное и повторяемое у нас с ветру людьми, пробавляющимися весь свой век готовыми чужими афоризмами, что свобода печати несовместна с существующею у нас политическою формою правления.

Это мнение совершенно ложно. Во-первых, как мы уже сказали, свобода слова не есть свобода политическая, и защитники мнения о несогласии принципа свободной печати с нашим политическим принципом могут точно так же, с не меньшим основанием, утверждать, что эта форма правления несовместна и с свободою жизни, свободою — пить, есть, дышать, ходить и двигаться. Если же признаётся возможным и жить, и дышать, и совершать прочие отправления под защитою неограниченной монархической власти, то нет причины унижать значение самодержавия до такой степени, чтобы считать немислимою жизнь духа и разума под его верховной эгидой. Напротив, мы думаем, что настоящее, именно русское, самодержавие предполагает полную свободу нравственной общественной жизни и без этой свободы перестаёт быть русским, перейдёт или в немецкий абсолютизм, или в азиатский деспотизм <...>

Свободное мнение в России есть надёжнейшая опора свободной власти — ибо в союзе этих двух свобод заключается обоюдная крепость земли и государства. Всякое стеснение области духа внешнею властью, всякое ограничение свободы нравственного развития подрывает нравственные основы государства, нарушает взаимное доверие и то равновесие, ту взаимную равномерность обеих сил, которых дружное, согласное действие составляет необходимое условие благого и правильного хода русской народной и государственной жизни.

<...> Без внутреннего духа жизни самые мудрые законы останутся мёртвою буквою, а жизнь духа немислима без свободы мнения и слова. С другой стороны — только

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

неограниченная свобода мнения обуславливает разумность неограниченной свободы правительственного действия.

День, № 4 от 26 января 1863

Журналистика — выражение общественного мнения, а не какая-нибудь законодательная власть

<...> Можно смотреть на печать как на силу враждебную, от которой следует всячески ограждаться и отчураться. Можно ласкать себя надеждою, что достанет умения и власти славить человеческую мысль и выражение её в слове, закупорить её как в сосуде и выпускать как пар, по мере казённой надобности и через штемпелеванные клапаны. Можно видеть в свободе слова лишь неизбежное зло, но всё же зло, и делать уступки этой свободе, вынужденные только крайнею необходимостью <...>.

Можно, напротив того, относиться к печати как к силе союзной, как к вернейшему проводнику свободного общественного мнения, — как к сокровищнице мысли и ума миллионов, восполняющей неизбежную скудость единичного ума и мысли в правителях. Можно признавать свободу слова не только не злом, хотя бы и необходимым, а величайшим вожделенным благом, без которого также немислимы жизнь духа и нормальное развитие человеческих обществ, как немислимы без света и воздуха жизнь и нормальное развитие физической природы человека...

Различие взглядов ведёт и к различию последствий. Взгляд на литературу как на силу враждебную создаёт под конец действительно силу враждебную, озлобленную, мятежную, наступательную или, по крайней мере, систематически оппозиционную, неослабную в борьбе за своё существование право. Попытки сковать и закупорить человеческую мысль производят опасные взрывы, а всякие вынужденные уступки, роняя достоинство правительства, не удовлетворяют тех, для кого они делаются, не внушают доверия и не содействуют миру. Чем отрицательнее отно-

шение правительства к печати, чем оборонительнее положение, в которое оно становится к ней, чем больше принимает оно мер для своего ограждения, — тем отрицательнее и отношение печати к правительству, тем труднее оборона, тем недостаточнее с каждым днем становятся меры ограждения, тем чаще возникают столкновения, тем сильнее плодятся призрачные страхи, а с ними заботы и хлопоты администрации, — тем неудовлетворительнее оказываются всякие законы о печати. За либеральным законом последуют неминуемо стеснительные дополнения; вместе с развитием литературы обречён расти, усложняться и самый контроль. <...>

Напротив того, чем благоприятнее относится администрация к свободе слова, — тем проще, тем немногосложнее и самые законы о печати; чем меньше администрация расположена пугаться и опасаться литературы, тем меньше призрачных пугал, тем искреннее печатное слово, — а чем оно искреннее и откровеннее, тем оно неопаснее.

<...> Вообще, в основании наших законов о печати лежит, кажется, такое рассуждение: «Свобода печати желательна, — слова нет, но без её излишеств и увлечений; надобно в отношении к ней найти <...> золотую середину, и устроить дело так, чтоб иметь от печати одни выгоды и удобства, без её вреда и неудобств, — чтобы образовать печать приличную, благонравную, пуще всего благонамеренную и даже, пожалуй, либеральную, но поводливую, слушающуюся указаний и т.п.». Одним словом, рассуждение известное, но, к сожалению, на практике несостоятельное. Условия самой природы этих вещей таковы, что выгоды и удобства, желательные и даже необходимые для правительства в «просвещённой» или стремящейся к просвещению стране, не могут иметь место без неудобств и невыгод, — как не может быть плода без кожи, огня без жару (или, употребляя сравнение, самое убедительное по своей пошлости), «розы без шипов». Что-нибудь одно: или вовсе не признавать никакой словесности, или же признать её такою, каковая она есть, не искажая её природы: в противном случае это будет уже не литература, как выражение

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

мысли и чувств страны, а какая-то ложь, нарядившаяся в её платье. Если вы хотите искренности в слове, так должны допустить каждому право говорить *своим* голосом, как бы даже груб или неблагозвучен он ни был; где нельзя говорить *своим* голосом, там не может быть и искренней речи, и вместо неё будет раздаваться одна благонамеренная фистула. Не доказанная ли уже давно истина, что никакой механизм и внешний порядок не заменит творчества органической жизни? А если это так, если обойтись без живых органических сил нельзя ни государству, ни обществу, то можно ли, признавая по необходимости права жизни, отнять у жизни то, что делает жизнь жизнью, в чём заключается условие её творчества? Что лучше: жизнь или подобие жизни, — жизнь с своею свободою, со всею кажущеюся нестройностью, разнообразием, разноголосицей своих отправлений и проявлений, — или подобие жизни, то есть мертвенность и ложь, со внешним благоустройством и наружным порядком? Человеческое же слово только тогда и может быть названо словом, когда оно вполне живо, следовательно, вполне свободно; тогда только может оно дать добрый плод. Слово же, сдавленное и стеснённое в своей свободе, слово неискреннее — гнилой даёт плод.

Таким образом, та администрация, которая поставит себе задачею направлять литературу, вести слово на поводах, вытягивать его в струнку, муштровать, подчинять его благообразному однообразию, порождает сама для себя непреодолимые трудности и неудобства. Угнаться за всеми уклонениями печатного слова от правительственной нормы приличия и порядка, за всеми бесконечно разнообразными, неуловимыми проявлениями общественной мысли — нельзя: под тяжёлую руку карающей власти попадается всегда только самая откровенная, стало быть, в известном смысле честная речь, и ускользнёт речь лукавая. При усилении же надзора, при принятии более строгих мер контроля, убивается неминуемо всякая жизнь слова, а этого результата ни одно просвещённое правительство не желает и желать не может. Из этой дилеммы выход один — от-

казаться от всякой попытки ружоводствовать словом, как не только бесполезной, но и вредной. Само собою разумеется, что, говоря о слове, мы не имеем в виду тех случаев, когда слово перестаёт быть выражением мысли и переходит само в категорию внешнего, противозаконного действия. Но для отыскания тонкой черты, разграничивающей слово от действия, нельзя обозначить никаких общих признаков и правил: она определяется на самом данном факте, которого оценка никоим образом не может входить в атрибуты административной личной власти, а может, по самому существу своему, принадлежать только суду. <...>

Москва. 1868. 6 апреля

К.С. АКСАКОВ (1817—1860)

Простой народ — разумная стихия России: передовые статьи из газеты «Молва» (1857)

Народ есть та великая сила, та живая связь людей, без которой и вне которой отдельный человек был бы бесполезным эгоистом, а всё человечество — бесплодной отвлечённостью. Разъединяющий эгоистический элемент личности умеряется высшим началом живого союза народного, другими словами: великодушием общинного элемента. В общинном союзе не уничтожаются личности, но отрекаются лишь от своей исключительности, дабы составить согласное целое, дабы явить желанное сочетание всех. Они звучат в общине, не как отдельные голоса, но как хор.

<...> В народе необходима самодеятельность. Нравственный подвиг народа совершается всем народом. Странно было бы, в этом случае, разделение народа на ведущих и ведомых. Точно: иным даётся сила вразумления, а другим сила внимания; но это не люди распределяют, а Провидение. К тому же внимающий не есть белая бумага, которая не знает и не судит о том, что на ней пишут. Внимающий много даёт вразумляющему, он нередко

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

вдохновляет его. И говорящий, и слушающий делают одно общее дело: один разумно передавая, а другой разумно принимая, их связует одна общая идея, переходящая от одного к другому и выравнивающая их. Та же связь в более частном виде существует между писателем и читателем <...>. Лишь дары Провидения не передаются, а истина — достояние общее. Но дары, скрытые некоторое время, могут раскрыться. Внимающий, как скоро пробуждается в нем дар слова, становится вразумляющим. Из этого взаимного беспрепятственного обмена мыслей, из переменного даяния и принятия, слагается общий нравственный подвиг народа.

Молва, № 2, 20 апреля

Россия!.. Какие разные ощущения пробуждает это имя в целом мире. Россия, в понятии европейского Запада, это варварская страна, это страшная, только материальная сила, грозящая подавить свободу мысли, просвещение, преуспеяние (прогресс) народов. Для азиатского Востока Россия — это символ грозного величия, возбуждающего благоговение и невольно привлекающего к себе азиатские народы. Для Америки имя России знаменует крайнюю ей противоположность, но в то же время самобытное, юное государство, которому, вместе с нею, принадлежит будущность мира. <...>

Но как отзывается это драгоценное имя в нас самих? Россия... это имя отзывается разное и в сердцах русских людей. Исключаем простой народ: он и Россия — одно, он есть разумная стихия России. Мы говорим о себе, о так называемых образованных или преобразованных русских. Разно звучит имя России и в их сердцах... Одни говорят, что Россия создана Петром, <...> что до Петра это была какая-то грубая, дикая масса, представляющая одно брожение без мысли, не имевшая <...> своих начал, своего пути и стремления, шатавшаяся из стороны в сторону, <...> что по мановению державного Преобразователя Россия восприняла жизнь <...> от Западной Европы. Вся история допетровская является, в глазах их, чем-то ненуж-

ным, годным лишь для возвеличения дел Петровых. Другие, напротив, думают, что Россия допетровская имела (не могла не иметь) свои начала, свой путь, своё стремление, что эти древние начала суть залог её преуспевания в будущем, что живая связь с стариною, с преданием необходима, что лишённое корня дерево не приносит плодов <...>, что для своего просвещения, для оживления и преуспевания (прогресса) Россия должна обратиться не к формам, конечно, но к своим древним основным началам, к жизненным сокам корней своих: это уже невозможно для срубленного дерева, но для человека и, следовательно, народа, это возможно.

Вследствие такого двойного понимания являются и два направления, оба желающие блага России, но розно её понимающие, — направления, между которыми идёт борьба мысли, <...> широко обхватывая собою и быт, и язык, и историю и все области разумной жизни человека. <...>

Молва, № 4, 4 мая

Народность есть личность народа. Точно так же, как человек не может без личности, так и народ без народности. Если же и может встретиться человек без личности, народ без народности, то это явление жалкое, несчастное, бесполезное и себе и другим Личность не только не мешает, но она одна и даёт возможность понять вполне и свободно другого человека, другие личности. Так точно и народность одна даёт возможность народу понять другие народности. Где исчезает она, там исчезает, материально или нравственно, сам народ. Народность — это есть живая, цельная сила, имеющая в себе нечто неуловимое, как жизнь.

И дух, и творчество художественное, и природа человеческая, и даже природа местная, всё принимает участие в этой силе. Народная песня, как бы ни была она доступна всему остальному человечеству, всё-таки отзовется чем-то особенным в душе того человека, для которого она своя <...>.

Да, нужно признать всякую народность, из совокупности их слагается общечеловеческий хор. Народ, теряющий

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

свою народность, умолкает и исчезает из этого хора. Поэтому нет ничего грустнее видеть, когда падает и никнет народность под гнётом тяжёлых обстоятельств, под давлением другого народа. Но в то же время, какое странное и жалкое зрелище, если люди не знают и не хотят знать своей народности, заменяя её подражанием народностям чуждым, в которых мечтается им только общечеловеческое значение!

Каждый народ пусть сохраняет народный облик <...>: только тогда будет иметь он и человеческое выражение. Неужели же захотят сделать из человечества какое-то отвлечённое явление, где бы не было живых, личных народных черт? Но если отнять у человечества личные народные краски, то это будет бесцветное явление, до которого можно прийти только через искусственное собрание правил, под которые народ должен подводить себя, стирая притом свою народность. Это будет уже своего рода официальное, форменное, казённое человечество. По счастью, оно невозможно, и идея его может явиться только как крайняя, и притом нелогическая отвлечённость в уме человеческом.

Нет, пусть свободно и ярко цветут все народности в человеческом мире; только они дают действительность и энергию общему труду народов.

Да здравствует каждая народность!

Молва, № 5, 11 мая

Вперёд! Стремитесь, не слабея, не останавливаясь, всё далее и далее вперёд!

С полным убеждением произносим слова эти, слова стремления и деятельности. Но одного чувства, убеждения мало для человека, ему нужно ясное понимание, отчёт мысли.

Что значит «вперёд»? Есть ли это только движение далее и далее, не разбирая пути, на котором стоит человек? В таком случае человек <...> не был бы свободен, не имел бы суда над собою, не владел бы своим направлением. Если путь ложен и ведёт его к заблуждениям, должен ли он

стремиться вперёд? Не должен ли он стать на иной путь, как скоро ему ясно стало, что он не туда идёт?

Итак, человеческое «*вперёд!*» не значит всё далее и далее, куда бы то ни было, по одной черте, раз (хотя и ошибочно) избранной. Вперёд к истине! — прибавим мы, и это прибавление освобождает нас от тесного, путевого понимания. Вперёд! Здесь уже нет рабского следования пути, раз избранному. Здесь одна цель — истина. Один путь хорош, — который ведёт не от неё, а к ней. Если путь ложен, то человек не затруднится его бросить и вступить на иной путь.

Очень часто стремление *вперёд к истине* может не сходиться с стремлением *вперёд по одной дороге*, ибо дорога может быть ложна.

Не раз слышалось обвинение на славянофилов, что они хотят возвратиться назад, не хотя идти вперед. Но это обвинение несправедливо <...>. Если понимать *вперёд* и *назад* без отношения к истине, тогда и то и другое стремление обращается уже в силу, становится динамическим, невольным и для разумного существа недостойным. <...>

Разве славянофилы думают идти назад, желают отступательного движения? Нет, славянофилы желают идти, но не просто вперёд, а вперёд к истине и, конечно, никогда назад от истины. Их антагонисты, думаем, желают тоже идти <...> вперёд к истине. И та, и другая сторона не ставит себя в зависимости от избранного ею пути. Славянофилы утверждают только то, что самый путь ошибочен, и что к истине должно идти другим путём. Значит ли это возвращение назад? Вопрос и спор может быть о том, чей путь истинен, но не может быть речи о желании возвратиться назад.

Но славянофилы думают, что истинен тот путь, которым Россия *шла* прежде.

Да, они думают, что истинен этот путь, но не забудьте — *путь*. Разве есть неподвижное состояние? Разве на пути можно остановиться? Путь непременно идёт куда-нибудь вперёд, путь есть бесконечное движение; и воро-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

тяться на прежний путь не значит отказаться от стремления вперёд, а значит идти вперёд лишь по иному направлению <...>.

Молва, № 6, 18 мая

Простой народ есть основание всего общественного здания страны. И источник вещественного благосостояния, и источник внешнего могущества, источник внутренней силы и жизни, и, наконец, мысль всей страны пребывают в простом народе. Отдельные личности, возникая над ним, могут на поприще личной деятельности, личного сознания, служить с разных сторон делу просвещения и человеческого преуспеяния; но тогда только и могут они что-нибудь сделать, когда коренятся в простом народе, когда между личностями и простым народом есть непрерывная живая связь и взаимное понимание.

Находясь на низшей ступени лестницы житейской, вне всяких почестей и наружных отличий, простой народ имеет за то великие блага человеческие: братство, цельность жизни и (так как мы, говоря о простом народе, разумеем русский) быт общинный.

Напрасно думают, что простой народ есть бессознательная масса людей. Если бы это было так, то он был бы то же, что неразумная стихия, которую можно направлять в ту и в другую сторону. Нет, простой народ имеет глубокие, основные убеждения — условие существования для всей страны. Защищая эти убеждения, он, точно, в силе своей равняется стихии; но это стихия разумная, имеющая нравственную волю; это стихия только по дружному, цельному своему составу и действию. Есть прекрасное выражение на Руси для такого проявления народной силы: *стали все, как один человек*. Русская история показывает нам, как глубока и тверда основа веры в русском народе, как отстаивал он святость своих православных убеждений.

Напрасно также думают, что простой народ есть какой-то слепой поклонник обычая, что он перед чем бы то ни было рабствует духом. Правда, он не представляет легкого подвижного явления, то в ту, то в другую сторону

направляемого ветром; как всё истинное и действительное, он крепок на ногах и не шатается из стороны в сторону, он понимает, <...> что преемство жизни есть необходимое условие жизни: он <...> поддерживает а не рвёт нить жизни, идущую из прошлого в будущее. Простой народ есть страж предания и блюститель старины; но в то же время он не есть слепой раб её. Да и было же время, когда старина была новизною. Простой народ принимает новое, но не скоро, не легкомысленно, не из презрения к старине, не из благоговения к новизне. То, что он примет, примет он самобытно, усвоит прочно и перенесёт в свою жизнь. Легкомысленные личности, для которых жизнь есть непрерывный маскарад, или убеждения которых, если и постоянные, не имеют корня в самой стране и плавают в какой-то отвлечённой атмосфере, как ошибаются они, принимая обдуманность народа, его мерный и верный шаг, среди прыгающих и бегущих около него отдельных личностей, за какую-то неподвижность или, по крайней мере, за косность. Это показывает только, что народа не понимают. У нас же, в России, неохота, недоверчивость, с какой принимают новое, имеет свою историческую причину, своё законное оправдание.

Но, начавши говорить: «простой народ», мы потом стали говорить, «народ». Это не случайно и не без причины, ибо простой народ точно есть *просто народ*, или народ собственно.

Слово «народ» употребляется в двояком смысле: или оно означает всех, в союзе народном живущих, без различия сословий и в таком случае соответствует более слову «нация», или же оно означает простой народ, низшее сословие, которое есть народ собственно. Понятно и законно употребление этого слова и во втором случае. Простой народ не имеет никаких отличий, никакого другого звания, кроме звания человека и христианина, а потому и зовётся или *человеком*, во множестве *людьми* <...>, или *крестьянином*, то есть христианином, или же, наконец, *народом*, что также есть имя кровного, но еще более духовного союза человеческого. Вот причина, по которой название народа остаётся преимущественно за низшим сословием.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Итак, у простого народа нет никаких отличий или титулов, кроме звания человеческого или христианского. О, как богата эта бедность! И, стоя на низшей ступени, как высоко стоит он!

Нося звание только человека, только христианина, он, с этой стороны, есть идеал для всего человеческого и христианского общества.

Как скоро верхние классы смотрят на свои отличия и преимущества (хотя и не во зло употребляемые) не как на причину гордости и превосходства над другими, но как на требуемые временем, порождённые несовершенством мира сего явления; как скоро, забывая о них, чувствуют в себе только человека и христианина, — тогда становятся и они народом.

У нас значение простого народа имеет свою особую сторону, ибо он только и сохраняет в себе народные истинные основы России, он только и не разорвал связь с прошедшим, с древней Русью. Часто гордо смотрят на него люди так называемого образованного или светского русского общества, пренебрегают им, называют его мужиками, обратив это слово в брань. Красуясь над ним и высоко на него посматривая, они забывают, что только простой народ составляет условие их существования. Известно прекрасное (сделанное русским писателем) сравнение простого народа с корнями дерева, на котором шумят и величаются листья, меняющиеся каждый год, тогда да как корни — всё одни и те же.

Красуйтесь в добрый час,
 (говорят корни листьям)
 Но помните ту разницу меж нас,
 Что с новою весной лист новый народится;
 А если корень иссушится, —
 Не станет дерева, ни вас.

Молва, № 9, 8 июня

Общественное мнение есть великое благо и великая сила; оно составляет нравственную свободную поверку всех действий человеческих, подлежащих суду обще-

ственному. У общественного мнения нет делопроизводства; оно не наказывает, не сажает в тюрьму, не принимает принудительных мер. Свободное, оно и относится ко всему свободно, вооружённое лишь нравственной силой.

Естественно, что общественное мнение драгоценно для Правительства, которому нужно знать, чего желает и как думает страна, им управляемая.

Но для того, чтобы общественное мнение могло существовать, нужны два условия. Первое состоит в том, чтоб общественное мнение высказывалось непринуждённо и без стеснения. Второе — в том, чтоб само общество представляло нравственный союз, имеющий одни и те же общие начала и основания, которые только и могут сообщить целость и единство; без единых нравственных начал общество существовать не может. Отсюда является необходимость общественной нравственности.

Общественная нравственность состоит в соблюдении и ограждении нравственных начал общества. Всякий, нарушающий эти начала, — в обществе оставаться не должен! <...>

К сожалению, <...> — при многих отдельных нравственных личностях, — общественная нравственность у нас понимается и проявляется мало. Где те пороки, те нарушения нравственных начал, которые заставили бы наше общество произнести свой необходимый правдивый суд? И взяточник, и плантатор, и развратник, всеми признанные за таковых, — если только они богаты, или чиновны, или знатны, и позовут общество к себе на пир: разве общество не поедет к ним и, тем самым, разве оно не одобряет разврата и неправды, не узаконивает их? Веселясь у презренного и развратного богача, или важного человека, могущего оказать покровительство, разве не говорит оно ему: «Ты хорош для нас со всем твоим развратом и награбленными деньгами. Ты наш; ты принадлежишь к нашему обществу»? — Где же единство нравственных начал, если тот, кто отвергает их, остаётся в обществе? В чём же разница тогда между соблюдающими

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

ми и нарушающими нравственные начала? Разница эта исчезает. — Следовательно, общество не имеет нравственных начал, ни общественной нравственности, ни общественного суда, ни общественного мнения. Протягивая руку человеку безнравственному, принимая его в свою среду, общество ободряет его порок и поддерживает его на пути беззакония. <...> если бы оно отвергло его, оно произнесло бы над его делами во всеулышание свой спасительный суд и само в себе почувствовало бы крепость. Эта-то общественная крепость необходима нашему обществу.

Богато убранные залы порочного хозяина наполняются гостями, и в числе этих гостей встречаются люди честные и достойные, которым противны разврат и другие явные пороки хозяина. Отчего же очутились здесь эти честные люди <...>? Оттого, что порочный хозяин богат или чиновен, оттого, что залы его хорошо убраны, ярко освещены, и угощает он отлично, и оттого, что всё общество туда идёт. А поехали бы и эти честные люди, и всё общество в гости к таким порочным хозяевам, если б эти хозяева были люди небогатые, не чиновные, не с связями? Конечно, нет. И так золотом или покровительством приобретены эти гости <...>.

Всё это показывает недостаток общественной нравственности. Иные говорят: я не перестаю быть честным человеком оттого, что пойду в гости к бесчестному; но это своего рода эгоизм. Надобно помнить, что в каждом из нас, кроме личного человека, есть человек общественный, и что личное моё достоинство мне не извинение, если я еду на бал к человеку порочному или развратному и своим присутствием поддерживаю его порок и разврат в обществе. Здесь я нарушаю общественную нравственность. Должно не только не быть «губителем», но и не «сидеть на седалище губителей».

Повторяем: мало одной личной нравственности, необходима нравственность общественная.

Молва, № 12, 29 июня

М.Н. КАТКОВ (1818—1887)

Исключительное господство бюрократии
и Верховная власть

В понятиях и чувстве народа Верховная власть есть начало священное. Чем возвышеннее и священнее это начало <...>, тем несообразнее, фальшивее и чудовищнее то воззрение, которое хочет видеть в разных административных властях как бы доли Верховной власти. Как бы ни было высоко поставлено административное лицо, каким бы полномочием оно ни пользовалось, оно не может претендовать ни на какое подобие принципу Верховной власти. Власть, в которую администратор облечён, бесконечно <...> отлична от Верховной власти. Администратор не может считать себя самодержцем в малом виде. Господство такого воззрения есть существенное зло, и из него происходило немало печальных недоразумений в наших общественных понятиях, немало фальшивых положений в нашем общественном быту. Опираясь на это воззрение, административные лица, бывало, готовы были провозгласить бунтовщиком всякого, кто осмеливался ссылаться на закон. «Я вам дам закон! — восклицал администратор. — Моя воля для Вас закон». «Моя воля!» Что может быть безумнее и нечестивее такого притязания? В России есть только одна воля, которая имеет право сказать: «Я закон». <...> Она есть источник всякого права, всякой власти и всякого движения в государственной жизни. Она есть народная святыня, ею всё держится и всё единится в государственных делах. Народ верит, что сердце Царево в руке Божией. Оно заколеблется — колеблется и падает всё. Спрашивается, может ли кто-нибудь в государстве ставить так же свою волю законом и ожидать, чтобы в побуждениях его сердца так же чтилась воля Божия? А между тем в силу воззрения, уподобляющего <...> административные власти верховному над государством началу, являлось бы в разных степенях и размерах множество как бы верховных

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

властей, множество как бы самодержавных повелителей. Может ли выдержать какую-либо серьёзную поверку это воззрение, к которому, однако, привыкла бюрократия и приучила умы? Оно должно исчезнуть как грубая ошибка; оно должно исчезнуть перед новым порядком, который требует совершенно иного воззрения.

Служба Государю не может также считаться исключительной принадлежностью бюрократической администрации. При том значении, какое Верховная власть имеет как вообще, так в особенностях в России, все, от мала до велика, могут и должны видеть в себе в какой бы то ни было степени и мере слуг Государевых. Что называется у нас общественной службой, то, в сущности, есть такая же служба Государю, как и всякая другая <...>: мировой судья, охранитель общественного мира, также служит государеву делу, как и бюрократические деятели, и на нём лежит долг той же самой присяги, как и на них. Будучи, как и все, слугой Государю <...>, административное лицо имеет, сверх того, обязанность служить на пользу общую по какому-либо определённом ведомству дел или в какой-либо местности, и чтобы здраво и трезво понимать своё положение, администратор должен видеть в себе не властелина, а служителя тех интересов, к которым приставлен. Власть у него не затем, чтобы давать её чувствовать мирным гражданам, а чтобы служить им в охранении их законных прав и интересов; показывать же власть свою он должен только нарушителям этих прав и интересов. К сожалению, часто бывало наоборот. Администратор показывал свою власть мирным гражданам, но конфузливо прятал её перед врагами государства и общества. <...>

Московские ведомости. 1866. № 154

Всё, что противоречит основному строю русского государства, должно быть устранено из него самым решительным образом

<...> Нелегко переживать кризис; однако лучше пусть он несколько продлится, лишь бы разрешился вполне благополучно. За кризисом должно последовать или полное

выздоровление, или безнадежное ухудшение недуга. Всякая ошибка может иметь теперь роковые последствия.

Что теперь нам делать? Прежде всего, не задавать себе подобных вопросов. В этих-то непрерывных вопросах и состоит наш опасный общественный недуг. Что нам теперь делать? Да просто стать твердо на ноги, очнуться от дремоты, отряхнуться от праздномыслия и делать то, что у каждого под руками. Со вчерашнего ли дня началось существование России? Русская держава есть создание тысячелетней истории. Россия не вопрос, Россия не мнение, не идея, не отвлеченная формула; это самая реальная реальность, многосложная и громадная. Россия есть до бесконечности организованная индивидуальность, своеобразная и сама себе равная. Если она существует, то, стало быть, есть основы и законы её существования. Вот та твердая почва, на которой мы должны очутиться, чтобы выйти благополучно из кризиса; вот на чём следует стать твердо. Что делать? Очевидно, следует делать то, что требуется *основными законами* нашей страны. Если мы в чём-нибудь отступили от них, поспешим прийти в согласие с ними. Всё, что противоречит основному строю Русского государства, должно быть устранено самым решительным образом. Вопрос не в том, что лучше вообще, а в том, что полезно для нашего государства в данный момент его существования. Если мы призваны заботиться о чём-либо существовании, то не следует отвлекаться от него мыслью или разбрасываться по сторонам.

Последнее царствование, столь славное, но злодейски прерванное, было ознаменовано великими преобразованиями, которые подняли множество вопросов. Не осталось ничего в нашем быту, что не подверглось бы вопросу, всё зашаталось и заколебалось, и из виду у нас пропал самый субъект преобразований и улучшений. Субъект же этот есть Россия, Русское государство, и мерой, определяющей достоинство преобразований, должно быть не что иное, как государственная польза. Одному может казаться лучшим то, другому — другое. Для отвлеченной мысли, так же как и для фантазии, нет ни конца, ни предела. Но в

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

законодательстве, в правительственной деятельности, в вопросах политических всё должно быть подчинено государственной пользе и ею измеряться. Всякое уклонение нашей мысли за черту государственной пользы, точно так же как и всякая отвлечённость, невольно уводит умы на дурной путь, который ведёт к измене вольной или невольной и поощряет врагов.

Московские ведомости. 1881, 8 апреля. № 99

Истинный и разумный патриотизм

Что лучше — открытая и честная война или другого рода война, которая ведётся подземными кознями, революциями и мятежом, а сверху имеет благовидную наружность дипломатических переговоров и международных конференций? Мы не решаем, что лучше; но едва ли народное чувство не отдаст предпочтения первого рода войне перед второй, исполненной всякой нечистоты и гораздо более изнурительной и опасной.

Чувство постоянного унижения, в котором мы теперь находимся, состоя под судом и следствием, нестерпимо для народа, не лишённого чувства чести и уважения к себе, и совершенно невозможно для великой державы. С чем можно сравнить, например, эти наглые требования, которые заявляются иностранной печатью, чтобы наше правительство заключило перемирие с революцией на время конференций или даже на целый год? Да и вообще самый факт дипломатических объяснений по возникшим у нас затруднениям (независимо даже от того презрительного тона, с каким ведутся эти объяснения, независимо от придиорок, грубости и недобросовестности, с которыми к нам обращаются, не затрудняясь даже приисканием благовидных предлогов), самый факт этих объяснений есть для России невыносимая обида, особенно когда он как бы узаконяется и длится неопределённое время. Весь этот факт есть надругательство над нами, есть оскорбительное изобличение нас в несостоятельности; этим фактом вынуждаемся и сами мы чувствовать себя бессильным и униженным народом. Такое

чувство, *a la longue* [в итоге (*фр.*)], либо подорвёт силу народного духа, либо доведёт его до крайнего раздражения.

В самом деле, только к слабому и презрительному можно обращаться так, как обращаются к нам теперь европейские державы. Вначале Европа, может быть, и действительно была уверена, что мы лишены всякой силы отпора, что мы оторопеем и будем согласны на всякие требования. Теперь Европа этого не думает; она уверилась, что русский народ не есть бездушная масса, с которой можно поступить как угодно; она уверилась, что Русская земля есть цельное живое единство, которое сильно отзовется во всех своих частях при всяком на него покушении; Однако переговоры продолжаются; факт, оскорбляющий наше народное чувство, остаётся во всей силе; нам грозят ещё конференциями; нас хотят совсем взять в опеку. Значит, для заявления силы недостаточно одних слов, как бы они ни были искренни и как бы ни мало было сомнения в их способности и готовности перейти в дело. Слова всё-таки не более как слова; они разносятся ветром и забываются. Слов недостаточно для того, чтобы заявить серьёзную готовность народа отстаивать свою честь и своё достоинство. Верное и несомненное правило: <...> чтобы предупредить войну, надобно показать серьёзную к ней готовность, *para bellum, si vis pacem* [готовься к войне, если хочешь мира (*лат.*)]. Вооружённый и готовый к защите менее подвергается опасности нападения, нежели невооружённый и беззащитный. Придираются только к слабым, а не к сильным. Между Англией и Францией давно бы вспыхнула война, если бы обе державы давно не вели её между собою непрерывными вооружениями: <...> на каждое новое усиление наступательных средств одной державы другая держава отвечала ещё большим развитием своих оборонительных средств, сооружением береговых укреплений, двумя сотнями тысяч волонтеров. <...> Англия не только сделала невозможным оскорбить или унижить её даже мыслью о каком-нибудь покушении на её берега, но и приобрела новое громадное влияние в решении европейских дел, чего, собственно, ей и требовалось.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

<...> Вся беда в том, что европейские державы находят нас недостаточно склонными или способными к поддержанию нашей чести и наших прав. Они знают, что в случае крайней необходимости русский народ будет готов на всевозможные жертвы. Но в том-то и беда, что нашим недругам представляется возможность привести нас в несчастное и отчаянное положение жертвы; в том-то и беда, что мы должны всем животом нашим обеспечивать своё достоинство, тогда как наши противники обращаются к нам как люди <...>, которые могут свободно располагать своими средствами, которые могут говорить и действовать из полноты сил, без напряжения, без усилий, без всякой мысли о каких-нибудь тяжких и крайних жертвах. Европа знает, что мы способны оказать крайнее сопротивление, когда придут к нам непрощенные гости; но в том-то и беда, что она не считает нас достаточно сильными для того, чтобы предупредить возможность подобной крайности. **Нехорошо то, что мы дозволяем нашим врагам поднимать вопрос о нашей жизни и смерти; нехорошо то, что мы на каждом шагу должны напоминать им о нашей готовности пролить всю нашу кровь и лечь всеми нашими костями за своё политическое существование.** Нельзя назвать хорошо обеспеченным положение того человека, который должен ежеминутно заявлять свою готовность жертвовать жизнью в защиту каждого из своих прав и каждого из своих интересов. Достоинство европейской нации не может считаться обеспеченным, если она не кажется достаточно могущественной для того, чтобы без особенных напряжений и усилий отразить все покушения на её права. Нация могущественна только тогда, когда никому не представляется возможность серьёзно поставить вопрос о её жизни и смерти. Всякому известно, что всё живущее одарено инстинктом самосохранения; <...> будет до упаду сил отбиваться от смертной опасности. Но почётно ли, выгодно ли для народа такое положение, в котором он должен беспрерывно прибегать к последнему аргументу всего живущего — к чувству и силе самосохранения?

Итак, в том нет ещё признаков уважительного европейского могущества, что мы готовы до последней капли кро-

ви и до последнего издыхания биться *pro aris et focis* [за алтари и очаги (*лат.*)]. Того-то, может быть, и хотят наши недруги, чтобы, унизив, оскорбив и оборвав нас, потом толкнуть нас в ту последнюю борьбу, где дело будет идти не о чести или достоинстве нашем, а о самом нашем существовании.

Русский человек не пуглив и не нервен: это его хорошее качество. Он не любит хвастаться ни прежде, ни после дела; эффектных демонстраций он не любит; он не будет обещать того, чего не исполнит, и в деле он всегда будет благонадёжен. Это знают и наши недруги, знают все те, которые видали, с каким спокойствием и хладнокровием умеют солдаты наши стоять и падать рядами под ожесточённым огнем батарей. Бесстрашие и стойкость русского простого человека вошла в пословицу, и Фридрих Великий говаривал, что легче убить русского солдата, чем свалить его с ног. Но есть и другие пословицы, представляющие то же свойство нашего народа в свете менее выгодном. «Гром не грянет — мужик не перекрестится», — говорит пословица. «Русак задним умом крепок», — говорит другая. Не надобно ждать опасности для того, чтобы готовиться встретить её; надо поставить себя так, чтобы дело по возможности и не доходило до опасности. Всякий, кто наблюдал теперь настроение духа во всех слоях нашего народа, знает, каким сильным патриотизмом оживлены у нас все сословия и как дружно сливаются они в этом чувстве. В патриотических заявлениях, которые от всех сословий и со всех концов России раздаются теперь перед престолом, везде говорится (и конечно, не для украшения слога) о полной готовности жертвовать всем для спасения отечества. Но обещания жертвовать всем недостаточны для того, чтобы поправить наши дела и восстановить наше национальное достоинство; они недостаточны именно по своей крайности и чрезмерности. Общество проснулось, подняло голову и громогласно <...> провозгласило, что оно встанет и будет крепко защищаться, когда придут грабить его дом и резать его детей. Достаточно ли это? Может ли это внушить к нам уважение? Может ли это восстано-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

вить нашу честь, особенно когда после этих провозглашений мы снова завернёмся и заснём? Наконец, согласно ли с достоинством великой державы допускать мысль о такой опасности, которая потребует от нас крайних жертв, особенно в деле, где мы совершенно правы и где должны быть несомненно могущественны?

К сожалению, наше общество не привыкло к самодеятельности, и русские люди не вдруг обнаруживают энергию и находчивость в общественном деле. Однако и нам пора уже выходить из нашей обычной апатии; пора и нам, между изъявлениями нашей готовности к крайним жертвам и действительным принесением этих жертв, поставить что-нибудь на полпути, <...> что было бы посильнее слова и ещё было бы далеко от кровавых и тяжких жертв и что, напротив, могло бы избавить наш народ от необходимости приносить их. Мы должны теперь же принимать меры для обороны, теперь, когда ещё опасность не висит на носу. Только энергическим принятием таких предупредительных мер можем мы сохранить нетронутым наш резерв тяжких и кровавых жертв, которые мы готовы принести. Мудрость и сила человеческих дел заключается в предусмотрительности. Это пуще всего должны зарубить себе на уме наши патриоты.

Теперь, когда у всех на языке вопрос о войне, вы беспрерывно будете слышать проекты о том, как будем мы формировать народное ополчение для того, чтобы встретить врагов; сколько, например, батальонов выставит Москва и как в две недели мы обучим их стрельбе и всякой военной хитрости. Мы слышали подобные речи от людей серьёзных и патриотов, и, признаёмся, слышали не без грусти. Вот так-то мы всегда действуем, а потом жалуемся на нашу горькую участь! Успокоившись чувством своего патриотизма и своей готовностью на всякие жертвы в минуту опасности, мы ничего и не делаем для её предотвращения, между тем как истинный и разумный патриотизм состоит в том, чтобы заблаговременно ограждать отечество от опасности и тем всего вернее предотвращать её. Какая радость жертвовать всеми нашими средствами, благосос-

тоянием целых классов общества и вести на бойню дружины наших мужичков, которые, конечно, не задумаются, как курская дружина в Крыму, броситься с топорами на огнедышащие батареи? Чувствуют ли эти патриоты, как расточителен их патриотизм, сколько в нём апатии и как он мало согласуется с истинным гражданским мужеством, с истинной любовью к отечеству, с истинной преданностью к своему народу? Нет, истинный патриотизм постарается сделать ненужными подобные крайние и часто так бесплодные жертвы. Нет, истинный патриотизм состоит в решимости подвергнуть себя заблаговременно некоторым тягостям и лишениям, чтобы поддержать честь и права своего народа и тем избавить его от страшного расточения крови и сил. Из 230 000 английских волонтеров ни одному не пришлось пролить в битве свою кровь, а между тем благодаря им Англия одержала много блистательных побед, которые при других обстоятельствах пришлось бы покупать тяжкими и кровавыми усилиями.

Но, скажут, мы находимся в иных обстоятельствах; что легко в Англии, то у нас трудно и даже невозможно. Начать с того, что мы не так богаты, что мы не можем тратить таких громадных сумм в предупреждение ещё не наступившей опасности (как будто, впрочем, приятнее и выгоднее тратить громадные суммы перед лицом уже наступившей опасности!). Но отнюдь и не требуется делать то, что делала у себя Англия. **У нас есть свои условия, свои обстоятельства, свои потребности, свои удобства; но мы не имеем ни малейшего основания уступать другим народам привилегию на предусмотрительность, благоразумие и просвещённый патриотизм, который держит в резерве крайние жертвы, а не выдвигает их вперёд, и старается действовать так, чтобы на них не рассчитывать.**

Дело известно: в регулярных битвах лучше всего регулярные войска. Каким бы отличным духом ни были исполнены дружины народного ополчения, как бы успешно ни удалось нам дисциплинировать и обучить их военному делу в самое короткое время, как бы ни были хорошо они вооружены — всё-таки для войны гораздо пригоднее на-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

стоящие войска и гораздо лучше обойтись ими одними, без пролития лишней крови. <...> Мы можем выставить достаточное число штыков, чтобы достойно встретить какую угодно грозную армию, которая вторглась бы в наши пределы. Мы слишком привыкли считать себя слабыми, и сами не ценим наших сил по достоинству, <...> как в прежнее время мы страдали другой крайностью, считая себя непомерно сильными и находя излишним заботиться даже об улучшении нашего оружия или о заведении более рациональных порядков в нашем военном устройстве. Итак, армии у нас достаточно; она лучше вооружена, чем когда-либо прежде, и стоит только взглянуть на лица наших солдат, <...> чтоб успокоиться духом и убедиться, как благотворно прошли для них годы нынешнего царствования, несмотря на то, что оно началось после тяжёлой и неудачной войны. Но наши войска разбросаны на громадном пространстве; на них падает не только охранение границ, а также охранение внутренней безопасности. Ни одно государство не может обходиться без вооруженной силы для охранения спокойствия и порядка внутри своих владений. Но если бы наше правительство теперь же имело в своих руках очевидную для всех возможность употребить всю массу своих наличных военных сил на отражение внешних врагов, если бы Европа теперь же видела и осязала эту возможность, то наше европейское положение немедленно изменилось бы к лучшему. Семьсот тысяч штыков, которые могли бы быть употреблены при первой надобности против неприятеля, — <...> сила очень уважительная, сила очень почтенная, которая сразу заставила бы Европу говорить с нами иным языком.

Но как бы мы ни уверяли Европу, что легко можем выставить огромную военную силу против неприятельского нашествия, мы не убедим её. Люди убеждаются только в том, что является перед ними с грубым красноречием факта. Европа очень хорошо знает численность наших военных сил, но она также знает, что такая громадная страна, как Россия, не может оставаться внутри без достаточной вооружённой силы. <...> Европа имеет некоторое

основание думать, что внутри Россия теперь менее безопасна, чем в другое время; она знает, что, кроме великих держав, с которыми нам приходится теперь иметь дело, мы имеем дело ещё с особой державой, у которой нет территории, но которая, как вороньё, является везде, где только есть или где только готовится падаль. Государственные люди в Европе знают, что против России напрягает теперь свои усилия вся организованная европейская революция, — да и как им не знать этого, когда они сами не прочь подсобить ей и направить её, куда им нужно? Она <...>, конечно, воспользуется всяким удобным случаем, чтобы прорваться там или тут на громадном протяжении России <...>. Расчёт поднять наши народонаселения какими-нибудь революционными призывами оказался невозможным, и расчёт этот брошен. Но если оказалось невозможным произвести в России настоящую революцию, то, может быть, ещё не потеряна надежда произвести революцию фальшивую <...>? Для целей революции, равно как и в интересе враждебных нам держав, достаточно произвести у нас всякого рода замешательства и смуты в каком бы то ни было направлении и смысле. На это, несомненно, рассчитывают наши враги; это <...> имеется в виду европейскими правительствами. Вот почему преимущественно считают они нас теперь слабыми, вот почему, несмотря на все <...> признаки новой жизни, открывающейся для России, несмотря на все реформы, которым ещё так недавно рукоплескала вся Европа, она обращается с нами так дурно и так презрительно, как никогда прежде. Если мы хотим выйти из этого тягостного и оскорбительного положения, то мы должны немедленно доказать всю ошибочность расчёта на поживу для иноземной революции в нашем отечестве и на слабость нашего сопротивления для отпора внешних врагов. Всякая комбинация, которая представит в совершенной очевидности способность страны в одно и то же время и встретить внешних врагов, и предупредить всякие замешательства внутри, подавить легко какое бы то ни было покушение на общественную безопасность, — всякая такая комбинация тотчас же даст нам возможность

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

говорить с Европой языком великой державы. **Нечего заявлять, что мы сделаем то-то и то-то в будущем; надобно немедленно сделать что-нибудь в настоящем.** Мы должны теперь же показать, что можем вполне удовлетворительно организовать и нашу внешнюю, и нашу внутреннюю защиту; мы должны теперь же на деле показать, что для охранения внутренней безопасности потребуются лишь незначительное количество военных команд и что вся сила нашей армии может двинуться наступательно и оборонительно против внешних врагов. Словами и обещаниями никого мы в этом не уверим, но мы заставим серьёзно об этом подумать всякого, если покажем на деле хоть какие-нибудь начатки подобной организации в нашем обществе.

Вот почему мы с особым сочувствием встречаем мысль, которая возникла в разных слоях московского городского общества, <...> — мысль об организации местной стражи, которая в случае надобности могла бы заменить или усилить военный гарнизон города. Стража эта должна состоять из местных обывателей и вообще городских собственников, находиться под контролем Думы, но под управлением военного начальника, при некотором небольшом количестве военной команды, которая послужила бы для неё кадрами, между тем как остальные войска были бы в готовности двинуться при первой надобности. Всё практическое значение этой мысли состоит в том, чтобы немедленно же приступить к её исполнению, а не откладывать её до тех пор, пока войска действительно куда-нибудь потребуются. Главная цель этой организации и состоит именно в том, чтобы войска никуда не потребовались, а между тем ежеминутно готовы были бы двинуться без всякого замешательства, затруднений и лишних жертв.

Желаем полного успеха этому предположению, которое свидетельствует, как серьёзно нашим обществом принимается современное положение дел и как мало походит пробудившийся в нём патриотический дух на ту гнилую апатию, которая не хочет шевельнуть пальцем, пока не грянет гром, и которая только в том и полагает патриотизм, чтобы с варварской расточительностью обещать страшные жертвы,

которых можно было бы избежать благовременной энергией и которые действительно придётся приносить благодаря этой апатии, неспособной ничего предусмотреть, ничего сообразить и ничего сделать без тукманки по лбу.

Предполагаемая организация местной городской стражи, предпринятая вовремя, обойдётся без отягощения и без жертвований для жителей. Войска наши ещё, слава Богу, на месте, и нет надобности обременять местную стражу всеми теми обязанностями, которые лежат на войсках. В настоящее время достаточно было бы только самого факта организации <...>. Достаточно было бы этим стражам только <...> собираться в определённые дни и часы для выправки, привыкать к точности и дисциплине, по очереди ходить патрулями и т.п. <...> Эта организация послужила бы поддержкой <...> для возбуждённого народного чувства. Пробудившийся патриотизм есть чистое золото, и грешно было бы не воспользоваться им. Такими минутами <...> надобно дорожить, не давать ему испаряться, а постараться кристаллизировать его в каком-нибудь положительном деле. Возбуждённое чувство не может долгое время оставаться без пищи, без занятия, без дела. Предполагаемая организация может дать ему эту пищу, может дать ему это дело. Она сосредоточит его, она даст ему простую, но выразительную формулу, простой, но прекрасный символ. Пример Москвы заразителен и обязателен. Он отзовется в целой России, и это новое выражение народного патриотизма более, чем что-либо, в настоящее время может улучшить наше положение в Европе, которая увидит перед собой великую страну, не только спокойную, но и вполне обеспеченную от всяких сюрпризов, свободную в распоряжении своими силами и вполне готовую к энергической обороне.

Московские ведомости. 1863. № 103

Свобода и власть

Всякая вещь познаётся из её происхождения. В чём состоит ход образования государства? Не в чём ином, как в собирании и сосредоточении власти. Покоряются незави-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

симые владения, отбирается власть у сильных, и всё, что имеет характер принудительный, подчиняется одному верховному над государством началу; дело не успокаивается, пока не водворяется в стране единовластие, покрывающее собой весь народ. Государство вооружено, но не против свободы, которая только в ограде его и возможна; оно вооружено против других государств как вне, так и внутри его. Власть по природе своей не может терпеть государств в государстве, и её прямое назначение — пресекать и возбранять всё, что имеет такой характер. Собирая и сосредоточивая власть, государство тем самым создаёт свободное общество. Власть над властями, верховная власть над всякой властью — вот начало свободы. Что прямо или косвенно нарушает свободу, то противно и государственному началу, что может принять характер насилия, то должно быть на зоркой примете, и правительство обязано предотвращать или пресекать всякое вынуждение, не на законном праве основанное. При сбивчивости понятий и неспособности правительств возникают роковые и гибельные ошибки: смешивается свобода с тем, что противно ей, — с вынуждением и насилием, и правительство, думая угодить свободе, организует и узаконивает то, что её подавляет, а с тем вместе вносит смуту в государство.

Толкуют о свободе печати, но не все отдают себе ясный отчёт в том, что разуметь под этой свободой. Люди на общественных дорогах свободно ходят и ездят, и чем свободнее, тем лучше, но никому нельзя предоставить свободу бесчинствовать на улице и нападать на встречных. Охраняя общественные пути от физического насилия, не обязательно ли то же правительство охранять общество и от насильий нравственных? Систематический обман не есть ли нравственное насилие? Может ли быть терпимо тенденциозное обращение к дурным страстям, к невежеству, к людской глупости; всё, что клонится к тому, чтобы сбить с толку тёмные массы и овладеть незрелыми умами? Книга, по содержанию и характеру своему назначаемая для круга людей, способных критически отнестись к ней, имеет иное значение, чем листок газеты, который обращается ко

всем без различия, всюду вторгается и всеми читается. Может ли правительство оставлять уличное слово без контроля и отдавать малых, слабых и тёмных людей во власть всякому речистому шарлатану?

Правительство Самодержавного Государя во внутренних делах не может видеть в себе как бы одну из партий и действовать в растлевающем духе какого бы то ни было частного интереса. **Умное и честное правительство, не выпустившее власти из своих рук, не будет потворствовать, под фальшивым видом либерализма, общественному обману, не будет терпеть тенденций, враждебных государству, ничего, что подкапывается под его основы, что злоумышляет против охраняемого им нравственного порядка.** Но что сказать о таком правительстве, которое само стало бы участвовать в обмане и под предлогом либерализма стало бы дружить с врагами своего Государя и своей страны, не только не мешая, но и помогая им деморализовать общество и вербовать себе партии? Что сказать о подобном правительстве, если бы таковое было возможно? Увы, в смуте дел человеческих и невозможное бывает возможным.

С точки зрения понимающей своё призвание власти ничто не может быть так желательно, как самоуправление общественных групп. Но всегда ли под этим словом разумеется то, что им знаменуется? Пусть каждый уплативший свой *долг кесарев* управляется сам собой и без помехи распоряжается своими делами: это относится к сфере свободы, и чем шире эта сфера, тем лучше. Свобода и независимость — это одно и то же, но всё, что имеет характер общественной власти, не должно считаться независимым. Отношения между людьми не могут оставаться вне государственного надзора, коль скоро принимают более или менее обязательный характер; но не может быть грубее ошибки, как под именем самоуправления и автономии подчинять одних произволу других. Если путь восхождения государства есть путь отбирания власти, то появление в нём независимых властей, возникновение государств в государстве есть путь его падения и расстройтва. Не

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

странно ли под видом самоуправления узаконять корпорации и коллегии, самоуправно распоряжающиеся не своими, но чужими делами? Сообразно ли с чем-нибудь отдавать, например, высшее образование страны, а с тем вместе и судьбы её отборного юношества на произвол замкнутых в себе и самопополняющихся коллегий? Говорят о независимости судебной власти. Но судебная власть должна быть независима лишь от произвола соподчиненных ей властей, что, однако, не значит быть в раздоре или несогласии с ними, так как все власти равно подчинены общему верховному началу, от которого ни одна не должна мнить себя независимой.

Подобные аномалии равно противны как государственному началу, так и делу свободы, и мы не выздоровеем, пока не исправим этих печальных ошибок, которых последствия уже также тяжко нами испытаны.

М.О. МЕНЬШИКОВ (1859—1918)

Власть как право

Быть или не быть сильной власти — это то же самое, что быть или не быть России. Вот почему я считаю долгом возвращаться к этому тяжёлому вопросу. Речь идёт о страшной государственной болезни, которую можно сравнить с перерождением сердца. Болезнь эта появилась у нас давно; может быть, она унаследована в самом зачатии государственности. «Наше государственное тело велико и обильно, но нет соразмерного двигателя внутри. Придите быть нашим сердцем», — говорили новгородцы варягам.

Слабость центрального мускула в своих средних стадиях не смертельна, однако в последнее столетие обнаружались слишком зловещие признаки. Кроме страшной отсталости культурной и её следствия — нищеты, мы пережили две позорные войны, и последнюю с врагом, физически втрое слабейшим. Мы переживаем постыдные годы бунта, где народные отбросы в союзе с инородцами терроризиру-

ют власть, срывают парламент, лишают возможности культурного законоустройства, предают трудовую часть нации разгрому и грабежу. Всё это явления, не обещающие ничего доброго. Я не могу скрыть от читателей своей тревоги и не могу не говорить того, что составляет моё глубокое убеждение. Нам нужна не какая-нибудь, а непременно сильная власть. Нам необходимо могучее сердце, иначе мы пропали. Это сердце и теперь, как на заре истории, может быть создано народным организмом. Оно должно быть создано! Если у больных людей есть методы укрепления сердечной мышцы, то, несомненно, есть способы укрепления государственной власти, и нужно поспешить с ними, нельзя с этим откладывать! Россия гибнет от усталости сердца — неужели мы, живое поколение русских людей, настолько ничтожны, чтобы не помочь родине в чёрные её дни? Неужели мы как племя настолько выродились, что не способны восстановить жизненно необходимый орган?

Множество моих противников ослеплены опасным заблуждением, будто гипертрофия власти означает её силу. Кричат, что власть у нас чрезмерно сильна, что для спасения России необходимо обуздать эту силу, связать её общественным противовесом. Под силой власти они понимают произвол, жестокость, бессмысленность, те черты тирании, которые вульгарно приписываются самовластию. <...> Если бы речь шла о машине мёртвой, например о заряженной пушке, то силу её было бы допустимо определять количеством разрушения, на которое она способна. Но власть — машина живая; как всякое живое тело, она существо отчасти духовное. **Сила правительства определяется способностью достигать своих целей, цели же эти, конечно, не только разрушительные, но и творческие.** Даже лютый враг нашей власти не станет отвергать благих её намерений. Но даже пламенный поклонник власти согласится, что благие намерения не выполнялись. Сама власть не отвергает последнего, иначе она не взяла бы на себя почин переворота. Именно в том-то и суть несчастий наших, что государственная власть потеряла способность осуществлять свои намерения. Разве можно такую власть назвать сильной?

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Раз вещь перестала достигать своих целей, она перестала быть сама собой, она превратилась в нечто другое. Достаточно в тысячесильный паровоз попасть горсти песка, чтобы он остановился. Но если он остановился, какой же он паровоз? На всё время бездействия — он тело мертвое, груз, который сам нуждается в двигателе. Сила власти не в намерении, а в исполнении. Наше правительство <...> искренно желало иметь счастливый народ и имеет народ голодный и недовольный. Желало иметь победоносную армию — и довело армию до Мукдена. Желало иметь сильный флот — и довело флот до Цусимы. Желало законности, тишины, порядка — и довело до «позора непрекращающихся убийств». Скажите, можно ли государственную власть назвать сильной, если она достигает как раз обратных целей? П.А. Столыпин <...> пришёл к мысли, что с политическим террором может справиться «только само общество». Но ведь это значит манифестировать бессилие правительства несравненно решительнее, чем мог бы сделать я.

«Сила власти, — заявляет П.А. Столыпин, — должна заключаться в силе права, а не в праве силы». Формула прекрасная, и я, безусловно, согласен с ней. Я никогда, ни одной минуты не ставил физическую силу в политике выше права (понимая под правом справедливость). Желая видеть власть сильной, я добиваюсь торжества вовсе не силы, а именно нравственного права, вложенного в понятие власти. <...> Власть над народом не есть право собственности, не *jus utendi et abutendi* [право употреблять и злоупотреблять (*лат.*)], а обязанность служения в пределах пользы народной. Избранием династии, которой вручено народом верховное управление, утверждено право действия власти на благо нации, «на славу нам, на страх врагам». В самом слове «правительство», в глаголе «править» заключено понятие права, неразрывного в народном разуме со справедливостью. Следовательно, власть по существу своему никак не может пониматься как «право силы», а всегда есть «сила права», кроме тех, конечно, случаев, когда власть впадает в злоупотребления. Но в последних слу-

чаях власть перестаёт быть властью — как музыкант, взявший фальшивую ноту, в этот момент уже не музыкант. Только деятели клеветнической, заведомо лгушей печати, сделавшей преступность слова своим ремеслом, могут утверждать, будто я ратую за злоупотребления власти. На самом деле кроме непрерывной борьбы со злоупотреблениями власти я стою ещё за то, чтобы самое употребление власти было восстановлено, чтобы власть получила, наконец, возможность действовать как право. **Кроме скверного делания есть не менее опасный порок — неделание. Право неосуществлённое перестаёт быть правом.** Но самое священное право, чтобы действовать, должно быть силой — это элементарное требование механики. Отсюда я настаиваю на необходимости власти быть сильной. П.А. Столыпин упрекает меня в том, будто я упустил из виду его утверждение, что достигнуть подавления террора можно «выдержанным, неумолимым, но хладнокровным и законным преследованием преступности при неперменном условии деятельного государственного творчества». Я вовсе не упустил из виду этих строк, но решительно не знаю, как связать их с главным тезисом г-на Столыпина: «С позором непрекращающихся убийств может справиться только само общество, причём заслуга правительства была бы только в умелом использовании общественного сочувствия». Выходит так, если я понимаю г-на Столыпина, — что если есть налицо общественное сочувствие, то допустимо «выдержанное, неумолимое, хладнокровное и законное преследование преступности», а если нет общественно-государственного сочувствия, то правительству нечего использовать, то есть как будто нечего и делать, и остаётся самому обществу справляться с бунтом. Эта точка зрения мне кажется вдвойне неверной. Она ставит государственную борьбу с бунтом в зависимость от торжества так называемой реакции. Если есть реакция в обществе — есть и борьба, нет реакции — нет правительственной борьбы. Я думаю, власть государственная должна быть рассчитана не на столь преходящее условие, как общественное сочувствие или несочувствие. Власть, мне кажется, во всяком случае

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

обязана бороться с преступностью, бороться непрерывно, со всей силой вручённого ей историей права. **Общественное несочувствие к власти не ослабляет, а, скорее, усиливает обязанность власти преследовать преступления.** Ведь если в обществе растёт несочувствие к власти, то, значит, растёт преступность, стало быть, тут-то правительству и приходится напрячь все силы для одоления беды.

«Вся заслуга власти» не только не «в умелом использовании общественного сочувствия», как пишет П.А. Столыпин, а наоборот — в мужественном презрении к самой мысли подделываться под чьи-то вкусы, в честной решимости идти хотя бы против общественного течения, если оно явно вредно. Разве, в самом деле, «общественное сочувствие» всегда синоним справедливости? Вспомните Иерусалим, побивавший пророков. Общество — представитель данного момента, данного поколения, тогда как власть должна чувствовать себя представителем всей нации в её истории. Только на этом основании династия избирается не на данное поколение, а в долготу веков. Она во времени — становая ось народная, поддерживающая общее единство: вот почему её право выше общественной популярности. Обрекать власть хотя бы на «умелое использование общественного сочувствия» — значит делать власть игрушкой толпы. При этом правительством делается толпа, а управляемой вещью — власть. Не думаю, чтобы такая перемена ролей повела бы к чему-нибудь хорошему.

Я отнюдь не отрицаю «государственного творчества», о котором говорит г-н Столыпин. Я только полагаю, что оно, как всякое творчество, должно быть свободным, то есть, прежде всего, свободным от власти общественного мнения. Если художник, артист, писатель поставили бы своей «единственной заслугой умелое использование общественного сочувствия», я прямо сказал бы: это бездарности, это шарлатаны. Они могут обмануть толпу и пробиться в идолы, но это будут именно идолы, а не боги. «Художества свободны» — вот первый закон творчества. Все великие искусства, в том числе искусство власти, толь-

ко тогда велики, когда независимы от мнений общества, когда «умелое использование» случайной моды не входит в их расчёт. Я желал бы своему отечеству гениальной власти, которая никогда не слагала бы на общество своего творчества, которая не нуждалась бы в сочувствии толпы, а которая, подобно правительству Петра Великого, Фридриха II, Наполеона, Бисмарка, в самой себе находила бы импульсы и великие цели. Как показывает история, творческая власть часто шла вместе с обществом, но нередко наперекор ему, причём в последних случаях ошибалась не власть, а общество.

Отрицая пагубную мысль, будто бороться с террором может «только само общество», утверждая, что если бы нынешняя власть нас покинула в этой борьбе, то мы принуждены были бы организовать новую власть и только через неё могли бы бороться с преступностью, я этим вовсе не отрицаю ни самостоятельности общества, ни его свободы. Совершенно напрасно П.А. Столыпин приписывает мне мысль, <...> против которой я давно сражаюсь по мере сил. Общество, бесспорно, имеет свои политические права, но и власть имеет свои. Будем держаться конституции, если хотим иметь её. В Основных законах наших я не вижу, чтобы обществу было предоставлено право борьбы с преступностью и чтобы правительство было освобождено от обязанности этой борьбы. Напротив. В перечислении свобод в Основных законах я не вижу свободы следствия и суда над своими согражданами, свободы наказания их тюрьмой и казнью, свободы ограничения преступных организаций и т.п. «Право силы» в нашей конституции предоставлено всецело «силе права», то есть закономерной власти, общему органу общества. Но те же Основные законы предоставляют обществу широкое поле самостоятельности и очень определённое право вмешательства в государственные дела — через представительство в парламенте. Вот этой самостоятельности и этому вмешательству (в виде контроля над властью) я сочувствую, ибо считаю, что жизнь тела столь же необходима для жизни сердца, как и обратно.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

И от власти, и от общества я не требую чего-нибудь чрезвычайного. Я хотел бы только, чтобы власть была властью, а не подделкой её под «общественное сочувствие» и чтобы общество было обществом. Не будем путать функций. <...> Я страстно желал бы общество видеть самостоятельным, но в каком смысле? А вот в каком. Будем хорошими работниками, каждый по своей части. Хорошая работа есть ежедневная дань государству, ежедневный вклад в общество, непрерывное накопление богатства умственного и материального. Накопление, согласитесь, лучше растраты. Чтобы быть хорошими работниками, будем свободными художниками своего труда, то есть людьми мужественными, независимыми от вкусов толпы, от изменчивого общественного сочувствия. Будем, наконец, достойными гражданами, то есть людьми, в самих себе подавляющими всякую преступность, — и тут наша «самостоятельность» безгранична. Если конституция не даёт права хватать за шиворот своих ближних и подвергать их нашему самосуду, то все конституции допускают собственный самосуд. Например, если вы газетный клеветник, и лжец, и фальшивомонетчик слова, то никакая власть вам не перечит осудить свои скверные занятия и наказать себя, до способа, если угодно, унтер-офицерской вдовы включительно. Никакая власть не перечит вам любить родину и выслать в парламент людей, любящих её, разумных и стойких, лишь бы не преступных. Вплоть до преступлений конституция признаёт самостоятельность общества. Признаю и я её в тех же пределах.

П.А. Столыпин просит, чтобы ему «указали реально, в чём должно проявиться усиление власти, в каких поступках (с точным их перечислением), в каких мероприятиях». Если угодно, я в следующей статье отвечу. Но должен заметить раньше, что «усиление власти» проявляется не в тех или иных поступках и мероприятиях, а в силе всяких поступков, всяких мероприятий. Если поступки власти достигают цели, я считаю власть сильной. Если цели эти умны, я считаю власть умной. Если в итоге устанавливается «на земле мир и в человецех благоволение», я первый присоединяюсь к мнению херувимов и говорю: «Слава Богу!»

Подъём власти

Чтобы усилить власть, не нужно «нарушить закон» — достаточно его «исполнить». <...> И в ветхом нашем, и в новом законе власть утверждена прочно, но осуществление её в руках бюрократии ослаблено до полного иной раз паралича.

По Основным законам, которые для чего же нибудь написаны, Российское государство есть монархия, причём лишь некоторые функции верховной власти разделены между монархом и представительными учреждениями. Между тем не только так называемое общество в лице левых партий, но и сама бюрократия безотчётно клонят к установлению республиканского образа правления или того скрыто-республиканского, в котором *le roi regne, mais ne gouverne pas* [король царствует, но не управляет (*фр.*)]. Вместо того чтобы принять честно конституцию, какой она дана, у нас сами министры <...> первые заголосили об общественном сочувствии, о необходимости общественной поддержки, без которой государственность будто бы не может выполнять даже своих полицейских обязанностей. Но если вспомнить, что так называемое общество у нас (образованный класс) насчитывает едва один процент населения, причём этот один процент разбит на 33 партии, навязывающие правительству каждая свою программу, <...> то можно себе представить, что за прелесть вышла бы у нас республика, опирающаяся на такого рода «общественное сочувствие»!

Теоретически нельзя отрицать, что общественное сочувствие — вещь для всякой власти желательная. Но конституционная монархия именно тем и отличается от республики, что в ней правление не народное, то есть в самом корне независимое от сочувствия общества. В республике общество — хозяин власти, в монархии — общество только помощник. Как стихии сведущей, обществу предоставлены лишь обсуждение закона и контроль над чиновниками. Парламентский контроль создан у нас не для борьбы с властью, а, напротив, для непрерывной помощи ей. Конституционализм подобен медицине. Вмешательство знания не изменяет законов тела, а лишь помогает им действо-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

вать во всей полноте. Сочувствие тканей законам физиологии называется здоровьем, несочувствие — болезнью. Болезни лечат, а не приспособляются к ним.

Я обещал ответить П.А. Столыпину на категорический вопрос: какие поступки и мероприятия требуются для усиления власти? Мне предлагают «перечислить точно» эти поступки. К сожалению, размеры газетной статьи позволяют именно только перечислить их, и то лишь бегло.

Первый и неотложный долг власти, желающей быть сильной, — это организовать на своём собственном посту. Необходимо, чтобы во главе министерства стал человек большого ума и большой воли. <...> Всякое творчество одиночно; <...> попробуйте вы слепить горшок в компании с десятью человеками. Помощники правителю нужны, премьер-министру нужна коллегия министров, как для регента нужен хор. Спрашивается, похоже ли наше теперешнее министерство на спевшийся хор? Увы, нет. В общей работе министров и их исполнительных органов не чувствуется гармонии. <...> В министерстве представлены, по меньшей мере, три партии <...>. Мне кажется, элементарное соображение требует политического единства в составе власти. Нужно, чтобы не только все министры без исключения, но и все директора департаментов, все генерал-губернаторы, губернаторы, директора высших и средних школ и т.п. принадлежали к одной партии. Необходимо, чтобы в составе власти было установлено государственное *credo* и чтобы оно соединяло лишь искренне верующих в него. Различие основных мнений естественно в парламенте, но оно является верхом нелепости в правящем кругу. В парламент сходятся для выработки закона — правительству же приходится осуществлять закон. Разногласия тут является бредовым сознанием, которое во все поступки вносит судорожное бессилие. Мнения граждан, в том числе и министров, конечно, свободны, но в министры и [в] правящий слой вообще должны подбираться люди, свободно пришедшие к единству взглядов. Нельзя держаться сразу всех политических программ. <...> Терпимость — вещь прекрасная во многих случаях — превраща-

ется в глупость там, где по самой натуре требуется нетерпимость, именно в области решений. Вследствие глубокого государственного упадка у нас от священников перестали требовать веры, от офицеров — храбрости; кончилось тем, что от правительства не требуют единства воли. Не нужно, мол, определённой государственной программы, а если человек несколько смекает по своему ведомству, то и достаточно. Мне кажется, из разброда мысли на верхах власти идёт пагубная вялость действий, безотчётная обструкция «сфер» друг другу, отсрочка, затяжка, обход сколько-нибудь решительных мер. Для побеждаемого зла постоянно оставляются лазейки и выходы. Как будто лелея бунт, нарочно стараются кое-что сберечь на семена.

Сорганизовав подбор согласных людей с общей политической верой, правительство не будет нуждаться в указаниях, что ему делать, чтобы подавить бунт. Оно предпримет не какие-нибудь иные, а те же поступки и те же меры, но лишь с решимостью их выполнить, а не только выложить на бумагу. Сильное правительство поймёт, прежде всего, что с бунтом нужно спешить [справиться], как с пожаром или чумой. **Не страшные в своём начале, все серьёзные бедствия в конце уже неодолимы. Поэтому откладывать решения на завтра, если они целесообразны сегодня, — политика самая плохая.** Именно потому, что в составе власти есть люди нетвёрдых мнений, замирение России идёт черепашьям ходом. Именно по этой причине министры колеблются, вступают в спор с лидерами оппозиции, думая заговорить их или переспорить. Именно отсюда возникает странная мысль, что правительство не может подавить террор, а может это сделать «только само общество». Но ведь эта мысль, в сущности, недалеко от объявления забастовки власти. Мотивы её недалеки от тех, которыми объясняет свою забастовку неучащаяся молодежь: «Пока общество неспокойно, мы работать не можем». Мне кажется, первым делом преобразованного кабинета был бы твёрдо поставленный лозунг: «Не ждать лучших времён», а немедленно принимать меры, при этом исчерпывающие вопрос. Громадное большинство решений только тем и плохи, что они нерешительны.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Под решительными мерами я разумею, конечно, не головные казни и вообще не кровавую расправу. <...> Лгать, лгать низко, лгать грязно, не боясь никакого смрада в клевете, — это составляет один из пунктов помешательства инородцев, что напали на Россию. <...> На обвинение в кровожадности я скажу, что никогда не рекомендовал правительству ни новых виселиц, ни еврейских погромов. Но никто из здравомыслящих русских людей не откажет власти, стоящей на страже нации, в праве отвечать на войну войной. <...> Трагическая борьба, что идёт теперь, — борьба за жизнь России, требует не кое-каких, а подчас трагических мер. Если безвинные русские люди в жертву мира приносят собственную кровь и жизнь, то не станет же наша власть церемониться со злодеями потому только, что они злодеи. По понятию апостола Павла, <...> только та власть — власть, которая «не напрасно носит меч». От преступников, ополчившихся на Россию, зависит, чтобы грозный меч государственный был вложен в ножны. Бросьте гнусное смертоубийство, бросьте зверские приёмы борьбы — и правительство не коснётся вашей драгоценной жизни. Но именно этого-то наши бунтари и не могут. С наглостью, доходящей до юмора, они объявляют нашей власти войну — и кричат против военных мер. Ставят смертные приговоры — и кричат против смертных приговоров. Мне кажется, сильная власть должна презреть этот иерихонский шум. С величайшей тщательностью отделяя мирных людей от воюющих, она должна поступать с последними, как с воюющими. При этом всем понятно, что самая жестокая война для обеих сторон — затяжная. Будь правительство несколько решительнее в начале бунта, не сдавайся оно на предательские вопли об амнистии, умей оно стеречь своих пленных — виселиц потребовалось бы неизмеримо меньше, чем теперь.

Если П.А. Столыпин непременно требует инвентарного перечисления мер, необходимых для усиления власти, то я мог бы повторить то, о чём говорил не раз:

а) нужно, чтобы прокуроры и судьи наши были действительно прокурорами и судьями, а не казённой организацией, служащей кое-где для защиты преступников от закона.

Кажется, сам П.А. Столыпин сообщал в печати о председателе суда, торжественно вручившем оправданному бунтарю револьвер, снятый со стола вещественных доказательств;

б) нужно, чтобы тюрьмы были тюрьмами, а не разохшимися бочками, из которых утекает содержимое. <...>;

в) нужно, чтобы ссылки были действительно ссылками, то есть местами изоляции преступного элемента от мирных граждан, а не местами заразы последних, не очагами распространения смуты;

г) нужно, чтобы надзор над революционной печатью был не мнимым, а действительным надзором, причём преследование преступности должно быть пресечением её, а не рекламой для дальнейшего распространения;

д) нужно, чтобы инспекция и полиция всех видов были приведены в соответствие не с тем состоянием, в каком Россия находилась столетия назад, а с современным её состоянием. Если <...> на громадные скопления народа, в десятки тысяч, приходится пара городских, вооружённых археологическими пистолетами, из которых они не умеют стрелять, то такая опереточная обстановка, естественно, не погашает бунта, а плодит его;

е) нужно, чтобы во главе казённо-революционных заведений, каковы средние и высшие школы, были поставлены люди, не сочувствующие революции. Учительский персонал должен быть тщательно проверен <...>;

ж) так как войну с правительством ведут инородцы при деятельной поддержке свихнувшейся части интеллигенции и народа, то нужно поставить и инородцев, и служебную интеллигенцию, и воюющий народ в условия, при которых война была бы для них затруднительной. Как это сделать — вопрос политического искусства, именно того творчества, о котором говорит П.А. Столыпин. <...>.

Подавляя бунт рукой железной, правительство одновременно обязано вырывать корни бунта, а эти корни — в самом правительстве. Они — в системе старого хозяйства, где ленивые и праздные люди кормились на счёт трудовых классов. Никакие тюрьмы, никакие виселицы не спасут государство от народного мятежа, если не будет восстановлен

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

разум в самых основах власти, если поруганная справедливость не будет поставлена как первый принцип. И народу, и обществу не только должны быть обещаны политические права, но должны быть и даны. Парламент должен не только созываться, но правильная работа его должна быть обеспечена, притом одинаково — от вмешательства бюрократии и от вторжения буйных элементов как слева, так и справа. Следует признать, что только тот парламент есть парламент, который усиливает способность власти достигать её целей. Таким парламентом явилось бы представительство от трудовых корпораций. Только такое деловое представительство могло бы внести строгий контроль над администрацией и национальный разум в законодательство... Чтобы обеспечить работу делового представительства, следует оберечь его от проникновения элементов, портящих его <...>. Сверх всего перечисленного и многого другого, власть, желающая быть сильной, обязана всемерно поднять военные силы страны, собрать «дружину храбрых», без которых государственная сила — звук пустой. Вот беглый перечень практических мер, которые могли бы существенно поднять значение власти. Вместе с силой к ней вернулось бы достоинство, вернулось бы мужество и тот драгоценный секрет порядка, что сейчас как будто затерян, — доверие народа к власти.

П.А. СТОЛЫПИН (1862—1911)

Первое выступление во II Государственной думе в качестве председателя Совета министров
6 марта 1907 года

<...> В основу всех тех правительственных законопроектов, которые министерство вносит ныне в Думу, положена <...> одна общая руководящая мысль, которую правительство будет проводить и во всей своей последующей деятельности. Мысль эта — создать те материальные нормы, в которые должны воплотиться новые право-

отношения, вытекающие из всех реформ последнего времени. Преобразованное по воле Монарха отечество наше должно превратиться в государство правовое, так как, пока писанный закон не определит обязанностей и не ограничит прав отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц, то есть не будут прочно установлены.

Правовые нормы должны покоиться на точном, ясно выраженном законе ещё и потому, что иначе жизнь будет постоянно порождать столкновения между новыми основаниями общественности и государственности, получившими одобрение Монарха, и старыми установлениями и законами, находящимися с ними в противоречии или не обнимающими новых требований законодателя, а также произвольным пониманием новых начал со стороны частных и должностных лиц.

Вот почему правительство главнейшею своею обязанностью почло представить на уважение Государственной думы и Государственного совета целый ряд законопроектов, устанавливающих твёрдые устои новоскладающейся государственной жизни России. <...>

Не останавливаясь на законах, ведущих к равноправию отдельных слоёв населения и свободе вероисповедания, срочность осуществления которых не нуждается в разъяснении, считаю долгом остановиться на проведённых, в порядке чрезвычайном, законах об устройстве быта крестьян.

Настоятельность принятия в этом направлении самых энергичных мер настолько очевидна, что не могла подвергаться сомнению. Невозможность отсрочки в выполнении неоднократно выраженной воли Царя и настойчиво повторявшихся просьб крестьян, изнемогающих от земельной неурядицы, ставили перед правительством обязательство не медлить с мерами, могущими предупредить совершенное расстройство самой многочисленной части населения России. К тому же на правительстве, решившем не допускать даже попыток крестьянских насилий и бес-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

порядков, лежало нравственное обязательство указать крестьянам законный выход в их нужде.

В этих видах изданы были законы о предоставлении крестьянам, земель государственных, а Государь повелел передать на тот же предмет земли удельные и кабинетские на началах, обеспечивающих крестьянское благосостояние. Для облегчения же свободного приобретения земель частных и улучшения наделов изменён устав Крестьянского банка <...>, причём приняты все меры в смысле сохранения за крестьянами их земель. Наконец, в целях достижения возможности выхода крестьян из общины, издан закон, облегчающий переход к подворному и хуторскому владению, причём устранено всякое насилие в этом деле и отменяется лишь насильственное прикрепление крестьянина к общине, уничтожается закрепощение личности, несовместимое с понятием о свободе человека и человеческого труда. <...>

Ранее всего правительство почло своим долгом выработать законодательные нормы для тех основ права, возвещённых манифестом 17 октября, которые ещё законом не установлены.

Тогда как свобода слова, собраний, печати, союзов определены временными правилами, свобода совести, неприкосновенность личности, жилищ, тайна корреспонденции остались не нормированы нашим законодательством. Вследствие сего, в целях выполнения задачи проведения в жизнь начал веротерпимости, правительство вменило себе прежде всего в обязанность подвергнуть пересмотру все действующее отечественное законодательство и выяснить те изменения, которым оно должно подлежать в целях согласования с указами 17 апреля и 17 октября 1905 года*.

Но ранее этого правительство должно было остановиться на своих отношениях к Православной Церкви и твёрдо установить, что многовековая связь русского госу-

* Указ от 17 апреля 1905 г. об укреплении веротерпимости и манифест о созыве Государственной думы. — *Сост.*

дарства с христианской церковью обязывает его положить в основу всех законов о свободе совести начала государства христианского, в котором Православная Церковь, как господствующая, пользуется данью особого уважения и особою со стороны государства охраною. Оберегая права и преимущества Православной Церкви, власть тем самым призвана оберегать полную свободу её внутреннего управления и устройства и идти навстречу всем её начинаниям, находящимся в соответствии с общими законами государства. Государство же и в пределах новых положений не может отойти от заветов истории, напоминающей нам, что во все времена и во всех делах своих русский народ одушевляется именем Православия, с которым неразрывно связаны слава и могущество родной земли. Вместе с тем права и преимущества Православной Церкви не могут и не должны нарушать прав других исповеданий и вероучений. Поэтому, с целью проведения в жизнь Высочайше дарованных узаконений об укреплении начал веротерпимости и свободы совести, министерство вносит в Государственную думу и Совет ряд законопроектов, определяющих переход из одного вероисповедания в другое; беспрепятственное богомоление, сооружение молитвенных зданий, образование религиозных общин, отмену связанных исключительно с исповеданием ограничений и т.п.

Переходя к неприкосновенности личности, Государственная дума найдёт в проекте министерства обычное для всех правовых государств обеспечение её, причём личное задержание, обыск, вскрытие корреспонденции обуславливаются постановлением соответственной инстанции, на которую возлагается и проверка в течение суток оснований законности ареста, последовавшего по распоряжению полиции.

Отклонение от этих начал признано допустимым лишь при введении, во время войны или народных волнений, исключительного положения, которое предполагается одно вместо трёх, ныне существующих, причём административную высылку в определённые места предположено совершенно упразднить.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Кроме этих законопроектов общего характера, устанавливающих обязанности и права подданных Российской державы, правительство выработало ряд законопроектов, перестраивающих местную жизнь на новых началах. Так как местная жизнь охватывается областью самоуправления земского и городского, областью управления (администрация) и полицейскими мероприятиями, то и проекты министерства касаются именно этих отраслей нашего законодательства. Как в губернии, так и в уезде деятельность административная, полицейская и земская течёт по трём параллельным руслам, но чем ближе к населению, тем жизнь упрощается и тем необходимее остановиться на ячейке, в которой население могло бы найти удовлетворение своих простейших нужд. Таким установлением по проекту министерства должна явиться бессословная, самоуправляющаяся волость в качестве мелкой земской единицы. Полицейские её обязанности должны ограничиться простейшими обязанностями местной общественной полиции, а административные предполагается свести к делам, касающимся воинской повинности, ведению посемейных списков, некоторым податным действиям и т.п. В ведение волости должны входить все земли, имущества и лица, находящиеся в её пределах. Волость будет самой мелкой административно-общественной единицей, с которой будут иметь дело частные лица, но при этом лица, владеющие землёю совместно, миром, то есть главным образом владельцы надельной земли, образуют из себя, исключительно для решения своих земельных дел, особые земельные общества, сохраняющие некоторые преимущества, а именно неотчуждаемость надельных земель и применение к наследованию ими местных обычаев. Таким образом, земельным обществам не будет присвоено никаких административных обязанностей, создаются они для совместного ведения бывшими надельными землями, причём предполагаются меры против чрезмерного сосредоточения этих земель в одних руках и против чрезмерного дробления их, а равно к упрочению совершения на них актов.

Для удовлетворения же простейших потребностей села, вытекающих из совместного проживания, предполагено ввести в сёлах крупных, а также таких, в которых проживают посторонние крестьянам лица, особые поселковые управления, с участием помянутых посторонних лиц и в управлении, и в обложении. <...>

В области самоуправления министерство коснулось трёх важнейших, по его мнению, общих вопросов: вопроса земского и городского представительства, вопроса об его компетенции и вопроса об отношении к самоуправлению со стороны администрации. Одновременно министерство приступило к существенному и необходимому труду пересоставления всех уставов, точно устанавливающих обязанности земства и администрации. В настоящее время министерство вносит в Государственную думу устав общественного призрения, устав о гужевых земских дорогах и временный закон о передаче продовольственного дела в ведение земских учреждений. Составляются уставы врачебный и строительный.

<...> вносимый в Думу проект о земском представительстве строит его на принципе налогового ценза, расширяя этим путём круг лиц, принимающих участие в земской жизни, но обеспечивая одновременно участие в ней культурного класса землевладельцев, компетенция же органов самоуправления увеличивается передачею им целого ряда новых обязанностей, а отношение к ним администрации заключается в надзоре за законностью их действий.

Самоуправление на тех же общих основах с некоторыми, вызванными местными особенностями, изменениями предполагается ввести в Прибалтийском, Западном крае и Царстве Польском, за выделением в особую административную единицу местностей, в которых сосредоточивается исстари чисто русское население, имеющее свои специальные интересы. <...>

В губернском и уездном управлении получает осуществление принцип возможного объединения всех гражданских властей, всех отдельных многочисленных ныне присутствий и главным образом осуществление начала ад-

министративного суда. Таким путём все жалобы на постановления административных и выборных должностных лиц и учреждений будут, согласно проекту, рассматриваться смешанной административно-судной коллегией с соблюдением форм состязательного процесса. Во главе уезда предполагается поставить начальника уездного управления, который и объединял бы гражданские власти уезда. В пределах уезда в качестве агентов администрации предположены участковые комиссары. Земские начальники упраздняются. Полицию предполагается преобразовать в смысле объединения полиции жандармской и общей, причём с жандармских чинов будут сняты обязанности по производству политических дознаний, которые будут переданы власти следственной. Новым в области полицейской будет предлагаемый вниманию Государственной думы устав полицейский, который должен заменить устарелый устав о предупреждении и пресечении преступлений и точно установить сферу действий полицейской власти.

В строгой связи с преобразованием местного управления стоит и преобразование суда. С отменой учреждения земских начальников и волостных судов необходимо создать местный суд, доступный, дешёвый, скорый и близкий к населению. Министерство юстиции представляет <...> в Государственную думу проект преобразования местного суда с сосредоточением судебной власти по делам местной юстиции в руках избираемых населением из своей среды мировых судей, к компетенции которых будет отнесена значительная часть дел, подчинённых ныне юрисдикции общих судебных установлений, связь с которыми будет поддерживаться образованием для них апелляционной инстанции в виде уездных отделений окружного суда с кассационной инстанцией в лице Правительствующего сената.

Далее, в целях обеспечения в государстве законности и укрепления в населении сознания святости и ненарушимости закона, Министерство юстиции вносит в Государственную думу проект о гражданской и уголовной ответ-

ственности служащих, действительно обеспечивающей применение начала уголовной и имущественной ответственности служащих за их проступки и охраняющей вместе с тем спокойное и уверенное отправление ими службы и ограждающей их от обвинений, явно неосновательных. <...> не могу не обратить внимания Государственной думы на законопроекты в области уголовного права и процесса, устанавливающие целый ряд мер, которые, за сохранением неизблемыми основных начал судебных уставов Александра Второго, оправдываются указаниями практики или же отвечают некоторым получившим за последнее время преобладание в науке и уже принятым законодательствами многих государств Европы воззрениям. Так, предполагается допущение защиты на предварительном следствии, введение состязательного начала в обряде предания суду, установление институтов условного осуждения и условного досрочного освобождения и т.п. Наряду с этим предположено введение в полном объёме нового уголовного уложения, по согласовании его со всеми изданными за последнее время законоположениями.

Вносятся также целый ряд законопроектов в области гражданского законодательства, проект охранительного судопроизводства и <...> проекты вотчинного устава и дополнительных к нему узаконений, направленных к установлению у нас ипотечной системы, в целях внесения в область земельных правоотношений надлежащей гласности, определённости и твёрдости.

Область эта находится в тесной связи с делом землеустройства, составляющего предмет ведения другого ведомства — главного управления землеустройства и земледелия. Названное ведомство стоит перед задачей громадного значения. Оно призвано, главным образом, содействовать экономическому возрождению крестьянства, которое ко времени окончательного освобождения от обособленного положения в государстве выступает на арену общей борьбы за существование экономически слабым, неспособным путём занятия своим исконным земледельческим промыслом обеспечить себе безбедное существование. <...>

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Среди мер первой категории главное управление придаёт особое значение обеспечению земельного быта тех обществ, которые, получив дарственные наделы, не имели возможности до настоящего времени обеспечить себя землёю путём покупки. Соответствующий законопроект будет внесен в Государственную думу.

Способ устранения острого малоземелья главное управление видит в льготной, соответствующей ценности покупаемого и платёжным способностям приобретателя, продаже земель земледельцам. Для этой цели в распоряжении правительства имеется, согласно указам 12 и 27 августа 1906 г., 9 мил. десятин* и купленные с 3 ноября 1905 г. Крестьянским банком свыше 2 мил. десятин**. Но для успеха дела увеличение крестьянского землевладения надлежит связать с улучшением форм землепользования, для чего необходимы меры поощрения и главным образом кредит. Главное управление намерено идти в этом деле путём широкого развития и организации кредита земельного, мелиоративного и переселенческого.

<...> Спешное осуществление аграрных мероприятий находится в зависимости от деятельности местных землеустроительных комиссий, необходимость переустройства которых сознаётся главным управлением, составившим проект, имеющий целью: 1) теснее связать эти комиссии с местным населением путём усиления в них выборного начала и 2) придать им рабочие силы для проектирования и осуществления землеустроительных планов.

Хотя преобладающим по численности населением у нас является население сельское, но правительство считает настоятельно необходимым принять в законодательном порядке ряд мер и по отношению к рабочим.

В основу предполагаемой реформы положены признание безусловной необходимости положительного и широкого содействия государственной власти благосос-

* Указами от 12, 27 августа и 19 сентября 1906 г. на нужды крестьян были обращены свободные казённые, удельные и кабинетные земли.

** Крестьянский поземельный банк скупал землю у помещиков и продавал её отдельным крестьянам.

тоянию рабочих и стремление к исправлению недостатков в их положении.

Рассматривая рабочее движение как естественное стремление рабочих к улучшению своего положения, реформа должна предоставить этому движению естественный выход, с устранением всяких мер, направленных к искусственному его поощрению, а также к стеснению этого движения, поскольку оно не угрожает общественному порядку и общественной безопасности.

Поэтому реформа рабочего законодательства должна быть проведена в двоякого рода направлении: в сторону оказания рабочим положительной помощи и в направлении ограничения административного вмешательства в отношении промышленников и рабочих, при предоставлении как тем, так и другим необходимой свободы действий через посредство профессиональных организаций и путём ненаказуемости экономических стачек.

Главнейшей задачей в области оказания рабочим положительной помощи является государственное попечение о неспособных к труду рабочих, осуществляемое путём страхования их, в случаях болезни, увечий, инвалидности и старости. В связи с этим намечена организация врачебной помощи рабочим.

В целях охранения жизни и здоровья подрастающего рабочего поколения, установленные ныне нормы труда малолетних рабочих и подростков должны быть пересмотрены с воспрещением им, как и женщинам, производства ночных и подземных работ. В связи с этим установленную законом 2 июня 1897 года продолжительность труда взрослых рабочих предполагается понизить. <...>

Сознавая необходимость приложения величайших усилий для поднятия экономического благосостояния населения, правительство ясно отдает себе отчет, что усилия эти будут бесплодны, пока просвещение народных масс не будет поставлено на должную высоту и не будут устранены те явления, которыми постоянно нарушается правильное течение школьной жизни в последние годы, явления, свидетельствующие о том, что без коренной реформы

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

наши учебные заведения могут дойти до состояния полного разложения. Школьная реформа на всех ступенях образования строится Министерством народного просвещения на началах непрерывной связи низшей, средней и высшей школы, но с законченным кругом знаний на каждой из школьных ступеней. Особые заботы <...> будут направлены к подготовке преподавателей для всех ступеней школы и к улучшению их материального положения.

Затем: 1) ближайшей своей задачей Министерство народного просвещения ставит установление совместными усилиями правительства и общества общедоступности, а впоследствии и обязательности, начального образования для всего населения Империи.

2) В области средней школы министерство будет озабочено созданием разнообразных типов учебных заведений, с широким развитием профессиональных знаний, но с обязательным для всех типов минимумом общего образования, требуемого государством.

3) В реформе высшей школы министерство ставит себе задачей укрепление тех начал, которые положены в основу предположенных преобразований Высочайшим указом 27 августа 1905 года, и согласование их с интересами общегосударственными, на основании опыта применения действующих временных правил.

Проведение в жизнь всех вышеизложенных законодательных предположений находится в зависимости от возможности их осуществления в финансовом отношении. С этой стороны Государственной думе и Государственному совету предстоит задача первостепенной важности: на рассмотрение их вносится государственная роспись, затрагивающая самые жизненные потребности государства. Правительство приглашает Государственную думу приступить к немедленному её рассмотрению, так как вопросы бюджета настоятельно срочны и требуют величайшего внимания, тем более что положение России вызывает необходимость строгой бережливости, тогда как новые реформы требуют новых затрат. Настоящая минута тем более трудна, что она совпала с весьма крупным сокращени-

ем доходного бюджета, образовавшимся вследствие отмены манифестом 3 ноября 1905 года выкупных платежей крестьян* и увеличения расходов на платежи процентов и погашения по займам, заключённым для покрытия военных расходов. Осложняется положение ещё и тем, что искусственное задерживание нарастания государственных потребностей на долгое время невозможно. В развитии государства, как отдельного лица, бывают критические периоды усиленного роста. Происшедшее в октябре 1905 года коренное изменение в нашем государственном устройстве открыло собою, как указано выше, эту эпоху и выдвинуло на очередь целый ряд потребностей в самых различных отраслях государственной жизни. Наконец, неудачная для нас война вызывает необходимость крупных затрат на возрождение нашей армии и флота. Как бы ни было велико наше стремление к миру, как бы громадна ни была потребность страны в успокоении, но если мы хотим сохранить наше военное могущество, ограждая вместе с тем самое достоинство нашей родины, и не согласны на утрату принадлежащего нам по праву места среди великих держав, то нам не придётся отступить перед необходимостью затрат, к которым нас обязывает все великое прошлое России. Конечно, чрезвычайному характеру этих потребностей может соответствовать только обращение к чрезвычайным ресурсам.

Эти соображения должны быть предпосланы рассмотрению Государственной думой внесенных в неё Министерством финансов законодательных предположений об установлении новых налогов и преобразовании некоторых существующих видов обложения. В этих предположениях руководящею мыслью <...> было достижение возможной равномерности обложения и возможное освобождение широких масс неимущего населения от дополнительного налогового бремени. Некоторое исправление в недостаточную уравнительность нашей податной системы внесёт

* Выкупные платежи были определены «Положениями» 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права. Манифестом от 3 ноября 1905 г. взимание выкупных платежей с 1 января 1907 г. прекращалось.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

<...> подходящий налог. Проекты же обложения некоторых предметов, доступных лицам достаточным, вызваны стремлением министерства избежать отягощения малоимущих слоев населения. <...>

Все эти преобразования не являются осуществлением полной и стройной реформы податного строя. При теперешних обстоятельствах правительство надеется лишь достигнуть ими, при наименьших жертвах со стороны плательщиков, возможности не только проведения настоятельно необходимых государственных реформ, но и оживления деятельности органов общественного самоуправления путём передачи им некоторой части нынешних государственных доходов, так как, расширяя круг действия земств и городов, правительство обязано дать им возможность выполнить возложенные на них обязанности.

Изложив перед Государственной думой программу законодательных предположений правительства, я бы не выполнил своей задачи, если бы не выразил уверенности, что лишь обдуманное и твёрдое проведение в жизнь высшими законодательными учреждениями новых начал государственного строя поведет к успокоению и возрождению великой нашей родины. Правительство готово в этом направлении приложить величайшие усилия: его труд, добрая воля, накопленный опыт предоставляются в распоряжение Государственной думы, которая встретит в качестве сотрудника правительство, сознающее свой долг хранить исторические заветы России и восстановить в ней порядок и спокойствие, то есть правительство стойкое и чисто русское, каковым должно быть и будет правительство Его Величества.

Речь о временных законах, изданных в период между первой и второй думами, произнесённая в Государственной думе 13 марта 1907 года

<...> Мы слышали тут обвинения правительству, <...> что у него руки в крови, мы слышали, что для России стыд и позор, что в нашем государстве были осуществлены та-

кие меры, как военно-полевые суды. Я понимаю, что <...> вся Дума ждёт <...> ответа прямого и ясного на вопрос: как правительство относится к продолжению действия в стране закона о военно-полевых судах?

Я, господа, от ответа не уклоняюсь. Я не буду отвечать только на нападки за превышение власти, за неправильности, допущенные при применении этого закона. Нарекания эти голословны, необоснованны, и на них отвечать преждевременно. Я буду говорить по другому, более важному вопросу. Я буду говорить о нападках на самую природу этого закона, на то, что это позор, злодеяние и преступление, вносящее разврат в основы самого государства.

<...> Трудно возражать тонкому юристу, талантливо отстаивающему доктрину. Но, господа, государство должно мыслить иначе, оно должно становиться на другую точку зрения, и в этом отношении моё убеждение неизменно. Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада. Это было, это есть, это будет всегда и неизменно. Этот принцип в природе человека, он в природе самого государства. Когда дом горит, господа вы вламываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна. Когда человек болен, его организм лечат, отравляя его ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Этот порядок признаётся всеми государствами. Нет законодательства, которое не давало бы права правительству приостанавливать течение закона, когда государственный организм потрясён до корней, которое не давало бы ему полномочия приостанавливать все нормы права. Это, господа, состояние необходимой обороны; оно доводило государство не только до усиленных репрессий, не только до применения различных репрессий к различным лицам и к различным категориям людей, — оно доводило государство до подчинения всех одной воле, произволу одного человека, оно доводило до диктатуры, которая иногда выводила государство из опасности и приводила до спасения. **Бывают, господа, роковые**

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества. Но с этой кафедры был сделан, господа, призыв к моей политической честности, к моей прямоте. Я должен открыто ответить, что такого рода временные меры не могут приобретать постоянного характера; когда они становятся длительными, то, во-первых, они теряют свою силу, а затем они могут отразиться на самом народе, нравы которого должны воспитываться законом. Временная мера — мера суровая, она должна сломить преступную волну, должна сломить уродливые явления и отойти в вечность. Поэтому правительство должно в настоящее время ясно дать себе отчёт о положении страны, ясно дать ответ, что оно обязано делать.

Вот возникают два вопроса. Может ли правительство, в силе ли оно оградить жизнь и собственность русского гражданина обычными способами, применением обыкновенных законов? Но может быть и другой вопрос. Надо себя спросить, не является ли такой исключительный закон преградой для естественного течения народной жизни, для направления её в естественное, спокойное русло?

На первый вопрос, господа, ответ не труден, он ясен из бывших тут прений. К сожалению, кровавый бред, господа, не пошёл ещё на убыль и едва ли обыкновенным способом подавить его по плечу нашим обыкновенным установлениям. Второй вопрос сложнее: что будет, если противоправительственному течению дать естественный ход, если не противопоставить ему силу? Мы слушали тут заявление группы социалистов-революционеров. Я думаю, что их учение не сходно с учением социалистических и революционных партий, что тут играет роль созвучие названий и что здесь присутствующие не разделяют программы этих партий. На заданный вопрос ответ надо черпать из документов. Я беру документ официальный — избирательную программу российской социальной рабочей партии. Я читаю в ней: «Только под натиском широких народных масс, напором народного восстания поко-

леблется армия, на которую опирается правительство, падут твердыни самодержавного деспотизма, только борьбою завоюет народ государственную власть, завоюет землю и волю». В окончательном тезисе я прочитываю: «Чтобы основа государства была установлена свободно избранными представителями всего народа; чтобы для этой цели было созвано учредительное собрание всеобщим, прямым, равным и тайным, без различия веры, пола и национальности голосованием; чтобы все власти и должностные лица избирались народом и смещались им, — в стране не может быть, иной власти, кроме поставленной народом и ответственной перед ним и его представителями; чтобы Россия стала демократической республикой». Передо мной другой документ: резолюция съезда, бывшего в Таммерфорсе перед началом действия Государственной думы. В резолюции я читаю: «Съезд решительно высказывается против тактики, определяющей задачи Думы как органическую работу в сотрудничестве с правительством при самоограничении рамками Думы для многих основных законов, не санкционированных народной волей». Затем резолюция окончательная: «Съезд находит необходимым, в виде временной меры, все центральные и местные террористические акты, направленные против агентов власти, имеющих руководящее, административно-политическое значение, поставить под непосредственный контроль и руководство центрального комитета. Вместе с тем, съезд находит, что партия должна возможно более широко использовать для этого расширения и углубления своего влияния в стране все новые средства и поводы агитации и безостановочно развивать в стране, в целях поддержки, основные требования широкого народного, движения, имеющего перейти во всеобщее восстание».

Господа, я не буду утруждать вашего внимания чтением других, не менее официальных документов. Я задаю себе лишь вопрос о том, вправе ли правительство при таком положении дела, сделать демонстративный шаг, не имеющий за собой реальной цены, шаг в сторону фор-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

мального нарушения закона? Вправе ли правительство перед лицом своих верных слуг, ежеминутно подвергающихся смертельной опасности, сделать главную уступку революции?

Вдумавшись в этот вопрос, всесторонне его взвешивая, правительство пришло к заключению, что страна ждёт от него не оказательства слабости, а оказательства веры. Мы хотим верить, что от вас, господа, мы услышим слово умиротворения, что вы прекратите кровавое безумие. Мы верим, что вы скажете то слово, которое заставит нас всех стать не на разрушение исторического здания России, а на пересоздание, переустройство его и украшение.

В ожидании этого слова правительство примет меры для того, чтобы; ограничить суровый закон только самыми исключительными случаями самых дерзновенных преступлений, с тем, чтобы, когда Дума толкнёт Россию на спокойную работу, закон этот пал сам собой путём не внесения его на утверждение законодательного собрания.

Господа, в ваших руках успокоение России, которая, конечно, сумеет отличить кровь, о которой так много здесь говорилось, кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой — исцелить трудно больного.

Речь об устройстве быта крестьян и
о праве собственности, произнесённая
в Государственной думе 10 мая 1907 года

Господа члены Государственной думы! <...> Сегодня я только узнал, что в аграрной комиссии, в которую не приглашаются члены правительства и не выслушиваются даже те данные и материалы, которыми правительство располагает, принимаются принципиальные решения. <...> Я исхожу из того положения, что все лица, заинтересованные в этом деле, самым искренним образом жела-

ют его разрешения. Я думаю, что крестьяне не могут не желать разрешения того вопроса, который для них является самым близким и самым больным. Я думаю, что и землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных вместо голодающих и погромщиков. Я думаю, что и все русские люди, жаждущие успокоения своей страны, желают скорейшего разрешения того вопроса, который несомненно, хотя бы отчасти, питает смуту. Я поэтому обойду все те оскорбления и обвинения, которые раздавались здесь против правительства. Я не буду останавливаться и на тех нападках, которые имели характер агитационного напора на власть. Я не буду останавливаться и на провозглашавшихся здесь началах классовой мести со стороны бывших крепостных крестьян к дворянам, а постараюсь встать на чисто государственную точку зрения, постараюсь отнестись совершенно беспристрастно, даже более того, бесстрастно к данному вопросу. Постараюсь вникнуть в существо высказывавшихся мнений, памятуя, что мнения, не согласные со взглядами правительства, не могут почитаться последним за крамолу. Правительству тем более, мне кажется, подобает высказаться в общих чертах, что из бывших здесь прений, из бывшего предварительного обсуждения вопроса ясно, как мало шансов сблизить различные точки зрения, как мало шансов дать аграрной комиссии определённые задания, очерченный строгими рамками наказ.

Переходя к предложениям разных партий, я прежде всего должен остановиться на предложении партии левых <...>. Я не буду оспаривать тех весьма спорных по мне цифр, которые здесь представлялись ими. Я охотно соглашусь и с нарисованной ими картиной оскудения земледельческой России. Встревоженное этим правительство уже начало принимать ряд мер для поднятия земледельческого класса. Я должен указать только на то, что тот способ, который здесь предложен, <...> поведёт к полному перевороту во всех существующих гражданских правоотношениях; он ведёт к тому, что подчиняет интересам одно-

го, хотя и многочисленного, класса интересы всех других слоёв населения. Он ведёт, господа, к социальной революции. Это сознаётся, мне кажется, и теми ораторами, которые тут говорили. Один из них приглашал государственную власть возвыситься в этом случае над правом и заявлял, что вся задача настоящего момента заключается именно в том, чтобы разрушить государственность с её помещичьей бюрократической основой и на развалинах <...> создать государственность современную на новых культурных началах. Согласно этому учению, государственная необходимость должна возвыситься над правом не для того, чтобы вернуть государственность на путь права, а для того, чтобы уничтожить в самом корне именно существующую государственность, существующий, в настоящее время государственный строй. Словом, признание национализации земли, при условии вознаграждения за отчуждаемую землю или без него, поведёт к такому социальному перевороту, к такому перемещению всех ценностей, к такому изменению всех социальных, правовых и гражданских отношений, какого ещё не видела история. Но это, конечно, не довод против предложения левых партий, если это предложение будет признано спасительным. Предположим же на время, что государство признает это за благо, что оно перешагнёт через разорение целого, как бы там ни говорили, многочисленного, образованного класса землевладельцев, что оно примирится с разрушением редких культурных очагов на местах, — что же из этого выйдет? Что, был бы, по крайней мере, этим способом разрешён, хотя бы с материальной стороны, земельный вопрос? Дал бы он или нет возможность устроить крестьян у себя на местах?

На это ответ могут дать цифры, а цифры, господа, таковы: если бы не только частновладельческую, но даже всю землю без малейшего исключения, даже землю, находящуюся в настоящее время под городами, отдать в распоряжение крестьян, владеющих ныне надельною землёю, то в то время, как в Вологодской губернии пришлось бы всего вместе с имеющимися ныне по 147 десятин на

двор, в Олонецкой по 185 дес., в Архангельской даже по 1309 дес., в 14 губерниях недостало бы и по 15, а в Полтавской пришлось бы лишь по 9, в Подольской всего по 8 десятин. Это объясняется крайне неравномерным распределением по губерниям не только казённых и удельных земель, но и частновладельческих. <...> Из этого следует, что поголовное разделение всех земель едва ли может удовлетворить земельную нужду на местах; придётся прибегнуть к тому же средству, которое предлагает правительство, то есть к переселению; придётся отказаться от мысли наделить землёй весь трудовой народ и не выделять из него известной части населения в другие области труда. Это подтверждается и другими цифрами, подтверждается из цифр прироста населения за 10-летний период в 50 губерниях европейской России. Россия, господа, не вымирает; прирост её населения превосходит прирост всех остальных государств всего мира, достигая на 1000 человек 15 в год. Таким образом, это даст на одну европейскую Россию всего на 50 губерний 1 625 000 душ естественного прироста в год или, считая семью в 5 человек, 341 000 семей. Так что для удовлетворения землей одного только прирастающего населения, считая по 10 дес. на один двор, потребно было бы ежегодно 3 500 000 дес. Из этого ясно, господа, что путём отчуждения, разделения частновладельческих земель земельный вопрос не разрешается. Это равносильно наложению пластыря на засорённую рану. Но, кроме упомянутых материальных результатов, что даст этот способ стране, что даст он с нравственной стороны?

Та картина, которая наблюдается теперь в наших сельских обществах, та необходимость подчиняться всем одному способу ведения хозяйства, необходимость постоянного передела, невозможность для хозяина с инициативой применить к временно находящейся в его пользовании земле свою склонность к определённой отрасли хозяйства, всё это распространится на всю Россию. Всё и все были бы сравнены, земля стала бы общей, как вода и воздух. Но к воде и к воздуху не прикасается рука человеческая, не улуч-

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

шает их рабочий труд, иначе на улучшенные воздух и воду, несомненно, наложена была бы плата, на них установлено было бы право собственности. Я полагаю, что земля, которая распределилась бы между гражданами, отчуждалась бы у одних и предоставлялась бы другим местным социал-демократическим присутственным местом, что эта земля получила бы скоро те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, но улучшать её, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли к другому лицу, — этого никто не стал бы делать. Вообще стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена. Каждый гражданин — а между ними всегда были и будут тунеядцы — будет знать, что он имеет право заявить о желании получить землю, приложить свой труд к земле, затем, когда занятие это ему надоест, бросить её и пойти опять бродить по белу свету. Всё будет сравнено, — [но нельзя ленивого] равнять к трудолюбивому, нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному. Вследствие этого культурный уровень страны понизится. Добрый хозяин, хозяин изобретательный, самую силой вещей будет лишён возможности приложить свои знания к земле.

Надо думать, что при таких условиях совершился бы новый переворот, и человек даровитый, сильный, способный силою восстановил бы своё право на собственность, на результаты своих трудов. Ведь, господа, собственность имела всегда своим основанием силу, за которою стояло и нравственное право. Ведь и раздача земли при Екатерине Великой оправдывалась необходимостью заселения незаселённых громадных пространств, и тут была государственная мысль. Точно так же право способного, право даровитого создало и право собственности на Западе. Неужели же нам возобновлять этот опыт и переживать новое воссоздание права собственности на уравниных и разорённых полях России? А эта перекроенная и уравниная Россия, что, стала ли бы она и более могущественной и богатой? Ведь богатство народов создаёт и могущество страны. Путём же переделения всей земли государство в

своём целом не приобретет ни одного лишнего колоса хлеба. Уничтожены, конечно, будут культурные хозяйства. Временно будут увеличены крестьянские наделы, но при росте населения они скоро обратятся в пыль, и эта распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата. Но положим, что эта картина неверна, что краски тут сгущены. Кто же, однако, будет возражать против того, что такое потрясение, такой громадный социальный переворот не отразится, может быть, на самой целости России. Ведь тут, господа, предлагают разрушение существующей государственности, предлагают нам среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины для того, чтобы на этих развалинах строить новое, неведомое нам отечество. Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад, пойдёт вперед, но путём разложения не пойдёт, потому что где разложение — там смерть. <...>

Прежде чем изложить вам в общих чертах виды правительства, я позволю себе остановиться ещё на одном способе разрешения земельного вопроса, который засел во многих головах. Этот способ, этот путь — это путь насилия. Вам всем известно, господа, насколько легко прислушивается наш крестьянин простолюдин к всевозможным толкам, насколько легко он поддается толчку, особенно в направлении разрешения своих земельных вожделений явочным путём, путём, так сказать, насилия. За это уже платился несколько раз наш серый крестьянин. Я не могу не заявить, что в настоящее время опасность новых насилий, новых бед в деревне возрастает. Правительство должно учитывать два явления: с одной стороны несомненное желание, потребность, стремление широких кругов общества поставить работу в государстве на правильных законных началах и приступить к правильному новому законодательству для улучшения жизни страны. Это стремление правительство не может не приветствовать и обязано приложить все силы для того, чтобы помочь ему. Но наряду с этим существует и другое: существует желание усилить

брожение в стране, бросать в население семена возбуждения, смуты, с целью возбуждения недоверия к правительству, с тем чтобы подорвать его значение, подорвать его авторитет, для того чтобы соединить воедино все враждебные правительству силы. <...> Отсюда, господа, распространялись и письма в провинцию, в деревни, письма, которые печатались в провинциальных газетах <...>, письма, вызывавшие и смущение и возмущение на местах. Авторы этих писем привлекались к ответственности, но поймите, господа, что делалось в понятиях тех сельских обывателей, которым предлагалось, ввиду якобы насилий, кровожадности и преступлений правительства, обратиться к насилию и взять землю силой!

Я <...> откровенно это заявляю, так как русский министр и не может иначе говорить в русской Государственной думе, можно предвидеть и наличность новых попыток приобретения земли силою и насилием. Я должен сказать, что в настоящее время опасность эта ещё далека, но необходимо определить ту черту, за которой <...> опасность успешного воздействия на население в смысле открытого выступления, становится действительно тревожной. Государство, конечно, переступить эту черту, этот предел, не дозволит, иначе оно перестанет быть государством и станет пособником собственного своего разрушения. Всё, что я сказал, господа, является разбором тех стремлений, которые, по мнению правительства, не дают того <...> разрешения дела, которого ожидает Россия. Насилия допущены не будут. Национализация земли представляется правительству губельною для страны, а <...> полунационализация <...>, по нашему мнению, приведёт к тем же результатам, как и предложения левых партий.

Где же выход? Думает ли правительство ограничиться полумерами и полицейским охранением порядка? <...> правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого необходимо дать

возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община ещё не отжила; пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику-хозяину правительство обязано помочь советом, помочь кредитом, то есть деньгами. Теперь же надлежит немедленно браться за незаметную черную работу, надлежит сделать учёт всем тем малоземельным крестьянам, которые живут земледелием. Придётся всем этим малоземельным крестьянам дать возможность воспользоваться из существующего земельного запаса таким количеством земли, которое им необходимо, на льготных условиях. <...> Начатое дело надо улучшать. При этом должно, быть может, обратиться к <...> мысли о государственной помощи. Остановитесь, господа, на том соображении, что государство есть один целый организм и что если между частями организма, частями государства начнется борьба, то государство неминуемо погибнет и превратится в «царство, разделившееся на ся». В настоящее время государство у нас хворает. Самой больной, самой слабой частью, которая хиреет, которая завядает, является крестьянство. Ему надо помочь. Предлагается простой, совершенно автоматический, совершенно механический способ: взять и разделить все 130 000 существующих в настоящее время поместий. Государственно ли это? Не напоминает ли это историю тришкина кафтана — обрезать полы, чтобы сшить из них рукава?

Господа, нельзя укрепить больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса; надо дать толчок организму, создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда организм осилит болезнь; в этом должно, несомненно, участвовать все государство, все части

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

государства должны прийти на помощь той его части, которая в настоящее время является слабой. В этом смысл государственности, в этом оправдание государства, как одного социального целого. Мысль о том, что все государственные силы должны прийти на помощь слабой его части, может напоминать принципы социализма; но если это принцип социализма, то социализма государственного, который применялся не раз в Западной Европе и приносил реальные и существенные результаты. У нас принцип этот мог бы осуществиться в том, что государство брало бы на себя уплату части процентов, которые взыскиваются с крестьян за предоставленную им землю.

В общих чертах дело сводилось бы к следующему: государство закупило бы предлагаемые в продажу частные земли, которые вместе с землями удельными и государственными составляли бы государственный земельный фонд. При массе земель, предлагаемых в продажу, цены на них при этом не возросли бы. Из этого фонда получали бы землю на льготных условиях те малоземельные крестьяне, которые в ней нуждаются и действительно прилагают теперь свой труд к земле, и затем те крестьяне, которым необходимо улучшить формы теперешнего землепользования. Но так как в настоящее время крестьянство оскудело, ему не под силу платить тот сравнительно высокий процент, который взыскивается государством, то последнее и приняло бы на себя разницу в проценте, выплачиваемом по выпускаемым им листам, и тем процентом, который был бы посилен крестьянину, который был бы определяем государственными учреждениями. Вот эта разница обременяла бы государственный бюджет; она должна была бы вноситься в ежегодную роспись государственных расходов.

Таким образом вышло бы, что все государство, все классы населения помогают крестьянам приобрести ту землю, в которой они нуждаются. В этом участвовали бы все плательщики государственных повинностей, чиновники, купцы, лица свободных профессий, те же крестьяне и те

же помещики. Но тягость была бы разложена равномерно и не давила бы на плечи одного немногочисленного класса 130000 человек, с уничтожением которого уничтожены были бы, что бы там ни говорили, и очаги культуры. Этим именно путём правительство начало идти, понизив временно проведенным по 87 статье законом проценты платежа Крестьянскому банку. Способ этот более гибкий, менее огульный, чем тот способ повсеместного принятия на себя государством платежа половинной стоимости земли, которую предлагает партия народной свободы. Если бы одновременно был установлен выход из общины и создана таким образом крепкая индивидуальная собственность, было бы упорядочено переселение, было бы облегчено получение ссуд под надельные земли, был бы создан широкий мелиоративный землеустроительный кредит, то хотя круг предполагаемых правительством земельных реформ и не был бы вполне замкнут, но виден был бы просвет <...>.

Пора этот вопрос вдвинуть в его настоящие рамки, пора, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой-то панацеи против всех бед. Средство это представляется смелым потому только, что в разорённой России оно создаст ещё класс разорённых в конце землевладельцев. Обязательное отчуждение действительно может явиться необходимым, но, господа, в виде исключения, а не общего правила, и обставленным ясными и точными гарантиями закона. Обязательное отчуждение может быть не количественного характера, а только качественного. Оно должно применяться, главным образом, тогда, когда крестьян можно устроить на местах, для улучшения способов пользования ими землёй, оно представляется возможным тогда, когда необходимо: при переходе к лучшему способу хозяйства — устроить водопой, устроить прогон к пастбищу, устроить дороги, наконец, избавиться от вредной чересполосицы. Но я, господа, не предлагаю вам, как я сказал ранее, полного аграрного проекта. Я предлагаю вашему вниманию только те вехи, которые поставлены правительством. <...>.

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришёл к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная чёрная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. **Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!***

* Эти слова стали знамениты на всю страну.

Вместо эпилога

Г.П. ФЕДОТОВ (1886—1951)

Будет ли существовать Россия?

Вопрос этот, несомненно, покажется нелепым для большинства русских людей. <...> Что за падением большевиков начинается национальное возрождение России, в этом не было ни искры сомнения. В революции мы привыкли видеть кризис власти, но не кризис национального сознания.

Многие не видят опасности, не верят в неё. Я могу указать симптомы. Самый тревожный — мистически значительный — забвение имени России. <...> Россия мыслится национальной пустыней, многообещающей областью для основания государственных утопий.

Можно отмахнуться от этих симптомов, усматривая в них лишь новые болезни интеллигентской мысли <...>. Но никто не станет отрицать угрожающего значения сепаратизмов, раздражающих тело России. <...> Иные из них приобрели уже грозную силу. Каждый маленький народец, вчера полудикий, выделяет кадры полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских учителей. Под кровом интернационального коммунизма, в рядах самой коммунистической партии складываются кадры националистов, стремящихся разнести в куски историческое тело России. <...> Революция укрепила национальное самосознание всех народов, объявила контрреволюционными лишь национальные чувства господствовавшей вчера народности. <...> Мы как-то проморгали тот факт, что величайшая империя Европы и Азии строилась национальным меньшинством, которое свою культуру и свою государственную волю налагало на целый этнографический материк. Мы говорим со справедливою гордостью, что эта гегемония России почти для всех (только не западных) её народов была счастливой судьбой, что она дала им возможность приобщиться к всечеловеческой культуре, какой являлась культура русская. Но подрастающие дети,

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

усыновлённые нами, не хотят знать вскормившей их школы и тянутся кто куда — к Западу и к Востоку, к Польше, Турции или к интернациональному геометрическому месту — то есть к духовному небытию.

Поразительно: среди стольких шумных, крикливых голосов один великоросс не подаёт признаков жизни. Он жалуется на всё: на голод, бесправие, тьму, только одного не ведаёт, к одному глух — к опасности, угрожающей его национальному бытию.

Вдумываясь в причину этого странного омертвения, мы начинаем отдавать себе отчёт в том, насколько глубок корень болезни. В ней одинаково повинны <...> главнейшие силы, составлявшие русское общество в эпоху Империи: так называемая интеллигенция и власть. Для интеллигенции русской, то есть для господствовавшего западнического крыла, национальная идея была отвратительна своей исторической связью с самодержавной властью. Всё национальное отзывалось реакцией, вызывало ассоциацию насилия или официальной лжи. Для целых поколений «патриот» было бранное слово. Вопросы общественной справедливости заглушали смысл национальной жизни. Национальная мысль стала монополией правых партий, поддерживаемых правительством. Но что сделали с ней наследники славянофилов? Русская национальная идея, вдохновлявшая некогда Аксаковых, Киреевских, Достоевского, в последние десятилетия необычайно огрубела. Эпигоны славянофильства совершенно забыли о положительном творческом её содержании. Они были загипнотизированы голой силой, за которой упустили нравственную идею. Национализм русский выражался главным образом в бесцельной травле малых народностей, в ущемлении их законных духовных потребностей, создавая России всё новых и новых врагов. И наконец, народ, — народ, который столько веков с героическим терпением держал на своей спине тяжесть Империи, вдруг отказался защищать её. Если нужно назвать один факт — один, но основной, из многих слагаемых русской революции, — то вот он: на третий год мировой войны русский народ потерял силы и

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

терпение и отказался защищать Россию. Не только потерял понимание цели войны (едва ли он понимал её и раньше), но потерял сознание нужности России. Ему уже ничего не жаль: ни Белоруссии, ни Украины, ни Кавказа. Пусть берут, делят, кто хочет. «Мы рязанские». Таков итог векового выветривания национального сознания. Несомненно, что в Московской Руси народ национальным сознанием обладал. Об этом свидетельствуют хотя бы его исторические песни. Он ясно ощущает и тело русской земли, и её врагов. Её исторические судьбы, слившиеся для него с религиозным призванием, были ясны и понятны. В петровской Империи народ уже не понимает ничего. Самые географические пределы её стали недоступны его воображению. <...>

Крепостное рабство, воздвигшее стену между народом и государством, заменившее для народа национальный долг частным хозяйственным долгом, завершило разложение политического сознания. Уже крестьянские бунты в Отечественную войну 1812 года были грозным предвестником. Религиозная идея православного царя могла подвигнуть народ на величайшие жертвы, на чудеса пассивного героизма. Но государственный смысл этих жертв был ему недоступен. Падение царской идеи повлекло за собой падение идеи русской. Русский народ распался, расплылся на зёрнышки деревенских мирков, из которых чужая сила, властная и жестокая, могла строить любое государство, в своём стиле и вкусе.

Итак, каждая из трёх русских общественных сил несёт вину — или долю вины — за национальное крушение.

К этим разлагающим силам присоединилось медленное действие одного исторического явления, протекавшего помимо сознания и воли людей и почти ускользнувшего от нашего внимания. Я имею в виду отлив сил, материальных и духовных, от великорусского центра на окраины Империи. За XIX век росли и богатели, наполнялись пришлым населением Новороссия, Кавказ, Сибирь. И вместе с тем крестьянство центральных губерний разорялось, вырождалось духовно и заставляло экономистов говорить об «оскудении центра». Великороссия хирела, отдавая свою

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуатировала. Самое тревожное заключалось в том, что параллельно с хозяйственным процессом шёл отлив и духовных сил от старых центров русской жизни. <...>

До сих пор мы говорили об опасностях. Что можно противопоставить им, кроме нашей веры в Россию? Есть объективные факты, точки опоры для нашей национальной работы — правда, не более чем точки опоры, ибо без работы, скажу больше — без подвига, — России нам не спасти. Вот эти всем известные факты. Россия не Австрия и не старая Турция, где малая численно народность командовала над чужеродным большинством. И если Россия, с культурным ростом малых народностей, не может быть национальным монолитом, подобным Франции или Германии, то у великорусской народности есть гораздо более мощный этнический базис, чем у австрийских немцев; во-вторых, эта народность не только не уступает культурно другим, подвластным (случай Турции), но является носителем единственной великой культуры на территории государства. Остальные культуры, переживающие сейчас эру шовинистического угара — говоря совершенно объективно, — являются явлениями провинциального порядка, в большинстве случаев и вызванными к жизни оплодотворяющим воздействием культуры русской. В-третьих, национальная политика старой России, тяжкая для западных, культурных (ныне оторвавшихся) её окраин <...>, — была, в общем, справедлива, благодетельна на Востоке. Восток легко примирился с властью Белого царя, который не ломал насильственно его старины, не оскорблял его веры и давал ему место в просторном русском доме.

Из оставшихся в России народов прямая ненависть к великороссам встречается только у наших кровных братьев — малороссов, или украинцев. (И это самый болезненный вопрос новой России.) В-четвёртых, большинство народов, населяющих Россию, как островки в русском море, не могут существовать отдельно от неё; другие, отделившись, неминуемо погибнут, поглощённые соседями. Там, где, как на Кавказе, живут десятки племён, раздира-

емых взаимной враждой, только справедливая рука супер-арбитра может предотвратить кровавый взрыв, в котором неминуемо погибнут все ростки новой национальной жизни. Что касается Украины, то для неё роковым является соседство Польши, с которой её связывают вековые исторические цепи. Украине объективно придется выбрать между Польшей и Россией, и отчасти от нас зависит, чтобы выбор был сделан не против старой общей родины. И, наконец, в-пятых, за нас действуют ещё старые экономические связи, создающие из бывшей Империи, из нынешней СССР, единый хозяйственный организм. Разрыв его, конечно, возможен <...>, но мучителен для всех участников хозяйственного общения. Силы экономической инерции действуют в пользу России.

Сумеет ли мы воспользоваться этими благоприятными шансами, это зависит уже от нас, то есть прежде всего от новых поколений, которые вступают в жизнь <...>.

Я не буду останавливаться здесь на политических условиях, совершенно бесспорных, русского возрождения. Таким неременным условием является создание национальной власти в России. Замечу лишь в скобках, что момент падения коммунистической диктатуры, освобождая национальные силы России, в то же время является и моментом величайшей опасности. Оно, несомненно, развяжет подавленные ныне сепаратистские тенденции некоторых народов России, которые попытаются воспользоваться революцией для отторжения от России, опираясь на поддержку её внешних врагов. Благополучный исход кризиса зависит от силы новой власти, её политической зрелости и свободы от иностранного давления.

Здесь я остановлюсь лишь на духовной стороне нашей работы, на той, которая выпадает по преимуществу на долю интеллигенции. Говоря кратко: эта задача в том, чтобы будить в себе, растить и осмыслять, «возгревать» национальное сознание.

Наша эпоха уже не знает бессознательно-органической стихии народа. Эти источники культуры почти иссякли, эта «земля» перепахана и выпажана. И русский народ всту-

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

пил в полосу рационализма, верит в книжку, в печатное слово, формирует (или уродует) свой облик с детских лет в школе, в обстановке искусственной культуры. Оттого так безмерно вырастает влияние интеллигенции (даже низшей по качеству, даже журналистики); оттого-то удаются и воплощаются в историческую жизнь новые, «умышленные», созданные интеллигенцией народы. Интеллигенция творит эти народы, так сказать, «по памяти»: собирая, оживляя давно умершие исторические воспоминания, воскрешая этнографический быт. Если школа и газета, с одной стороны, оказываются проводниками нивелирующей, разлагающей, космополитической культуры, то они же могут служить и уже служат орудием культуры творческой, национальной. Мы должны лишь выйти из своей беспечности и взять пример с кипучей страстной работы малых народов, работы их интеллигенции, из ничего, или почти из ничего, кующей национальные традиции. Наша традиция богата и славна, но она заплылилась, потускнела в сознании последних поколений. Для одних затмилась прелестью Запада, для других — официальным и ложным образом России <...>. Мы должны изучать Россию, любовно вглядываться в её черты, вырывать в её земле закопанные клады.

Мы должны знать её историю, любить её героев, ценить и самые древние памятники её литературы (первыми у нас никто не интересовался), особенно — её искусством. <...>

Огромное большинство русской интеллигенции не имеет до сих пор понятия о его существовании. Но в нём дана объективная, говорящая и внешнему миру, мера русского гения.

Мы должны читать и уметь различать в иконописном житии живые лики русских святых, которые несут нам свои заветы, своё национальное понимание вечного христианства. Понять эти заветы не всегда легко, но мало кто задумывается над этим. Мы должны чтить и героев — строителей нашей земли, её князей, царей и граждан, изучая летописи их борьбы, их трудов, учась на самых их ошибках и падениях, не в рабском подражании, но в свободном творчестве вдохновляясь подвигом предков. Мы должны

знать живую Россию, её природу, жизнь её народов, их труд, их искусство, их верования и быт. И прежде всего мы должны знать Великороссию.

Наше национальное сознание должно быть сложным, в соответствии со сложной проблемой новой России (примитив губителен). Это сознание должно быть одновременно великорусским, русским и российским.

Я говорю здесь, обращаясь преимущественно к великороссам. Для малороссов, или украинцев, не потерявших сознание своей русскости, эта формула получит следующий вид: малорусское, русское, российское.

После всего сказанного выше ясна повелительная необходимость оживления, воскрешения Великороссии. Всякий взгляд в историческое прошлое России, всякое паломничество по её следам приводит нас в Великороссию, на её Север, где и поныне белеют стены великих монастырей, хранящих дивной красоты росписи, богословские «умозрение в красках», где в лесной глуши сохраняются и старинная утварь, и старинные поверья, и даже былинная поэзия; старые города (Углич, Вологда), древние монастыри (Кириллов, Ферапонтов) должны стать национальными музеями, центрами научно-художественных экскурсий для всей России. Работа изучения святой древности, ведущаяся и в большевистской России, должна продолжаться с неослабевающей ревностью, вовлекая, захватывая своим энтузиазмом все народы России. Пусть не для нас одних Русский Север станет страной святых чудес, священной землёй, подобно древней Элладе или средневековой Италии, зовущей пилигримов со всех концов земли. Для нас, русских и христиан, эта земля чудес вдвойне священна: почти каждая волость её хранит память о подвижнике, спасшемся в лесном безмолвии, о войне Сергиевой рати, молитвами державшей и спасавшей страдальческую Русь.

Но Русский Север не только музей, не только священное кладбище. По счастью, жизнь не покинула его. Его население — немногочисленное — крепко, трудолюбиво и зажиточно. Перед ним большие экономические возможности. Белое море и его промыслы обещают возрождение целому краю при научном использовании его богатств.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Московский промышленный район (здесь: Ярославль, Кострома) устоял в испытании революции. На этой земле Святая Русь, святая старина бок о бок соседит с современными мануфактурами, рабочие посёлки — с обителями учеников преподобного Сергия, своим соседством вызывающая часто ощущение болезненного противоречия, но вместе с тем конкретно ставя перед нами насущную задачу нашего будущего: одухотворения православием технической природы современности.

Русский Север, Святая Русь в полноте своей жизни открывают свои сокровища, конечно, лишь православному взору: только для него подлинно живёт и древняя икона, и народная песня, и даже вещественный осколок уходящего быта. Но, конечно, работа найдётся и для неверующего, но любящего исследователя. Здесь понадобятся целые плеяды этнографов, искусствоведов, бытописателей — собирателей материалов. Самая работа над памятниками религиозной культуры не проходит даром для религиозного роста личности. Но лишь живой вере суждено построить из камней культуры храм живого духа.

От великоросского — к русскому. Это прежде всего проблема Украины. Проблема слишком сложная, чтобы здесь можно было коснуться её более чем намёками. Но от правильного решения её зависит самое бытие России. <...> Мы присутствуем при бурном и чрезвычайно опасном для нас процессе: зарождении нового украинского национального сознания, в сущности новой нации. Она ещё не родилась окончательно, и её судьбы ещё не predeterminedены. Убить её невозможно, но можно работать над тем, чтобы её самосознание утверждало себя как особую форму русского самосознания. Южнорусское (малорусское) племя было первым создателем Русского государства, заложило основы нашей национальной культуры и себя самого всегда именовало русским (до конца XIX века). Его судьба во многом зависит от того, будем ли мы (то есть великороссы) признавать его близость или отталкиваться от него, как от чужого. В последнем случае мы неизбежно его потеряем. Мы должны признать и непрестанно ощущать своими не только киевские летописи

и мозаики киевских церквей, но украинское барокко, столь привившееся в Москве, и киевскую Академию, воспитавшую русскую Церковь, и Шевченко за то, что у него много общего с Гоголем, и украинскую песню, младшую сестру песни великорусской. Эта задача — приютить малоросские традиции в общерусскую культуру — прежде всего выпадает на долю южнорусских уроженцев, сохранивших верность России и любовь к Украине. Отдавая свои творческие силы Великороссии, мы должны уделить и Малой (древней матери нашей) России частицу сердца и понимания её особого культурно-исторического пути. В борьбе с политическим самостийничеством, в обороне русской идеи и русского дела на Украине нельзя смешивать русское дело с великорусским и глушить ростки тоже русской (то есть малорусской) культуры. Та же самая русская идея на Севере требует от нас некоторого сужения, краеведческого, областнического углубления, на юге — расширения, выхода за границу привычных нам великорусских форм.

И здесь, на охране единства Великой и Малой России, самой прочной связью между ними была и остаётся вера. Пусть разъединяет язык, разъединяет память и имя Москвы — соединят киевские святыни и монастыри Северной Руси. До тех пор, пока не сделан непоправимый шаг и народ малорусский не ввергнут в унию или другую форму католицизирующего христианства, мы не утратим нашего братства. Разрываемые националистическими (и в то же время вульгарно-западническими) потоками идей, мы должны соединяться в религиозном возрождении. И сейчас подлинно живые религиозные силы Украины от русской Церкви себя не отделяют. От русского — к российскому. Россия — не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестройных голосов. Для многих из нас это всё ещё непривычно, мы с этим не можем примириться. Если не примиримся — то есть с многоголосностью, а не с нестройностью, — то и останемся в одной Великороссии, то есть России существовать не будет. Мы должны показать миру (после крушения стольких империй), что задача импе-

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

рии, то есть сверхнационального государства, — разреши-ма. Более того — когда мир, устав от кровавого хаоса мелкоплеменной чересполосицы, встоскуется о единстве как предпосылке великой культуры, Россия должна дать образец, форму мирного сотрудничества народов, не под гнётом, а под водительством великой нации. Задача политиков — найти гибкие, но твёрдые формы этой связи, обеспечивающей каждой народности свободу развития в меру сил и зрелости. Задача культурных работников, каждого русского в том, чтобы расширить своё русское сознание (без ущерба для его «русскости») в сознание российское. Это значит — воскресить в нём, в какой-то мере, духовный облик всех народов России. То в них ценно, что вечно, что может найти место в теле Вселенской Церкви. Всякое дело, творимое малым народом, как бы скромно оно ни было, всякое малое слово должны вложиться в русскую славу, в дело России. В наш век национальные самолюбия значат порою больше национальных интересов. Пусть каждый маленький народ, то есть его интеллигенция, не только не чувствует унижения от соприкосновения с национальным сознанием русских (великоросса), но и находит у него помощь и содействие своему национально-культурному делу. Было бы вреднейшей ошибкой презрительно отмахнуться от этих шовинистических интеллигенций и через головы их разговаривать с народом. Многие думают у нас сыграть на экономических интересах масс против «искусственных» национальных претензий интеллигенций. Рано или поздно народ весь будет интеллигенцией, и презрение к его духовным потребностям отомстит за себя. Конечно, духовные потребности приходится отличать от политических притязаний: в титуле московских царей и императоров всероссийских развёртывался длинный свиток народов, подвластных их державе. Многоплемянность, многозвучность России не умаляла, но повышала её славу. Национальное сознание новых народов Европы в этом отношении не разделяет гордости монархов, но Россия не может равняться с Францией или Германией: у неё особое призвание. Россия — не нация, но целый мир. Не разрешив своего призвания, сверхнационального, материкового, она погибнет — как Россия.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Объединение народов России не может твориться силой только религиозной идеи. Здесь верования не соединяют, а разъединяют нас. Но духовным притяжением для народов была и останется русская культура. Через неё они приобщаются к мировой цивилизации. Так это было в петербургский период Империи, так это должно остаться. Если народы России будут учиться не в Москве, не в Петербурге, а в Париже и в Берлине, тогда они не останутся с нами. На русскую интеллигенцию ложится тяжкая ответственность: не сдать своих культурных высот, идти неустанно, без отдыха, всё к новым и новым достижениям. Уже не только для себя, для удовлетворения культурной жажды или профессиональных интересов, но и для национального дела России. Здесь не важна сама по себе культурная отрасль, профессия, — России нужны учёные и техники, учителя и воины. Для всех один закон: квалификация, её непрерывный рост в труде и подвижничестве. Если великороссы составляют 54% России, то русская интеллигенция должна выполнить не 54%, а гораздо более общероссийской культурной работы, чтобы сохранить за собой бесспорное водительство.

Время для нас грозное, тяжёлое. Бесчисленные народы России рвутся к свету, к культуре. Среди всех только великорусская интеллигенция, придавленная, разреженная искусственно, вытесняется с пути национального творчества... Молодое поколение варваризуется и в России, и в Зарубежье. Для него подчас, кажется, не под силу поднять культурную ношу отцов. Но надо не только поднять её, но и нести дальше и выше, чем умели отцы. Ибо голос времени звучит неумолимо: «Всякое промедление — смерти подобно», как говаривал Пётр Великий. Наши творческие силы ещё не иссякли. Мы верим в наше призвание <...>. Нам нужна лишь школа аскезы — культурной, творческой аскезы, без которой не создаются ни духовные, ни материальные ценности культуры.

Последние слова к христианам, к православным. Нельзя, разумеется, подчинить путь веры путям национальной жизни. Нет ничего гнуснее утилитарно-политического отношения к христианству. Но в православии

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

дано нам религиозное освящение нации. Церковь благословляет наше национальное делание, при условии просветлённости его Светом Христовым.

Но мы должны преодолеть в себе две слабости, которые до сих пор обеспоживают творческие силы христианской интеллигенции. Во-первых, мы должны отрешиться от привычной сращенности православия с политическими, культурными, бытовыми формами старого времени. Не считать идеалом православия реставрацию старины и найти в нём источник свободы для творческого отбора в старых сокровищах, для творческого созидания новой жизни. Вторая — в известной степени противоположная слабость — это индивидуализм личного религиозного пути. Для отрешённого, погружённого в собственный мир строя души не возникает и проблем национальной культуры, да и культуры вообще. Как первая школа духовной жизни, эта замкнутость души может быть законной, необходимой. Как традиция, как стиль целого поколения — это уже некое уродство, становящееся национальной пассивностью. В обстановке русской трагедии, в наш грозный исторический час, это направление (как направление) свидетельствует просто о недоразвитии христианской совести.

Если мы <...> преодолеем в себе эти слабости, эти болезни роста, то главное дело русского национального возрождения уже сделано. Ибо жизненность и крепость русского религиозного возрождения русской Церкви не подлежит сомнению. В ней, в русской Церкви, давно живое средоточие нашей национальной работы, источник вдохновляющих её сил. Но нужно помнить, что для этой работы необходима сложная, опосредственная трансмиссия этих духовных сил, что в деле национального возрождения участвуют: Церковь, культура, государство. И здесь я оттаивался преимущественно на втором члене, наиболее угрожаемом и наиболее сложном, связующем действие сил духовных с механизмом социальных потребностей.

На вопрос, поставленный в заглавии настоящей статьи: «Будет ли существовать Россия?», я не могу ответить простым успокоительным: «Будет!» Я отвечаю: «Это зависит от нас. Буди! Буди!»

1929

Алфавитно-предметный указатель

Администрация 86–87 (Леонтьев), 185–186, 189, 199–204 (Карамзин), 418–419 (Сперанский), 520–521 (И. Аксаков), 531–532 (Катков), 562 (Столыпин) *см. также* Государственное управление, Административная опека 44–45 (И. Аксаков)

Бюрократия *см.* Чиновничество

«Великая Россия» (лозунг) 377–393 (Струве), 583–584 (Столыпин)

Власть

- достоинство власти 426–427 (Победоносцев), 518–519 (И. Аксаков)
- и народ 49–50 (И. Аксаков), 57, 67–68, 77–79 (Самарин), 88–89 (Леонтьев), 237–238 (Киреевский), 242 (Ключевский), 384–385, 388, 393 (Струве), 434–438, 440–446 (Победоносцев), 500–506 (И. Аксаков), 531–532 (Катков)
- и начальство 421–439 (Победоносцев)
- и общество 77–79 (Самарин), 240, 241 (Ключевский) *см. также* Государство и общество
- и оппозиция *см.* Оппозиция и власть
- и право 38–39 (Чичерин), 216 (Хомяков), 233–234 (Киреевский), 424–425 (Победоносцев), 564–565 (Столыпин)
- и свобода 37–39 (Чичерин); 543–546 (Катков)
- сильная 39–40 (Чичерин), 378–379, 392, 394 (Струве), 546–552, 553–558 (Меньшиков), 571–574 (Столыпин) *см. также* Правительство

Внешняя политика *см.* Россия — Внешняя политика

Выборное начало 68–69 (Самарин), 105–106 (Градовский), 441, 443–446 (Победоносцев), 447–450, 453–457 (Кавелин)

Государственное управление 201–202 (Карамзин), 506–515 (И. Аксаков)

Государство 91 (Леонтьев)

- и народ 42–147 (Франк), 470–471 (И. Аксаков), 392–393 (Струве) *см. также* Власть и народ
- и право 178–179 (Карамзин)
- и общество 463–465, 472–475, 480–482, 492, 495–506, 514–515 (И. Аксаков)
- Российское *см.* Россия
- целостность 289–290 (Карамзин) *см. также* Россия — расчленение

Гражданская честность 506–507 (И. Аксаков)

Гражданское общество 29 (Карамзин)

Дворянство 53–54, 56–67, 70–76 (Самарин), 87–88 (Леонтьев), 262–265 (Струве)

Демократия национальная 356–362 (Бердяев)

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Деспотизм демагогов 114–115 (Градовский)
Деспотизм теории 491–497 (И. Аксаков)
Дисциплина государственная 383 (Струве)
Дисциплина труда 384 (Струве)
Евразийство 363–376 (Флоровский)
Европа *см.* Россия и Европа
Земство 59, 62–63, 67–71, 73, 76 (Самарин), 85–90 (Леонтьев), 490–491 (И. Аксаков) *см. также* Общественное движение
Интеллигенция 41–51 (И. Аксаков), 238 (Ключевский), 261–266, 275 (Струве), 352–355 (Дурново), 356–357 (Бердяев), 586–597 (Федотов)
Интернационализм 272–274 (Струве)
Классовая борьба 268–274 (Струве)
Консерватизм 92–97 (Градовский), 124–138 (Бердяев)
— банальный 377–378 (Струве)
— народный 487–488 (И. Аксаков)
— и творчество 147–149 (Франк)
— определение 92, 94–95 (Градовский)
— политический 60 (Самарин), 101–123 (Градовский)
— революционный 52–53 (Самарин)
Конституция 49–50 (И. Аксаков), 109–110 (Градовский)
Космополитизм 82–83 (Леонтьев), 493 (И. Аксаков)
Крепостное право 60–66, 69–70, 75 (Самарин), 193 (Карамзин)
Крестьянство 60–69 (Самарин), 87–88 (Леонтьев) 264–265 (Струве), 559–560, 565–566, 574–584 (Столыпин)
Культура (И. Аксаков), 132, 133, 134, 359 (Бердяев), 260, 273, 281–282, 384–385 (Струве)
Либерализм 92–94 (Градовский)
— виды 31–35 (Чичерин)
— в России 31–33 (Чичерин); 41 (И. Аксаков), 81–90 (Леонтьев)
— демократический 82 (Леонтьев)
— оппозиционный 33–35 (Чичерин), 80–83, 87 (Леонтьев)
— охранительный 37–39 (Чичерин)
— уличный 31–32 (Чичерин)
Либеральная печать 41–50 (И. Аксаков), 79–91 (Леонтьев) *см. также* Свобода слова
Молодёжь 47 (И. Аксаков)
Монархия *см. также* Самодержавие
— в России 59–60, 67–69 (Самарин), 156–179 (Карамзин), 262 (Струве), 351–355 (Дурново)
— и республиканцы 238 (Ключевский)
— обязанности монарха 193, 202–206 (Карамзин)
Народ 44–50 (И. Аксаков), 260, 272 (Струве), 466–471, 510–514 (И. Аксаков), 521–522, 526–528 (К. Аксаков) *см. также* Власть и народ, Государство и народ, Общество и народ

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Народное представительство 447–461 (Кавелин) *см. также* Парламентаризм
- Народность 523–524 (И. Аксаков)
- Национальная демократия 356–362 (Бердяев)
- Национальная идея 392–394 (Струве)
- Национальное самосознание 359–360 (Бердяев), 469–470 (И. Аксаков), 585–597 (Федотов)
- Национальные отношения 318–321 (Данилевский), 358–362 (Бердяев), 384–388, 392 (Струве), 400–402 (Ильин), 586–597 (Федотов)
- Нация 271, 273 (Струве)
- Образование 474, 476–478 (И. Аксаков), 567–568 (Столыпин)
— школы 88–89 (Леонтьев)
— университеты 191–192 (Карамзин)
- Общественное мнение 209 (Пушкин), 518–519 (И. Аксаков), 528–530 (К. Аксаков)
- Общественное самосознание 482–485 (И. Аксаков)
- Общество 263–264 (Струве), 472–476, 480–481 (И. Аксаков), 538–539 (Катков)
— и народ 466–483, 498–500, 509–510 (И. Аксаков) *см. также* Власть и общество,
- Государство и общество
- Оппозиция и власть 32–37, 40 (Чичерин); 87 (Леонтьев), 112–123 (Градовский), 142–147 (Франк), 266 (Струве), 352–355 (Дурново) *см. также* Либерализм оппозиционный
- Парламентаризм 106, 109, 112–122 (Градовский), 440–446 (Победоносцев), 452–457 (Кавелин)
- Патриотизм 369–370 (Флоровский), 392 (Струве), 534–543 (Катков)
- Политические партии 41–42 (И. Аксаков), 103–123 (Градовский), 239, 243 (Ключевский), 489, 490 (И. Аксаков)
- Правительство
— и его сила 185–190, 199–202 (Карамзин), 417–420 (Сперанский), 546–552, 553–558 (Меньшиков)
— и народ 77–78 (Самарин), 218 (Хомяков), 452 (Кавелин), 461–464 (И. Аксаков)
— и оппозиция 35–37 (Чичерин), 107–115, 116–123 (Градовский), (Ключевский), 353–354 (Дурново)
— и реформы 77–78 (Самарин), 88–89 (Леонтьев), 112–123 (Градовский), 491–492 (И. Аксаков)
- Права и обязанности 37–38 (Чичерин), 559–560 (Столыпин)
- Правовое государство 558 (Столыпин)
- Правое и левое в политике 139–146 (Франк), 362–363 (Бердяев)
- Правовой порядок 48–50 (И. Аксаков)

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Православие

- в России 168–169 (Карамзин), 207–209 (Пушкин), 219–220 (Хомяков), 243–257 (Ключевский), 279–280 (Ильин), *см. также* Русская Православная Церковь
- и католицизм 59 (Самарин), 231–232, 235–236 (Киреевский)
- Преимственность историческая 130–132, 134, 137–138 (Бердяев)
- Прогресс 46 (И. Аксаков), 93–98, 100–101, 115–116 (Градовский), 486–488, 513–514 (И. Аксаков)
- Просвещение 231, 237 (Киреевский), 477–478, 493–494, 519 (И. Аксаков)
- Рабочий вопрос 120 (Градовский), 566–567 (Столыпин)
- Реакция 97 (Градовский)
- Революция 52–53 (Самарин), 97–99 (Градовский), 124–125, 127–128, 130–138 (Бердяев), 259–261, 262–263, 265, 269–273 (Струве) 365–366, 368 (Флоровский), 354–355 (Дурново), 383–384 (Струве), 534–535 (Катков)
- Религия революции 127–131, 139 (Бердяев)
- Реформы как процесс 102–103, 110–123 (Градовский), 187–188 (Карамзин), 491–497 (И. Аксаков) *см. также* Правительство и реформы
 - Александра I 179–204 (Карамзин)
 - Александра II 63–67 (Самарин), 80–85 (Леонтьев), 533–534 (Катков)
 - Екатерины II 68–69 (Самарин), 172–175 (Карамзин)
 - Петра I 165–170 (Карамзин), 224 (Хомяков), 500–501 (И. Аксаков)
- Россия 522–523 (И. Аксаков), 531–532 (Катков)
 - внешняя политика 179–185, 300–305 (Карамзин), 300–305 (Катков), 310–314 (Достоевский), 332–355 (Дурново), 378–382, 388–391 (Струве)
 - внутренняя политика 185–204 (Карамзин), 379–380 (Струве)
 - географическое положение 278–279 (Ильин)
 - геополитика 289–292 (Карамзин), 293–299 (Семёнов-Т/Ш), 327–331 (Данилевский), 332–355 (Дурново), 380–381, 386–391 (Струве), 395–397 (Ильин)
 - живой организм 276–285, 398–399 (Ильин)
 - и Европа 42–51 (И. Аксаков), 53–69, 78–79 (Самарин), 87–88 (Леонтьев), 158, 164–185 (Карамзин), 225 (Хомяков), 227–231 (Киреевский), 300–305 (Катков), 306–314 (Достоевский), 315–331 (Данилевский), 372–374 (Флоровский), 495, 501–503 (И. Аксаков), 534–403 (Катков)
 - история 153–204 (Карамзин), 209–225 (Хомяков), 227–238 (Киреевский), 238–240 (Ключевский), 262–275 (Струве), 277–282 (Ильин), 315–330 (Данилевский)
 - предназначение 208–209 (Пушкин)

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- расчленение 276–285 (Ильин), 290–292 (Карамзин), 357 (Бердяев), 406–411 (Ильин)
- территория и население 278–279, 383–384 (Ильин), 293–299 (Семёнов–Т/Ш), 316–324 (Данилевский), 402–406 (Ильин)
- экономика и финансы 189–192, 194–198 (Карамзин), 282–283 (Ильин), 345–351 (Дурново), 381–384, 387 (Струве), 420–421 (Сперанский)
- Русская идея 275 (Струве), 356–362 (Бердяев), 589–597 (Федотов)
- Русская Православная Церковь 218–220 (Хомяков), 243–258 (Ключевский), 560–561 (Столыпин) *см. также* Православие
- Русский язык 280 (Ильин), 468–469 (И. Аксаков)
- Самодержавие 156–179, 205 (Карамзин), 239, 241 (Ключевский), 262–263, 266 (Струве), 531–532 (Катков)
- Самоуправление 61–63 (Самарин), 563–564 (Столыпин)
- Свобода и общество 29–30 (Карамзин), 30–31, 38–40 (Чичерин), 91 (Леонтьев), 137–138 (Бердяев), 144, 146–149 (Франк), 400 (Ильин)
- Свобода слова и печати 41–48 (И. Аксаков), 89–90 (Леонтьев), 473, 478–480, 504–505, 515–521 (И. Аксаков), 544–545 (Катков)
- Социализм 267–274 (Струве)
- Творчество 129–130, 134–135 (Бердяев), 274, 392 (Струве), 469 (И. Аксаков), 550–551 (Меньшиков)
- Традиционализм и радикализм 139–146 (Франк)
- Умеренность и радикализм 140 (Франк)
- Христианство 228–231 (Киреевский), 372–375 (Флоровский) *см. также* Православие
- Цензура 48–49 (И. Аксаков),
- Чиновничество 61 (Самарин), 191–192, 199–204 (Карамзин), 240 (Ключевский), 426–439 (Победоносцев), 464–465, 496–499, 507–515 (И. Аксаков), 531–532 (Катков), 553 (Меньшиков) *см. также* Административная опека

Персоналии русских мыслителей

Аксаков Иван (1823–1886) и **Константин** (1817–1860) **Сергеевичи** — публицисты, общественные деятели, ведущие идеологи славянофильства. Призывали к формированию в России «общества» — всесословной «среды», одухотворённой внепартийным «народным сознанием».

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — философ, автор трудов: «Философия свободы» (1911), «Смысл творчества» (1916), «Судьба России» (1918), «Новое средневековье» (1924), «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937), «Русская идея» (1946), «Царство духа и царство кесаря» (1949) и др.

Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) — общественный и политический деятель, историк права, автор теории «государственного самоуправления», идеолог наиболее умеренного крыла земских либералов (один из вдохновителей земского движения).

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) — философ, публицист. Главный труд: «Россия и Европа» (1869), где разработана теория культурно-исторических типов. К.Н. Леонтьев называл его своим учителем. Специалисты считают Данилевского основателем русской геополитической школы, предшественником О. Шпенглера и А. Тойнби.

Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881) писатель, публицист. Главные романы: «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871–1872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1879–1880), где дано философское осмысление социального и духовного кризиса России.

Дурново Пётр Николаевич (1845–1915) идеолог и лидер «правых» в Государственном совете. Министр внутренних дел в 1905–1906; был в числе тех, кто в критическое время первой русской революции сумел спасти страну от краха. В феврале 1914 г. предостерегал против войны с Германией, которая окажется роковой.

Ильин Иван Александрович (1882–1954) — философ, правовед, политолог, идеолог Белого движения. Главное в его творчестве — труды о прошлом, настоящем и будущем России: «О сопротивлении злу силе» (1925), «Путь духовного обновления» (1935, 1962), «Основы борьбы за национальную Россию» (1938), «Наши задачи» (Т. 1–2, 1956) и др.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) — философ, историк, один из идеологов либерального консерватизма. Предложил программу реформ: увеличить надели крестьян за счёт государственных субсидий, использование незаселённых казённых земель, переселенческую политику и др. (предшественник П.А. Столыпина).

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — писатель, историк. Главный труд: фундаментальная «История государства Российского» (Т. 1–12, 1816–1826). Передал Александру I свои «Записку о древней и

новой России...» (1811), «Мнение русского гражданина...» (1819). Считал, что для России спасительно просвещённое самодержавие.

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — влиятельный публицист, издатель журнала «Русский вестник» (с 1856) и газеты «Московские ведомости» (1850–1855, 1863–1887). Его называли: «государственный человек без государственной должности».

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — религиозный философ, публицист, один из основоположников славянофильства. В отходе от религиозных начал и утрате духовной цельности видел источник кризиса «европейского просвещения».

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) — историк. Автор трудов по истории крепостного права, финансов, сословий, а также классического «Курса русской истории» (ч. 1–5, 1904–1922), который не утратил актуальности и сейчас. Участвовал в совещаниях по проекту закона о Государственной думе (1905).

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) — религиозный философ, писатель, публицист. Главные труды: «Византизм и славянство» (1875), «Национальная политика как орудие всемирной революции» (1889), «Славянофильство теории и славянофильство жизни» (1891) и др. Считал, что России следует обособиться от Европы.

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) — литературный критик, публицист. Называл своим учителем Каткова. Придавал огромное значение искусству политической публицистики, считая что для России в XX веке она жизненно необходима, чтобы положительно влиять на гражданское самосознание.

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — государственный деятель, правовед. Член Государственного совета (1872), обер-прокурор Св. Синода (1880). Инициатор важнейших «охранительных» документов эпохи Александра III. Г. Флоровский взгляды Победоносцева называл консервативным народничеством.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — поэт, прозаик, драматург, публицист, критик. В центре внимания Пушкина — мыслителя — исторические судьбы страны, народа и общества, пути национальной культуры, философское осмысление жизни и истории. Николай I после первой встречи назвал его «умнейшим человеком России».

Самарин, Юрий Фёдорович (1819–1876) — публицист, философ. Автор записки «О крестьянском состоянии и переходе от него к гражданской свободе» (1853–1856): главной причиной поражения в Крымской войне считал не столько силу противников России, сколько «наше внутреннее бессилие». Один из организаторов земского движения.

Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович (1870–1942) — географ, картограф, политолог. Организатор и редактор первого полного географического описания России. Автор более 200 работ по физической и экономической географии.

ПЕРСОНАЛИИ

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — государственный деятель, автор проекта реформ (в том числе административной реформы Сибири). Инициатор создания Государственного совета (1810), предлагал также создать законодательное собрание — Государственную думу (1809). Руководил кодификацией законов Российской империи.

Столыпин Пётр Аркадьевич (1862–1911) — министр внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи. После преодоления хаоса первой русской революции начал социально–политические реформы, в первую очередь — аграрную («стольпинскую»). Под его руководством разработан ряд крупных законопроектов по реформе местного самоуправления, введению всеобщего начального образования и др.

Струве Пётр Бернгардович (1870–1944) — экономист, философ, политолог. Первым из русских марксистов разочаровался в «социалистическом идеале». Один из ярких идеологов «либерального национализма» (статья «Великая Россия», 1908 и др.).

Федотов Георгий Петрович (1886–1951) — религиозный мыслитель, историк, публицист. Анализировал своеобразие русской культуры и истории, место России между Востоком и Западом («Святые Древней Руси», «Русское религиозное сознание», «Лицо России» и др.). **Флоровский Георгий Васильевич** (1893–1979) — богослов, историк культуры, философ. Стоял у истоков евразийства, позднее из-за политизации и «большевизации» этого движения перешёл к его критике. Идеи Флоровского оказали значительное влияние на западную славистику. Главный труд: «Пути русского богословия» (1937).

Франк Семён Львович (1877–1950) — философ. Автор трудов: «Духовные основы общества» (1930), «Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии» (1939), «Свет во тьме. Опыт христианской этики и социологии» (1949), «Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия» (1956), «С нами Бог» (опубл. в 1964) и др.

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — религиозный философ, публицист, один из основоположников славянофильства. Выступал за созыв Земского собора, надеясь на мирное разрешение противоречий между «властью» и «землёй», возникших в результате реформ Петра I.

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) — правовед, историк, философ. Основоположник «государственной школы» в российской историографии. Сторонник конституционной монархии. Сформулировал политический принцип: «либеральные меры и сильная власть».

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю. <i>Предисловие</i>	5
Просвещённый консерватизм и перспективы России <i>От составителя</i>	7
«О РУСЬ, КУДА ЖЕ МЧИШЬСЯ ТЫ...» <i>Поэтическое вступление</i>	
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Предсказание	13
Н.М. ЯЗЫКОВ. К ненашим	13
А.С. ХОМЯКОВ. «Не говорите: “То былое...”»	15
С.Т. АКСАКОВ. При вести о грядущем освобождении крестьян	16
П.А. ВЯЗЕМСКИЙ. «Послушать: век наш — век свободы...»	18
Ф.И. ТЮТЧЕВ	
Наш век	19
«Эти бедные селенья...»	19
«Умом Россию не понять...»	20
«Напрасный труд – нет, их не вразумишь...»	20
А.И. НЕСМЕЛОВ	
В этот день	20
Цареубийцы	21
А.А. АХМАТОВА	
«Думали: нищие мы...»	22
«Не с теми я, кто бросил землю...»	22
М.А. ВОЛОШИН	
Мир («С Россией кончено...»)	23
Гражданская война	23

ЧАСТЬ I. КОНСЕРВАТИЗМ VS ЛИБЕРАЛИЗМ: МИР ИЛИ ВОЙНА?

Цитаты: информация к размышлению	26
Н.М. КАРАМЗИН. <Мысли об истинной свободе>	29
Б.Н. ЧИЧЕРИН. Различные виды либерализма	30
И.С. АКСАКОВ. Программа наших либералов	41
Ю.Ф. САМАРИН. Революционный консерватизм. <i>Письмо Р. Фадееву по поводу его книги «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)»</i>	52
К.Н. ЛЕОНТЬЕВ. Чем и как либерализм наш вреден?	79
А.Д. ГРАДОВСКИЙ. Что такое консерватизм?	92
Н.А. БЕРДЯЕВ. Философия неравенства. <i>Письмо пятое. О консерватизме</i>	124

СОДЕРЖАНИЕ

С.Л. ФРАНК

- По ту сторону «правого» и «левого» 139
Духовные основы общества. Глава VI. Консерватизм
и творчество в общественной жизни (отрывок) 147

ЧАСТЬ II. ВЗГЛЯД КОНСЕРВАТОРОВ НА РУССКУЮ ИСТОРИЮ

- Цитаты: информация к размышлению 150
Н.М. КАРАМЗИН. Записка о древней и новой России
в её политическом и гражданском отношениях 153
А.С. ПУШКИН. Письмо П.Я. Чаадаеву
19 октября 1836 года 207
А.С. ХОМЯКОВ. О старом и новом 209
И.В. КИРЕЕВСКИЙ. В ответ А.С. Хомякову 226
В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ
Афоризмы. Мысли об истории России 238
Значение Преподобного Сергия для русского народа
и государства 243
П.Б. СТРУВЕ. Исторический смысл русской революции
и национальные задачи 258
И.А. ИЛЬИН. Россия есть живой организм 276

ЧАСТЬ III. ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА: ЗА И ПРОТИВ РОССИИ

- Цитаты: информация к размышлению 286
Н.М. КАРАМЗИН. Мнение русского гражданина. (*Письмо
Александру I по поводу проекта восстановления Польши*) ... 289
В.П. СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ. О могущественном
территориальном владении применительно к России:
очерк по политической географии 293
М.Н. КАТКОВ. Достоинство России требует её полной
независимости и отсутствия всяких союзов 300
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Дневник писателя (*отрывки*). 1876 ... 306
Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ. Россия и Европа. Глава II. Почему
Европа враждебна России? 315
П.Н. ДУРНОВО. Записка (Николаю II – чем грозит России
вступление в мировую войну на стороне Англии) 332
Н.А. БЕРДЯЕВ. Задачи национальной демократии 356
Г.В. ФЛОРОВСКИЙ. Евразийский соблазн 363
П.Б. СТРУВЕ. Великая Россия. Из размышлений
о проблеме русского могущества 377
И.А. ИЛЬИН
О расчленителях России 394
Что сулит миру расчленение России 398

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ IV. НАРОД И ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ И ПРАВО

Цитаты: информация к размышлению	412
М.М. СПЕРАНСКИЙ. О силе правительства	417
К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВ	
Власть и начальство	421
Великая ложь нашего времени	440
К.Д. КАВЕЛИН. Мысли о выборном начале	447
И.С. АКСАКОВ	
О взаимном отношении народа, государства и общества	461
О деспотизме теории над жизнью	491
Отчего безлюдье в России	506
Ошибочность взгляда, будто свобода слова несовместна с существующею у нас политической формою правления	515
Журналистика – выражение общественного мнения, а не какая-нибудь законодательная власть	518
К.С. АКСАКОВ. Простой народ – разумная стихия России: переводные статьи из газеты «Молва» (1857)	521
М.Н. КАТКОВ	
Исключительное господство бюрократии и Верховная власть ..	531
Всё, что противоречит основному строю русского государства, должно быть устранено из него самым решительным образом	532
Истинный и разумный патриотизм	534
Свобода и власть	543
М.О. МЕНЬШИКОВ	
Власть как право	546
Подъём власти	553
П.А. СТОЛЫПИН	
Первое выступление во II Государственной думе в качестве председателя Совета Министров 6 марта 1907 года	558
Речь о временных законах, изданных в период между первой и второй Думами, произнесённая в Государственной думе 13 марта 1907 года	570
Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесённая в Государственной думе 10 мая 1907 года	574
ВМЕСТО ЭПИЛОГА	
Г.П. ФЕДОТОВ. Будет ли существовать Россия?	585
<i>Алфавитно-предметный указатель</i>	598
<i>Персоналии русских мыслителей</i>	602

ПРОСВЕЩЁННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ:

РОССИЙСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

Автор-составитель и редактор *Д.Н. Бакун*

Научный консультант *В.Н. Тростников*

Художник В.С. Голубев

Корректор *М.Г. Смирнова*

Оригинал-макет *Е.Г. Щербаковой*

Подписано в печать 25.01.2012 г.

Формат 60х90/16

Тираж 1000 экз. Заказ № 7874

Грифон

111141, Москва, Электродная ул., 3^б

Тел.: (499) 740-45-62

www.grifon-m.ru

И.С. АКСАКОВ
К.С. АКСАКОВ
Н.А. БЕРДЯЕВ
А.Д. ГРАДОВСКИЙ
Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
П.Н. ДУРНОВО
И.А. ИЛЬИН



К.Д. КАВЕЛИН
Н.М. КАРАМЗИН
М.Н. КАТКОВ
И.В. КИРЕЕВСКИЙ
В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ
К.Н. ЛЕОНТЬЕВ
М.О. МЕНЬШИКОВ

→ К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВ

А.С. ПУШКИН
Ю.Ф. САМАРИН
В.П. СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ
М.М. СПЕРАНСКИЙ
П.А. СТОЛЫПИН
П.Б. СТРУВЕ
Г.П. ФЕДОТОВ
Г.В. ФЛОРОВСКИЙ
С.Л. ФРАНК
А.С. ХОМЯКОВ
Б.Н. ЧИЧЕРИН

ISBN 978-5-98862-079-2



9 785988 620792

интернет-магазин
OZON.ru



72629881